

Н О В Ы Й  
М И Р

Н О В Ы Й  
М И Р

10

---

1954

1954

# НОВЫЙ МИР

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXX

№ 10

Октябрь, 1954 г.

---

---

ОРГАН СОЮЗА СОВЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ СССР

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. НЕКРАСОВ — В родном городе, повесть	3
АРКАДИЙ КУЛЕШОВ — Есть у каждого бор, стихи. Перевод с белорусского Якова Хелемского	66
ОЛЕСЬ ГОНЧАР — Пусть горит огонёк, повесть. Перевод с украинского С. Григорьевой	69
ЛИ ЧЖУНЬ — Не по тому пути, рассказ. Перевод с китайского Д. Воскресенского, М. Шнейдера	103
<b>НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ</b>	
ИЗ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ. Перевод Л. Эйдлиной	114
<b>ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ</b>	
ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ — Поездка прошлого года	122
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
Л. ДЕЛЮСИН — Народный Китай — великая держава	149
<b>ДНЕВНИК ИСКУССТВ</b>	
Н. ЖУКОВ — Воспитание вкуса. Заметки художника	159
<b>ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ</b>	
Р. ОСТРОВСКАЯ — Из воспоминаний о Николае Островском	177
Н. ФЕДОРЕНКО — Встречи с китайскими писателями. Окончание	197
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
А. КОНДРАТОВИЧ — Живые заветы	219
Е. ТРУЩЕНКО — Социалистический реализм и прогрессивная литература зарубежных стран	234
И. ВЕРЦМАН — Генри Фильдинг, великий просветитель и гуманист	245

(См. на обороте)

---

---

ИЗДАТЕЛЬСТВО  
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»  
Москва

## СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
<b>КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ</b>	
<i>Литература и искусство</i>	254
<b>А. Чернов.</b> Очерки о колхозной деревне.— <b>Е. Герасимов.</b> Больше творческой смелости! — <b>С. Тураев.</b> Героическая трагедия Фридриха Вольфа.— <b>Н. Дьяконова.</b> «История английской литературы».	
<i>Политика и наука</i>	268
<b>Вал. Зорин.</b> Всевластие монополий в США. — Кандидат исторических наук <b>С. Кузнецова.</b> Славная жизнь.— <b>М. Сустанов, А. Пятницкий.</b> О научно-популярной технической литературе.— Кандидат химических наук <b>О. Добролюбовский.</b> Книга о русских химиках. — <b>Е. Немировский.</b> Журнал советских полиграфистов.	
<b>КНИЖНЫЕ НОВИНКИ</b>	286

---

---

В. НЕКРАСОВ

★

## В РОДНОМ ГОРОДЕ

*Повесть*

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

**Т**рамваи ходили редко и были так переполнены, что Николай со своей раненой рукой предпочёл идти с вокзала пешком. День был яркий, солнечный, и после шести дней тряски в душном эшелоне пройтись по улице было даже приятно.

Дойдя до Владимирской, Николай почувствовал лёгкое головокружение — он отвык от ходьбы — и присел на ступеньки возле аптеки.

Напротив, через улицу, под козырьком из фанерного листа бойко торговал мороженым и водами весёлый, громогласный продавец. Покупатели то и дело подходили к нему.

Николай, посидев, тоже подошёл. Продавец дружески подмигнул, указывая глазами на подвязанную руку Николая.

— С фронта, небось, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

— Может, тогда кружечку пивца прикажете?

— Нет, не надо.

— А то хорошее, жигулёвское.

Продавец был явно расположен разговаривать, но Николай выпил ювой стакан воды, расплатился и пошёл дальше.

Возле шестизэтажного углового дома Николай остановился. Закурил. Дом был сожжён. Сквозь пустую витрину молочного магазина — ещё вывеска сохранилась — видны были груды обгорелого кирпича и на них две застывшие друг против друга кошки, чёрная и рыжая.

Соседний с угловым, двадцать четвёртый номер, тоже был сожжён. На стене у входа ещё виднелись надписи, сделанные мелом. Из них только две можно было разобрать: «А. Вайнтрауб живёт на М. Васильковской, 16, кв. 3» и «Гуреевы — Жилианская, 6». Остальные за год стёрлись.

До войны Вайнтраубы жили в пятнадцатой квартире. Николай их хорошо помнил — муж, жена и восьмилетний мальчик Жора. В обеденный час мамаша высовывалась из окна и кричала на весь двор: «Жо-ора! Жо-ора!» Это длилось очень долго, так как Жора никогда не слышал, а когда слышал — убегал на третий двор. Гуреевых Николай не помнил.

Некоторое время Николай стоял перед домом и, задрав голову, смотрел на пятый этаж. Маленький тополь, росший из трещины балкона, за эти три года так вырос, что стал уже вровень с перилами. Сквозь окна были видны небо и изогнутые железные балки.

Из ворот вышла женщина с корзинкой и торопливо пошла вниз по улице.

«Флигель, вероятно, цел», — подумал Николай и вошёл в ворота. Первый флигель был сожжён, второй сохранился. Через весь двор была протянута верёвка, на ней сохло бельё, а рядом на табуретке сидела старушка и чистила картошку. Николай подошёл и спросил довольно спокойно:

— Простите, бабушка, вы и до войны жили в этом доме?

Бабушка вздрогнула и испуганно посмотрела на Николая.

— А?

— Я спрашиваю — вы и до войны жили в этом доме?

— В этом доме? Нет, нет... — Она с испугом смотрела на его перевернутую руку. — Нет, мы в восемнадцатом номере жили. Здесь с ноября только.

— Я о жильцах одних хотел узнать, — сказал Николай и, заметив, что старушка плохо слышит, повторил погромче: — О жильцах спросить хотел...

— Не знаю, не знаю. — Старушка замотала головой. — Мы здесь только с ноября живём, как наши пришли.

Она тревожно глянула на развешанное бельё, потом на Николая, словно проверяя, не взял ли он чего-нибудь.

— Не знаю, не знаю... Мы здесь с ноября только живём... — в третий раз сказала она и опять принялась за картошку.

— Вы кого ищете? — раздался за спиной Николая женский голос.

Николай обернулся. Невысокая, очень худая женщина в калошах на босу ногу, с мусорным ведром в руке, внимательно смотрела на него.

— Вы из какой квартиры? — спросила она и поставила ведро на землю.

— Из семнадцатой, — ответил Николай.

— Митясов ваша фамилия?

— Митясов...

Женщина серьёзно, без улыбки, смотрела на него.

— Ой-ой-ой, как вы изменились! Такой молоденький были, а теперь... — Она, как и все, посмотрела на его повязку. — Ранены? Да?

— Как видите.

Женщина покачала головой.

— Ужасно как изменились... Просто ужасно. — Она сочувственно покачала головой. — Вот вы меня не узнаете, — Николай действительно никак не мог её припомнить, — а я сразу узнала. У вас, я помню, ещё собака была.

— Была. Рыжик. Щенок. Ему и года ещё не было.

— И ваш сынишка прогуливал её ещё в этом дворе.

— Нет, у нас детей не было. Это не наш сынишка.

— Разве не было? А мне казалось, что был.

— Нет, не было. Это соседский, Смирновых...

Они помолчали. Николай ждал, что женщина ещё что-нибудь скажет, но она молчала и только сочувственно, очевидно уже машинально, качала головой.

Подошёл мальчик лет восьми и, раскрыв рот, стал смотреть на Николая.

— А про Шуру вы ничего не знаете? — спросил Николай не глядя.

Женщина зачем-то развязала и опять завязала платок на голове.

— Они, кажется, при немцах оставались? — спросила она.

— Оставались. У неё мать больная была.

Женщина почему-то вдруг оживилась.

— Да, да. Старуха умерла. У неё, кажется, рак был.

— А Шура? — спросил Николай.

— Шура? — Женщина задумалась и опять поправила на голове платок. — Шура сейчас здесь не живёт. Она на Жилианской, кажется, живёт.

— Не... В тридцать восьмом номере вовсе, — сказал мальчик и опять раскрыл рот.

Николай пристально посмотрел на него.

— А ты откуда знаешь, о ком мы говорим?

— Знаю, о тетё Шуре, что в семнадцатой квартире жила.

— А теперь, значит, в тридцать восьмом? Ты точно знаешь?

— Точно. С улицы на третьем этаже. Я ей раз помогал дрова нести. У неё тогда рассыпались, а я помог собрать. И нести помог.

— Это четвёртый или пятый дом от угла, — сказала женщина. — Там, где примусная мастерская. Теперь я вспомнила, она туда переехала. — И улыбнулась. — Не в мастерскую, конечно, а в дом.

Николай тоже улыбнулся.

— Ну, спасибо, большое спасибо, — и торопливо, точно боясь, что его задержат, зашагал по направлению к улице.

Женщина некоторое время смотрела ему вслед, опять покачала головой, потом взяла своё ведро и, шлёпая сваливающимися с ног калошами, пошла к мусорному ящику.

Николай быстро шёл вниз по улице и смотрел по сторонам. Прошли мимо две девушки и обернулись. Николай тоже обернулся. Девушки рассмеялись. Николай расправил складки гимнастёрки. Она была коротенькая, выцветшая, с наполовину оторванным и засунутым за ремень рукавом. Широкие маскировочные шаровары, рука на перевязи — вид, не совсем обычный для тылового города. Прохожие оборачивались. Николай невольно поймал себя на том, что это ему даже приятно.

Дойдя до угла, он увидел парикмахерскую и вспомнил, что надо побриться. Парикмахерская была та самая, в которой он брился ещё до войны. Николай зашёл. Парикмахер — новый, узкоплечий, с копной удивительно мелко вьющихся волос, с презрительно-скучающим выражением лица — чистил ногти, развалившись в кресле. При виде вошедшего сразу вскочил.

— Усы и бачки сбреем? — неожиданно весело спросил он, бросая под стол грязную и вынимая из ящика свежую салфетку.

— Сбреем, — сказал Николай и посмотрел на себя в зеркало.

Он давно не видел себя в таком большом, красивом зеркале. Оказалось, что лицо его стало совсем медным от загара, брови и ресницы выгорели, а отпущенные от нечего делать в госпитале усы и баки выросли почему-то рыжими. Лицу они придавали безусловную лихость, но в то же время явно старили. Николай решительно повторил:

— Сбреем, ну их...

Парикмахер спросил, где и как Николая ранило и скоро ли наши будут в Варшаве. Николай отвечал и чувствовал, что к ответам его прислушиваются. Даже кассирша — пышная, полногрудая девица с сонными от жары глазами — вылезла из-за загородки, чтобы лучше слышать.

Парикмахер стал брить усы. Николай не мог отвечать на вопросы и, следя в зеркале за движениями парикмахера, старался припомнить, как выглядит тридцать восьмой номер, о котором говорил мальчишка во дворе. Сначала ему показалось, что это тот большой серый дом, в котором была мясная лавка. Затем, что маленький, двухэтажный, с обваливающимся балконом. Потом вспомнил, что маленький — это тридцать четвёртый, серый — тридцать шестой, а следующего за ними он не помнил, но помнил, что перед ним рос старый дулистый вяз с кучей вороньих гнёзд, под которыми тротуар всегда был белым. Очевидно, это и есть тридцать восьмой.

Николай стал думать о Шуре, но сразу же постарался отогнать эту мысль: Шура почему-то представилась ему похожей на ту женщину из двадцать четвёртого номера — худой, поблёкшей, с морщинками возле глаз. Чтобы не думать об этом, он стал рассматривать в зеркало пышную кассиршу, которая опять забралась за свою перегородку и от жары и безделья клевала носом.

Парикмахер сделал компресс, массаж, запудрил всё лицо, от чего оно стало розово-лиловым, и, стряхнув последние волоски, сказал:

— Ну что? Правильная работа?

— На десять лет помолодели, — сказала из-за своей загородки кассирша, — жена не узнает.

— Узнает, — рассмеялся Николай и ещё раз, издали, посмотрел на себя в зеркало. Если бы не белёсые, выгоревшие брови и слишком широкий нос, он совсем был бы собой доволен.

Он заплатил лишнюю пятёрку и вышел. Парикмахер, прощаясь, усиленно приглашал его заходить почаще.

## 2

Тридцать восьмой номер оказался именно тем домом, о котором подумал Николай. Вяз попрежнему стоял на своём месте, и попрежнему над ним вились вороны, а на тротуаре белели пятна. Дом был пятиэтажный, кирпичный. Маленькие тонконогие девочки, отчаянно визжа, играли на тротуаре в классы.

Переходя с противоположной стороны, Николай посмотрел на окна третьего этажа (мальчик говорил, что на третьем этаже) и решил, что второе справа, с белеющей занавеской, из-за которой выглядывал фикус, и есть шурино.

Николай вошёл в парадное и по тёмной лестнице с забитыми фанерой окнами поднялся на третий этаж. Там оказалось две двери, одна против другой. На правой висела бумажка с указанием, сколько кому стучать. Фамилии Митясовой на ней не было. Николай постучал в дверь напротив. Где-то в глубине, очевидно на кухне, слышны были голоса, но никто не открывал. Он постучал ещё раз. Никто не подходил.

«Если и сейчас не откроют, значит всё в порядке», — загадал Николай, и в ту же секунду донёсся далёкий женский голос:

— Эмма, слышишь же, стучат. У меня руки мокрые...

Не дожидаясь Эммы, Николай торопливо постучал третий раз, и за дверью раздалось весёлое детское: «Сейчас, сейчас!»

Дверь открыла девочка лет двенадцати.

— Вам кого? — спросила она.

— Скажите, Митясова здесь живёт? Или Вахрушева, может быть?

— Александра Павловна?

— Александра Павловна.

— Здесь. — Девочка повернулась в сторону кухни и крикнула: — Мама, это к тёте Шуре!

Из тёмного коридора, вытирая руки о юбку, вышла женщина с озабоченным лицом.

— Что ж ты свет не зажигаешь, Эмма? — Девочка повернула выключатель. — Вы к Александре Павловне?

— Да.

— Её нет дома.

Женщина вопросительно смотрела на Николая, придерживая одной рукой дверь. Николай попрежнему стоял на площадке.

— Вы хотите ей что-нибудь передать? — спросила женщина.

— Нет... То есть... Я хотел её видеть.

— Но её сейчас нет дома. У неё замок висит на двери.

Женщина почему-то не приглашала его войти, и Николаю пришлось самому сказать, что он хотел бы дождаться Александры Павловны.

— Ну что ж, — сказала женщина, — пройдите тогда в кухню. Эмма, покажи.

Женщина пропустила в дверь Николая, и он пошёл вслед за Эммой по очень длинному и тёмному коридору.

На кухне шипело три или четыре примуса. Эмма сняла с табуретки таз с мыльной водой. Николай сел. Эмма подкачала один из примусов и, так ничего и не сказав, ушла.

Потом пришла женщина с озабоченным лицом. Она, очевидно, почувствовала какую-то неловкость в том, что офицер, к тому же раненый, сидит на кухне, и предложила Николаю перейти в комнату, хотя у них там и беспорядок. Николай сказал, что, если он не мешает, ему и здесь хорошо, и спросил, когда приходит обычно Шура.

— По-разному, — ответила женщина, мешая что-то в кастрюле и стоя к нему спиной. — В три, четыре, пять. Иногда и поздно вечером.

Помолчав, она спросила:

— А вы что, родственник её или знакомый?

— Родственник, — ответил Николай.

Женщина потушила примус и ушла.

Зашли и ушли, ничего не говоря, но с любопытством глянув на Николая, ещё две женщины. Потом вбежал на кухню очень хорошенький мальчишка лет пяти, курчавый, светлоглазый и общительный. Его сразу заинтересовала повязка.

— У дяди Феди тоже такая была, — сказал он, — только не тут, а тут. Он на костылях ходил. Вы ходили на костылях?

— Нет, не ходил, — ответил Николай.

Мальчик старательно поковырял в носу и опять спросил:

— А почему у вас одна «Красная Звезда»?

— Не заслужил больше.

— У дяди Феди две. И такая медаль, как у вас. И ещё одна. На ней винтовка и шашка. Как вас зовут?

— Дядя Коля. А тебя?

— Вова. Вы к тётке Шуре пришли?

— К тётке Шуре.

— А зачем?

Николай рассмеялся.

— Хочу на неё посмотреть.

Вова сел на корточки, провёл пальцем по сапогам Николая и сказал:

— Принести щётку?

Николай улыбнулся.

— Вот это ты правильно заметил, Вова. Валяй-ка, принеси.

Вова застучал голыми пятками по коридору и через минуту принёс старую, облезлую сапожную щётку. Николай почистил сапоги. Вова сосредоточенно за ним следил, сидя рядом на корточках.

— А зачем вам надо на тётю Шуру смотреть? — спросил он.

— Да просто так, хочется.

— А её столик вы знаете какой?

— Какой столик? — не понял Николай.

— Как какой? У всех тут есть столик. Показать?

— Ну, покажи. Или нет: я сам угадаю. — Николай оглядел кухню. — Вот тот? Да?

— Ага. А откуда вы знаете?

— Угадал.



Николай подошёл к столу. Он был очень чистый, опрятный, покрыт свежей клеёнкой. Стояло несколько кастрюлек, повернутых вверх дном, горшочек с солью. Справа, на приделанной к стене полочке, тоже покрытой клеёнкой, лежали мыло, две зубные щётки и бритвенный прибор с помазком.

— А это чьё? — спросил Николай.

— Что? Щёточки? Красная — тётки Шуры, а жёлтая — дяди Феди. Нельзя ж одной щёткой чистить зубы, правда?

— Нельзя, — сказал Николай и подошёл к окну. — Конечно, нельзя.

Внизу, на дворе, двое парней пилили дрова. Несколько минут Николай следил за мерно раскачивающимися фигурами, потом, не оборачиваясь, спросил, давно ли дядя Федя здесь живёт.

— Как давно? — удивился Вова. — Всегда. Мы из Уфы приехали — он уже жил... Вы умеете в крестики и нолики играть?

— Нет, не умею.

Николай провёл рукой по шелковистым вовиным кудряшкам и направился к выходу.

## 3

Очень молоденькая и очень тоненькая сестра, с подхваченными марлевой косынкой волосами, сидела у окна в приёмном покое и читала расстрёпанную, пухлую книгу.

— Вам надо ещё в центральный распределитель сходить, — сказала она, взглянув на Николая и не притрагиваясь к протянутым ей бумагам.

— Зачем? — спросил Николай. — Мне сказали прямо в окружной госпиталь идти.

— Нет, у нас так не принимают. Обязательно нужно через распределитель. — Она посмотрела на него снизу вверх и чуть-чуть улыбнулась. — Ведь вы с фронта, да?

— Так точно, — ответил Николай.

— С фронта все через распределитель. Это на Красноармейской, пятьдесят шесть. У нас только по направлениям округа.

Он молча взял свои бумаги и стал записывать их в планшетку.

— Простите, — сказала вдруг девушка, — дайте мне их на минутку.

Она вышла и почти сразу же вернулась.

— Знаете что? — Она глянула на часы. — Сейчас начало девятого. В десять часов придёт майор Свешников. С ним всегда можно договориться. Приходите к десяти.

— Спасибо.

— Температура у вас нормальная?

— Спасибо. Нормальная.

Николай кивнул головой и вышел.

На перилах госпитального мостика, у массивных, в виде арки, ворот, — госпиталь был старинный и походил больше на крепость, чем на лечебное учреждение, — сидели, болтая ногами и покуривая, раненые.

— Эй, браток! С какого прибыл? — крикнул кто-то из них, но Николай не расслышал и молча прошёл мимо.

— Не приняли, должно. В распред послали. Всех они в распред посылают...

Дойдя до старого вала, Николай остановился. Солнце садилось, и сквозь зелень тополей был виден город, освещённый косыми лучами. В воздухе пахло мятой, свежескошенным сеном. Где-то неподалёку, совсем как в деревне, грустно мычала корова. Стоял ясный, тихий августовский вечер.

Николай вынул кисет и сел под тополем. Это был старый, раскидистый, потерявший свою былую стройность тополь.

Прямо под валом расстилалось зелёное поле стадиона, а за ним, невероятно рельефные и чёткие в вечернем освещении, громоздились друг на друга дома среди густозелёных, кое-где только начавших золотиться осенних садов. Чуть правее яркobelым пятном на фиолетовом вечернем небе выделялась колокольня Софийского собора. Левее крепкой, точной линией вырезывался горизонт с разбросанными маленькими построечками на пологих холмах и почти чёрной линией дальних лесов.

Отсюда, с высоты, совсем не было видно, что город разрушен. Он казался таким, каким был всегда, каким помнил его Николай пять, десять лет тому назад. Только купол на соборе был тогда не красным, а золотым, и стадион не имел такого заброшенного вида, как сейчас.

Солнце давно уже село, погас крест на колокольне, город стал плоским и расплывчатым, только линия горизонта попрежнему чётко и ясно огибала его. Подул лёгкий ветерок. Зашумели тополя.

Николай посмотрел на часы — было всего лишь девять часов. Он встал, отряхнул траву с брюк и пошёл вниз по Госпитальной улице.

Улица упиралась в базар. Несмотря на поздний час, торговля шла полным ходом. Иногда где-то раздавались милицейские свистки и торговки, подхватив свои корзины, забивались во дворы, но через минуту всё опять выползло на улицу и растекалось среди рундуков и киосков.

Николай зашёл в закусочную — он с утра ничего не ел. В закусочной было накурено и тесно. На стойке горела большая керосиновая лампа, и на двух столиках стояли свечи. Николай взял двести граммов свиной, называемой почему-то домашней, колбасы, хлеба и кружку пива.

Три столика из четырёх были заняты. За четвёртым сидел хмурый человек с подвязанной щекой и ел винегрет. Николай подсел к нему и отхлебнул пива — оно было тёплое и противное. Хмурый человек ел молча, быстро, не глядя на Николая. Потом он встал и ушёл. На его место сел другой — светловолосый, румяный, с маленькими закручивающимися усиками. На нём была песочного цвета — очевидно, иранская, подумал Николай, — гимнастёрка с расстёгнутым воротом, обнажившим загорелую шею. Военная фуражка с голубым околышем сдвинута была на затылок.

Парень поставил на стол две бутылки пива и сразу же, привычным жестом, ударив о край стола, сбил с них металлические пробки.

— Никогда не бери бочкового, — сказал он, смахнув на пол пену. — Только жигулёвское. И только четвёртого завода. У Фимки всегда есть.

Его быстрые серые глаза остановились на руке Николая.

— Дать полтора за Лонжин?

— Что? — не понял Николай.

— За Лонжин, говорю, полтора куска дать?

— Я не продаю часы, — сухо ответил Николай.

Светловолосый повернулся и, как свой в этом заведении человек, крикнул через головы соседей хозяину:

— Фима, налей два по двести!

На столе появилось два стакана. Парень подвинул один Николаю.

— Поддержи, капитан, — и, не спрашивая, взял с тарелки Николая ломтик колбасы. — С Первого Белорусского?

Николай кивнул головой.

— Ну как там наши?

— Ничего, воюют.

Парень глянул на перевязанную руку Николая.

— Перелом?

— Перелом.

— Пальцы работают?

— Нет.

— Знакомая картина. Нерв. Тебя где ранило?

— В Люблине.

— Ничего, заживёт. Будь здоров!

Парень выпил и сморщился. Николай тоже выпил. Водка была крепкая, захватывала дух.

— По особому заказу, — сказал парень и улыбнулся. Передние зубы у него оказались металлическими.

Он стал расспрашивать о последних событиях на фронте. Потом, посмотрев на стаканы, подмигнул:

— Ещё по одной?

— Погоди, — сказал Николай, чувствуя, что с непривычки захмелел.

— Можно и подождать, — согласился парень, — нам торопиться некуда. Ты отсюда куда?

— В окружной.

— К Гоглидзе?

— Как? — не понял Николай.

— К Гоглидзе, говорю? Мировой хирург. Я его знаю. Лучший в городе. Если перелом — к нему попадёшь, как пить дать...

За соседним столиком оживлённо спорили о каком-то судебном деле. Парень крикнул:

— Прекратите дискуссию! Надоело.

За столиком стали говорить тише. Доносились отдельные фразы: «А прокурор как встанет... Я ж Сашке говорил, стервецу... А прокурор как встанет...»

Входили и выходили какие-то люди. Когда дверь отворялась, с площади доносился хриплый голос, певший по радио: «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат...» Дверь закрывалась, и опять настойчиво лез в уши разговор о прокуроре, потом снова открывалась, и с улицы доносилось «немно-о-ого поспят...»

Николай посмотрел на своего соседа. Тот, смеясь и поминутно сдвигая то на затылок, то на лоб фуражку, о чём-то оживлённо говорил.

— Ты женат? — спросил вдруг Николай.

Парень удивлённо на него посмотрел.

— Нет. А что?

— Просто так. Интересно.

— Нет, не женат.

Николай рассеянно посмотрел на него и встал.

— Мне итти надо.

— Куда?

— Надо...

— В госпиталь? Подождёт, не убежит.

— Да не в госпиталь, чёрт с ним...

Николай вдруг почувствовал, что у него кружится голова, и, чтобы не упасть, схватился за стол. Парень удержал его за руку.

— Садись, чёрт! Куда сейчас итти? Тебя и ноги-то не несут, герой...

Николай сел. Расстегнул воротник. Парень принёс бутылку нарзана и налил в стакан.

— Пей. Легче станет.

Николай выпил.

На противоположной стене висел плакат — женщина с довольным лицом указывала рукой на какие-то стулья, столы, зеркальные шкафы.

— Что? Соблазнительно? — спросил парень, перехватив его взгляд.

— Плевал я на это... — мрачно сказал Николай.

— И правильно, и плюй. Не обращай внимания. Это главное. Это самое главное — не обращать внимания.

— На что?

Николай медленно повернулся и посмотрел на парня — тот сидел и крутил пальцами ус.

— На всё! Как я. Иначе свихнёшься. Можешь мне поверить. У меня вот Гитлер стариков и двух братьев на тот свет отправил. Понял? А я вот под трамвай не бросаюсь. Один — инженер, другой — полковник. В двадцать пять лет — и полковник. А? Не то что мы с тобой. Ты кем на гражданке был?

Николай пожал плечами.

— Д-два к-курса физкультурного института.

Парень протянул руку, на ней не хватало пальца.

— Дай пять. Два сапога пара. — Он зло рассмеялся, сверкнув вставными зубами. — Будем знакомы. Сергей. Человек без профессии.

Он вынул из кармана толстую пачку денег и бросил на стол.

— Видал?

Пачка состояла вся из сотенных. Сергей небрежно сунул её в карман.

— И я один. Ни семьи, ни жены, ничего... Могу всё фирмино заведение купить. А завтра столько же будет. Понял?

Он придвинулся к Николаю. Его серые, широко расставленные глаза блестели, на лбу выступил пот.

— А наши там вперёд идут, пока мы с тобой здесь... — Он вытер рукой лоб. — Будешь ещё?

— Нет. Нарзану выпью.

Сергей усмехнулся.

— Фимка, дай-ка ещё нарзану. Так на чём мы остановились? На жёнах, кажется?

Николай, сощурившись, посмотрел на Сергея. Хмель постепенно проходил.

— А ты женат? — спросил Сергей.

— Нет, — коротко ответил Николай.

— Совсем нет?

— Совсем...

— И не был?

— А что вспоминать, что было?

Сергей понимающе улыбнулся.

— Ясно. И давно?

— С сорокового.

— А знакомы?

— С тридцать девятого.

— Красивая?

— А бог её знает. Разве в красоте дело?

— В красоте, — уверенно сказал Сергей и сдвинул фуражку на затылок. — У меня вот нет жены. Не было и не будет.

Николай согласился — «может, так и надо, все мы дураки в девятнадцать лет» — и вдруг почувствовал, что случилось то, чего он больше всего боялся, что он дольше не может, что он сейчас всё расскажет этому парню, которого видит в первый раз и, может, никогда больше не увидит. И про Шуру, и про то, как он бегал к ней каждый день из института на Осиевскую, через весь город — она работала на Кабельном чертёжнице, — и про её мамашу-старушку, которая всё хотела, чтобы они поженились. Я, говорит, старая, скоро умру, так чтобы увидеть ещё.

Сергей внимательно слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, потом спросил:

— А сколько ей лет?

— Умерла. Сегодня только узнал, что умерла.

— Да не ей, Шуре твоей.

— Моей? — Николай попытался улыбнуться. — Дяди фединой, а не моей.

— Ну, дяди фединой, чёрт с ним, я его не знаю. Лет двадцать пять?

— Двадцать четыре. Когда на фронт шёл, двадцать один был. Теперь, значит, двадцать четыре. Три года прошло... Три года, — повторил он, — и три года верил. Письма писал. Как город освободили, раза три или четыре писал. И всё впустую. Дом фашисты сожгли, она перебралась... И вот теперь дядя Федя...

Сергей опять подмигнул: это было у него чем-то вроде тика.

— А ты, брат, ни разу дядей Федей не был? А?

— Я? Дураком я был, вот кем я был...

Николай посмотрел на часы. Сергей протянул руку и закрыл ладонью циферблат.

— Не уходи.

— Мне к десяти в госпиталь надо...

— Да плюнь ты на госпиталь. Навалешься ещё. А мне говорить хочется... — Он перегнулся через столик и, обхватив Николая за плечи, задышал в самое ухо. — Я десять тысяч заработал. А говорить не с кем. Понимаешь? Не с кем...

Николай опять посмотрел на часы. Он никак не мог разобрать, сколько они показывают.

— А ночевать?

— Ночевать? Ты на пуховой перине будешь ночевать, понял? И утром тебе в постельку какао принесут.

Он вдруг откинулся и надвинул фуражку на глаза.

— Иди... Со мной связываться... Иди лучше.

— Ладно, — сказал Николай и заказал ещё водки.

Сергей молча, исподлобья следил за ним. Когда стаканы появились на столе, он отодвинул их и аккуратно прикрыл тарелкой от колбасы.

— Спасибо, капитан. — Потом добавил совсем тихо: — Я давно никому спасибо не говорил.

Какой-то парень с лошадиным лицом, в кепочке с крохотным козырьком, подсел к их столику и попытался завязать разговор. Сергей мрачно взглянул на него.

— Пей своё пиво и закругляйся.

Парень, торопливо допив свою кружку, ушёл. Сергей поднял голову, посмотрел на Николая.

— Вот такие-то дела, брат... Пойдёшь ты завтра себе потихонечку в госпиталь. Месяца два-три поваляешься на чистых простынках, а потом — фью... Разведчик?

— Разведчик.

— По штанам вижу... Наводчик зорек, разведчик смел. Своих, вероятно, уже в Германии застанешь.

— Надо ещё всю Польшу пройти.

— Пройду-уг... — Он потянулся, хрустнул пальцами и посмотрел на Николая. Глаза его стали серьёзны, и хмель как будто совсем прошёл. — Ну, а мне куда прикажешь деться, товарищ?

— Как куда?

— Вот ты на фронт, а я куда?

Он медленно отодвинулся, засучил штанину на правой ноге и показал протез — коричневый кожаный протез выше колена.

— Понял теперь?

Николай молча смотрел на протез. Сергей хлопнул по нему ладонью.

— Курская дуга, четыре «фоккера» на одного «лавочкина».

Он опустил штанину и ногтем почистил прилипшую к ней грязь.

— А васькины косточки даже собрать не удалось. А ты говоришь — дядя Федя, жена... Да ты завтра другую найдёшь, захоти только. А где я Ваську найду? Я тебя спрашиваю, где я его найду? — Он встал, с шумом отодвинул табуретку. — Пойдём-ка лучше, капитан, я тебя с хорошими девушками познакомлю. Фимка, сколько с меня?

Они расплатились и вышли. На улице было темно, накрапывал тёплый летний дождик. Был первый час ночи.

## 4

Николай долго потом не мог отделаться от какого-то неприятного ощущения, когда вспоминал проведённую с Сергеем ночь. Где-то ещё пили, и пили много. Потом проснулся в незнакомой комнате. Долго не мог понять, как сюда попал. Голова трещала, хотелось воды. На маленьком столике у окна — оно выходило куда-то во двор, набитый машинами, — стояла наполовину пустая четвертинка, а рядом лежали огурец и записка, написанная красным карандашом на обрывке газеты:

«Опохмеляйся и топай в госпиталь. Я срочно уехал в Ростов. Если нужны деньги, возьми под кроватью, в чемодане. Ты хороший парень. Сергей».

Николай съел огурец — на водку и смотреть не мог, — а через час он был уже в белом госпитальном костюме, и на температурном листе над его койкой появилась первая цифра — 36,8.

В палате, кроме него, лежало ещё пять человек. Все пятеро попали в госпиталь не с передовой, как Николай, а по болезни — госпиталь был окружной, и фронтовиков в нём было относительно мало. У двоих была язва желудка, у одного — пожилого майора — карбункул на шее, у одного — остеомиелит бедра, и у пятого — самого молодого — геморрой, доставлявший ему не столько физические, сколько моральные мучения, а остальным — повод для бесконечных шуток.

Рана Николая, как это ни странно, оказалась в хорошем состоянии. Рентген показал, что раздроблённая автоматной пулей плечевая кость начала уже срастаться; гипс решено было не накладывать, ограничиться лангеткой, и надо было только раз в неделю, а то и реже, ходить на перевязку. Зато нерв, приводящий в движение пальцы, был повреждён, и о полном восстановлении его раньше чем через пять-шесть месяцев, даже при самом интенсивном лечении, не могло быть речи. Иными словами, возвращение на фронт откладывалось надолго.

Товарищи по палате относились к Николаю хорошо, с тем особым уважением, с которым относятся к людям, раненным на фронте. Но он как-то мало с ними разговаривал. Ложился задолго до отбоя, в шахматы и домино не играл, а проснувшись — он просыпался раньше всех, — долго лежал и, повернувшись на левый бок, смотрел в окно. После завтрака пролезал через дырку в заборе и устраивался где-нибудь на тенистых склонах стадиона — того самого, на котором когда-то сам занимался. Внизу, на зелёном поле, тренировались футболисты, и Николай следил за игрой, или читал, или просто лежал и смотрел в небо.

На пятый или шестой день пришёл Сергей. Николай не очень этому обрадовался: ему не хотелось ни вспоминать о той вечеринке, ни вообще вести какие-либо разговоры. Он лежал на своей излюбленной крохотной, закрытой кустами лужайке, с которой был виден весь город и стадион, и перелистывал «Красноармеец» за сорок второй год.

Сергей пришёл в сияющей белизной, новенькой, выглаженной рубашке и сразу же, с подмигиваниями и усмешками, заговорил о том, что мещечко Николай выбрал чудесное, но не мешало бы сюда кого-нибудь из обслуживающего персонала, и дальше всё в том же тоне.

Николай мрачно слушал, ковыряя спичкой в зубах. Когда же Сергей заговорил о том, что девочки (речь шла о тех девицах, с которыми они тогда пили) не дают ему покоя и всё спрашивают, где тот капитан с рукой, Николай не выдержал и сказал:

— И чего ты со всей этой дрянью возишься? Не противно разве?

Сергей обиделся и сухо сказал:

— Я не люблю этих разговоров, капитан, — и вдруг разозлился: — Каждый считает своим долгом читать мне нотации. Все вдруг учителями заделались. Надоело!

— Не учителями, а просто... — попытался вставить Николай, но Сергей его перебил:

— Нет, учителями! И ты в учителя лезешь. Кому какое дело? Противно или не противно, это уж моё дело. Ну, чего смотришь? Вылупился, как баран на новые ворота.

— Смотрю и думаю... Ведь я и фамилии твоей не знаю.

— А зачем она тебе? Ну, Ерошук. Старший лейтенант Ерошук. Двадцать первого года рождения. Холост. Из крестьян. Что ещё надо?

— Больше ничего.

Они помолчали, потом Николай попросил Сергея, когда он будет в городе, зайти в адресный стол и узнать адрес одного его приятеля.

— Тоже двадцать первого года, Куценко Григорий Тимофеевич. Уроженец, не помню уже, не то Житомира, не то Умани.

— Ладно, — сказал Сергей и, помолчав, спросил: — Рентген делали?

— Делали.

— Ну и что?

— Ничего. Срастается. Но повалиться придётся.

Опять помолчали.

— А он не лётчик? — опять спросил Сергей.

— Кто?

— Да этот самый Куценко.

— Нет. Со мной в институте учился.

— А то у нас тоже один Куценко был. Во второй эскадрильи.

Опять помолчали. Разговор явно не клеился. Сергей, лёжа на животе, ковырял ножом землю, потом повернулся.

— Не сердись, капитан. У меня бывает такое. — Он улыбнулся, и в улыбке его неожиданно появилось что-то виноватое. — Контуженный всё-таки. Псих. Надо считаться.

Николай пожал плечами.

— А Васька вот не был. Ты знаешь — и водки не пил. Настоящий был человек. Такого теперь не сыщешь. Два года вместе летали. С «ишаков» ещё начали. Потом на «лавочкиных». На «Ла-5» — знаешь?

— Хорошие, говорят, машины.

— Первый класс. Почти «фоккера». И вооружение дай бог. В какой хочешь бой ввязывайся. И ты б видел, что Васька на этой машине выделывал. Уму непостижимо. Ты был на Курской?

— Нет, не был.

— Жаль. Были там дела в воздухе. И ты б видел, что он там вытворял.

Сергей стал рассказывать о воздушных боях. Как все лётчики, он неистово жестикулировал и несчётное количество раз повторял слово «бенц», заменявшее ему по меньшей мере десятков других слов.

Откуда-то, очень издалека, донёсся звук летящего самолёта. Его долго не было видно, потом он появился — крохотная, едва заметная точка.

Сергей уткнулся лицом в землю.

— Слышать не могу.

Самолёт долго кружился, потом улетел, остался только длинный серебристый, медленно расплывающийся в высоком небе след.

— В тот день Васька как раз девятого фрица сбил. Ещё б одного и получил бы Героя.

Сергей лёг на спину и долго так лежал, закинув свои чёрные от загара руки за голову.

— Я знаю, что ты обо мне думаешь, капитан, — произнёс он после нескольких минут молчания. — Сказать?

— Говори.

Сергей усмехнулся и скосил глаза на Николая.

— Распутный малый, приземлившийся лётчик, работать не хочет, спекулирует своим протезом... Так ведь? Правда?

— Не совсем, но...

— Приблизительно? Да? Нет, брат, не приблизительно, а точно. Абсолютно точно. — Он помолчал. — А почему это так? Если это действительно так, то почему?

— Ты ж не хотел об этом говорить.

— Тогда не хотел, а сейчас хочу.

Он перевернулся на живот и, запустив руки в волосы, посмотрел на Николая своим обычно насмешливым, а сейчас насторожённо-вопросительным и каким-то не допускающим к себе взглядом, который как будто говорил: «Я вот тебя спрашиваю, но отвечать мне не надо, ты всё равно не сможешь, я сам себе отвечу».

— Мне вот недавно одна цыганка гадала. И знаешь, что нагадала? До глубокой старости, говорит, доживёшь, а счастья не будет. Всё будет — любовь, деньги, друзья, а счастья не будет.

— Дура она, твоя цыганка.

— Не-ет, не говори. Совсем не дура. Правильно старуха сказала. Биография-то у меня кончилась. Так, мура какая-то осталась. А ведь лётчиком был. И неплохим лётчиком. Восемь машин на счету имел. И это за каких-нибудь десять месяцев — со Сталинграда начал. Был и комсомольцем, думал в партию поступать. А теперь что? Обрубок... Летать уже не буду, из комсомола выбыл. Мотаюсь по городам с какими-то чёртовыми тапочками. В Ростове инвалидная артель их делает — хорошие, на лосёвой подошве. Я перевожу их в Харьков, в Одессу, сюда — с протезом всегда проедешь, никто не задержит. А трое ребят — жуки такие, дай бог — загоняют их. Вот так и живу — заработаю, пропью, опять заработаю, опять пропью. А ты говоришь — счастье. Нет его. Нога не вырастет. И жена к тебе не вернётся. Нет счастья... — И вдруг подмигнул. — А может, вернётся, а?

— Не знаю.

— Чего не знаешь?

— Ничего не знаю...

Сергей ловко, на локтях, подвинулся к Николаю и положил ему подбородок на колено.

— Э-э, брат. Да ты, я вижу, вроде меня, — и почему-то шёпотом добавил: — Я ведь тоже не знаю... Раньше знал, а теперь не знаю.

— Н-да... — неопределённо сказал Николай и понял, что сейчас, так же как и тогда, в пивной, заговорит о Шуре. Чёрт его знает, но в Сергее, в этом, как он сам себя называл, приземлившемся лётчике и распутном малом, было что-то, что располагало к нему.

Николай говорил долго и много, что с ним редко случалось. Сергей слушал, засунув пальцы в лохматую шевелюру, перебивая иногда вопросами.

Думает ли он о Шуре? И не проще ли послать её к чёрту, забыть о ней? Может, и проще, но думает. Целыми днями думает. Читает книгу и



вдруг замечает, что прочёл пять страниц и не помнит из них ни одного слова: думал о Шуре. В столовой официантка подаёт обед или ужин, а он смотрит на её руки и вспоминает шурины руки — как она расставляла тарелки, резала хлеб, разливала суп. Он вспоминает всё. Её голос, улыбку, забавную привычку влезать в пальто, натягивая его на голову. Вспоминает какие-то пустячные мелочи — как учил её вскакивать на ходу в трамвай. Трамвай проходил как раз мимо их дома, но до остановки было далеко, и, чтобы не опоздать в кино, они всегда вскакивали на ходу. Не всякий это умеет, а Шура наловчилась не хуже парня. Потом они пешком возвращались домой — трамваи уже не ходили — по тихой, заросшей каштанами Дорогожицкой, и Шура всё боялась, что на них нападут хулиганы — она была трусихой, — а он, напротив, не прочь был показать перед Шурой свою силу и умение драться. А весной они переехали с Лукьяновки в город. Шура с азартом принялась обставлять их комнату. Какие-то салфеточки, вазочки с ковылём. Всё мечтала о тахте. Она могла целыми днями возиться в комнате — что-то вытирать, переставлять, перевешивать. Николай смеялся. Она чуть-чуть обижалась и говорила: «Не нравится — не смотри, а я люблю, чтобы красиво было».

Николай вспоминал. Вспоминал и рассказывал обо всех этих мелочах, о которых обычно не рассказывают, так как они интересны только тебе и, уж во всяком случае, не человеку, которого ты видишь второй раз в жизни. И всё-таки он рассказывал и не думал, для чего он это делает, — просто хотелось.

— А вон и тот дом, где мы жили. Вон там, за стадионом. Видишь? Жёлтый, с башенкой. Рядом с разрушенным. Только окна не сюда, а во двор. — Николай бросил камушек в ту сторону, куда указывал. — И сколько прожили-то, каких-нибудь семь-восемь месяцев. Расписались в ноябре, как раз перед праздниками, а в июне меня уже в армию взяли... Но, ей-богу, можешь поверить, за эти семь-восемь месяцев... — Николай вдруг умолк, взглянул искоса на Сергея (тот попрежнему лежал на животе, глядя на город), потом сказал: — Тебе, холостяку, рассказывать... Разве ты поймёшь? Мне вот тоже когда-то казалось, жена — это так, для стариков: спокойно, удобно, бельё постирано. А молодому... В кино обязательно с женой, и по субботам — в театр, и чтоб галстук, воротничок — иначе нельзя. И вообще...

Сергей повернул голову, подмигнул хитрым глазом:

— Главное — «вообще». Вот оно-то и не разрешалось.

Николай помолчал, потом, не улыбаясь, сказал:

— Знаешь что, друг? Иди-ка ты домой.

— Ну вот, обиделся.

— Не обиделся, а... Иди-ка домой.

Сергей вытянул губы, и усики его смешно задвигались.

— Каргина ясная. Вернёшься.

Николай ничего не ответил. Встал. Сергей взглянул на часы.

— Тю-ю, седьмой час. Вот оно, про любовь говорить, — и тоже встал. — Так как ты сказал? Куценко Тимофей Григорьевич?

— Григорий Тимофеевич.

— А стоящий хоть парень?

— Хороший.

— Не такой лопух, как ты?

— Не такой.

— Тогда не забуду. — Он отряхнул брюки, взглянул на Николая: — А может, мне всё-таки сходить к ней, к твоей Шуре? А?

— Уходи уж... Ей-богу, не посмотрию, что ты с палочкой.

Сергей рассмеялся, ловко, почти не опираясь на палку, спустился с пригорка и помахал на прощание рукой. Николай ещё полежал немного, попытался читать «Красноармеец», но не вышло, и, сделав крюк через футбольное поле, чтобы размяться, пошёл на ужин.

## 5

В адресном столе Сергей просидел около часу. Куценко так и не нашли, зато у Митясовой оказалось два адреса: ул. Горького, 24 и 38. Один из них, очевидно, был довоенный.

Сергей сунул бумажку в карман, вышел на улицу и сразу же поймал «виллис», который отвёз его на улицу Горького. В двадцать четвёртом Митясовой не оказалось. Он пошёл в тридцать восьмой. Две беленькие девочки, сидевшие у подъезда на скамейке, сказали ему, что она живёт в восьмой квартире, надо только погромче стучать. Сергей постучал погромче. Дверь почти сразу же открыли. Он спросил Митясову. Ему сказали, что надо пройти по коридору и постучать во вторую дверь налево. Он прошёл по коридору и постучал.

— Войдите, — раздался высокий женский голос.

В небольшой, очень скромной комнате, почти сплошь заставленной цветами, сидела женщина за швейной машиной. Не вставая и продолжая шить, она повернулась и, сощурившись, — очевидно, она была близорука — посмотрела на Сергея. Сергей вошёл и остановился около стола.

— Вы ко мне? — спросила женщина, внимательно, через плечо, разглядывая Сергея, точно стараясь вспомнить, где она его видела.

Сергей кивнул головой. Женщина встала и подошла к столу.

Она была небольшого, скорее даже маленького роста, тоненькая, с густыми, падавшими слегка на лоб каштановыми волосами и, что прежде всего обращало на себя внимание, большими, серьёзными, сейчас недоумевающими серыми глазами. На первый взгляд ей никак нельзя было дать больше двадцати лет, и только потом, присмотревшись, Сергей увидел первые седые волосы, а возле рта — две морщинки, которых не должно было быть. Одета она была в какой-то домашний халатик, который сразу же немного испуганно запахла, и стоптанные туфли на босу ногу.

— Вы ко мне? — повторила она, машинально продолжая втыкать иголку в бортик своего халата.

— К вам, — сказал Сергей. — Можно сесть?

— Пожалуйста, пожалуйста. — Она торопливо подвинула стул и привычным жестом хозяйки смахнула с него предполагаемую пыль.

Сергей сел и вынул портсигар.

— Можно?

Женщина ничего не ответила. Облокотясь о спинку стула, она следила за пальцами Сергея, разминавшими папиросу. Потом тихо, точно про себя, спросила:

— Вы от Николая?

— От Николая, — сказал Сергей и отвёл почему-то глаза. — Он сейчас в госпитале. В окружном госпитале. Он не знает, что я к вам пришёл.

— Что с ним? — спросила Шура.

— Пулевое ранение с переломом кости. Рука. И нерв повреждён.

— И нерв повреждён, — повторила Шура.

— Это значит, что он не может двигать пальцами, — пояснил Сергей. — Это надолго.

— Надолго, — опять повторила Шура и посмотрела на часы, висевшие на стенке. Они показывали без пяти шесть.

Кто-то лёгкими шагами прошёл по коридору. Проходя мимо двери, крикнул:

— Шура, я сняла ваш суп!

— Одну минуточку.— Шура запахнула халатик и выбежала на кухню.

«Сейчас ввалится муж»,— подумал Сергей и невольно огляделся, ища признаков его существования в этой комнате.

На гвозде висел ремень с портупеей, а в углу, возле печки, стояли брезентовые, очевидно сделанные из плащ-палатки, сапоги. Фотографий, ни Николая, ни кого-либо другого, не было. На стенах висели картинки, вырезанные, очевидно, из журнала, — мишки в лесу, бурное море с чёрными тучами, — а возле окна большая карта с нанесённой линией фронта. В комнате было чисто и уютно, хотя и были видны следы оккупации — закопчённый потолок и большой рыжий потёк над самым окном.

Особый уют придавали цветы. Их было очень много — на комодe, на тумбочке, на письменном столе, но больше всего на окне. Маленький горшочек с плющом висел на верёвочке. Тут же стояли кактусы, один из них даже цвёл, в нескольких бутылочках торчали молоденькие листья фикуса.

В коридоре хлопнула входная дверь. Послышались быстрые мужские шаги, и в комнату, не стучась, вошёл совсем молодой, лет двадцати, не больше, парнишка в военной форме, без погон. Увидев Сергея, он как будто немного смутился, но, ничего не сказав, подошёл к письменному столу.

Почти сразу же за ним вошла Шура.

— Познакомься. Это товарищ Николая.

Молодой человек повернулся.

— Вот видишь. Я ж говорил, что это он приходил, а ты...— Он протянул руку Сергею.— Бунчужный. Он что, в госпитале?

— В госпитале.

— Очевидно, ранение несерьёзное, раз он... — Парень замялся.

У него было очень приятное курносое лицо, с пухлыми, придававшими ему совсем детское выражение губами, и смешной, тоже какой-то детский, хохолок на лбу.

— Я хотел сказать, раз он мог сюда прийти, значит...

— Нет, ранение серьёзное, — сухо ответил Сергей. — Я думаю, что на фронт он уже не вернётся.

— Не вернётся? — Сергею показалось, что парень покраснел.— Вы думаете, что не вернётся?

— Да, я так думаю.

— Вы с нами пообедаете? — спросила Шура, ставя на стол тарелки и не глядя на Сергея.

— Спасибо. Я уже обедал.

Бунчужный вынул из кармана кисет и аккуратно сложенную газетную бумагу.

— Вы курите?

— Спасибо. Только что потушил папиросу.

— А я вот махорку курю. Никак не отвыкну. Шурочка, правда, ругается.— Он улыбнулся, и на щеках его появились две ямочки.— Но махорка, по-моему, всё-таки лучше. Правда?

Сергей ничего не ответил. Бунчужный старательно свёртывал папиросу. Шура протирала тарелки.

— С посудой совсем беда. Все тарелки перебила, а новых нигде не достанешь. Может, вы всё-таки пообедаете?

— Нет, я уже обедал.

Шура положила на стол ножи и вилки и вышла на кухню. Сергей сидел и крутил пальцами пепельницу. Он сам не мог понять, чего он сидит. То, что ему надо было, он сделал: сообщил Шуре о Николае, посмотрел на нового мужа — чего ж ещё сидеть? Откланялся и ушёл! Вместо этого Сергей встал и подошёл к карте с линией фронта.

— Тут не всё отмечено, — оживлённо, точно радуясь теме для разговора, сказал Бунчужный, подходя сзади к Сергею. — Сегодня передали — вы не слышали? — наши заняли в Румынии больше ста населённых пунктов. Турну-Северин — это вот здесь — и ещё какой-то, на «лунг» кончается...

— Н-да, — сказал Сергей.

— Просто не успеваешь отмечать. Уже к югославской границе вышли. В этом, кажется, месте. Постойте, я сейчас посмотрю.

Бунчужный, став на стул, начал искать газету в большой кипе на шкафу.

— Да вот она! — Он соскочил со стула. — Так... Наши части вышли на границу Румынии и Югославии. А где — не сказано. Мне почему-то казалось...

— Вы где-нибудь работаете? — неожиданно спросил Сергей, обращаясь к нему.

Бунчужный удивлённо посмотрел.

— Работаю. А что?

— Да ничего. Просто так. Интересуюсь. На каких фронтах воевали?

— На разных. На Юго-Западном, Донском, Сталинградском...

Вошла Шура с кастрюлей в руках.

— Может, вы всё-таки...

— Нет, нет... Я пошёл. — Он посмотрел на часы. — Уже седьмой час.

— Так скоро? Мы даже... — Она стала с кастрюлей в руках и смущённо-вопросительно смотрела на Сергея. — Вы торопитесь, я понимаю.

— Да, я тороплюсь. Всякие дела ещё... Всего хорошего.

— До свидания, — скороговоркой сказал Бунчужный и протянул руку. — Вы там от меня... — Он прижал руку к груди и слегка поклонился.

Шура поставила кастрюлю на стол.

— Одну минуточку. У нас темно. Разрешите, я вперёд пройду.

Открывая наружную дверь, она спросила:

— Вы не сказали, где он там лежит.

— Первое хирургическое. Третья палата. Это второй корпус слева. Большой двухэтажный корпус.

— Спасибо. Большое спасибо. Я обязательно... Осторожнее, там выбиты ступеньки, не споткнитесь.

— Ничего, ничего. Я вижу. До свидания.

— До свидания.

Сергей стал спускаться. Шура постояла у раскрытой двери, прислушиваясь к удаляющимся шагам Сергея. Лестница была тёмная, и он на своём протезе спускался очень медленно. Потом хлопнула входная дверь. Прошла соседка по коридору. Шура дождалась, пока она не скрылась в своей комнате, прошла на кухню и там заплакала.

## 6

Дни попрежнему стояли тёплые, совсем летние, и Николай целыми днями, скинув рубашку, загорал на своей лужайке.

Он привык к чтению. До войны он мало читал, а если и читал, то урывками, когда нечего было делать, да и то те книги, которые откуда-то приносила Шура. Это были всё старые, растрёпанные, пахнувшие почему-

то мышами и пылью книги про любовь, которые Николай тут же забывал — он не любил читать про любовь.

В госпитале он стал читать. Сначала тоже от нечего делать. Зашёл как-то после кино в библиотеку, просмотрел газеты, увидел на полках книги и попросил, чтобы ему дали что-нибудь интересное, только не про войну и не про любовь.

Библиотекарша — пожилая, коротко остриженная и приветливая — улыбнулась и дала ему «Всадник без головы». Он на следующий же день его вернул и получил «Баскервильскую собаку», затем «Гиперболоид инженера Гарина». Эта книга ему не понравилась — слишком уж выдуманная, — и он попросил что-нибудь попроще, без фантазии. Анна Пантелеймоновна улыбнулась и дала ему рассказы Горького. Николай принялся за них с лёгким недоверием и осторожностью, но потом увлёкся, потребовал ещё.

Он сам себе удивлялся. В прошлом году, когда он лежал в госпитале, в Баку, он был первым заводилой, душой палаты. Под его руководством чуть ли не ежедневно «пикировали» в город, пользуясь выходящим на улицу окном физкультурного зала, ходили в театр и кино, по ночам долго сидели в коридоре, развлекаая дежурных сестёр, или, запершись в палате, занимались недозволенной игрой в карты. Здесь же было не то. Большинство находившихся в госпитале были из местного гарнизона. К ним приходили жёны, сёстры, знакомые. Устроившись где-нибудь на травке, они уничтожали принесённые им продукты и рассказывали, рассказывали без конца о своих болезнях. Николая это раздражало. А может быть, он просто завидовал. К нему никто не приходил, даже Сергей — и тот исчез.

Как-то ребята из соседней палаты (там было два фронтовика) достали где-то обмундирование и предложили Николаю «спикировать» в город.

— Хватит читать. Глаза опухнут.

Николай пошёл, но с ужасом заметил, что совершенно разучился веселиться, и с завистью смотрел на своих товарищей, которые, подцепив в кино каких-то барышень, просто и непринуждённо болтали с ними, вызывая поминутно вспышки хохота своими незамысловатыми анекдотами и фронтовыми рассказами. Николай тоже пытался острить, но у него почему-то не получалось. Одна из девушек даже сказала:

— Можно подумать, товарищ капитан, что вы вчера свою бабушку похоронили.

«Чёрт! — выругал сам себя Николай. — Действительно, точно бабушку похоронил. На человека перестал быть похож. И из-за чего? Из-за какого-то там Феди. А ну его!..» — И чтобы как-то отвлечься от этих мрачных мыслей, предложил зайти посмотреть аттракцион «Петля смерти», мимо которого они как раз проходили.

После аттракциона, где двое парней со страшным треском носились на мотоциклах по вертикальной стенке, Николай несколько оживился, стал тоже рассказывать какие-то фронтовые эпизоды и вскоре даже почувствовал, что молодым девушкам не так уж с ним и скучно. Потом проводили девушек домой и условились встретиться в ближайшую субботу.

Но встреча эта не состоялась. Помешали два события, происшедшие на следующий же день.

Первым событием были полученные с фронта письма. Их пришло сразу три — в одинаковых конвертах, со штампами военной цензуры.

Замполит Кадочкин, исполняющий сейчас обязанности командира роты, своим красивым круглым почерком писал, что «солдаты и офицеры вверенного вам подразделения» (из деликатности он писал, что рота вверена всё ещё ему, Николаю, чем хотел подчеркнуть свою веру в его воз-

вращение) попрежнему отлично выполняют задания командования, что противник всё ещё упорен, но упорство это будет сломлено и день победы не за горами. В конце письма Кадочкин перечислял, кто чем награждён, и сообщал, что Николай тоже представили к ордену Отечественной войны 1-й степени за Люблин.

Второе письмо было от бойцов. По цветистости и замысловатости фраз Николай сразу понял, что писалось оно Толей Сёмушкиным, новым комсоргом, ротным поэтом, без конца снабжавшим дивизионную газету своими стихами, которые никогда не печатались. Письмо кончалось следующей строфой:

Мы скорейшего желаем  
Излеченья ваших ран,  
Чтоб в Берлине, мы мечтаем,  
Удалось побыть и вам.

Третье письмо было от штабной писарши Лёля — весёлой, смешливой и тайно, хотя это знали все, влюблённой в своего командира роты.

В письме писалось, с бесконечным повторением слов «товарищ капитан», что все скучают о своём бывшем командире, что Польша и поляки Лёле очень нравятся, особенно польки, что на смену вишням («помните, товарищ капитан, Лушув под Люблином») пришли антоновки, что в роте есть теперь собственный павлин, которого раненым подобрал санинструктор Павлицев, что сама Лёля теперь уже тётя — она получила письмо из дому, что у неё родился племянник («не у меня, конечно, а у моей сестры Клавы»), а пятнадцатого была годовщина части, и она выпила полстакана вина «и была совсем, совсем пьяная». Письмо было на шести страницах, кончалось пожеланиями скорейшего выздоровления и надеждой, что товарищ капитан не забыл своих лучших друзей, которые часто-часто его вспоминают.

Николай раз десять перечитывал письма. Он представлял себе, как их писали, как Лёля бегала в штадив за конвертами (все три письма были не обычные фронтовые треугольнички, а в настоящих, совсем как в мирное время, конвертах), как Толя Сёмушкин, распластавшись на животе в кустах, сочинял стихи, как долго искали и не могли найти, а потом находили наконец где-нибудь храпящим вестового Лободу, чтобы поставил свою подпись, и он, сопя и кряхтя, выводил её аршинными буквами... Представил себе и павлина, которого, наверное, возит Михеич поверх своих мешков, и вспомнил, как Михеич после Одессы точно так же возил зачем-то беременную козу, которая разродилась потом тремя маленькими козлятами.

Вспомнил и всех своих друзей — и последних, и сталинградских, и первых дней войны, когда он был ещё в запасном полку, — и, как это всегда бывает, вспоминалось почему-то не страшное и тяжёлое, связанное с войной, а какие-то весёлые, забавные случаи, всё то хорошее и сближающее людей, что встречалось ему за эти последние три года.

И так вдруг захотелось туда, к своим разведчикам, к своему связному Тимошке, замполиту Кадочкину, Лободе, туда, где есть для тебя настоящее дело, где ты чувствуешь себя нужным, что Николай решил сейчас же поговорить с замполитом госпиталя о своей скорейшей выписке.

Майор Касаткин — Николай встретился с ним, когда платил партвзносы, — произвёл на него хорошее впечатление: спокойный, немногословный, сам в прошлом фронтовик. Договориться с ним, вероятно, будет нетрудно. А на фронте, в конце концов, если не в дивизии, то в штабе

армии всегда можно найти работу —веряющим или ещё кем-нибудь, работа всегда найдётся.

Решение это ещё больше укрепилось после второго, происшедшего в тот же день, события.

## 7

Николай, как обычно, шёл после завтрака на свою лужайку. Дойдя до «второй хирургии», он собирался уже свернуть налево, когда кто-то окликнул его:

— Товарищ капитан, а товарищ капитан!

Он обернулся. Сестра-хозяйка, с кипой стирального белья в руках, делала ему головой знаки, чтобы он подошёл.

— Только для вас исключение сделала, — сказала она басом и не улыбаясь (она была строга, её все боялись). — Приёмные часы у нас только вечером, вы так и скажите своим друзьям. С шести часов. А днём, когда процедуры, чтоб не ходили. Там вас ждут.

— Кто? — удивился Николай (Сергей прошёл бы прямо на лужайку).

— А мне откуда знать? — Хозяйка пожала толстыми плечами. — Сидит какая-то с чемоданчиком.

«Какая-то с чемоданчиком...»

Ещё издали он увидел сидевшую на скамейке Шуру. Лица её не было видно, она, наклонясь, что-то поправляла в тужике. Рядом, на скамейке, стоял маленький спортивный чемоданчик, Николай сразу узнал его — тот самый, в котором он когда-то носил свои спортпринадлежности.

Николай часто представлял себе мысленно эту встречу. Он знал, что она должна произойти — в трамвае ли, на улице ли, но произойти должна, — и заранее приготовил даже первую фразу. Он собирался начать первым, чтобы задать тон всему разговору и сразу же дать понять Шуре, что он ко всему относится абсолютно спокойно, что прошлое должно остаться прошлым, искусственно восстанавливать его незачем, и пускай идёт всё так, как пошло. Что он чувствует и что думает на самом деле — это другой вопрос, но говорить он будет именно так. Так он решил. Но сейчас, подходя к Шуре, он вдруг почувствовал, что не знает ни как держать себя, ни о чём говорить.

Шура, очевидно, тоже не знала, потому что, встав, сделала навстречу ему два маленьких шажка, остановилась, держа чемоданчик обеими руками, и улынулась. Возле рта появились две глубокие складки — раньше их не было.

«Бог ты мой, как изменилась», — подумал Николай и только сейчас заметил, что на скамейке, кроме Шуры, сидят ещё двое раненых и что оба они с нескрываемым любопытством людей, соскучившихся по посторонним лицам, смотрят на него и Шуру.

Один из них, круглолицый, совсем молоденький парень, с мохнатым подбородком и повязанной головой, улыбнулся и сказал:

— А вы, дамочка, волновались. Видите, какой жирный стал. По две порции ест. — Он подмигнул Николаю. — Солдат спать, а служба идёт. Правильно я говорю, товарищ капитан?

Николай кивнул головой.

— Они уже уходить собирались, — весело улыбаясь, объяснил парень. — Тут на них хозяйка малость накричала. А я говорю — погоди трошки, капитан, говорю, после завтрака обязательно за книжкой придут. А тут, вижу, вы туды, за кухню пошли. Хотел крикнуть, а тут хозяйка вас. Да вы садитесь, что вы стоите, всем места хватит.

Он гостеприимно подвинулся и смахнул полую халата какие-то щепки со скамейки.

— Да нет уж. Спасибо, мы пойдём... — Николай протянул руку за чемоданчиком. — Пойдём.

— Узнаёшь? — тихо спросила Шура, отдавая чемоданчик.

— Узнаю, — сказал Николай и слегка коснулся шурино локтя. — Пойдём.

Они молча дошли до забора.

— Осторожно, здесь проволока, — сказал Николай, раздвигая колючую проволоку, — я уже два раза рвал пижаму.

Шура ловко протиснулась в отверстие забора.

Они пересекли овраг и вышли на лужайку.

— Здесь хорошо, — сказала Шура и села на траву.

— Хорошо, — согласился Николай и тоже сел. — Я здесь целыми днями валяюсь.

— А почему у тебя нет гипса? — спросила Шура. — Я думала, что ты в гипсе.

— Теперь стараются без гипса. Так, говорят, лучше.

Николай полез в карман и вынул трубку, хотя ему совсем не хотелось курить. Шура сидела в трёх шагах от него, опершись спиной о тоненькую, совершенно случайно попавшую сюда берёзку, и смотрела на город. На ней была белая, очень шедшая ей блузка с вышитыми рукавами.

— Так мама, значит, умерла? — тихо спросил Николай.

— Да.

— От рака? Это всё-таки рак оказался?

— Да.

— И очень мучилась?

— Очень. Особенно последние дни.

Николай чиркнул спичкой и долго разжигал трубку.

— Мне соседка из двадцать четвёртого номера сказала. При нёмцах ещё умерла? — И, помолчав, добавил: — Так я её и не увидел...

Шура ничего не ответила, потом спросила:

— А где тебя ранило?

— В Люблине.

— Осколком?

— Пулей. Автоматчик с крыши. Дырка пустяковая, а вот пальцы не работают.

Шура посмотрела на его пальцы — они безжизненно свисали из-под повязки — и сказала:

— Плохо, что правая.

— Ничего. Зато левая приучится работать.

Потом Шура стала расспрашивать, чем их кормят в госпитале и как лечат. Николай отвечал. Отвечал, машинально посасывая погасшую трубку, и думал о том, что всё, происходящее сейчас на этой лужайке, нелепо и фальшиво до крайности.

К чему всё это? — думал Николай, изредка, уголком глаза взглядывая на Шуру, изменившуюся, похудевшую, но всё-таки почти прежнюю. К чему всё это? Вот она пришла. Пришла в белой блузке с вышитыми рукавами, которая ему всегда так нравилась. И именно поэтому она её надела. И именно для того, чтобы напомнить прошлое, она пришла со спортивным чемоданчиком и спросила, узнаёт ли он его. Да, он его узнал. И что же? Он и Шуру узнал. Она так же, как и раньше, немного щурит глаза, так же разглаживает юбку на коленях, и всё-таки... Всё-таки она чужая. Между ними выросло то, о чём — Николаю это сейчас совершенно ясно — ни он, ни Шура говорить не будут. Да и нужно ли?..

Они посидят так ещё десять, двадцать, тридцать минут и будут смотреть на город, потому что смотреть друг на друга неловко и тяжело, и будут говорить о том, как кормят в госпитале и почему ему не надели



гипсовой повязки, — и обоим это не интересно и не нужно, и всё-таки они будут говорить только об этом, а потом Шура встанет и скажет, что ей надо куда-то итти, и Николай тоже встанет, и они попрощаются и разойдутся.

Внизу, по аллее, прошла парочка — знакомый Николаю интендантский майор из терапии с полной, коротконогой дамой. Увидев Николая, он помахал рукой, потом подошёл.

— Надеюсь, не помешал вашему уединению?

Николай ничего не ответил.

— А мы вот прогуливаемся, врачи велют побольше ходить. Вот и хожу. А погодка-то, погодка-то какая!.. Как говорится, старожилы не припомнят такой осени.

Дама тоже что-то сказала насчёт погоды. Шура взглянула на часы — у неё на руке были маленькие часики на чёрненькой тесёмке. «Их раньше не было», — подумал Николай и впервые почувствовал, как в нём зашевелилось что-то недоброе по отношению к тому, кого он знал только как дядю Федю и кто, очевидно, подарил эти часики Шура.

— Ну, я пойду, — сказала Шура вставая. — Первый час уже.

Николай тоже встал. Майор приветливо помахал рукой и стал помогать своей даме спускаться с пригорка.

— Ты спешишь? — спросил Николай.

— Да. Мне надо ещё... — ответила Шура и стряхнула приставшие к юбке листья. — Ты меня не провожай, я знаю дорогу.

— А чемоданчик? — сказал Николай.

— Ах, да... — Она приостановилась. — Там я тебе кое-что принесла. Ты возьми... — и быстро сбежала с пригорка на аллею.

Она больше ничего не сказала, даже не обернулась, а обычным своим мелким, но быстрым шагом дошла до каменной лесенки и, как всегда, бочком спустилась по ней.

Николай тоже ничего не сказал. Постоял немного, потом подошёл к чемоданчику — он так и лежал нетронутый возле берёзки, — раскрыл его. В нём лежала аккуратно завязанная тряпочкой бутылка молока, два пончика, яблоки и пачка печенья. Всё было тщательно завернуто в бумагу. На самом дне, тоже завернутая в бумагу, лежала фотография. Николай посмотрел на неё, они были сняты вдвоём — он в белой майке, напряжившийся, чтобы лучше выделялись мускулы, Шура в той самой блузке с вышитыми рукавами, в которой она пришла сейчас. Потом положил всё обратно, так, как оно лежало, взглянул на часы — до обеда было ещё целых два часа, — старательно вычистил и продул трубку, опять набил её табаком.

Ну, вот и всё. Встретились, поговорили и разошлись. Просто и спокойно. И ни одной слезинки. И голос ровный, спокойный: «Да... Нет... Где тебя ранило?.. Жаль, что правая». И ушла. Оставила чемоданчик — раненым всегда что-нибудь приносят — и ушла. И, вероятно, он больше никогда её не увидит. А может, будет иногда встречать. Впрочем, стоит ли об этом думать? Он хочет сейчас только одного — назад, туда, где самые близкие для него люди: Тимошка, Кадочкин, весёлые его разведчики.

Николай встал — начал накрапывать дождик, — пошёл к замполиту. Но майор Касаткин развёл руками и сказал, что хотя он и вполне сочувствует Митясову, но, к сожалению, вопросами выписки занимается начмед.

Пришлось итти к начмеду.

Разговор с ним занял не больше двух минут. Начмед, изящный капитан в пенсне, со скучающим видом человека, которого по пустякам отрываю от важного дела, выслушал Николая и коротко сказал:

— Безрукие разведчики на фронте не нужны. Это вам так же ясно, как и мне. Вылечитесь — пошлём, — и стал набирать какой-то номер по телефону.

## 8

Шура вышла со стадиона и остановилась возле Музкомедии. Ей надо было зайти в три места. В Стройуправление — узнать насчёт работы, — для этого надо было свернуть налево по Красноармейской; на базар за керосином (утром она вылила последний в примус) — для этого надо было зайти домой за бидоном; и в магазин за пайком — для этого тоже надо было зайти домой и взять карточки. Всё это необходимо было сделать именно сегодня, не завтра, не послезавтра, а именно сегодня. Шура это хорошо знала и всё-таки повернула почему-то и пошла по Красноармейской направо.

Откуда-то нагнало тучи, первые за этот месяц. Стал накрапывать дождь. Он становился всё сильнее, и Шура — она была в лёгоньких белых босоножках — зашла переждать его в обувной магазин.

В магазине выдавали резиновые тапочки. В нём была уйма народу. Шура пристроилась между прилавком и витриной, стала смотреть на улицу. Дождь припустил, превратился в ливень. Прохожих загнало в подъезды и ворота. Только наиболее смелые и торопящиеся, завернув брюки до колен, забавно прыгали через лужи и стремительно бурлящие ручьи.

— Вот это дождик, так дождик... — сказал кто-то над самым её ухом.

Шура вздрогнула. Перед ней стоял парень с маленькими, залихватски подкрученными усиками — тот самый, который приходил, — стоял и улыбался.

— Узнали?

— Узнала, — сказала Шура.

— Вас что, дождь сюда загнал?

— Дождь. — Шура почему-то старалась не смотреть ему в глаза. — Вас тоже?

— Меня? Допустим, что тоже. Кстати, вам не нужны тапочки?

— Нет, не нужны.

— А то я мигом. Вы какой номер носите?

— Тридцать пятый... Но, ей-богу, мне не нужны...

— Одну минуточку.

Сергей исчез в толпе. Через минуту вернулся с маленьким свёртком в руках.

— Берите. И не делайте вид, что они вам не нужны. В крайнем случае загоните на толкучке.

Шура растерянно посмотрела на Сергея снизу вверх — он был почти на две головы выше её.

— Да, но...

— Тринадцать пятьдесят. Деньги можете прислать по почте — Главпочтамт, до востребования, Ерошик Сергей Никитич... Смотрите, дождик-то уже прошёл. И солнце вовсю.

Они вышли на улицу.

— Вам куда? — спросил Сергей.

— Мне? — Шура замялась. — Мне туда, — она показала направо.

— Ну, и мне туда.

Они пересекли площадь и пошли по направлению к центру. Небо совсем очистилось, и только ручьи, весело бегущие вдоль тротуаров, напоминали о прошедшем дожде.

— Может, вас на машине подвезти? — спросил Сергей.

— А у вас что, есть машина?

— Упаси бог. Деньги есть. А это то же самое. Вам далеко?

— Мне? Нет. Мне совсем близко. До этой... До площади Сталина. — Она только сейчас заметила, что Сергей прихрамывает, и смутилась. — Может, вам...

— Нам ничего. Мы привычные. А свежим воздухом дышать только полезно.

По дороге Сергей рассказывал о последнем матче «Динамо» — «Спартак» и о том, сколько какой футболист зарабатывает. Шура молча шла рядом. Когда они дошли до площади Сталина, Сергей спросил:

— Вы очень торопитесь?

— Так себе, — сказала Шура.

— Ну, если так себе, пойдём на Днепр посмотрим. Поверьте мне, счень хорошая река.

Они свернули на Петровскую аллею. Шура попрежнему шла молча. Ей хотелось спросить Сергея, давно ли он знает Николая, когда они в последний раз виделись и говорил ли что-нибудь ему Николай о ней, но она не знала, как об этом заговорить, а Сергей всё рассказывал о матчах, футболистах и о каком-то волосатом мальчике, который родился у его соседей.

Они миновали стадион «Динамо» и вышли на днепровские откосы. После дождя воздух был настолько прозрачен, что, казалось, можно было рассмотреть каждый домик, каждое деревцо до самого горизонта.

Тучи угнало далеко за реку, и там, где-то над Дарницей или Броварами, шёл ещё дождь — отсюда была видна только серая косая полоса и клубящиеся, нежнобелые вверху и почти совсем чёрные внизу облака. По реке, лениво шлёпая колёсами, плыл маленький, чёрненький буксир, таща за собой длинный хвост плотов.

— Смотрите, а на пляже ещё люди есть, — сказал Сергей. — Интересно, что они делали во время грозы. Кстати, мой вам совет — наденьте тапочки. Вы потом не отмоете свои босоножки.

Шура осмотрелась по сторонам, куда бы сесть.

— А вот на этот дренажный колодезь. Я вам газету подстелю.

Они сели на деревянный сруб. Шура скинула босоножки и надела тапочки.

— Видите? Как раз по ноге. А говорили, что не нужно. Давайте заверну. — Он аккуратно завернул босоножки и отдал Шуре. — Не хуже, чем в магазине.

— Спасибо.

— Если хотите, я могу вам и на коже достать.

— Ради бога, мне и так неловко.

— Хорошие. Лосёвые.

— Да перестаньте об этом говорить. Ведь мы пришли на Днепр смотреть.

— Так мы же смотрим. Вы разве не смотрите? Я смотрю. Между прочим, довольно незначительная река. Волга лучше.

— А вы видели Волгу?

— Только сверху. В Сталинграде.

— Вы были в Сталинграде?

— Был. Только не — в, а — над.

— Вы лётчик?

— Был...

Пауза.

— А теперь?

— Инвалид второй группы. Отличная профессия.

— Не надо так говорить, — сказала Шура.

— Почему же? Если не ошибаюсь, ваш... Простите, я не знаю имени и отчества.

— Вы о Феде говорите? — совершенно спокойно сказала Шура. — Да, он тоже инвалид. Что вы хотите этим сказать?

— Ничего. Только то, что сейчас много таких, как я и он. Вот и всё. — Он помолчал. — Вы были у Николая?

— Была.

— Ну?..

— Ничего...

Буксир хрипло загудел. На мостике кто-то махал белым флажком — навстречу шёл пассажирский пароход.

— Простудился, бедняжка, — сказал Сергей.

— А вы давно с ним знакомы? — спросила Шура.

— С кем? С Николаем?

— Да.

— Две недели, даже меньше.

— А я думала, вы вместе воевали.

Они помолчали. Теперь загудел пассажирский пароход, низко и густо, и на нём тоже замахали флажком.

— А зачем вы тогда приходили? — спросила Шура.

— Как зачем? Чтоб сообщить вам...

— О чём?

Сергей удивлённо посмотрел на Шуру. Она сидела совершенно прямо, не отрывая глаз от буксира, и машинально разглаживала юбку на плотно сжатых коленях.

— О чём вы хотели сообщить?

— По-моему, вы знаете о чём?

— Знаю. Но не знаю зачем. — Она пристально посмотрела на него и сразу же отвела глаза. — После того вы у него не были?

— Не был...

— Я была у него сегодня. Через двадцать пять минут я ушла. Я смотрела по часам... — Она соскочила со сруба. — Пойдёмте. Что-то холодно стало.

Господи, как трудно, когда всё надо держать в себе. И не день, не два, а годы, целые годы. Да разве об этом расскажешь? И кому? Постороннему человеку, которого видишь второй лишь раз...

Она думала, что сможет всё рассказать Николаю. Но она не смогла. А если б даже и смогла? Понял ли бы он её? Понял ли бы, что значит три года жить под врагом? Ну, не три, два с половиной. Разве могут они это понять, люди, никогда этого не испытывшие?

Две женщины. Две одинокие женщины. Причём одной за шестьдесят и она прикована к постели. Она тает на глазах. Она не жалуется, не плачет, а когда её особенно сильно схватит боль, поворачивается лицом к стенке, и только по вздрагивающей под одеялом спине видно, как ей больно. В комнате так холодно, что замерзает вода в стакане. Под окном весь пол покрыт инеем.

«Ах, какая сегодня вкусная каша», — говорит мама, чтобы доставить Шуре удовольствие. Она знает, что для того, чтобы купить стакан пшена, нужно полдня просидеть на морозе с мешочком семечек. «Ах, какая она вкусная», — говорит она, а потом всю ночь мучится от изжоги.

Мать умирает на глазах, и ничем её нельзя помочь. До последнего дня она оставалась в сознании. Правда, она многого не понимает. Она каждый день говорит о Николае и всё сокрушается, что он не попал в плен. «Мама, что ты говоришь? Разве можно такое?» — «Нет, нет, Шурочка, я понимаю. Я только думаю, что он мог бы убежать или его выпу-

стили бы, ведь они кого-то там выпускают, и он пришёл бы к тебе, к нам. А потом пришли бы наши. Разве ты не хочешь видеть Николая?» — «Хочу, очень хочу, но разве можно плен?» — «Я знаю, Шурочка. Я всё понимаю. Но иногда всякое подумаешь...»

Она так и не дождалась ни Николая, ни наших. Она умерла в тот день, когда немцы подожгли соседний, двадцать шестой номер. «Почему такой дым? — спрашивала она. — Надо, вероятно, прочистить дымоходы. Ты попроси Егора, он согласится. Он всегда соглашается, когда его попросят». Она умерла в восемь часов вечера, а в девять пришли эсэсовцы и вынесли всю обстановку, оставили только кровать, на которой лежала мама — маленькая, совсем как ребёнок, — два стула и стол. Они были поедены шашелем, и эсэсовцы не захотели их брать.

Она похоронила маму без гроба. Егор помогал копать могилу. Он же достал подводу, на которой везли маму — просто так, завёрнутую в простыню. Это было в конце октября прошлого года. Через две недели пришли наши.

Она даже не помнит, как попала в эту квартиру. Вероятно, соседи привели. Сначала их было много — человек десять в одной комнате, с детьми, с какими-то узлами. Потом, когда гитлеровцы стали угонять жителей, соседки одна за другой исчезли, разбежались по окраинам, пригородным сёлам. Она осталась одна, совсем одна в пустой квартире. Днём сидела на чердаке, когда немцы ходили по квартирам, на ночь спускалась вниз.

В ночь на шестое ноября на улице всё время была перестрелка. Всю ночь она просидела на чердаке. Сквозь слуховое окошко было видно, как горит город. Утром она спустилась в квартиру. В ней были бойцы, наши бойцы.

Может ли понять Николай, что значит увидеть своих после двух с половиной лет? После того, как немцы были под самым Сталинградом и целый день их радио кричало, что Советская Армия почти полностью уничтожена. Может ли он это понять? Она смотрела на этих солдат — грязных, обросших, пропахших насквозь махоркой и потом, и они ей казались красивее всех. Она стирала им бельё, латала и штопала обмундирование, варила им обед. Один из них был ранен — совсем молоденький лейтенант, какой-то их начальник. Его нельзя было переносить, и он лежал тут же, на единственной кровати, и она за ним ухаживала. Госпитали были переполнены, люди лежали на полу. Его часть ушла вперёд, он остался у неё.

Соседки — новые, появившиеся после освобождения города, — стали шушукаться чуть ли не с первого дня. В разговорах с ней они называли его не иначе, как «ваш». «Вашему там письмо пришло. Ваш опять расплескал вокруг умывальника воду».

У него были перебиты обе ноги. Это было, очевидно, очень больно, но он не стонал, а только стискивал зубы и смотрел в потолок. Когда бойцы уходили, многие из них плакали. Они любили своего лейтенанта и за глаза называли его Федюшей. Он был моложе самого молодого из своих бойцов — ему было только девятнадцать лет, а на вид и того меньше. У него ещё был пушок на верхней губе, а бороды совсем не было.

Боже мой, Шура чувствовала себя совсем старухой рядом с ним. Когда перед стиркой, меняя ему рубашку, она смотрела на его совсем ещё мальчишеское тело с выдающимися ключицами и лопатками, ей казалось, что это её сын, хотя она была всего лишь на пять лет старше его.

Потом его забрали в госпиталь. Она носила ему передачу — какие-то жалкие булочки и сметану, которую он очень любил. Через полгода он

уже ходил на костылях. Его демобилизовали и дали ему вторую группу. Жить ему было негде. Семья его, отец и мать, жили где-то около Риги — отец до войны работал на заводе ВЭФ, — но там были ещё немцы. Она поступила так, как, по её мнению, поступил бы каждый на её месте, — ведь он прожил здесь почти три месяца и всё равно соседи называли его «ваш».

И случилось то, что не могло не случиться, когда двое молодых людей живут под одной крышей.

Была ли это любовь? Со стороны Феи — да. Возможно даже, что это была его первая настоящая любовь, первая любовь человека, прямо со школьной скамьи попавшего в водоворот войны и в этом водовороте столкнувшегося с приласкавшей его женщиной. А со стороны Шуры? Очевидно, тоже да. Но это была какая-то другая любовь, совсем особая, родившаяся из сострадания к этому молоденькому, тяжело раненному человеку, первому человеку с красной звёздочкой на пилотке, которого она увидела после двух с половиной лет оккупации.

Так, по крайней мере, объясняла себе Шура, бедная, растерявшаяся, сама не понимавшая, что происходит, Шура. Ведь все эти годы она думала только о Николае. Часто по ночам, закрыв глаза, она лежала и думала о нём. Она старалась представить его себе в военной форме, в которой никогда его не видела, — когда она с ним прощалась, он был в лыжном костюме и тапочках на босу ногу, — и он рисовался ей почему-то в каске, которая, как ей казалось, очень должна была ему идти, и с гранатами на поясе. Солдаты должны его любить, думала она, любить и уважать, потому что он был прост, весел и смел, — в этом она не сомневалась. Она не верила в его смерть, она ждала его. Она тысячу раз представляла себе, как он постучит в комнату, войдёт, посмотрит на неё. И ей становилось вдруг радостно и весело.

Может ли Николай всё это понять? И захочет ли? Понять её одиночество, её тоску. Она ждала Николая, но его не было. Она ждала писем, их тоже не было. Она понимала, что чем дольше Федя живёт у неё, тем положение становится сложнее. Но она ничего не могла с собой поделать, она боялась одиночества, больше всего боялась одиночества. Она ждала Николая.

И вот он приехал. И она ему ничего не сказала. Она не нашла в себе смелости заговорить об этом первой. А он даже ни разу не улыбнулся. Он сидел и курил трубку. Вот и всё...

Шура и Сергей молча прошли Петровскую аллею. Возле сожжённой библиотеки расстались. Сергей пошёл направо, Шура подождала, пока он скроется, потом пешком пошла домой.

## 9

Рана Николая быстро заживала. Тот самый Гоглидзе, о котором говорил когда-то Сергей, флегматичный, невозмутимый хирург, произносивший не больше десяти — двенадцати слов в день и со скучающим, безразличным видом делавший самые сложные операции, щупал своими большими, красивыми пальцами с коротко остриженными ногтями рану Николая и, позёвывая, говорил:

— Что ж, можно уже и к физическим приступать...

Это значило, что грануляция идёт хорошо, а на месте перелома появилась костная мозоль.

Николай стал ходить в физиотерапевтический кабинет. Маленькая, чёрненькая, почти совсем глухая от контузии, но живая и проворная, несмотря на свои пятьдесят лет, сестра-татарка, которую все звали про-

сто Бариат, потому что никто не мог запомнить её отчества — Бадрутдиновна, — делала ему диатермию и гальванизацию и восторгалась его аккуратностью. Николай приходил ежедневно в точно назначенный час и терпеливо сидел на своей скамеечке, обложенный мешочками с песком. Он даже находил какое-то удовлетворение и успокоение в этих ежедневных хождениях к Бариат. Хоть и скучно, но всё-таки как-то приближает выписку, приближает фронт.

Сергей так и не появлялся — очевидно, опять куда-то уехал. Один из двух язвенников выписался. На его место, как раз рядом с Николаем, лёг пожилой полковник с трофической язвой на ноге. Он был ворчлив, подолгу и ещё подробнее, чем остальные, говорил о своей болезни и не разрешал курить в палате. Николай стал ещё реже в ней бывать и всё чаще ходить в библиотеку — помогать симпатичной Анне Пантелеймоновне сортировать книги. Это было у него чем-то вроде партийной нагрузки, придуманной специально для него майором Касаткиным, считавшим, что этим самым он убивает двух зайцев — с одной стороны, усиливает, так сказать, партийное ядро библиотеки, а с другой — отвлекает «ран-больного» от иных, менее полезных занятий.

Как-то, придя в библиотеку перед самым её закрытием, Николай застал Анну Пантелеймоновну завязывающей толстую стопку книг. Увидев Николая, она, слегка смущаясь, попросила его дотащить их до ворот.

— Там дочка будет ожидать, на территорию её не пускают, а до ворот я сама не дотащу. Это всё неходкие книги. Хочу завтра обменять в коллекторе на новые.

Николай охотно согласился. На полпути Анна Пантелеймоновна забеспокоилась, что ему тяжело их нести в одной руке, и предложила разделить пачку на две, чтобы и она могла что-нибудь нести. Николай рассмеялся.

— Я спортсмен, мамаша. Когда-то этой самой левой рукой двухпудовую гиру раз пятнадцать выжимал.

— Ну, смотрите, смотрите. А то я тоже физкультурница. При немцах на четвёртый этаж два ведра таскала.

Они подошли к воротам. Кроме облокотившегося о перила часового, там никого не было.

— Вероятно, на лекциях задержалась, — сказала Анна Пантелеймоновна.

— А где ваша дочка учится?

— Не учится, а учит. Английский язык преподаёт. В Строительном институте, не как-нибудь.

Они немного постояли.

— А где вы живёте, Анна Пантелеймоновна?

— В двух шагах. Вон за тем домом, видите? — Она указала рукой в сторону стадиона. — По тропинке только спуститься и сразу же налево.

Николай подхватил книги.

— Пошли.

— Что вы, что вы? — испугалась Анна Пантелеймоновна. — Вам неприятности потом будут.

— Чепуха, мамаша, я к ним привык.

Когда они дошли до запущенного четырёхэтажного дома с какими-то облупившимися полуголыми старцами на фасаде, Николаю так вдруг не захотелось возвращаться в свою палату с нудным полковником, что он, даже не отказавшись из приличия, сразу согласился зайти попить чаю.

Они поднялись на четвёртый этаж.

Таких комнат, как та, в которую он попал, Николай никогда ещё не видел. Большая, почти квадратная, с большим окном и дверью на заросший виноградом балкон, залитая сейчас лучами заходящего солнца, она поражала невероятным количеством книг. Они были везде — на изогнувшихся под их тяжестью полках вдоль стен, на полках дивана, на подоконнике, но больше всего на полу, прикрытые какими-то ковриками и старыми одеялами. На свободных от полок кусках стен и на самих полках висели фотографии. Их было тоже очень много — какие-то мужчины и женщины в смешных туалетах, виды незнакомых городов, озёр и гор. Над диваном висела небольшая, но сразу бросающаяся в глаза картина — озеро или пруд и склонившиеся над ним тронутые осенью деревья.

Николай стал рассматривать фотографии. Чаще всего попадался мужчина с усами и в пенсне — очевидно, муж, подумал Николай — и хорошенькая девочка с косичками и смеющимися глазами — вероятно, дочь. Потом выяснилось, что мужчина с усами вовсе не муж, а отец, а девочка с косичками — сама Анна Пантелеймоновна.

— А где ваш муж? — спросил Николай.

— Мой муж?

Анна Пантелеймоновна указала на маленькую выцветшую фотографию, висевшую над диваном. Подстриженный бобриком мужчина с ружьём в руках и дама, подпоясанная широким поясом, с перекинутым через плечо биноклем, стояли возле нагруженного тюками ослика.

— Это мы в Монголии. В тринадцатом году. Видите, какая я была тогда молоденькая. Ага... Явилась наконец.

В комнату быстро вошла очень похожая на Анну Пантелеймоновну в молодости стройная девушка, с бросающимися в глаза бронзово-рыжими, по-мужски подстриженными волосами. На ней была старенькая лыжная курточка, в руках военная полевая сумка.

— Ты где пропадала, а? Пришлось вот капитана нагружать. Сколько мы с вами там простояли, Митясов? Минут двадцать, вероятно.

— Ну вот и сочиняете. — Девушка бросила сумку на диван. — Мне часовой сказал, что вы и пяти минут не ждали. Так что не надо, пожалуйста. — Она прямо и с некоторым как будто любопытством посмотрела на Николая. — А вы, значит, тот самый капитан, который про войну и любовь не любит читать?

— Тот самый, — смутился Николай.

Анна Пантелеймоновна тоже смутилась.

— Ведь и ты не любишь про войну. — Она взглянула на Николая так, будто хотела его убедить, что ничего дурного нет в том, что он не любит читать какие-то там книги. — Валя сама в «Войне и мире» всю войну пропускает.

— Вот и не пропускаю. Там, где Пьер, не пропускаю.

— А где Андрей? — Анна Пантелеймоновна чуть-чуть улыбнулась.

— Где Андрей, пропускаю. Я его не люблю ни на войне, ни дома. — Она повернулась к Николаю. — Вы любите Андрея?

Николай замялся — он не читал «Войну и мир».

— Как вам сказать...

— А Николая Ростова?

— Ничего.

— А Пьера?

«Вот пристала», — подумал Николай и сказал, что Пьера любит, но вообще читал уже давно и многое забыл.

— Мать, завтра же дай ему первый том.

Потом пили чай, и Валя рассказывала про какого-то студента, который сдавал за другого и сдал, но не тому преподавателю, и в связи с этим



произошло что-то очень смешное. Потом мать и дочь опять заспорили об Андрее и Пьере, и Николай, чтобы отвлечь их от этой опасной темы и переключить на что-нибудь более знакомое ему (в конце концов, нельзя же всё время молчать), заговорил о появившемся сегодня в газетах сообщении о взятии Праги — предместья Варшавы. Но и здесь инициатива почти сразу же была выбита у него из рук. Обе женщины заспорили вдруг о варшавском восстании.

Спор длился довольно долго. Спорщицы зывали к Николаю, к его справедливости, к знанию военного дела, но достаточно было ему открыть рот, как они опять набрасывались друг на друга. Потом спор неожиданно прекратился. Николай никак не мог уловить, отчего и почему он прекратился, но разговор вдруг зашёл о Монголии и Тянь-Шане, где Анна Пантелеймоновна была со своим мужем-геологом тридцать два года тому назад. Анна Пантелеймоновна весело и остроумно рассказывала об их злоключениях.

Николай незаметно выпил три или четыре стакана чаю и, только когда с ужасом увидел, что съедено почти полбанки варенья, стал откланиваться.

— Идите, идите, — засуетилась вдруг Анна Пантелеймоновна. — Ей-богу, неприятности будут. Идите...

Николай распрощался и ушёл.

Впервые за месяц своего пребывания в госпитале он чувствовал себя легко и весело. Мать и дочь ему очень понравились. Валя, правда, показалась ему немного грубоватой, похожей на парня — как-то очень уж по-мужски стриженные волосы, и курточка эта лыжная, и слишком энергичные для девушки манеры, зато в Анну Пантелеймоновну он просто влюбился.

Хорошие люди, думал Николай, взбираясь в темноте по знакомой тропинке, очень хорошие. И сколько книг. Но живут, видать, туговато. Туфли-то у мамы совсем стоптанные и чулки штопанные-перештопанные. А он-то полбанки варенья умял, дурак. На зиму, должно быть, с трудом сварили, а он за каких-нибудь полчаса... А отец-то её, видно, крупный какой-нибудь, важный человек был — воротничок стоячий, пенсне... Наверное, недоволен был, когда она за своего геолога вышла. Тот, видно, из простых был — всё в рубашечках да сапогах. Куда он девался, интересно? Погиб или, может, разошлись? Они ничего об этом не говорили, а спрашивать как-то неловко. А вообще — хорошие люди, очень хорошие.

Вернувшись в отделение (к ужину он опоздал), Николай, не заходя в свою палату, прошёл в двадцать шестую и там до двух часов просидел, болтая с сёстрами и больными.

— Что-то у вас вид утомлённый и синяки под глазами, — говорил наутро полковник и многозначительно тряс своей плешивой головой. — А я-то вас весь вечер ждал. Соня меняла повязку, и я хотел похвастаться. Знаете, насколько уменьшилась язва? Вы никогда не поверите. Идите-ка, я вам покажу по секрету — если просунуть карандаш и приподнять повязку, хорошо видно.

Так началось знакомство Николая с семейством Острогорских. Сначала редко, потом всё чаще и чаще стал заходить он к ним в промежутке между обедом и ужином. Варенье скоро кончилось, и Николай, как ни возражала Анна Пантелеймоновна, приносил с собой госпитальный сахар и масло, которого не ел.

Обычно Николай заходил за Анной Пантелеймоновной в библиотеку и они вместе шли домой, а потом, до прихода Вали из института, он по-

могал Анне Пантелеймоновне на кухне чистить картошку — врачи велели ему как можно больше двигать правой рукой, причём чем мельче движения, тем лучше.

Потом приходила Валя, всегда полная новых впечатлений и рассказов, и тут-то начиналась жизнь. Мать и дочь не умели говорить спокойно, они всегда спорили, очень горячо, и никогда друг на друга не обижались. Николая это очень забавляло. Особенно повторявшийся изо дня в день спор о сервировке стола.

— Когда ты, наконец, от всех этих своих фронтовых привычек отделеешься? Разве не приятнее есть за чистым столом со скатертью, чем...

— Скатерть стирать надо, а у меня времени нет.

— Видали? — Анна Пантелеймоновна искала поддержки у Николая. — Хорошо ещё, курить отучилась, а то разило махоркой за версту, как от солдата.

— Так я ж и есть солдат, — смеялась Валя.

— Была. А теперь педагог. Не представляю, как и чему ты своих студентов учишь. Ты хоть их по фамилии называешь или Ваньками и Петьками, как своих зенитчиков?

— Как случится.

— Нет! Ни грана женственности. Запомните мои слова, Николай Иванович, так в старых девах и умрёт. Кому она нужна такая?

Николай смеялся и, соблюдая разумное равновесие, принимал сторону то одной, то другой. Иногда, правда, мать и дочь объединялись — это было тогда, когда к ним приходил Валерьян Сергеевич, сосед из первой комнаты направо.

Валерьян Сергеевич был корректором. Этим делом он начал заниматься ещё тогда, когда ни Николая, ни Вали не было на свете, в петербургской «Биржёвке», и, пройдя штук пятнадцать газет, включая армейскую, работал сейчас в местной, городской.

Он был холост, держал не то пять, не то шесть кошек, которые без конца плодились и съедали почти весь его паёк, ходил дома в мохнатом халате с длинными, висящими нитками, которыми за всё цеплялся, и не выпускал изо рта трубки с невероятно вонючим и крепким самосадом собственной резки. От него пахло всегда табаком и одеколоном, так как брился он каждый день и всегда неудачно — сухое, пергаментное лицо его было усеяно бумажками и ватками, а где-нибудь возле уха или на шее оставался недобритый кусочек.

Обычно он приходил за какой-нибудь книгой, но это было только предлогом. Взяв книгу, он говорил: «Зачем вы держите эту гадость? Я б её давно сжёг» или «Ну вот, опять подсовываете мне Чехова. Я ж его наизусть знаю, от корки до корки».

— Так не берите, если знаете.

— А что ж брать? У вас ничего нет. Дайте мне Элизе Реклю. Есть? Нету. Фабра о муравьях. Есть? Нету. Что ж у вас есть? Ведь вы библиотекарь, Анна Пантелеймоновна.

— Ладно. Вы чаю выпьете?

— Нет, — решительно говорил он и, сев за стол, машинально, ни на минуту не прекращая разговора, выпивал полчайника.

Он всё и всегда осуждал, но только до того момента, пока кто-нибудь, в свою очередь, не начинал что-нибудь осуждать. Тогда он принимался яростно защищать.

— Ох, сегодня опять вечером собрание, — говорит Валя. — Совсем замучили.

— Замучили, потому что вам безразлично, что там происходит, — говорил Валерьян Сергеевич, заполняя комнату клубами своего вонючего дыма. — Вы думаете только о том, чтоб оно поскорей кончилось. Вам

наплевать на то, что там говорят, наплевать, потому что вы торопитесь на свидание, потому что вы не общественница и вам ничуть не интересно, чем живёт ваше учреждение.

— Вы ошибаетесь, Валерьян Сергеевич.

— Нет, не ошибаюсь. Я знаю, что вы мне сейчас скажете. Я всё знаю. Про снайперский кружок. Да? Угадал? Чепуха. Это не общественная работа. Это привычный рефлекс. Когда вы были в армии, вы стреляли в самолёты, теперь самолётов нет, но вы не можете не стрелять. Ясно? Где моя книга? Я ушёл.

После этого он сидел ещё добрых полтора-два часа, и если уходил, то только потому, что надо было идти на дежурство или начинала кричать в коридоре кошка.

Заходили и другие соседи. Вообще, эта квартира, как говорила Анна Пантелеймоновна, была, пожалуй, одной из немногих в городе коммунальных квартир, в которой все живут дружно. В ней было пять комнат, и в каждой жило по семейству.

Ближайшими соседями были Блейбманы — Муня и Бэллочка. Оба были художниками — Муня плакатистом, Бэллочка книжным оформителем. Мунины плакаты — ими была увешана вся их комната — изображали стремительных бойцов с энергичными лицами, и, глядя на них, трудно было себе представить, что рисовал их тихонький, скромненький, грустно на всех смотрящий большими библейскими глазами из-за очков Муня.

Бэллочка, не под стать ему, красивая, полная, может быть, даже слишком полная, чтобы быть красивой, брюнетка с маленькими усиками, обожала своего Муню и не сводила с него влюблённых глаз.

Блейбманы были молодожёнами и никогда не говорили о себе в единственном числе, всегда во множественном: «мы ещё не читали этой книги», «у нас с Бэллочкой сегодня вечером занятия», «мы с Муней сделали новую обложку». Работали они дома и почему-то преимущественно ночью. Работы свои — плакаты и обложки — относили заказчикам всегда вместе. Вообще всё, что они ни делали, они делали вместе, даже гриппом заболели в один и тот же день.

Муня был мучительно застенчив. Вероятно, именно поэтому Яшка Бортник — квартирный остряк и весельчак, шофёр, живший в бывшей комнате для прислуги, — плескаясь по утрам на кухне и хлопая себя по здоровенной спине, спрашивал промким шёпотом, так, чтобы все слышали:

— Скажите, Муня, с какой это девушкой я видел вас вчера на улице, а?

Муня краснел, а Яшка ржал на всю кухню так, что с потолка сыпалась штукатурка, и подсовывал свою кудлатую голову под кран.

— Ну ладно, ладно уж, не скажу Бэллочке.

Яшка Бортник работал в Союзтрансе. Работой своей он был доволен, зарабатывал неплохо, но, как говорила Валя, деньги ему жгли карман. Приходил вдруг к Анне Пантелеймоновне и говорил:

— Слушайте, возьмите-ка у меня пару сотен.

— Это зачем же, Яша?

— Зачем или низачем, а возьмите...

— Да не надо мне, Яша. Пятнадцатого у меня получка, а у Вали двадцатого.

— Так не для вас, а для меня. Возьмите. Меньше потрачу, ей-богу, — и совал растерянной Анне Пантелеймоновне грязные, пахнущие бензином бумажки.

После недолгого сопротивления Анна Пантелеймоновна брала (до пятнадцатого оставалась ещё неделя, а денег действительно не было), но когда в получку пыталась вернуть, Яшка говорил:

— Ой, только не сегодня. Сегодня как раз хлопцы собирались ко мне прийти, вот и полетит всё в трубу. Давайте лучше до завтра отложим.

А завтра опять что-нибудь придумывал.

Вообще парень он был хороший, всегда весел, услужлив, всему дому чинил примусы и замки. Дома ходил всегда в каких-то маечках и сеточках, чтобы все видели его мускулатуру, и большего счастья для него не было, как передвинуть с места на место какой-нибудь тяжеленный шкаф или втащить на пятый этаж пятипудовый мешок картошки, обязательно бегом, через одну ступеньку.

— Сердце — будь здоров, послушай! — И все должны были слушать его безмятежно спокойное и ровное сердце.

В пятой комнате жили Ковровы — отец, мать и шестнадцатилетний Петька — здоровенный, на голову перегнавший отца, длиннорукий, неуклюжий парень с ласковыми глазами. Он был заядлым шахматистом, фотографом и, если б не война, наверное, был бы радиолюбителем.

Отец — Никита Матвеевич — работал столяром-краснодеревщиком на мебельной фабрике, а по вечерам «халтурил» дома, и в комнате их всегда приятно пахло сосновыми стружками и опилками. Мать пегина — или «старуха», как называл её Никита Матвеевич, хотя ей было немногим больше сорока, а самому Никите Матвеевичу порядком уже за шестьдесят, — коренная москвичка, говорила с таким певучим замоскворецким произношением, что Анна Пантелеймоновна, слушая её, восторгалась: «Ну, просто Малый театр, собственная Турчанинова или Рыжова...»

Был у Ковровых ещё и старший сын, Дмитрий, но он был на фронте, в Румынии. Над ковровским верстаком висел его портрет в золочёной, собственного Никиты Матвеевича изготовления, рамке — молоденький, курносый, очень похожий на отца сержант, на фоне замка и плывущих по озеру лебедей. Письма от него приходили не часто, но довольно регулярно, и хотя в них, кроме бесчисленных поклонов и «воюем помаленьку», ничего не было, обсуждались они до малейших деталей всей квартирой.

Николай почти сразу стал своим человеком. Валерьян Сергеевич любивший поговорить о политике и событиях на фронтах, заводил его к себе и там на громадной, во всю стену, карте Европы обсуждал с ним предполагаемые удары и делал прогнозы на ближайший месяц. Блейбманы преимущественно консультировались на всякие медицинские темы, и Николай приносил из госпиталя Муне пирамидон с кофеином — его по ночам одолевали головные боли. Яшка Бортник полюбил Николая потому, что он вообще всех любил, а к тому же оказалось, что они в сорок втором году были в одной армии и вспоминать им обоим было о чём.

Но кто больше всего полюбил Николая, так это Анна Пантелеймоновна. Может быть, именно поэтому она часто пилила его.

— Ну, почему бы вам не заняться языками, молодой человек? Целый день ничего не делаете, а ведь я знаю французский, Валечка — английский... Ведь вы офицер. Офицер должен быть культурен.

— Ох, мамаша, — смеялся Николай. — Где там о языках думать? На фронт скоро, а вы о языках.

— И отучитесь, пожалуйста, от этих «мамаш». У меня есть имя, есть отчество — неужели так трудно запомнить? А о чём думать... Сколько вам лет?

— Двадцать пять уже.

— Господи боже мой, почему вы считаете себя стариками? Вы и жизни-то по-настоящему не видели.

— Ну, это уж, мам... Анна Пантелеймоновна, не говорите. Три года на фронте...

— Чепуха! Честное слово, Колечка, посмотрю я на вас, и мне кажется, что я куда моложе вас всех.

Николай соглашался — в Анне Пантелеймоновне действительно молодости хватало на десятерых. Маленькая, подвижная, она, казалось, никогда не устаёт. Придёт в девятом часу, наскоро чего-нибудь хлебнёт и уж бежит куда-то.

— Ты куда, мать?

— К Пустынским. У них, кажется, «Анна Каренина» есть. Третий день уж Ковальчук из хирургического просит, а она на руках. Я мигом...

Старик Ковров только улыбался и поглаживал свою лысину. Кстати, сам он тоже не прочь был, подобно Анне Пантелеймоновне, попилить Николая.

— Вот ты, капитан, ей-богу, чудак, — говорил он, откладывая рубанок и сворачивая цыгарку толщиной в свой корявый коричневый палец. — Ну что ты всё на фронт рвёшься, чего, спрашивается? Своё дело ты уже сделал, хай другие теперь повоюют. Ну, в сорок первом, сорок втором, я понимаю, все на фронт рвались. А сейчас? Куда уж ему? («Он» — это означало Гитлер.) И без вас до него доберутся и шею свернут.

— Вот и не хочется, батя. (Здесь Николаю разрешалось так говорить.) Вот и не хочется, чтоб без нас.

— А ещё чего тебе не хочется? Работать тоже не хочется? А? Разбаловался там, на войне. Гитлер бежит, а тебе бы за ним трофеи только подбирать.

Николай смеялся.

— Не всегда и не везде бежит, батя. Сейчас, например, на Висле, ребята пишут...

— Ну и пусть пишут. Наш Митька тоже пишет. Я ж о нём ничего не говорю. У него руки и ноги целы.

В этом месте Марфа Даниловна всплескивала руками.

— Да что ты говоришь! Побойся бога!

— А ничего я не говорю, — дразнил её старик, — говорю, что руки и ноги целы, может ещё и повоевать. А у этого... Покажи-ка, пальцы работают?

Николай пытался пошевелить пальцами, но это ещё не выходило — чуть-чуть только удавалось на несколько миллиметров отодвинуть большой палец.

— Тоже мне вояка! — Никита Матвеевич, сплюнув на пол (после чего всегда оборачивался, не заметила ли «старуха»), растирал ногой плевков и брался за рубанок. — Пока твои пальцы заработают, война кончится. Что тогда делать будешь? А?

— Ещё не знаю, Никита Матвеевич.

— А пора бы знать. Не нам же, старикам, после войны всё делать. Бездельник ты, вот что...

Николай любил заходить к Ковровым, хотя там всегда был отчаянный беспорядок. Старик мастерил какие-то этажерки и полочки, Марфа Даниловна что-нибудь гладила или штопала, Петька, сидя в углу на полу, путался в каких-то проволоках и паял детали какой-то никому не известной машины. Николай сидел в углу, покуривая, и с завистью смотрел на всех троих. Шипит примус с кипящим на нём столярным клеем, шипит петькин паяльник, пахнет клеем, смолой, керосином, и от всего этого становится как-то уютно и весело. Что и говорить, иногда

просто приятно посмотреть, как другие работают, когда сам лишён этой возможности.

Вообще с того дня, как он выпил в этой квартире первый стакан чаю с малиновым вареньем, Николай почувствовал, что дни вовсе не так уж длинны. Его даже перестал раздражать полковник Зилеранский со своей язвой. Нашлись какие-то общие, помимо лечения, темы для разговоров, и всё чаще строгая, всем недовольная сестра-хозяйка, заглядывая в палату, говорила: «Нельзя ли потише, товарищ Митясов, ваш голос даже в операционной слышно. Просто не узнаю вас...» А операционная сестра Дуся, всё и всегда обо всех знавшая, начиная от главного врача и кончая вчера только поступившим больным, как-то после перевязки покачала головой и сказала дежурной няне:

— Появилась женщина. Факт.

## 11

Острогорским должны были привезти дрова. Валин институтский завхоз был расторопен и загодя, ещё до наступления первых осенних холодов, обеспечил всех сотрудников хорошими дубовыми дровами. Договорено было, что Яшка привезёт их на своей машине, а Николай с Петькой Ковровым распилят и наколют их.

Дрова должны были привезти в четыре, но Николай задержался со своими процедурами и вышел из госпиталя в начале пятого.

На мосту, у входа, столкнулся с Сергеем.

— Ты куда? — спросил Сергей.

— В гости.

— К кому?

— К знакомым.

— Обзавёлся уже?

— Да, обзавёлся.

Николай ожидал дальнейших вопросов в стиле Сергея, но тот только сказал:

— Я тебя провожу. Не беги только, мне под гору трудно.

— Ты где пропадал? — спросил Николай.

— Где надо, там и пропадал.

— Просьбу мою, конечно, не выполнил?

— Почему — конечно? В адресном столе Куценко нет. Если б был, я б тебе сообщил.

Когда они спустились с горы, Сергей сказал:

— Ты что, в театр торопишься? Боишься опоздать?

— Нет, не в театр.

— Так чего ж ты бежишь? Двухногий... Мне протез ногу натёр.

Они пошли тише.

— Я видел твою Шуру, — сказал Сергей.

— Где? — Николай удивлённо посмотрел на него.

— Не всё ли равно, где.

— А откуда ты её знаешь?

— Знаю, и всё. По-моему, ты должен к ней сходить.

Николай остановился.

— Говори толком.

— Ага... Заело.

— Брось дурака валять. Когда ты её видел?

— Может, сядем?

Они сели на парапет у входа на стадион.

— Так где ты её видел?

— В обувном магазине встретил.

— Ну?

— Я считаю, что ты должен к ней пойти.

— Зачем?

— Это уж твоё дело. Но я так считаю.

— Слушай, Сергей. Какого дьявола ты говоришь загадками?

Сергей мрачно улыбнулся.

— Она тебе говорила, что я у неё был?

— Ты? У неё? Нет, ничего не говорила. Зачем же ты к ней ходил?

— Так просто. Захотелось.

— А ну тебя...

Николай встал.

— Сядь, сядь... Я тебе серьёзно говорю — сходи к ней. Я видел её после вашей встречи. Тут что-то не то. У меня ведь есть на это чутё.

— Что она тебе говорила?

— Ничего не говорила. Я говорил. Мы прошлись с ней до Днепра и обратно. Ей надо было на площадь Сталина. Кроме того, я познакомился с дядей Фёдей. Не в этот раз, а в первый, когда заходил к ней.

Николай вопросительно взглянул на Сергея. Сергей смотрел куда-то в сторону.

— Пацан. Верь моему слову — тут что-то не так.

Николай промолчал. Ему было неприятно, что Сергей заговорил о Шуре. При чём тут Сергей? И зачем он заходил? И зачем вообще он вмешивается?

Сергей дёрнул его за рукав.

— А может, в забегаловку заскочим? Здесь недалеко. Та самая, где мы познакомились. Тяпнем по маленькой, и катись на все четыре стороны.

— Не хочу.

— Вот чёрт трезвый! Ты что, вообще перестал водку пить?

— Просто не хочется. Не интересуется сейчас.

— И что из себя представляет дядя Фёдя?..

— Тоже не интересуется. И вообще, это моё дело. Не твоё и не чьё-либо, а моё. Понял?

Сергей пожал плечами.

— Ну, раз не моё, тогда... Будь здоров.

Он крутнул в воздухе палкой и ушёл.

Только пройдя квартал, Николай почувствовал, что разговаривал с Сергеем не так, как надо. Ну чего, спрашивается, он на него разозлился? Ну, не его это дело, допустим, но ходил-то он ведь к Шуре не для себя, а для него, Николая... Может, вернуться? Николай взглянул на часы. Без четверти пять. Поздно.

Придя к Острогорским, Николай застал всю квартиру толпящейся вокруг сваленных на полу здоровенных плах и обсуждающей, на сколько времени их может хватить и что экономнее — на две или три части пилить каждую плаху. Петька правил пилу.

— Мы сейчас с дядей Колей покажем класс. Он теперь тоже левша.— Петя был левшой.

Яшка с шумом расчищал место для козел.

— Бесплатно делать не будем, учтите это, Анна Пантелеймоновна. Всякая работа вознаграждения требует.

— Ладно, ладно. Уходите уже.

— Я не шучу. На четвёртый этаж всё-таки таскали.

— Да уходите, ради бога, не мешайте.— Анна Пантелеймоновна пыталась вытолкнуть здоровенного Яшку из кухни, но тот упирался.— По рюмке наливки, так и быть, уж дам.

— И не на кухне, а у вас, из рюмочек, по-интеллигентному.

Наконец всех удалось выпроводить, и Николай с Петькой приступили к пилке. У них не очень-то получалось — пила всё время заскакивала, оба обвиняли друг друга в неумении пилить. Когда пришла Валя, Николай прогнал Петьку учить уроки, взял пилу в правую руку. Дело пошло лучше, хотя руку приходилось всё-таки привязывать бинтом к рукоятке пилы. Рука скоро уставала, и приходилось опять переходить на левую.

Валя раскраснелась, её бронзово-рыжие волосы растрепались и падали на глаза, левая рука упиралась в плаху, а правая равномерно и с силой тянула к себе пилу.

— Вы хороший пильщик,— сказал Николай.

— Хороший,— согласилась Валя и ловко подхватила отвалившийся кусок плахи.— С непривычки только спина болит.— Она отбросила чурбак в сторону и посмотрела на форточку:— Какой дурак её закрыл? Жарко...

Она легко вскочила на подоконник, открыла форточку, хотела соскочить на пол, но зацепилась юбкой за шпингалет.

— Вот чёрт! Единственная юбка.— Стоя на подоконнике, она наклонилась и пыталась отцепить юбку.— Ну, чего вы смотрите? Помогите.

Николай подошёл. Валя стояла над ним и от неудобного положения и досады лицо её ещё больше покраснело. Волосы почти совсем закрывали лицо, и видны были только зубы, которыми она прикусила нижнюю губу.

Николай отцепил юбку, потом, обхватив Валю левой рукой, снял её с подоконника, но не сразу поставил на пол, а, крепко прижав к себе, донёс до козел. Валя, чтобы не упасть, схватила его за шею.

— Эге, да вы совсем лёгонькая,— сказал Николай, смотря на неё снизу вверх.

— Пустите.— Валя обеими руками оттолкнула его голову.

Николай осторожно поставил её на пол и улыбнулся. Валя не смотрела на него, она рассматривала порванное место юбки. Потом взяла пилу, тряхнула ею так, что она жалобно запела, потрогала пальцами зубцы и поставила в угол.

— Чего ж это вы, Валя?

— Хватит на сегодня,— не глядя, сказала она и быстро вышла из кухни.

Через полчаса собрались у Острогорских. Валерьян Сергеевич оседлал Муню. Поминутно всовывая в лампу бумажку и зажигая от неё гаснущую трубку, ничего не слушая, он доказывал Муне, что к Новому году война обязательно должна кончиться. Муня соглашался.

Валя вначале сидела молча, с безразличным видом ковыряя консервы. Анна Пантелеймоновна несколько раз на неё взглядывала, потом спросила, не случилось ли у неё что-нибудь на службе. Валя, сказав, что ничего, вдруг оживилась, налила себе и пытавшейся сопротивляться Бэллочке по полной рюмке наливки и стала громко и возбуждённо о чём-то ей рассказывать. Бэллочка сонно кивала головой и отодвигала рюмку.

— Да, да, ей нельзя.— Муня отодвигал рюмку ещё дальше.— Сейчас ей никак нельзя. Даже наливки нельзя.

По радио объявили: «Московское время двадцать два часа одиннадцать минут, передаём беседу...» Валя встала, выключила радио и, сказав «фу, как жарко», вышла на балкон.

В комнате постучался и вошёл, смущённо поглаживая лысину, Никита Матвеевич.

— Моя старуха не у вас?

Яшка блеснул глазами.



— Давай, давай, старина.

Николай уступил место Никите Матвеевичу, постоял немного у дивана, перелистывая книгу, потом тоже вышел на балкон.

У Острогорских был большой, величиной почти с комнату, густо увитый виноградом балкон. Днём с него открывался прекрасный вид на Новое Строение, Сталинку и Голосеево. Сейчас же ничего этого не было видно — город маскировался, и только изредка, справа, пронеслись по Красноармейской автомашины с синими фарами. Где-то очень далеко, очевидно над Каневом или Трипольем, беззвучно вспыхивали зарницы. Недавно прошёл дождик, и в воздухе пахло свежей землёй и уже отцветающим табаком.

Валя стояла, опершись о перила, и узенький луч света, пробивавшийся сквозь маскировку, светлой полоской лежал на её волосах и спине.

— Вам не холодно? — спросил Николай.

— Нет, хорошо, — не поворачивая головы, сказала Валя.

Николай закурил.

— Вас оштрафуют, — сказала Валя.

— Не оштрафуют. Я осторожно. Как на фронте.

Они помолчали.

— Вы знаете, о чём я думаю? — сказала Валя.

— Нет, не знаю. Откуда я могу знать?

— Ведь на фронт-то вы уже не попадёте, Николай. А?

Она впервые назвала его Николаем, до сих пор она говорила всегда Николай Иванович или товарищ капитан.

— Почему? — спросил Николай.

— Не знаю почему, но я так чувствую. А я никогда не обманываюсь, вы знаете? Никогда. Я знала, например, что не увижу отца, и знала, что увижу мать... Дайте мне потянуть, пока мать не глядит. — Она сделала несколько затяжек и закашлялась. — Отучилась, голова уже кружится... А вам хочется на фронт?

— Хочется. А вам?

— И мне. Но вы уже не вернётесь, я знаю. А почему вам хочется?

— Станный вопрос.

Валя улыбнулась.

— Чем же странный?

— Не надо, Валя. Ведь вы сами были солдатом.

Валя сорвала листок, и с винограда, шурша, посыпались капли.

— Простите. Я вовсе не хотела... Просто... Вот смотрю я на вас, и иногда мне кажется... Ведь вам здесь у нас, в тылу, очень скучно, правда?

Николай ничего не ответил.

— У вас нет семьи? — спросила Валя.

— Нет.

— Ни отца, ни матери?

— Ни отца, ни матери. Ещё перед войной умерли. Да и до этого отец с матерью... В общем, не очень сладкое детство было.

Валя опять сорвала листок, и опять зашуршали капли.

— И больше у вас никого не было?

Внизу, откуда-то из-за угла, выехала машина и затормозила.

— Ну куда, куда ты заворачиваешь? — крикнул кто-то снизу. Голос был хриплый и недовольный. — Глаза, что ли, повылазили?

— Как куда? По Красноармейской, — ответил другой голос.

— А кто тебя сейчас там пустит?

— Тогда по Горького. Здесь же проезда нет — стадион.

— Ну, валяй, — ответил первый голос, и машина тронулась.

Довольно долго был виден её тусклый свет, потом она свернула на Горького и скрылась.

«Горького... Горького... Горького, 38... Кирпичный, пятиэтажный дом, а перед ним вяз...»

Николай посмотрел на Валю. Она стояла рядом, облокотившись о перила, закрыв ладонями щёки, и смотрела на изредка вспыхивающие зарницы.

Николай придвинулся к ней, обнял её за плечи и только сейчас, в темноте, увидел, что глаза у неё светятся, как у кошки, — маленькими, красными огоньками...

## 12

Анне Пантелеймоновне удалось наконец уговорить Николая заняться английским языком. Как он ни мялся, как ни убеждал, что к языкам туп и что если уж заниматься, то потом, после фронта, — ничего у него не получилось, пришлось-таки сесть за учебник.

Николай не ошибался — у него, действительно, не было способности к языкам. Он никак не мог привыкнуть к тому, что в английском «а» читается, как «э», а «е» — как «и», перочинный ножик упорно называл «кнайф», а артикль «the» произносил «тхе» или «зи», чем приводил в неистовство нетерпеливую, горячую Валю.

— Ты это нарочно, чтоб меня разозлить. Ну, пойми, ради бога, — она брала себя в руки и начинала сначала, — надо кончиком языка упираться не в нёбо, а в зубы, пусть он даже немножко высовывается. Вот так, видишь? Ну, теперь скажи.

— Зи, — говорил Николай.

— Ах, господи! Да не упирай его в нижние зубы. В верхние, ты понимаешь, в верхние. Ну, ещё раз.

— Зи, — жалобно произносил Николай.

— Нет, это невозможно. Мать, я не могу с ним заниматься. Он нарочно меня дразнит.

И всё-таки она терпеливо высиживала свой час, а когда он наконец, к удовольствию обоих, истекал, Валя, энергично захлопывая учебник английского языка для восьмых, девярых и десятых классов, говорила:

— В наказание иди разожги примус.

Николай покорно шёл на кухню и разжигал примус.

После третьего или четвёртого урока вид наказания был изменён.

— Сегодня за незнание глаголов проводишь меня в институт. У меня целая куча тетрадок, в портфель не влезает.

Проводы эти постепенно из наказания превратились в привычку. Обычно Валя опаздывала на свои лекции, поэтому приходилось бежать сломя голову, и прогулки эти напоминали скорее скачки с препятствиями — чтобы не попадаться на глаза патрулям и во-время поспеть в институт, они шли не по улицам, а напрямик, через проходные дворы и развалины.

Как-то Валя задержалась в институте — Анна Пантелеймоновна стала беспокоиться:

— На дворе уж темно, а я уверена, что эта девчонка для скорости через пустырь побежит. Солдат солдатом, а всё-таки...

Николай пошёл навстречу. Валя, действительно, шла через пустырь и провалилась в какую-то яму. Николай обнаружил её сидящей на грудке битого кирпича и растирающей коленку.

— Матери только не говори. Придём домой — я живенько в ванной сделаю себе перевязку.

С тех пор, когда у Вали были вечерние занятия, Николай заходил за ней в институт и провожал до самого дома.

Каждый раз, когда он приходил, Валя говорила:

— Ну, что за глупости. Будут ещё у тебя неприятности из-за этого в госпитале.

Николай ничего не отвечал, но на следующий день, если у Вали были вечерние часы, приходил опять.

Он полюбил эти прогулки. Полюбил потому, что кругом тихо, а над тобой звёзды, луна, та самая луна, которая всю войну была твоим, разведчика, врагом, а теперь, в тылу, опять на время стала другом. Полюбил потому, что приятно идти вот так вот, по узкой тропинке среди полуразрушенных стен, напоминающих при лунном свете руины средневековых замков. Николаю они, правда, напоминали скорее Сталинград — средневековых замков он никогда не видел, но Валя говорила, что они похожи, и, чтобы не спорить, Николай соглашался. Полюбил он эти прогулки потому, что с Валею было легко и просто. С ней не надо было как-то поособенному держаться, выдумывать темы для разговоров. Они сами находились. У них был общий язык — немного грубоватый фронтовой язык. Вале частенько за него достаётся от матери, но что поделаешь, обоим он был близок.

Иногда, когда не очень поздно и не надо торопиться домой, они возвращаются через Ботанический сад. После десяти ворота закрывают и приходится перелезать через забор. В этих случаях Валя обычно подсмеивается над Николаем — «разведчик, физкультурник...» — и Николаю нечего ответить: рука ему мешает, и он действительно не очень ловко перебирается через решётку. Сад большой, почти лес, с заросшими кустарником оврагами, старыми дубами и клёнами, с шуршащими под ногами листьями, папоротником по пояс. В нём темно, немного сыро, и почему-то невольно хочется говорить шёпотом.

Как-то в этом саду их застала гроза, неожиданная для сентября, совсем майская гроза, с молнией, громом, потоками воды. Они спаслись в какой-то, вырытой, очевидно, детьми на дне оврага, пещере. Сидели рядом — Николай на корточках, чтобы не запачкать свой госпитальный костюм, Валя — примостившись на своём портфеле, обхватив руками колени. Когда ударял гром, Валя закрывала лицо руками. Николай смеялся:

— Зенитчица, фронтовичка...

— Ну и зенитчица и фронтовичка, а грозы боюсь.

Николай улыбался в темноте.

— Напоминает бомбёжку, да?

— Нет, не то... Не бомбёжку. А может, и бомбёжку. Когда в лесу и ночью. Тоже вот так сидишь, и смотришь вверх, и ничего не видишь, и хочется только, чтоб скорее кончилась.

— Хочется?

— Хочется...

— И сейчас хочется, чтоб скорее?

Валя промолчала. Николай слегка придвинулся к ней, обнял рукой за плечи.

— Не надо... — сказала Валя и отодвинулась.

Опять ударил гром. Валя закрыла ладонями уши и уткнулась в колени. При свете молнии её сжавшаяся в комочек фигура казалась детски беспомощной. Николай снял пижаму и накинул её на Валу.

— Мне не холодно, — сказала она.

— Неправда, холодно.

Опять загрохотало. Но уже не над головой, а где-то левее. Гроза уходила.

— Ты будешь мне писать, когда я уйду на фронт? — спросил Николай.

— Я не умею писать, — сказала Валя.

— А разве надо уметь? Надо хотеть.

— И на фронт ты не уйдёшь.

— Почему?

Валя пожалала плечами. Высунула руку из-под пижамы ладонью вверх.

— Дождь, кажется, прошёл. Можно итти.

— Нет. Ещё идёт.— Николай прикрыл её ладонь своею.— Так будешь?

Валя сделала движение, чтобы встать. Николай удержал.

— Будешь? Скажи...

Она молчала.

— Почему ты молчишь?

Валя сжала руки в кулаки и уткнула в них лицо.

— Господи... Почему я ничего не понимаю? Почему?

Она повернулась к Николаю, посмотрела ему в лицо. И совсем вдруг тихо и просто сказала:

— Я не хочу, чтоб ты уходил, не хочу... Вот и всё...

Николаю показалось, что у него вдруг остановилось сердце. Потом оно застучало, во всём теле застучало — в руках, в груди, в голове. Захотелось вдруг обнять Валю, всю целиком, с головы до ног.

Но Вали уже не было. И портфельчика её не было. И грозы не было.

Где-то вдалеке ещё гремел гром, вспыхивали молнии. И небо было уже чистое.

## 13

Парадная дверь в отделение, как того и следовало ожидать, была закрыта. Николай, как обычно, обогнул корпус и, взобравшись на стоящую под водосточной трубой бочку, подтянулся к окну. Оно открывалось легко и почти беззвучно. Несмотря на больную руку, Николай за последние дни так наловчился, что влезал в окно почти без всяких осложнений. Один только раз, зацепившись за гвоздь, слегка разодрал рукав пижамы.

Сегодня ему не повезло. Только успел он бесшумно соскочить на пол и, стоя на цыпочках, стал закрывать верхнюю щеколду, как за спиной его послышались шаги. Николай обернулся. Прямо на него по коридору шёл дежурный врач Лобанов. Лобанов был самый молодой, а потому и самый строгий врач в отделении. Все знали, что он ухаживает за хорошенькой, весёлой блондиночкой Катюшей — сестрой со второго этажа — и свои дежурства всегда старается приурочить к дежурствам Катюши. Сегодня это, очевидно, ему не удалось, поэтому он был зол. К тому же в отделение только что привезли двух больных, чего он тоже не любил, и он с радостью выместил свою злобу на Николае.

— Завтра же доложу начальнику отделения. Безобразие какое! Капитан, называется, офицер...

Он стоял, расставив короткие, толстые ноги, красный, возмущённый, а Николай весело улыбался и пожимал плечами.

— Что поделаешь, товарищ майор, бывает...

— Так вот, больше этого не будет. Понятно? Безобразие какое, в окна лазить. Завтра же доложу начальнику отделения... Извольте итти в свою палату.

Лобанов сдержал своё обещание. На следующее же утро он доложил обо всём случившемся подполковнику Рисуеву. Рисуев — мягкий, добрый, но бесхарактерный и больше всего боявшийся неприятностей — только развёл руками и, чтобы снять с себя ответственность, обратился к Гоглидзе, главному хирургу и фактическому хозяину отделения.

— Что ж. После фронта и через трубу из госпиталя удерёшь,— сказал Гоглидзе.— Понимаю, понимаю. Но окна всё-таки придётся зама-

зять,— и, взглянув на Николая: — А вам, молодой человек, делать у нас больше нечего. Рана зажила, а с нервом провозитесь ещё порядком. Переведём-ка вас к Шевелю, в невропатологию. Не возражаете?

Но у Шевеля не оказалось свободных мест, и в один прекрасный вечер Николай, вытащив из-под кровати спортивный чемоданчик, стал складывать в него своё имущество — два носовых платка, бритвенный прибор и маленькие трофейные ножнички для ногтей.

— Куда же это вы, Митясов? — удивился Зилеранский.

— На волю, товарищ полковник. Залежался.

— То есть как это на волю? — Полковник собрал лоб в морщины.— А рука, а пальцы?

— И рука и пальцы — всё будет в порядке. Заживе, як на собачи.

— Простите, но я всё-таки не понимаю. Как же всё-таки...

— А очень просто. Это называется лечиться амбулаторным способом. Буду приходить каждый день на лечение.

— А жить?

— Найдётся где. Мир не без добрых людей. Давайте-ка ваш стаканчик для бритья...

В самый разгар прощального торжества, когда полковник Зилеранский провозглашал какой-то тост за дружбу, рождённую в госпитальных стенах, в дверях появился Лобанов.

— Это что здесь происходит? — произнёс он, не повышая голоса, но достаточно громко, чтобы было слышно в коридоре.

Маленький, в халате не по росту, с завёрнутыми рукавами, он стоял в дверях, расставив, по обыкновению, свои коротенькие ножки, и чего-то ждал. Николаю стало вдруг смешно.

— Слушайте, товарищ майор,— сказал он, вставая с кровати и протягивая Лобанову свой стаканчик. — Зачем сердиться? Выпьем-ка лучше по случаю моей выписки.

Дежурная сестра не выдержала и прыснула в рукав. Это окончательно вывело Лобанова из себя.

— Ладно,— сказал он.— Завтра поговорим! — И, круто повернувшись, вышел.

— Интересно, где? — подмигнул своему соседу Николай.— Очевидно, опять с Катюшей не получилось. Ну, да ладно... Не мне на него сердиться. Не будь его, чёрт его знает, сколько ещё проторчал бы здесь. За его здоровье, чтоб веселее ему на свете жилось!

Через полчаса в своём старом, измятом от дезинфекции обмундировании он уже весело сбежал по знакомой дорожке к стадиону.

Сначала Николай думал обосноваться у Сергея, но шестнадцатая квартира, узнав об этом, энергично запротестовала. Николай был тронут. Несмотря на тесноту и общую неблагоустроенность, каждый предлагал угол у себя. Ковровы, Яшка и Валерьян Сергеевич долго спорили, пытаясь доказать, что именно у них Николаю будет лучше всего.

— Ну, где ты у Ковровых поместишься? — возмущался Яшка, таща Николая за рукав.— На верстаке, что ли? Четыре человека на шестнадцати метрах, с ума спятить.

— Зачем на верстаке? — Никита Матвеевич вытягивал из-под кровати какие-то доски.— Через два часа и козлы готовы. И не шестнадцать у нас, а восемнадцать метров.

— Ну, восемнадцать, не всё ли равно. А я один в десяти.

— Один? Вы слышите? — Старик весело подмигивал, потирая лысину.— Он, оказывается, один живёт.

Валерьян Сергеевич отводил Николая в сторону и, доверительно понизив голос, говорил ему:

— О чём тут спорить? Даже младенцу ясно, что если выбирать между тремя людьми на восемнадцати и...

— И пятью кошками на двенадцати,— перебивал Яшка,— да ты просто задохнёшься там.

Николай только смеялся, а вечером, несмотря на мрачные яшкины пророчества, въехал со всем своим багажом на двенадцатиметровую валерьян-сергенчеву жилплощадь и стал седьмым её жильцом.

Так началось мирное, квартирное житьё-бытьё Николая.

На первых порах всё шло хорошо. Вставал рано, на кухне завтракал (Острогорские в это время ещё спали), потом отправлялся в госпиталь на свои процедуры. Часам к двенадцати возвращался.

Отвыкший за последние годы от полезной и созидательной, как говорил Валерьян Сергеевич, деятельности, Николай с азартом принялся за работу. Начал с крыши. О ней давно уже все говорили, но как-то, при всеобщей занятости, ни у кого до неё руки не дотягивались. Насквозь проржавевшая и побитая осколками, она не спасала ни от какого, самого ничтожного дождя. Как только дождь начинался, вся квартира бросалась на чердак и лихорадочно подставляла под струи старые корыта, тазы и банки от свиной тушёнки. Яшка достал три рулона толя, и Николай с Петей растянули его с грехом пополам над самыми аварийными местами. Там, где не хватало толя, заткнули дырки тряпками и замазали суриком.

Потом Николай принялся за комнату Валерьяна Сергеевича, несмотря на отчаянное сопротивление хозяина. Это было, пожалуй, труднее, чем крыша. Комната утопала в ворохе газет, пустых консервных банок, бутылок, каких-то никому не нужных брошюр, старого белья и разбросанных по всей комнате одиноких носков.

Николай действовал решительно и энергично.

— Газеты собрать в кучу и на кухню — для общего пользования. Кефирную тару сдать. Носки — в печку.

С боем, шаг за шагом, завоёвывал Николай новые позиции, а Валерьян Сергеевич, мечась по комнате, цепляясь халатом за все гвоздики и опрокидывая кошачьи блюдечки с молоком, грудью защищал каждый сантиметр своей комнаты. Но силы были неравные — он сдался. Пол и окна были вымыты, носки сожжены, банки и бутылки доведены до самого необходимого минимума.

И случилось чудо — Валерьян Сергеевич, вначале проклинавший тот день и час, когда появился Николай, на второй день после окончания боёв, сидя на своей койке и с удивлением озираясь по сторонам, вдруг сказал:

— А вы знаете, как будто даже лучше стало. Честное слово. А? — И в знак высокой оценки проделанной Николаем работы угостил его своим спирающим дух, дерущим глотку табаком.

Такую же чистку Николай попытался организовать и у Острогорских, но здесь запротестовала Анна Пантелеймоновна. «Это дело подождёт до весны», — заявила она и разрешила Николаю только подремонтировать книжные полки. Николай принялся за полки со всем рвением, но подвигался очень медленно: он рассматривал почти каждую книгу, а их были тысячи.

Он хватал всё — Брэма, Энциклопедический словарь, «Всемирный следопыт», пудовые комплекты старой «Нивы». Как ребёнок, с увлечением рассматривал он картинки и фотографии прошлой войны.

Валя, сдерживая улыбку, поглядывала то на него, то на мать. Она прекрасно понимала, что вся эта канитель с полками затеяна матерью главным образом для того, чтобы приблизить Николая к книгам. И Николая уже нельзя было оторвать от них.

— Вы только посмотрите, из каких пушек шпарили немцы по Парижу в четырнадцатом году. Нет, вы только гляньте, Анна Пантелеймоновна. За сто двадцать километров. Бред. А после трёх-четырёх выстрелов выходила из строя.

Анна Пантелеймоновна подсаживалась к Николаю и вместе с ним рассматривала фотографию знаменитой «Большой Берты». Валя, сидевшая над своими тетрадками, пыталась прекратить эти мешающие ей разговоры, но в этот самый момент Анна Пантелеймоновна находила вдруг пропавшую папку с зарисовками её покойного мужа, и тогда уже все трое, усевшись на полу, начинали рассматривать эти рисунки, и суп на печурке выкипал, а книги до вечера так и оставались необранными.

## 14

Но всему приходит конец. Настало время, когда всё возможное оказалось сделанным: полки отремонтированы, книги расставлены, окна вымыты и замазаны на зиму, дымоходы прочищены — Николай добился всё-таки и этого, — а стол и четыре колченогих стула с помощью Никиты Матвеевича починены и даже полакированы. Делать больше было нечего. Да и вообще, откровенно говоря, вся эта ремонтно-квартирная возня в конце концов тоже приелась.

— Чем заняться? Куда себя деть?

Возвращаясь из госпиталя, Николай заставал пустой дом. Кроме спящего после дежурства Валерьяна Сергеевича и Блейбманов, вечно занятых своими плакатами и обложками, никого не было.

Заглянет к Блейбманам, посидит там с полчасика (дольше не получалось — Бэллочка не переносила махорочного дыма, да и вообще у них было скучно), потом завернёт к Ковровым — не вернулся ли Петёк из школы? — и, так как обычно его не было (возвращался он только к четырём), сидел с Марфой Даниловной, пришедшей только что с базара, и выслушивал её рассказы о том, что где дают и как трудно на какие-нибудь тысячи полторы денег прокормить трёх человек семьи. Потом начинался разговор о Дмитриии, о том, почему он так редко пишет. Николай успокаивал, доказывал, что на фронте во время затишья как раз и не хватает времени — всякие там занятия, проверки, инспекции, дохнуть некогда.

Марфа Даниловна только качала головой.

— Всё это мы знаем, Коленька, но какое ж там затишье? Газет вы не читаете. Вот пишут, опять они из Румынии какую-то границу перешли, опять сколько-то там населённых пунктов захватили. Никакого там затишья нет. — И вздыхала: — Господи, когда ж этому конец будет!

Потом приходил Петёк, но, как назло, оказывалось, что завтра у него какая-нибудь контрольная и надо готовиться, и Николай от нечего делать плёлся к Острогорским и в десятый раз рассматривал надоевшую уже «Ниву» за 1914 год.

К тому же и с Валеёй вдруг разладилось. Разладилось после того, как он однажды подбил Яшку (это было не очень трудно) пойти к Сергею. Сергея они, правда, не застали, но зашли в какое-то другое место и вернулись домой в четвёртом часу ночи.

Дверь открыла им Валя. С места в карьер набросилась:

— Вы что, с ума сошли? Мать до сих пор заснуть не может. Сказали — до двенадцати, а сейчас...

Николай с Яшкой стали весело оправдываться, но Валя не пожелала разговаривать и хлопнула дверью перед самым носом.

На следующий день, когда Николай, как обычно, зашёл за ней в институт, Валя сказала ему, что сейчас она не может идти и что вообще

ему беспокоиться нечего — преподаватель марксизма-ленинизма живёт в соседнем доме, она пойдёт с ним.

Николай обиделся. Ну и чёрт с ними, со всеми! Через неделю комиссия, выпишут наконец и отправят на фронт. Хватит. Повалаялся на диване, попил чайку с вареньем — и хватит. Пора и честь знать...

Но мечтам этим не суждено было сбыться. Через неделю Николая действительно вызвали на медкомиссию. Шестеро врачей специальной электрической машинкой проверили работоспособность его пальцев на правой руке, покачали головами и на выписке из истории болезни поставили штамп: «К военной службе не годен. Подлежит переосвидетельствованию через шесть месяцев».

Николай понял — фактически это была демобилизация. Ему выдали два аттестата, вещевого и продовольственный, справку о том, что с такогото по такое-то капитан Митясов находился на излечении в таком-то госпитале, и велели пятнадцатого апреля будущего года явиться в военкомат на комиссию.

Николай сунул бумажку в карман и, не заходя в отделение, медленно стал спускаться по знаковой дорожке.

Дома никого не было. Острогорские ещё не вернулись. Валерьян Сергеевич был на дежурстве, Ковровы куда-то ушли. Николай заглянул в яшкину каморку. Яшка спал на животе, раскинув ноги и засунув голову под подушку.

Николаю хотелось говорить. Он сделал последнюю попытку — постучался к Муне. Нагнувшись над столом, Муня дорисовывал ноги очередного красноармейца.

— Я вам не помешал? — спросил Николай.

— Нет, что вы, что вы... Пожалуйста.

Муня поднял голову и, как обычно, приветливо улыбнулся.

Было совершенно ясно, что Николай ему помешал.

— Работаете? — спросил Николай.

— Работаю.

— И как всегда, завтра утром сдавать?

— Завтра утром.

— Жаль, а то бы... — Николай огляделся по сторонам. — Бэлочки нет, мы бы с вами... Впрочем, вам нельзя, вам завтра сдавать.

— Да, завтра сдавать. — Муня почесал линейкой затылок. — Такие сроки, такие сроки, просто ужас.

Николай сел на кровать — более подходящей мебели не было.

— А я вот только что с комиссии вернулся.

— С комиссии? Ну-ну, и что же?

— Шесть месяцев дали.

— Поздравляю. Чудесно. — Муня сделал какое-то движение, очевидно хотел пожать Николаю руку, но тот удивлённо на него посмотрел.

— Что ж тут чудесного?

Муня, как всегда, смутился, боясь, что сказал какую-то бестактность.

— Как это? Отдохнёте, поправитесь, ну и вообще...

— Муня, дорогой, простите, но вы ничего не понимаете. Это только называется шесть месяцев, а на самом деле... — Николай хлопнул себя по плечу. — Посыпай погоны нафталином и — в комод.

— Ах так... Ну, тогда, конечно...

— Что — конечно?

— Ну... — Муня стал опять чесать линейкой свою голову. — Я понял вас так, что вам не хочется демобилизовываться?

Николай встал.



— Слушайте, оставьте вы свой плакат, давайте выпьем.

Муня зачем-то посмотрел на часы.

— Ну чего вы на часы смотрите? У меня сегодня такой день чёртов, а вы... У вас есть деньги?

Муня торопливо стал искать в карманах, потом заглянул в какую-то книгу, коробочку на окне. Общими усилиями наскребли рублей двадцать. Николай вздохнул.

— Плохо дело.

— А может, Яшка? — робко сказал Муня.

Николай весело рассмеялся.

— Попробуй, добудись!

Яшка сначала недовольно что-то бурчал из-под своей подушки, но потом, узнав, в чём дело, мигом натянул сапоги, хлопнул дверью, а через десять минут явился с бутылкой.

Муня скоро увял, а Николай с Яшкой завели спор.

Собственно говоря, это был даже не спор — просто обоим хотелось говорить и не хотелось слушать. Поминутно друг друга перебивая, они упорно возвращались каждый к своему. Яшке, как и всегда, когда он выпьет, начинало казаться, что все недооценивают его службу в армии (до конца прошлого года он был шофёром — сначала в дивизии, потом в армии и, наконец, в штабе фронта, откуда его демобилизовали как бывшего железнодорожника), и так как работа шофёра, по его словам, была наиболее ответственна и опасна, он весьма энергично доказывал это, приводя бесчисленное количество примеров. Николай соглашался, но довольно вяло. Ему самому хотелось говорить — о сегодняшней коммиссии, о какой-то несправедливости, о том, что вот он три года провоевал, а теперь, когда Берлин уже не за горами, приходится — ему очень понравилось это выражение, и он несколько раз его повторил — посыпать погоны нафталином и прятать их в комод.

— В сорок первом, когда меня в первый раз ранило, — Николай растёгивал рубашку и показывал какие-то рубцы на плече, — чёрта с два, не демобилизовали. Тогда люди нужны были. А теперь? Теперь, я тебя спрашиваю? Уже не нужны? Как Берлин брать — так «спасибо, товарищ, можете отдохнуть». А если я не хочу? А? Не хочу ещё отдыхать?..

Яшка ждал только паузы.

— Ты говоришь — ты. А я? Вот вы все думаете, что шофёр на войне — это просто так, задницу на мягоньком отсиживали. Говорить легко. А ты вот сядь за баранку, сядь. Интересуюсь, что ты запоёшь.

— Да я ж ничего...

— Постой, постой, не перебивай. Ну не ты, так другие... Которые языками мелют. Посадил бы я их всех на «зиса» и спросил бы. А кто связь с Ленинградом по льду поддерживал? А? Кто с «катюшами» по всему фронту мотался? А? Молчат, сукины сыны. Так какого же дьявола они мне голову морочат?

Кого Яшка подразумевал, когда говорил «они», было не совсем ясно, но так или иначе на «их» голову сыпались проклятия, а роль Яшки в разгроме гитлеровских полчищ принимала поистине грандиозные размеры.

Оба доказывали свою правоту с таким азартом и так громогласно, что не заметили, как приоткрылась дверь и в щель просунулась валина голова.

— Слушайте, товарищи, ведь вас на лестнице даже слышно.

Яшка стукнул кулаком по столу.

— Валя! Молодчина. Старший сержант! К нам!

Валя сморщила нос.

— Не пью.

— А если попросим? — Яшка попытался придать своему лицу трогательно-просительное выражение.

Валя не выдержала и рассмеялась.

— Ладно. Переоденусь только. На дворе такой дождь, до нитки промокла, — и убежала.

Яшка подмигнул.

— Бабец что надо, а?

Николай ничего не ответил.

— Чего жмётся? Взял бы и женился. Ей-богу, пара. Фронтоничка, своя в доску.

— Чего ж ты не женишься?

— Я? Я совсем другое дело. Во-первых, она на меня даже и не смотрит. А потом, куда мне торопиться? Мне и так хорошо.

— Ну и мне хорошо.

— Врёшь!

— Почему вру?

— Потому что врёшь. Думаешь, я не вижу? У Яшки глаз — дай боже. Женись, не пожалеешь. Она и варить и стирать...

Окончить ему не удалось — заснувший Муня вдруг с грохотом свалился со стула и, лёжа на полу, испуганно моргал глазами. Яшка ловко его подхватил и уложил на кровать.

— Бывает. Спи, Муня. Мы Бэллочке ничего не расскажем.

Муня свернулся комочком и, подложив по-детски руки под щеку, моментально заснул.

Вошла Валя. На ней было синее, с какими-то складками на груди и белым воротничком, платье. Оно ей не шло, было узко в груди, и по всему видно было, что она чувствует себя в нём неловко.

Яшка с Николаем, привыкшие видеть её всегда в гимнастёрке или лыжной курточке, тоже слегка опешили.

— Вот это да! — Яшка даже сощурился, будто не мог выдержать такого ослепительного зрелища.

Потом он повторил всё то, что говорил Николаю, и начал было рассказывать какой-то фронтоничкой эпизод, в котором шофёр спас чуть ли не целую дивизию, но в середине рассказа вдруг спохватился, сказал, что ему куда-то ещё надо, и, выходя, весьма выразительно подмигнул Николаю.

После яшкиного ухода несколько минут молчали. Валя старательно смывала какое-то пятно на клеёнке.

Первым заговорил Николай:

— Ну так как же? Сменила наконец гнев на милость?

Валя, до сих пор делавшая вид, что разговаривает главным образом с Яшкой, подняла голову.

— Просто интересуюсь, чем у тебя комиссия кончилась.

— И только?

— И только.

— И в институт за тобой попрежнему не заходить?

— Там видно будет. — Она чуть-чуть, краешком губ улыбнулась и посмотрела на Николая. — Ты был на комиссии?

— Был. — Николай указал на пустую бутылку. — Потому и пьём.

— Что сказали?

— Нафталин есть?

— Какой нафталин?

— Погоны посыпать и — в комод. Понятно? — Николай встал и прошёлся по комнате. — Нет больше капитана Митясова. Есть гражданин Митясов Н. И. — Он искусственно рассмеялся. — Отвоевался, голубчик. Разведчик в отставке. Квартирант на продавленном диване.

Валя помолчала, потом сказала:

— Ну что ж, я очень рада.

— Чему?

— Тому, что нет больше капитана Митясова.

— Ты это серьёзно?

— Абсолютно.

Николай остановился.

— Чепуха! Ты говоришь чепуху. — Он даже покраснел. — Понимаешь, чепуху!

Валя ничего не ответила. Николай прошёлся по комнате, постоял над плакатом, который Муне так и не суждено было сегодня закончить, — солдат с открытым ртом указывал на что-то ещё не нарисованное, — потом зло, раздражённо заговорил опять о трёх годах войны, о Берлине, о своём первом ранении, о том, что теперь он никому не нужен. Валя слушала молча, с таким видом, с каким слушают давно известные вещи. Николай сел рядом с ней на кровать.

— Ну, чего ты молчишь?

— А о чём мне говорить? Я уже сказала. И Муня вот спит. Мы его разбудим.

— Ну и чёрт с ним, с Муней. Ему завтра работу сдавать. Нечего ему спать. Вставай, Муня!

Николай повернулся на кровати и хлопнул Муню между лопаток. Муня даже не шелохнулась, только почмокала губами. Валя поднялась. Николай схватил её за руку.

— Куда?

Валя спокойно высвободила руку.

— Чай ставить. Скоро мама придёт.

— Ну погоди. Куда ты торопишься? — Он опять взял её за руку и, потянув, посадил на кровать. — Ну, я выпил немножко. Что ж тут такого? Ну, выпил и говорить хочется, а ты... Неужели ты не понимаешь?

— Понимаю. Только давай в другой раз, не сейчас.

— Ладно, — сухо сказал Николай и сделал движение, чтобы встать. Но не встал, а взял лежавшую на столе валину руку и поцеловал её. Валя на этот раз не выдернула руку.

— Ох, Николай, Николай! Почему все мужчины такие глупые? Ужасно глупые, ей-богу. Думаешь, я не поняла, что означало твоё «ладно».

— Ну?

— Ладно. Не хотите меня слушать, буду тогда действовать. Пойду завтра в военкомат и подам заявление, чтоб на фронт послали. А не разрешат, плюну на всё, сяду на поезд и поеду в свою часть. Там меня всегда примут. Угадала?

Николай дунул Вале в лицо и рассмеялся.

— А что, не примут, скажешь?

— Конечно, примут. Я ж и говорила. — Валя встала. — Пошли, примус разведём. Придёт мать, достанется нам.

Они вышли в кухню. Валя сняла с полки примус и налила в него бензину. Николай сел на подоконник, закурил.

— Есть у тебя спички? — спросила Валя.

Николай молча подал коробку. Валя зажгла примус и, сощурившись, смотрела на тихое голубое пламя.

— А в общем, все мы одинаковые, — сказала она, оторвавшись наконец от пламени. — Думаешь, я не бегала в военкомат, не подавала рапорты? А у меня ведь мать. И я её почти три года не видела. А вот бегала...

Пламя стало гаснуть. Валя накачала примус и поставила на него большой жестяной чайник. Николай, сидя на подоконнике, смотрел на неё, на её быстрые, ловкие движения, на стройную фигуру с немного широкими плечами, и невольно улыбнулся, вспомнив яшкино — «фронтотвичка, своя в доску».

Валя подошла к окну, вытирая руки полотенцем. На дворе шёл дождь, противный, серый, осенний дождь. У самого окна проходила сломанная водосточная труба, и струя воды с шумом била о карниз.

— Да. Странно всё это... — сказала Валя.

— Что это?

— Да всё... — Валя пальцем нарисовала что-то на запотевшем окне, потом стёрла. — А ведь на фронт-то тебе хочется не только потому, что тебе воевать хочется. Я говорю — не только, понимаешь?

— Нет, не понимаю.

— Тебе в тыл не хочется. Вот в чём вся заковыка.

Николай посмотрел в окно, на мокрые крыши и тротуары, на перебежавшего улицу человека в коротеньком пальто с поднятым воротником.

— Да... — неопределённо сказал он и с силой раздавил остаток цыгарки о подоконник. В коридоре хлопнула дверь. Вернулась Анна Пантелеймоновна.

За чаем все молчали. Анна Пантелеймоновна после долгого, утомительного собрания пришла усталая, бледная. Разговор не клеился. Николай, против обыкновения, выпил только один стакан чаю и пошёл спать, хотя не было и девяти часов.

Валерьян Сергеевич был на дежурстве. Не зажигая света, Николай лёг на диван и натянул на себя шинель. В углу, в ящике из-под консервированного молока, на остатках старого стёганого одеяла, копошились родившиеся сегодня утром котята, и старая серая Грильда о чём-то тихо и ласково с ними разговаривала.

Николай лежал на спине, глядел в чёрный потолок и думал о том, почему так глупо устроен мир, почему человек, имеющий возможность спать под железной крышей после трёх лет бездомной солдатской жизни, не только не радуется этому, а, наоборот, хочет вернуться туда, где, как о чём-то несбыточном, мечтаешь о сне, а спать нельзя.

И, может быть, только сейчас, лёжа на этом продавленном диване и глядя в потолок, он впервые понял и ощутил то, о чём говорила сегодня Валя. Да, он отвык от мирной жизни. Он привык к фронту, привык к людям, к своим обязанностям, своему положению. Фронт стал его домом. Больше домом, чем эта комната с четырьмя стенами, потолком, пролёжанным диваном. Там, на фронте, он был своим, там он знал, что делать, — здесь, даже здесь, где к нему все так хорошо относятся, — нет.

Кому нужны теперь его умение бесшумно подползти к немецкому часовому и снять его с поста, мастерить из набитых соломой плащпалаток плотники, вывёртывать взрыватели из вражеских мин, ходить по сорок—пятьдесят километров, не натирая ног, умение сплотить различных, не похожих друг на друга людей в маленькую дружную семью разведчиков, весёлых, озорных, часто, может быть, и грубых, но всегда готовых так же весело и бодро выполнить любую, самую сложную задачу. Кому теперь всё это нужно?

Ну, хорошо, завтра или послезавтра он съест своё офицерское удостоверение с фотокарточкой, где он ещё с усами и с бачками, потом пойдёт в милицию, получит паспорт, а потом... Что же потом?

Старая Грильда вылезла из своего ящика, подошла к Николаю и тихо мякнула. Николай понял. Встал, налил в блюдечко молока, куплен-

ного сегодня специально для неё, как для кормящей матери. Сел рядом на корточках.

Как-то в Сталинграде к ним в блиндаж бог весть откуда забрела кошка. Худющая, кожа да кости. Бойцы весь вечер провозились с ней. Накормили, сделали ей возле печки гнёздышко из старых телогреек, прикрыли суконной портянкой. Прожила она на передовой что-то около месяца. Поправилась, похорошела, бегала, задравши хвост, по окопам, когда было затишье. Потом её ранило осколком. За ней ухаживали, но через три дня она околела. Бойцы выкопали ямку и похоронили её.

Милое, уютное, домашнее. Как его не хватало на фронте. Как часто о нём говорили, вспоминали, сидя на корточках вокруг раскалённой печурки, в тесной, накуренной землянке. Как радовались сталинградцы, услышав в одно ясное февральское утро крик петуха. Его везли на поезде, он хлопал крыльями и кукарекал — красивый, чёрный, возвращавшийся из эвакуации петух.

Милое, уютное, домашнее...

С сегодняшнего дня Николай тоже мирный человек. Скоро он получит паспорт. И будет здесь жить и где-то работать, а по вечерам сидеть за столом, пить чай, разговаривать. И придёт Валерьян Сергеевич со своим вонючим табаком и начнёт о чём-то спорить с Валею. А Валя будет что-то доказывать, а Валерьян Сергеевич — опровергать. А Муня — сидеть на том вот конце стола, с измазанным краской носом, и молча помешивать ложечкой свой чай. А потом встанет, посмотрит на свою Балочку и скажет: «Ну что ж, нам пора...»

И так будет каждый день. Каждый день...

В коридоре послышался весёлый яшкин голос. Николай слышал, как Яшка о чём-то оживлённо говорил со «старухой» Ковровой, потом прошёл к Острогорским, вернулся, постучал к нему в комнату и сказал: «Алло, старик, ты спишь?» — и ещё два или три раза повторил эту фразу. Но Николай, закрыв зачем-то в темноте глаза, сделал вид, что спит, и даже немного всхрапнул. Вскоре он на самом деле заснул.

## 15

Так началась новая полоса в жизни Николая.

Началось с беготни по учреждениям. В военкомате надо было стать на учёт и взять справку на предмет получения пенсионной книжки, в милиции — сдать какие-то анкеты и фотокарточки для оформления паспорта, в собесе — получить продуктовые карточки. Везде были очереди и надо было кого-то дожидаться, или не хватало какой-то справки, или надо было её заверить у нотариуса, а там тоже была очередь, или опять надо было кого-то дожидаться; одним словом, Николай столкнулся с той жизнью, тяжёлой, непонятной ему и часто раздражающей жизнью тылового города, о которой он в армии как-то даже не задумывался.

Он, правда, знал, что гражданскому населению во время войны нелегко и что за килограммом крупы или макарон надо несколько часов простоять в очереди. Знал, что существует слово «отоваривать» (оно его очень сместило), что есть «стандартная справка», без которой не давали карточек на следующий месяц. Знал, что стакан махорки на базаре стоит десять рублей, а литр керосина — шестьдесят — семьдесят, а то и восемьдесят рублей и что поэтому нельзя пользоваться лампами, а приходится довольствоваться коптилками, знал, что выгоднее всего сейчас торговать пивом и газированной водой, что девяносто девять процентов судебных заседаний посвящено квартирным конфликтам, — население города увеличивалось с каждым днём, а город был разрушен и квартир не хватало, — что для некоторых ордена, которые они честно заработали

на фронте, и нашивки о ранении превратились в средство без очереди проходить к начальству, стучать там кулаком по столу и требовать различных законных и незаконных льгот и выдач.

Всё это Николай знал — и на фронте и особенно в госпитале об этом говорили достаточно. Сейчас он с этим столкнулся лицом к лицу. И так же, как человек, впервые попавший на фронт, хотя и много слышавший о нём, долго не может свыкнуться со всем происходящим вокруг него, так и Николай, очутившийся в этом большом, удалённом на сотни километров от фронта городе, именуемом коротким словом — тыл, никак не мог к этому тылу привыкнуть.

— Ну что это такое, в конце концов, — возмущался он, вернувшись домой злой и усталый после целого дня стояния в очереди, — куда ни ткнись, всюду хвосты, везде всё с бою добывай. Паршивую справку получить, и то до хрипоты кричать надо. Бред собачий!

Слушатели только переглядывались.

— С непривычки, Николай Иванович. Скоро привыкнете. Сами рассказывали, как спят у вас солдаты под любой бомбёжкой и обстрелами, ничем не разбудишь.

— Так то фронт...

— А то тыл...

И опять переглядывались.

Николай только удивлялся. Странные они люди... Он не понимал, что для этих странных людей, перенесших три года войны, кто в оккупации, как Анна Пантелеймоновна, а кто, как Ковровы, в далёком холодном и жарком Казахстане, нынешний, 1944 год — здесь, дома, за каменными стенами, с дровами на кухне, — казался если не сказкой, то во всяком случае чем-то очень и очень неплохим. Одно уже то, что жили они в своём родном, пусть разрушенном, искалеченном, но избавленном от оккупантов городе, помогало переносить любые, связанные с войной лишения.

Год тому назад Анна Пантелеймоновна жила в этой самой, заваленной книгами комнате одна-одинёшенька, никому во всём городе не нужная, потерявшая мужа, лишившаяся работы, друзей. Почти все её знакомые и друзья эвакуировались. Остался только один бывший сослуживец её мужа. До войны он довольно часто приходил. При немцах он тоже как-то зашёл, чистенький, выбритый, пахнувший одеколоном. Принёс какую-то еду, селедку. Анна Пантелеймоновна его выгнала. Он работал на немцев. Для Анны Пантелеймоновны этого было достаточно — такие люди для неё не существовали. И вот она осталась одна. Сидела на базаре перед двумя стопками никому не нужных книг, стараясь не видеть ненавистных ей чужих людей в серо-зелёных шинелях, и считала праздником тот день, когда за полупудовый географический атлас в тиснённом золотом переплёте получала стакан пшена или когда отогрели водопроводную колонку возле стадиона и можно было уже не таскать воду за четыре квартала с Жилиянской улицы.

И вот всё это уже позади. Попрежнему работа, попрежнему рядом Валя, и всё чаще слышишь, что такой-то вот вернулся с фронта, пусть даже раненый, но голова всё-таки цела на плечах и скоро, говорят, выпишут уже из госпиталя. Правда, бывало и другое. У Сушкевичей погибли оба сына — Анна Пантелеймоновна хорошо их помнит, как они, всегда опаздывая в школу, скатывались по лестнице, сбивая прохожих. Саша и Котик — два близнеца. А Крыловы, такие славные старичок и старушка из четырнадцатой квартиры, вчера только получили похоронную откуда-то из Польши. А ведь на прошлой ещё неделе старушка Крылова оставила Анну Пантелеймоновну на лестнице и долго рылась в своей сумке, чтобы показать карточку своего внука: «Красивый

какой стал, а? Совсем мужчина». А бедная Марфа Даниловна? Как только постучит почтальонша Клава (она уже знает её стук), сразу меняется в лице — «пойди, Петя, открой», — сама бонься, вдруг по курносому личику Клавы всё поймёт. А потом, когда письмо оказывается от Мити (всё те же «воюем помаленьку»), угощает Клаву чаем и без конца спрашивает о Ване, клавином кавалере, который где-то там на фронте, у чёрта в зубах, в Баренцовом море...

Бог ты мой, бог ты мой... Четвёртый год пошёл, подумать только, четвёртый год... И четвёртый год только и слышишь — убили, разрушили, уничтожили, потопили, взорвали. В газетах, по радио, на улицах, везде...

И Анна Пантелеймоновна не на шутку сердилась, когда Николай начинал сравнивать фронтную жизнь с тыловой, отдавая иногда предпочтение фронту.

— Замолчите! Слышать не хочу. Как можно такое говорить? Дурно или хорошо у нас здесь, но люди всё-таки ходят по улицам во весь рост и не боятся, что их убьют. Очереди надоели? Без работы скучно? Так ищите работу, а не расхваливайте мне войну. И не поддерживай его, Валя, пожалуйста... Пусть работает. Или учится. Вот что вам надо — учиться вам надо!

Николай почёсывал затылок.

— Вот получу на днях паспорт и тогда...

А что «тогда» — Николай и сам толком не знал.

Выходов было два. Вернее — три. Но третий, хотя он был, пожалуй, самым лёгким и выгодным, Николай в конце концов отбрасывал.

Первый выход — закончив все свои дела, отправиться в райком и сказать там: «Вот я такой-то и такой-то, вернулся с фронта, специальности не имею — назначайте, куда хотите, вам виднее». Это был выход самый простой.

Второй — тот самый, на котором настаивала Анна Пантелеймоновна, — пойти учиться. Поступить в какой-нибудь техникум или институт — любой: строительный, индустриальный, горный — и, помучившись над книгой сколько-то там лет, получить специальность. Этот вариант был сложнее — за время войны Николай позабыл всё то небольшое, чему когда-то научился, и без особого восторга думал о парте и книге. Но, с точки зрения здравого смысла, как говорил Валерьян Сергеевич, этот выход был наиболее правилен: раньше или позже, специальность получить надо было.

Но первый вариант пугал неясностью перспективы, второй — относительно далёкой перспективой, и оба — чего греха таить — скудостью заработка. На первых порах, правда, была пенсия, но рука заживает и пенсию снимут — сиди тогда на стипендии или на каких-нибудь четырёхстах—пятистах рублях.

И вот тут-то всплывал третий, самый соблазнительный вариант, автором которого был дьявол-искуситель в лице Яшки.

Яшка был человеком дела. Он не любил разговоров впустую, которыми занимались, на его взгляд, остальные жильцы квартиры. Все разговоры об учении он называл разговорами «до лампочки» и ни одной минуты не сомневался, что на первых же экзаменах Николай засыплется. В то, что райком сможет найти для Николая хорошую работу, он тоже не верил.

— Это не для тебя, брат. Физическим трудом заниматься ты пока не можешь, вот и предложат тебе что-нибудь бумажное.

А это, «по нынешним временам», Яшка считал самым неподходящим.

— Это тебе не фронт — винтовку в руки и «ура», «вперёд!». Тут на таких можешь нарваться — раз-два! — обведут вокруг пальца. Пикнуть не успеешь, и будьте любезны — ты меня видишь, я тебя нет. — Яшка четырьмя пальцами изображал решётку. — Нужно это тебе?

Нет, яшкин план был прост и ясен. Время сейчас нелёгкое, Николаю надо содержать семью (крутись не крутись, всё равно женишься на Вале), а кто больше всех сейчас зарабатывает? Конечно, шофёр. Значит, надо стать шофёром.

— За две недели я из тебя такого водителя сделаю — закачаешься. Что пальцы плохо работают — это ерунда, важен локоть, плечо и вот это вот место, — Яшка показывал на своё широкое, костистое запястье, не зная, как его назвать. — Права получишь в два счёта. На работу устрою к нам в гараж, в субботу как раз новые машины получаем, — одним словом, заживём мы с тобой, Николай Иванович, ты даже не представляешь, что это за жизнь будет!

Яшка хлопал себя по коленке и прищёлкивал языком.

— Скажи, что Яшка не умный. А? В этих вопросах я всех твоих Валерьянов за пояс заткну. Согласен?

Николай смотрел в окно и рассеянно отвечал:

— Согласен.

— А раз согласен, завтра же и начнём.

— Нет, завтра я ещё не могу.

— Тогда послезавтра.

— И послезавтра не смогу — в райком надо.

Яшка начинал злиться:

— Вот заладил одно и то же — не могу да не могу. Ты не юли. Говори прямо — хочешь или не хочешь?

Яшка был парень напористый, но ответа он так и не получил — другие, совершенно неожиданные события не дали Николаю возможности принять окончательное решение.

## 16

В самый канун Октябрьских праздников Николай получил паспорт.

— Пока что временный, — сказал сидевший за окошком румяный, похожий на девушку сержант милиции. — Распишитесь. Через шесть месяцев выдадим постоянный. И здесь тоже.

Николай с трудом расписался, держа перо между большим и указательным пальцем, посмотрел на фотокарточку — до чего ж унылое лицо, — сунул паспорт в карман и пошёл в райком — он находился напротив.

Райком занял около часу. В шесть Николай вернулся домой.

На лестнице столкнулся с управдомшей — энергичной, хриплоголовой женщиной в стёганой военной телогрейке. В последние дни, встречаясь с ним, она как-то странно на него поглядывала. Сегодня она просто подошла и сказала:

— Простите, вы, кажется, в шестнадцатой квартире живёте?

— В шестнадцатой, — ответил Николай.

— И, если не ошибаюсь, вы сейчас уже не военнослужащий?

Николай, до сих пор ходивший в погонах (как Яшка говорил, для облегчения жизни), немного смутился.

— Да, вроде как уже не военнослужащий.

— И живёте на жилплощади Гиреева?

— Так точно.

— И не прописаны?

— Совершенно верно.



Управдомша многозначительно помолчала, глядя на Николая недружелюбным взглядом, потом сказала:

— Но вам должно быть известно, что непрописанными на чужой площади могут жить только военнослужащие.

— Нет, это как раз мне и неизвестно,— ответил Николай. — Но если это необходимо, я, конечно, сейчас же пропишусь. Паспорт у меня в кармане, только что получил.

На управдомшу это не произвело никакого впечатления.

— Вашего желания недостаточно,— сухо сказала она. — Вам придётся сходить в райжилуправление к товарищу Кочкину.

— А зачем мне нужно идти в райжилуправление к товарищу Кочкину? — Николай почувствовал, что начинает раздражаться.

— А затем, что без его разрешения я не имею права выдать вам форму номер один.

— Что это ещё за форма?

— Справка о том, что санминимум разрешает вам поселиться на данной площади. У Гиреева сколько метров?

Николай на минуту задумался.

— По-моему, пятнадцать.

— А по-моему, одиннадцать, — так же сухо и недружелюбно сказала управдомша. — Вряд ли Кочкин разрешит. На человека полагается шесть метров.

— Ну, это уж я с ним буду решать, — резко сказал Николай и стал подыматься по лестнице.

Управдомша крикнула ему вдогонку:

— Прошу только не задерживать решения. Я вовсе не намерена иметь из-за вас неприятности от участкового.

Николай ничего не ответил, но, открывая дверь, подумал, что, очевидно, с этой дамой надо разговаривать на другом языке.

В коридоре, стоя на табуретке, возился со счётчиком Яшка, Николай чуть не сшиб его.

— Чего это ты там возишься?

— Обещают свет на праздники дать. Такую иллюминацию запустим— держись только.

— Ну, а меня можешь поздравить — получил паспорт наконец.

Яшка соскочил с табуретки.

— Ого! Празднички, значит, погуляем, а девятого ко мне. Идёт?

— Чёрта с два. Встретил сейчас эту мымру на лестнице. Не хочет прописывать.

— Кто? Управдомша?

— Ага. Говорит, не хватает какого-то санминимума у Валерьяна Сергеевича.

Яшка свистнул.

— Это всё Кочкин. Из райжилуправления. С ним надо... — Яшка ткнул вдруг Николая пальцем в грудь. — Ничего с ним не надо. Прописывайся у Острогорских. Ну, чего смотришь? Муж имеет право прописываться на площади жены. Такой закон есть, — и весело подмигнул. — Понял теперь? Поддай-ка мне плоскогубцы. Вон там, на полу лежат.

Анна Пантелеймоновна второй день не ходила на службу. У неё был грипп. Температура подскочила до тридцати девяти, и Валя с великим трудом — Анна Пантелеймоновна отчаянно сопротивлялась — уложила её в постель. Собственно говоря, даже не в постель, а на диван, так как, по теории Анны Пантелеймоновны, ни в коем случае нельзя показывать болезни, что её боишься, иными словами, нельзя лежать под простыней, а надо целый день слоняться по комнате или, в крайнем

случае, лежать на диване, укрывшись, упаси бог, только не одеялом, а обязательно стареньким, изъеденным молью пальто.

Когда Николай вошёл, Анна Пантелеймоновна лежала на диване и спала. Рядом, на стуле, стоял стакан воды, а на полу валялась выпавшая из рук книга.

Николай поднял книгу и поправил сползшее пальто. В комнате было холодно. Он вышел на кухню, нарубил дров, затем вернулся и принялся растапливать печурку.

Анна Пантелеймоновна заворочалась. Скрипнули пружины — повернулась, очевидно, на другой бок. Слышно было, как она шарила рукой по столу, ища стакан. Николай обернулся.

— Может, вам свеженькой принести?

— Ах, это вы? Я и не заметила. Нет, нет, не надо. — Она сделала несколько глотков. — Валя дома?

— Нет, не приходила ещё. Зажечь коптилку?

— Нет, спасибо, не надо. Я так полежу.

Николай удивился. Анна Пантелеймоновна не умела просто так лежать. Она всегда находилась в действии, а если уж лежала, то обязательно что-нибудь читала. Очевидно, она сейчас себя по-настоящему плохо чувствовала. Но Николай ничего не спросил — он знал, что Анна Пантелеймоновна не любит этих расспросов. На цыпочках вышел в кухню, наполнил чайник, вернулся, поставил его на печку и опять сел возле неё, подбрасывая время от времени чурки.

Он долго так сидел и смотрел на весело потрескивавшие в огне дрова. Вот так вот сидел он и в Сталинграде, в своей землянке. И такая же была у него печурка, и так же весело горел огонь, а забавный курносый Тимошка старательно всовывал в неё кирпичи. В Сталинграде топили кирпичами, пропитанными керосином. Керосину было много, целый состав, и битого кирпича тоже хватало — вот и мочили его в ведре с керосином, а потом топили им. Очень хорошо горело.

Эх, Сталинград, Сталинград... Как часто о нём вспоминаешь. Об этом стёртом с лица земли городе, стёртом на твоих глазах и всё-таки оставшемся в живых. Как хочется посмотреть на него сейчас. Как радуешься каждому человеку, для которого такие слова, как Мамаев курган, Банный овраг, Соляная пристань, не только слова, названия, а часть жизни — может быть, самая значительная её часть.

И, может, именно потому Николай просидел в кабинете секретаря райкома дольше, чем положено сидеть у занятого человека, что секретарь тоже оказался сталинградцем. Уже немолодой, грузный человек, с розоватым шрамом на усталом, небритом лице. Оказывается, воевал совсем рядом, у Родимцева, начальником артиллерии дивизии. Его НП на кургане находился в каких-то ста метрах от НП Николая. Может, они и встречались там. Может, даже и переругнулись когда-нибудь.

Секретаря поминутно отрывал телефон, несколько раз кто-то заглядывал, в приёмной сидели люди, — но как не вспомнить о прошлом? А потом обычный, звучащий всегда немного иронически, вопрос:

— Ну, где легче, здесь или там?

И за ним уже деловой:

— Так что же мне тебе, друг, предложить? А?

Повертел пальцами самопишущую ручку — «понимаю тебя, разведчика, но что поделаешь, жизнь того требует» — и предложил должность инспектора райжилуправления.

— Это у нас сейчас самый тяжёлый участок. Людям жить негде, а с каждым днём их прибывает. — И, подумав, почесав ручкой лоб, добавил: — Место скользкое, знаю, не всякий на нём усидит. Тут рот не разевай. Присматривайся к людям, кому можно доверять, кому нет. Попа-

даются у нас ещё людишки, которые и на немцев работали, и на нас хотят заработать. Маскируются ещё. Смотри не попадись им на удочку. А главное, в деле разберись. Придётся тебе там и со строительством столкнуться. Не Днепрострой, конечно. Но дома в большинстве аварийные, еле-еле дышат. Завалится какой-нибудь, кому отвечать придётся? Тебе придётся. А коммунист ты молодой, опыта нет, знаний нет. Небось, кроме как стрелять, да гранаты бросать, да на брюхе ползать, ничего не умеешь? Так ведь?

Николай молча кивает головой. На этот вопрос не ответишь.

Кем, в сущности, он был до войны?

Обыкновенный мальчик. В детстве гонял голубей, не очень усердно ходил в школу, не любил математику, любил физкультуру, не пропускал ни одной кинокартины, ходил зайцем в цирк на чемпионаты французской борьбы, летом пропадал на пляже.

Родители мало им интересовались. Мать умерла, когда ему не было ещё шести лет. Отец женился на другой, потом разошёлся, опять женился. Был он слесарем, работал в артели, чинил примусы, замки, изрядно пил. В маленьком домике их, на Лукьяновке, на самой окраине города, всегда толклись какие-то люди, что-то покупающие и продающие. Николай ушёл. Сначала думал поступить в морской техникум, послал даже заявление в Одессу, но его не приняли.

Пятнадцать лет он уже неплохо крутил сальто. Какие-то циркачи на пляже предложили ему вступить к ним в труппу. Но циркачей вскоре почему-то арестовали, и Николай (всё благодаря тому же пляжу) устроился матросом на спасательной станции. Потом был мотористом на переправе через Днепр. Потом опять же матросом на пароходе «Котовский», ходившем в Херсон. В тридцать седьмом году поступил в физкультурный техникум, в тридцать девятом — в институт. Окончить его помешала война.

Для полноты биографии добавим ещё, что перед самой войной он женился. Женился на Шуре Вахрушевой, которую знал, когда ещё был мальчишкой (она с мамой жила через три дома от них, на Лукьяновке), а потом встретил опять на городских легкоатлетических соревнованиях, в которых завоевал второе место по прыжкам с шестом.

По натуре своей человек он был тихий, не любил скандалов и так называемых «заводиловок», но, если уж разозлят или заденут, в долгу не оставался. За один из таких случаев его раз чуть не исключили из комсомола, и только потому, что на пароходе он был одним из самых дисциплинированных матросов, дело ограничилось замечанием.

Вообще же парень он был хороший, компанейский, и, может, именно поэтому Шура на него иногда и обижалась. Как и большинство женщин, она не всегда понимала, что мужчинам иногда хочется побыть вместе, без жён, что куда интереснее и веселее в субботу вечером взять лодку и поехать на ночь и на воскресенье с ребятами на Десну, чем напяливать на себя рубашку с воротничком и галстук, которого он терпеть не мог, итти в театр, ходить под руку по фойе и, толкаясь у прилавка, покупать тёплый клюквенный напиток.

Иногда Николаю даже казалось — это бывало, правда, не часто, обычно когда он возвращался откуда-нибудь навеселе и Шура с обиженным видом сидела, что-нибудь чертила (она работала чертёжницей на Кабельном заводе) и ничего не спрашивала, — иногда ему казалось, что не стоило так рано жениться и что вообще, быть может, жениться не надо совсем или, в крайнем случае, лет до сорока. А через час они уже бежали куда-нибудь в кино, и Николай не без гордости замечал, что в фойе на его Шуру все оборачиваются. Оборачиваются, хотя она вовсе не считалась хорошенькой и у неё много было подруг, которые были куда

красивее её, и делали себе перманент, и брови выщипывали, а вот оборачивались больше на Шуру. А она не обращала на это никакого внимания — только смеялась. «Я вообще мужчин не люблю,— говорила она, — от них табаком пахнет и бриться почему-то не любят. Я б и за Николая не пошла, если б не мама. Только для неё и вышла замуж...»

Но это было, конечно, неправдой. Шура любила его. И он — Шуру. И вообще жили они хорошо и дружно и, может быть, не случись война, жили бы так и до сегодняшнего дня...

Вот, собственно говоря, и всё, что можно рассказать о довоенном Николае. Хороший парень — вот и всё. Если вы зайдёте к нему, он всегда будет вам рад. Быстренько сбегает на угол, купит всё, что полагается, через полчаса будет уже петь песни, стараясь перекричать вас, потом выжмет стойку на стуле и, посмотрев на пустой стол, предложит опять сбегать на угол. Тут запротестует Шура, а он, весело подмигнув вам, скажет: «А что если мы мотнём на Днепр?» Это в случае, если вы зашли к нему летом и в воскресенье. И вы не пожалеете, если поедете с ним. У него и удочки, и червяки, и лодку он выберет самую лёгкую, и места он знает на Днепре самые хорошие, — одним словом, время вы проведёте неплохо. Только на международные темы разговор не получится — в этом он мало разбирается. Правда, если заговорите об испанских событиях, он вздохнёт и скажет: «Эх, вот куда бы я поехал! Хороший народ. И воюет хорошо. наших вот только там маловато» — и тут, может быть, даже выругается.

Но в Испанию поехать ему не довелось, воевать пришлось гораздо ближе. Провоевал он три года — с 22 июня по 24 июля. Тяжёлые три года. Но именно в эти три тяжёлых года Николай узнал то важное и нужное, чего не знал раньше.

До войны у него были товарищи — и на пароходе, и в техникуме, и в институте, — со многими из них он по-настоящему дружил. Но это было только товарищество, не больше. Дружба людей, рождённая общностью работы, учения, а может быть, и просто молодостью.

На фронте всё это стало другим. Именно на фронте Николай понял, что товарищи — это не просто твои товарищи, к которым ты привязан потому, что они тебе нравятся, а что это и есть народ, то самое, что для Николая было до войны большим, но всё-таки до какой-то степени отвлечённым понятием. На фронте Николай узнал народ. Узнал и оценил.

Узнал он там и другое — чувство ответственности. Ответственности перед людьми, перед самим собой, ответственности за их жизнь, за правильно принятое решение, за выполненную задачу. Без этого нельзя воевать. Об этом надо помнить каждую минуту, каждую секунду, всегда, везде, при любых обстоятельствах. Помнить, когда посылаешь людей в разведку, когда ведёшь их в бой, когда приказываешь отступить или скопаться перед противником, который впятеро сильнее. Надо помнить, что приказ свят, что не выполнить его нельзя, что, взяв эту высоту, ты, может быть, на день, на час, на минуту приблизишь день победы. И надо помнить, что выполнять приказ будут люди, жизнь которых зависит от твоей находчивости, сообразительности, ума и опыта, люди, у которых больше дней впереди, чем позади, у которых матери, сёстры, жёны, дети.

Помни об этом. Каждую минуту помни. Помни, потому что именно это великое чувство ответственности рождает другое, не менее важное на войне чувство — чувство доверия солдат к тебе, своему командиру; именно оно — великое и трудное чувство ответственности — убивает страх перед смертью, рождает стойкость, упорство, волю, рождает победу; и именно оно превращает весёлого, беспечного, живущего своей молодостью малого в человека.

И Николай понял это.

Николай сидит, смотрит на прыгающий по щепкам огонь и думает.

Секретарь со шрамом на лице сказал: «Это очень тяжёлый участок».

Тяжёлый участок. Николай три дня сидел с группой разведчиков в отрезанном от своих блиндаже. Дважды пересекал днём Волгу под обстрелом двух пулемётов и миномётной батареи. Отражал со своим взводом атаку танков. Дай бог, чтобы этого никогда больше не было. Даже сейчас, как вспомнишь...

И вот опять тяжёлый участок. Не окоп, нет — колченогий стол с ящиками, с бумагами, шкаф, набитый папками, протоколы обследований, акты... «Я, инспектор такой-то, обследовал квартиру такую-то...»

Тяжёлый участок... На фронте не легко — но там сознание, что ты делаешь самое главное. А здесь? «Место скользкое, не всякий усидит».

Заявления, жалобы, протесты. Десятки, сотни. Мать с двумя детьми, муж погиб, жить негде... Стоит и смотрит на тебя. Жить негде. На руках дети. Плачут.

А может, это так же важно, как захватить высоту, отбить атаку? Подумай хорошенько.

И Николай думает. Смотрит, сощурившись, на огонь и думает.

В печке что-то зашипело и треснуло. Вывалился на пол уголёк — маленький, красный. Николай бросил его обратно, подкинул ещё несколько полешек. Одно смешное, какое-то изогнутое, с кривым сучком, похожее не то на собаку с хвостом-бубликом, не то на лицо старика с крючковатым носом. В комнате совсем тихо, только потрескивают дрова и равномерно тикают над головой часы с подвешенным вместо гири замком.

Как трудно принять решение. Ох, как трудно. И если б одно, а то ведь не одно! Всё навалилось сразу... На фронте, там приказ. Он усложняет жизнь, но и упрощает её. О многом можно не думать. Здесь приказа нет. Здесь ты сам себе должен приказать. Приказать и выполнить.

Сегодня, по дороге в милицию, Николаю показалось, что он увидел Шуру. Он даже вздрогнул. Шура или похожая на неё женщина — Николай видел её со спины — стояла в очереди у самого входа в распределитель. Когда он подошёл, часть очереди впустили внутрь и ему так и не удалось увидеть лица.

А ведь прошло уже два месяца, даже больше, с тех пор, как они виделись в последний раз. В первый и последний. Возможно, если б они встретились ещё... Но зачем об этом думать? Ведь он принял решение. Ещё тогда, на своей лужайке, и это — правильное решение. Надо только, чтобы всё стало на своё место так прочно, что уже не сдвинуть.

Часы вдруг остановились. Крак — и стали. Опять этот чёртов замок, всё время цепляется за маятник. Сколько раз повторял себе — надо заменить его, повесить настоящую гирию. Завтра же он это сделает. Валя раз пять уже опаздывала из-за этих часов на работу.

Николай встаёт, на цыпочках подходит к часам, подталкивает пальцем маятник — опять пошли.

Восемь часов. Без пяти восемь. Через полчаса придёт Валя. Сегодня пятница, по пятницам она всегда приходит раньше. Нет, сегодня у неё вечер, он совсем забыл, — предпраздничный вечер в институте. Раньше двенадцати она не вернётся.

А может, пойти ей навстречу? Пройтись опять по Ботаническому саду — сейчас там так хорошо, последние осенние дни. Дубы и тополя ещё зелёные, ещё осыпаются клёны — в этом году всё как-то запоздало. Валя собирает листьев — красных, жёлтых, золотистых, заполнит ими всю квартиру. Набёт ему все карманы каштанами... Милый, забавный,

рыжий сержант... Сколько ещё детского в этом солдате. Смешная... Убежала тогда. А потом три дня ходила с таким лицом — страх, не подходи! Вот тебе и сержант...

Анна Пантелеймоновна зашевелилась на своём диване. Потянулась за стаканом.

— Может, вам чайку налить? — спрашивает Николай.

— Чайку? — Анна Пантелеймоновна отвечает тихо и как-то неопределённо, точно сама не знает, хочет она чаю или нет. — Ну что ж, налейте.

Николай достаёт старую фаянсовую кружку Анны Пантелеймоновны, с которой она не расстанется последние тридцать лет, — большую кружку с охотником и бегущим зайцем такого же роста, как охотник.

— А я сегодня паспорт получил, — говорит Николай, ставя чашку совершенно чёрного, как любит Анна Пантелеймоновна, чаю на стул. — Можете меня поздравить.

— О! Знаменательное событие.

— И в райкоме был. Работу предложили.

— Хорошую?

— Как сказать. Бывают, конечно, и лучше...

Прикрыв чайник подушкой, Николай садится в ногах у Анны Пантелеймоновны верхом на валик.

— А с паспортом... Смешно. Получить-то получил, а вот прописать не хотят. Говорят, санминимума у Валерьяна Сергеевича не хватает. Шесть метров, говорят, на человека надо, а у него одиннадцать.

Анна Пантелеймоновна мешает ложечкой чай, наливает его в блюдечко — она не любит горячего чаю.

— Да. — Николай смеётся, но смех какой-то невесёлый. — Ввалишься, бывало, после похода в хату, хозяйка о санминимуме ничего не говорит. А здесь вот, пожалуйста, шесть метров на человека. В вашей, например, комнате могла бы рота расположиться. И ещё считалось бы, что свободно.

Анна Пантелеймоновна ничего не отвечает. Неловко. Получилось, будто он напрашивается в эту комнату. Он этого вовсе не хотел, сказал просто так, к слову, а получилось вроде напрашивается.

Анна Пантелеймоновна молчит. Держит в руках кружку и машинально размешивает сахар, глядя куда-то в сторону. Потом ставит кружку на стул.

— Добавочку? — спрашивает Николай.

— Спасибо, Коля, не хочется.

Николай идёт на кухню, приносит ещё несколько поленьев. Вернувшись, застаёт Анну Пантелеймоновну уже сидящей на диване, в накинутом на плечи пальто. Её, очевидно, всё ещё знобит.

— Коля, я поговорить с вами хотела, — тихо говорит она.

— Сейчас, одну минуточку.

Николай подкладывает дрова, раздувает начавшую уже потухать печку, потом садится верхом на валик, на своё любимое место.

— Я хотела поговорить с вами. Николай, — говорит Анна Пантелеймоновна, и голос её слегка дрогнул. — Давно хотела. Но всё как-то... То времени нет, то... Об этом трудно говорить. Может, вы меня и не поймёте. Вы молоды, у вас всё это как-то по-иному, а для нас, для людей, — она подыскивает подходящее слово, — ну, не вашего поколения, скажем, стариков...

— Ну, какой же вы старик, Анна Пантелеймоновна! — смеясь, перебивает Николай и тут же видит, что не надо было этого делать; слова прозвучали развязно и фальшиво.

Анна Пантелеймоновна как-то необычно, с несвойственной ей серьёзностью, взглядывает на Николая и сразу же отводит глаза.

— Я хотела вас спросить... Вы как-то никогда об этом не говорили. И вы не будете сердиться на меня. Но... — она немного растерянно улыбается, — скажите мне, Николай, у вас есть жена?

Она говорит это так тихо, что Николай скорее догадывается, чем слышит её.

— Есть, — не подымая головы, говорит Николай и, помолчав, добавляет: — Мы не встречаемся.

По коридору кто-то прошёл. Не то Валерьян Сергеевич, не то Муля — сба они дома ходят в шлёпанцах, и Николай никогда не может угадать, кто же из них прошёл. Когда хлопнула дверь в ванную, Анна Пантелеймоновна спросила так же тихо, как и раньше:

— Вы развелись?

— Нет.

— Тогда... Как же?

— Да так... — Николай не знает, что ответить. Об этом трудно говорить. — Так получилось...

Сидя на валике дивана, он перебирает бахрому свисающей с него кисти.

— Ну, вот и всё, — говорит Анна Пантелеймоновна. — Спасибо. Я знала, что вы прямо всё скажете.

Молчание. Оно длится довольно долго. Как громко тикают эти проклятые ходики. Анна Пантелеймоновна положила руку на колено Николая — маленькую, худую руку, когда-то, видно, красивую, а сейчас потрескавшуюся от старости, чёрную от кухни и картошки.

— Сейчас война, Коля. И на войне многое очень просто. Я знаю. И, может быть, даже понимаю. Но это страшная простота. Не надо её... — Она смотрит на Николая своими молодыми, живыми, сейчас чуть-чуть как будто извиняющимися глазами. — Вы понимаете меня?

Николай молча кивает головой. Он понимает, о чём говорит Анна Пантелеймоновна. Он понимает, что для этой доброй, хорошей, перенесшей такую тяжёлую жизнь женщины всё счастье заключено сейчас только в одном — в её дочери. Он понимает, о чём говорит Анна Пантелеймоновна. Это не требование соблюдения формы, это требование быть честным. Он встаёт и молча выходит из комнаты.

## 18

Снег. Первый в этом году снег. Николай идёт по улице всё с тем же чемоданчиком в руке, в непригнутой госпитальной шинели, в ушанке на затылке — всё-таки жарко ещё в ней.

Завтра праздник. На фасадах домов вешают портреты, лозунги, пятиконечные звёзды с выкрашенными красной краской лампочками.

— Эй, друг! — кричит Николаю кто-то, стоящий на приставленной к стенке лестнице. — Подержи, пожалуйста, скользит проклятая лестница.

Парень в расстёгнутой телогрейке, с папироской за ухом, старательно вбивает костыль в стену. Внизу, возле лестницы, стоит портрет.

— Теперь подай портрет. Осторожно только, тяжёлый.

Николай подаёт портрет. Парень пристраивает его, потом соскакивает с лестницы и отходит на мостовую.

— А ну, глянь. По-моему, хорошо.

Николай соглашается — немножко криво, но хорошо.

Парень вытирает лоб.

— Это мы поправим. Это нам раз-два и всё. Но, вообще, не плохо, правда?

— Не плохо.

— Ну, а теперь давай лозунг.

После лозунга ещё один портрет. Потом герб и флаг над самым подъездом. Становится жарко. Шинель и телогрейку приходится скинуть. Флаг пристраивают к балкону, для чего надо зайти в чью-то квартиру. Там уже празднуют. Никто не удивляется их приходу, без всяких возражений открывают заклеенный балкон, и каждый даёт совет, как лучше пристроить флаг. Потом преподносят обоим по рюмочке и суют в руку бутерброды с колбасой.

— Ну, спасибо. Простите, что помешали.

Парень порывается ещё куда-то итти с Николаем, но денег нет ни у того, ни у другого. Они прощаются.

— Заходи,— говорит почему-то парень, неистово тряся Николаю руки.— Во дворе, лестница направо. Шестая квартира. Колесниченко. Юрий Колесниченко.

А снег всё идёт. Ватага школьников уже перебрасывается снежками. Хохочут. Твёрдый холодный снежок вlepляется Николаю прямо в ухо.

— Ох, простите, мы не нарочно, простите! — и опять хохочут.

— Чёрта с два!

Николай ставит свой чемоданчик на землю, лепит снежок и ловко попадает в засыпанного снегом парнишку. Ничего, не разучился ещё...

В зоне обстрела какой-то прохожий с поднятым воротником.

— Безобразия,— ворчит он.— Ну просто безобразия...

Ватага разбегается...

Снег вдруг перестал, уже начинает таять. Жаль! Николай сгребает его с какого-то подоконника и с удовольствием глотает — мягкий, холодный, сразу тающий во рту.

Только часам к двенадцати Николай попадает к Сергею. Тот лежит на своей скрипучей железной койке, положив ногу на спинку, и курит. Протез стоит рядом, прислонённый к стенке.

Николай ставит чемоданчик в угол.

— Принимаешь?

Сергей свистнул.

— Вот это да! Пропавшая грамота,— и тут же, с грустной уже интонацией: — А встретить-то и нечем.— Наклонившись, он долго шарит рукой под кроватью.— Вот всегда так, когда надо — нету, а когда не надо — есть.

— Ну и бог с ней.

— Ладно. Рассказывай. Где пропал?

— Пропадал или не пропадал, а вот нашёлся. Где спать положишь?

— Из госпиталя, что ли, прогнали?

— Нет, не из госпиталя...

— Шура?

— И не Шура.

Сергей смотрит на шинель без погон.

— Демобилизовали?

— Шесть месяцев. Один чёрт. Паспорт уже в кармане, — Николай хлопает себя по боковому карману.— С сегодняшнего дня новую жизнь начинаю.

Сергей криво улыбается.

— Вот и мне предлагают...

— Что предлагают?

— Новую жизнь начинать. А я не хочу.

— Почему?



— А потому. Не хочу и всё. Старая нравится.  
 — Не говори ерунды. Противно слушать.  
 — Не слушай, раз противно.  
 — Ну, на кой чёрт тебе всё это надо? Ей-богу. Плюнь ты на них, брось ты эту лавочку, пока не поздно... Паспорт есть у тебя?  
 — Есть.  
 — Ну вот, и давай вместе начинать. Вдвоём легче.  
 — Что? Работу искать? Разучился я работать. Да и платят мало.  
 А я деньги люблю.

— Врёшь — не любишь. Вид только делаешь.  
 — А зачем мне делать? И вообще хватит об этом. Надоело.— Он сердито смотрит на Николая, небритый, обросший.— У Шуры был?  
 — Нет.  
 — Почему?  
 — Завтра собираюсь.  
 — Вот это да! — Он весело смеётся, хлопая Николая по плечу.  
 — Развестись решил,— мрачно говорит Николай.

Сергей перестаёт смеяться, смотрит на Николая — глаза уже злые, — потом говорит одно только слово:

— Дурак.

Николай молчит.

— Нет, видали дураков?.. Сам себе жизнь портит.

— Не знаешь, не говори.

— А я ничего и знать не хочу. Дурак, и всё. Безмозглая башка. Ну, я дрянь, пьяница, бузотёр, безногий инвалид, кому я нужен? А ты! Красавец парень — ну, немножко там нос подгулял, бывает, — но в общем парень-гвоздь. Капитан, гвардеец, член партии, ноги на месте, что ещё надо? — Он долго, точно проверяя сказанное, смотрит на Николая.— И чего я только полюбил тебя, подлеца? Пёс его знает, почему. И видел-то всего три-четыре раза, а люблю. И хочется мне, чтоб всё хорошо у тебя было. А ты вот не хочешь. Не хочешь, и всё. Вбил себе в голову какую-то ерунду...— Он хватает Николая за голову и смотрит ему в глаза. — Ведь Шура ждёт тебя. Понимаешь? Ждёт.

— Так не ждут,— говорит Николай.

— Ждут, ждут... Ты ничего не понимаешь. Ждут!

Они долго спорят. Сергей убеждает. Николай упорствует. Никаких жён! Это он твёрдо решил. И завтра же пойдёт к Шуре. Тянуть нечего. А то ерунда какая-то, муж не муж, жена не жена. Надо точку поставить. И он свободен, и она свободна. Сядет в поезд и — ту-ту — подальше отсюда. В Сибирь куда-нибудь? А? Поехали в Сибирь!

— Там холодно, не хочу. И вообще — ну тебя в болото!

— Тогда на юг, на Кавказ, в Баку. Я там четыре месяца в госпитале провалялся. Хороший город. И винограду — завались. И вина. И рыбы. Устроимся где-нибудь на рыбном промысле и заживём, как боги. И корешок у меня там есть. Хороший парень, в госпитале сдружились. И сестра у него красавица. В самый раз тебе. Чернобровая азербайджаночка, а глазища — во! Поженим вас, и родится у вас черноглазый такой парень, и будешь ты его качать на коленке, а я — сидеть рядышком и улыбаться, винцо попивать...

Сергей качает головой.

— Красиво всё это, брат, да не про меня. Не умею я этого. А учиться поздно. — Он шумно вздыхает.

Стол полон окурков. Накурено так, что приходится открывать окно. Часам к пяти Сергей говорит:

— Точка. Пора спать. Тикай на свой тюфяк.

Николай вытягивается на тюфяке, прикрывается шинелью. Рядом ставит голубенький трофейный будильничек. Устанавливает его на одиннадцати. Пусть в одиннадцать разбудит. Он твёрдо решил пойти сегодня к Шура. Кончать, так кончать...

Только подходя к шуриному дому, Николай подумал, что может её не застать, — сегодня ведь демонстрация. Ну, ничего, он подождёт. Сядет в той же самой кухне, где уже сидел когда-то, и дождётся в конце концов. Торопиться некуда.

Он поднялся на третий этаж и постучал. Шура была дома. Он застал её моющей пол. В подоткнутой юбке, стоя на коленях, она скребла ножом пол возле печки.

Николай вошёл молча. За него громко постучала в дверь какая-то соседка и крикнула: «Шура, к вам!» Шура, не подымаясь, через плечо взглянула на вошедшего. Потом медленно встала, держа в одной руке нож, в другой — тряпку, сделала несколько шагов, и тут произошло то, что должно было произойти ещё тогда, два месяца тому назад, в госпитале, — она заплакала.

Она ничего не сказала, она стояла посреди комнаты, с тряпкой и ножом в руках, с испачканным носом, и по щекам её, совсем как у ребёнка, катились большие прозрачные слёзы.

Николай почувствовал, что у него щекочет в горле. Он шагнул вперёд, притянул Шуру к себе и несколько минут смотрел ей в глаза — большие, сияющие радостью глаза, потом поцеловал их по очереди — сначала один, потом другой.

*(Окончание следует)*



---

---

АРКАДИЙ КУЛЕШОВ

★

## ЕСТЬ У КАЖДОГО БОР

*С белорусского*

Есть у каждого бор,  
        пядь родимой земли,  
Где мечты,  
        словно гордые сосны, росли,

Где впервые  
        взмывали они над землёй  
При ночлежном огне,  
        на поляне лесной.

Где кукушка будила их  
        рано, чуть свет,  
Уплывающих  
        гулкому эху вослед.

Кукованье в бору  
        по весне, поутру...  
От зари до зари  
        моё сердце в бору.

Не поспеть, не угнаться мне  
        нынче за ним.  
Не пойму я,  
        что сталося с сердцем моим.

То ль кукушка ему  
        не вещала давно,  
То ль следы нашей юности  
        ищет оно.

Но следы постаревшие,  
        как их найдёшь?  
Да и сам я давно  
        на юнца не похож.

Ничего не поделаешь,  
        время прошло,  
Лишних дней, к сожалению,  
        не припасло.

Время мчится, как вихрь,  
и в родимом бору,  
Как железо, зарубками  
метит кору.

Гордым соснам,  
с которыми некогда рос,  
Я, однако, не жалобу  
нынче принёс.

Я — эпохи солдат.  
С её трудных дорог  
Я без меток суровых  
вернуться не мог.

Пусть не только на соснах следы,  
не беда!  
Не беда,  
не затем я вернулся сюда!

Я пришёл подтвердить  
однолеткам моим  
Верность давним мечтам,  
словно жизнь, молодым.

Верность думам, мечтам,  
что, одеты в броню,  
Нашу правду храня,  
шли навстречу огню.

Верность думам,  
что милый покинули бор  
И плывут кораблями  
сквозь хлебный простор.

Я вернулся в свой бор,  
что от бурь не полёг,  
Чтоб набраться в нём силы  
для новых дорог.

Чтобы в жилах пылала  
горячая кровь  
Тем же буйным огнём  
наших первых костров.

Чтоб по всем океанам  
вперёд они шли,  
Неизменных мечтаний моих  
корабли.

Думы наши, мечтанья!..  
Горжусь я одним —  
Навсегда завладели вы  
сердцем моим.

И меня, как и всех  
беспокойных людей,  
Повели по надёжной дороге своей.

С юных лет непрестанно  
в пути, на ветру  
Мне ваш слышится голос,  
как нынче в бору.

*Перевод Якова Хелемского.*



---

ОЛЕСЬ ГОНЧАР

★

## ПУСТЬ ГОРИТ ОГОНЕК

*Повесть*

1

**В**ясный день с высокого берега материка можно увидеть на горизонте, в открытом море, довольно большой остров. Плоский, окутанный синеватой дымкой, он почти совсем сливается с поверхностью моря, растворяется в нём мягкими контурами берегов. Местные жители издавна называют его Островом чаек.

В пору свирепых осенних штормов Остров чаек служит пристанищем для рыбаков, а с весны приморские колхозы вывозят туда свои пасеки. Нигде, наверное, на всём юге нет лучше медоносов, чем на этом острове. В мае и июне весь он цветёт, как настоящая степь. Собственно, это и есть кусок степи, самой природой отторгнутый когда-то от материка и подаренный морю. Большая, степная часть острова — тысячи гектаров целины — была ещё в первые годы советской власти объявлена государственным заповедником. С тех пор на равнинных, со всех сторон окружённых морской синевой просторах острова, в нетронутых его травах, перемежающихся кое-где густыми зарослями камыша, лето и зиму живёт на приволье множество дикой птицы, никем не стрелянной, не пуганной.

Остров чаек почти безлюден. Только в одной из его бухт раскинулся вдоль берега небольшой рыбацкий посёлок с приёмным пунктом и радиостанцией рыбозавода. В противоположной стороне, на крайнем южном выступе острова, высится маяк. Его вышка видна далеко вокруг.

У подножия маяка, на песчаном пригорке, белеет всего один-единственный дом, правда, новый, капитальный. Там живут старший смотритель и немногочисленный обслуживающий персонал маяка.

Хотя маяк и стоит в стороне от больших морских путей, считается он перворазрядным, и обитатели маяка немало этим гордятся, как, впрочем, и тем, что капитаны рыбацкого флота шутя величают их поселение «Мысом Доброй Надежды».

Старшим смотрителем маяка работает отставной боцман Емельян Прохорович Лелека<sup>1</sup>, известный в Приазовье герой гражданской войны, именем которого назван один из самых больших катеров местного рыбозавода. Могучий боцманский бас Емельяна Прохоровича задаёт тон всей жизни на маяке. По-флотски подтянутый, собранный, с аккуратно расправленными густыми, цвета махорки усами, Емельян Прохорович и со стороны подчинённых не терпит малейших отклонений от раз и навсегда заведённого порядка. Порядки же у него крутые, корабельные: в течение ночи — вахта, а с утра — чтоб вся оптика была в чехлах, двор подметён, на камбузе чтоб всё блестело.

<sup>1</sup> Лелека — аист (укр.).

Суровая служба требует чёткости от каждого, и нет тут исключений ни для кого: ни для самого боцмана, ни для жены его Евдокии Филипповны, на которую возложены обязанности кока, ни для долговязых ребят-мотористов, которые хотя порой и ропщут глухо на жёсткий боцманский режим, но жизни своей вне маяка уже не представляют.

Навек посвятив себя морю, почитая морскую службу превыше всего, боцман и дочь свою Марию, задумчивую и немного суровую с виду девушку, направил по морской линии. Сразу после школы послал её на курсы, и спустя полгода она вернулась на маяк с официальным назначением: техником по аппаратуре.

В солнечный ветреный день прибыла Мария на остров. Доставил её не кто иной, как тот же белый стосильный катер «Боцман Лелека», что шёл как раз на маяк с грузом светильного газа.

Встречать девушку вышла вся команда маяка во главе с боцманом. Емельян Прохорович был в отличном настроении. Отстраняя других, подхватил Марию прямо с трапа, и боцманше пришлось-таки подождать, пока старик расцелует дочку, щекоча её своими махорочными усами.

— Хватит уж тебе, хватит,— с радостными слезами на глазах отталкивала боцманша мужа.— Дай и мне глянуть на дитяtko.

«Ничего себе «дитяtko»,— весело думали мотористы, топтавшиеся поблизости и тоже ожидавшие своей очереди поздороваться с девушкой.— Выровнялась, похорошела, хоть сейчас замуж выдавай...»

— Магарыч с вас, Емельян Прохорович! — подал голос с палубы весёлый, немного фатоватый с виду капитан судна Вовик Гопкало.— Когда прикажете реализовать: теперь или в четверг?

Старик, набивая трубку, покосился на палубу:

— Магарыч? Тебе-то за что?

— Как за что? А дочку привёз!

— Гм-гм... За это, пожалуй, стоит...

— Только стерегите её хорошенько теперь, чтоб ненароком не выкрал какой-нибудь капитан. Капитаны таких крадут! Ишь ведь какая!

И шутник с непринуждённой лёгкостью подмигнул с судна Марии, а та зарделась, прижавшись щекой к широкому плечу матери.

— Ну, довольно пустословить, пора за дело,— махнул трубкой боцман, пресекая шутки.

Пока хлопцы выгружали на берег баллоны с ацетиленом, а боцманша занималась кухней, старик с гордым видом показывал дочке хозяйство маяка, знакомя её с теми переменами, которые произошли здесь за время её отсутствия.

В хозяйство Емельян Прохорович вкладывал немалую часть своей неутомимой души, и его немного разочаровало то, что на дочь не произвели ожидаемого впечатления ни реконструированный склад для баллонов, ни новые рыбацьи снасти, развешанные на кольях, ни здоровенный кабан, благодушно похрюкивавший в свинарнике.

— У вас тут, как на добром хуторе,— улынулась девушка, несколько не желая обидеть отца.— Обжились...

— А как бы ты хотела? — покосился на неё старик, обиженно ощипывая усы.— И то нужно и это. У хорошего моряка всё должно быть своё, под рукой...

Тем временем Евдокия Филипповна уже накрыла на стол и, встав в дверях, гостеприимно пригласила всех в «кают-компанию».

За обедом боцман угощал Вовика душистым, довольно-таки хмельным «медком» домашнего приготовления.

— Свой мёд, первого сбора,— не удержался, чтобы не похвалиться боцман. И, обращаясь к Марии, добавил: — Уже четыре улья есть, целая пасека... В степь вывез, на травы...

Из всех сидевших за столом, девушка одна не пила, но и без мёда была, как хмельная. Всё ей тут так нравилось, так приятно тревожило душу... Чайки вьются под самыми окнами, запах моря слышен даже в доме. Знакомое ружьё покоится в углу; просоленная штормами отцовская куртка с капюшоном топорщится на вешалке, будто и сейчас ещё полна ветра; а у дверей висит на гвоздике форменная, с гербом фуражка Вовика... Так мило, по-домашнему висит, словно она всегда и будет тут висеть. И это тоже очень нравится Марии.

Вовик чувствует себя за столом как дома. Сидит свободно, непринуждённо, успевая с каждым перекинуться словом, к каждому обернуться своим художавым, совсем ещё юным, подвижным лицом. Нахваливает медок, закусывает вяленой скумбрией, забавляет всю компанию рассказами о своих морских приключениях.

— Решили мы как-то с хлопцами в порядке самостоятельности на Жёлтую косу сходить, — ловко орудуя вилкой и ножом, рассказывает Вовик. — Там, говорят, дроф видимо-невидимо!.. Наладили свою каравеллу, всё уже на мази, а тут, откуда ни возьмись, налетает сам контр-адмирал товарищ Гопкало! — засмеялся Вовик, шутливо величая «контр-адмиралом» своего отца — директора рыбозавода. — Ох, было ж нам, ох, было! Меня едва в пожарники не разжаловали!

— И надо бы, — хмуро буркнул боцман. — Мыслимо разве вон куда гнать судно по пустому делу!.. Ещё на мель где посадил бы.

— Вы не охотник, Емельян Прохорович, душу охотника вам не понять, — беззаботно улыбнулся Вовик, ища взглядом поддержки у Марии.

— На тебя и наш директор заповедника зуб имеет, — подал голос с другого конца стола один из мотористов. — Браконьер, говорит, ваш капитан.

— Браконьер? — Отодвинув тарелку, Вовик небрежно откинулся на спинку стула. — А что это такое — браконьер? Что это значит, если подойти к вопросу философски? У нас дроф и лебедей запрещено бить, а на том берегу турки-то их бьют, аж дым идёт!

— Ну мы же с тобой не турки, — осуждающе возразил боцман. — Раз они варвары, то пусть хоть на наших берегах птица пристанище найдёт.

— И что ж выходит? — не сдавался Вовик. — Пусть, значит, у нас гнездится, пусть всё лето у нас пасётся, а осенью чтоб какой-нибудь башибузук из неё пух щипал? Нет, я об этом ещё письмо в газету напишу!

— Ты выкрутишься, — сказала боцманша не то в похвалу, не то в осуждение. — Сухим из воды выйдешь...

— А что ж, — засмеялся, поднимаясь, Вовик. — Жизнь лопоухих не любит.

После обеда вышли гурьбой во двор. Шумело море, играя на солнце, маня взор спокойным синим простором. Легко, неумоимо купались в горячем воздухе чайки, таял на горизонте едва заметный дымок какого-то грузового судна.

— Ну, браконьер, — шутливо обратился к Вовику боцман, — веди, показывай своё хозяйство.

Вовик заранее знал, что этого не миновать. В каждый его приезд на маяк боцман считал своей неременной обязанностью осмотреть катер. В сопровождении капитана неторопливо обойдёт всю посудину сверху донизу, ко всему придираясь, ревниво проверяя, всё ли в порядке, в надлежащей ли чистоте содержится судно, носящее на своём борту его, боцмана, крылатое имя. Всё точь-в-точь повторилось и на этот раз.

Словно грозный Нептун, обошёл он катер, заглянул во все закоулки, бросая на ходу суровые замечания, и юному капитану ничего не оставалось, как только браво прикладывать руку к козырьку и, заговорщицки



пересмеиваясь через голову боцмана со своей командой, каждый раз заверять старика:

— Будет учтено. Будет сделано. Есть!

— Ты меньше есткай, а больше службу свою блюди,— сказал в заключение боцман.— Не понравилась мне твоя затея с Жёлтой косой: на таком катере — за дрефами итти!..

— Так не пошёл же!

— А мог бы и пойти?.. Смотри, капитан! Моряк ты стобящий, по морю ходишь уверенно, но должен тебя со всей серьёзностью предостеречь: не свихнись! Опозорить судно моего имени, превратить его в какую-то браконьерскую посудину я не позволю никому, понял?

— Что вы, Емельян Прохорович! Мы ж сами заинтересованы, чтоб марку держать...

— Марку, марку,— недовольно перебил капитана боцман.— Ты всё держи на высоте, не одну только марку. Я в твои годы, парень, уже всей душой народу служил... Не про баловство да развлечения думал, а ин-терентов громил, аж перья от них летели!..

— Ну, с вами нам не равняться,— с едва заметной иронией улыбнулся Вовик.— Вы ж у нас герой!

Старик, не почувствовав иронии, удовлетворённо засопел: признание ему, видимо, понравилось.

Мария стояла на берегу. Когда процедура осмотра окончилась и боцман сошёл с катера, капитан дал прощальный гудок.

— Прощай, Марийка! — махнул Вовик девушке рукой.— Свети мне тут вечерами... Будешь светить?

— Буду...— ответила девушка смущённо, и густой румянец — как всегда, когда она волновалась,— пятнами выступил на её щеках.

Ушёл «Боцман Лелека». Лёг курсом на север, на далёкий берег материка. Всё меньше становилась на капитанском мостике стройная юношеская фигура в фуражке и кителе.

А Мария всё стояла на причале, молча провожая катер глазами. Потом, словно очнувшись, оглянулась и увидела, что возле неё никого уже нет. Мать хлопотала у дома, перемывая посуду, отец с помощниками перетаскивал баллоны на склад.

Девушка вздохнула. «Свети...» Только это ей и остаётся... «Буду светить тебе, как вечерняя звёздочка!»

...Как тут тихо, пустынно после шумного города. Лапками чаек испещрён ослепительно чистый песок, неуклюжая тень маяка неподвижно лежит на пригорке... Поправляя растрёпанные ветром волосы, Мария перевела взгляд на маяк и на мгновение застыла, словно впервые увидела это гигантское сооружение. Мощно опершись на пригорок, маяк высился прямо над нею, суровый, загадочно молчаливый, повёрнутый лицом к открытому морю.

## 2

На следующий день, прежде чем допустить дочку к исполнению её обязанностей, боцман не без стариковского лукавства принялся в присутствии команды экзаменовывать свою подчинённую, задавая ей довольно-таки каверзные вопросы. Старый боцман любил время от времени вступать в такие поединки с молодёжью, где на его стороне были преимущества положения и житейский опыт, а на стороне противника — лишь юный задор да свежие, только что почерпнутые из книг знания.

Мария тоже не избегла этого испытания.

Сам боцман сидел на крыльце, широко расставив ноги, а она стояла перед ним, стараясь скрыть за внешней весёлостью своё почти учени-

ческое волнение. Около получаса боцман, явно наслаждаясь своим превосходством, упорно гонял девушку по лабиринтам морской сигнализации и другим, хорошо известным ему морским правилам и обычаям. К самому концу он приберёт свой любимый вопрос:

— Вот ты, Мария, прошла курс, принимаешь службу... Техник на маяке — это, я тебе скажу, пост... А вникла ли ты как следует в самую суть маяка? Известно ли тебе, что есть для всех нас первая, самая главная заповедь?

Вопрос явно озадачил девушку.

— Ну как же... Чтоб аппаратура была в порядке... Чтоб работала безотказно...

— Эге-ге! — воскликнул боцман, обведя всех присутствующих победоносным взглядом. — Аппаратура, номенклатура... Це, дочка, не те, що мете.

И уже с серьёзным, даже немного торжественным выражением лица медленно показал рукой вверх, на маяк:

— Чтоб огонёк там всю ночь светил... Вот заветное наше правило. Для этого и живём.

— Так я же так и хотела сказать! — просияла Мария. — Известно, чтоб огонёк...

— Хотела, да не сумела, — перебил боцман. — Начинаешь от аппаратуры танцевать, а начинать нужно всегда с него, с огонька нашего. Встало солнце — выключай, село солнце — свети! Чем хочешь, как хочешь, а свети! Потому что грош цена будет всей нашей суетне, если он там ночью погаснет... Так-то.

Боцман, снова повеселев, не спеша расправил усы. Заметно было, что, несмотря на промахи Марии, он в общем остался доволен результатами проверки.

— Вижу, не даром ты хлеб ела на курсах, — помолчав, сказал он Марии. — Практики маловато, практика твоя ещё вся впереди, а теории хваталась столько, что, пожалуй, даже и чересчур для одного, да притом ещё девичьего лба... Лишний груз человеку тоже ни к чему, только осадку даёт.

— Ученье за спиной не носить, — вступилась за дочку Евдокия Филипповна, чистившая поблизости свежую рыбу.

— Ты, старая, своё там делай, — бросил боцман и после короткого раздумья тут же объявил мотористам, что с завтрашнего дня Мария Емельяновна (так он впервые назвал дочку) будет проводить с командой маяка регулярные занятия, на которых должны присутствовать все, кроме вахтенного.

— И тебе, Филипповна, — крикнул он жене, — приказываю на время занятий закрывать камбуз.

— Про какие это вы занятия? — появляясь на пороге и сладко потягиваясь, поинтересовался Паша-моторист. Он только что встал после ночной вахты. — Новый техминимум или на предмет чего?

— На предмет того, — отрезал боцман, — чтоб вы меньше бока пролѣживали да не зевали целыми днями. По две нормы дрыхнете, позапухли, как медведи, а спроси вас, так ли уж глубоко вы знаете механику маяка, самую его силу? Техминимум! Не техминимум, а техмаксимум! Все слышали? И чтоб сознательно вникали, вам же это потом в облегчение пойдёт... На что уж я вот старик, а и то интерес берёт... Вы ж только подумайте: такой вот маленький огонёчек, свечечка какая-то, а виднеется новость на сколько миль! Откуда в нём сила такая, а?

Паша насмешливо переглянулся с хлопцами, что неподалёку развешивали на кольях ещё мокрый невод.

— Оптика, Емельян Прохорович!

— Оптика!.. А ты вникни в ту оптику, парень, докопайся до самого дна, тогда лучше и ухаживать будешь за ней. Не станешь удивляться, зачем это боцман с вас по всей строгости спрашивает, чтоб всю оптику — даже в ясный день — в чехлы брали!

— Инструкция, Емельян Прохорович!

— Сам ты инструкция!

— Раз не хотят, я не навязываюсь, — с обидой в голосе обратилась Мария к отцу. — Я тут не лекторша.

— А твои конспекты? — озабоченно вмешалась мать. — Полчемодана одних конспектов привезла! Что же такому добру пылью покрываться?

— Конспекты я для себя везла.

— Науки нет только для себя, — строго заметил Емельян Прохорович. — С тобой на курсах возились, теперь сама, будь добра, с другими повозись. Хвалилась же, что назубок знаешь маяки всех систем, какие только есть на свете...

— Это интересно, — переглянулись мотористы. — Услышать про маяки всех морей и океанов...

— Да ещё от такой лекторши!

— Правильно, давай просвети нас, Марусенька, то бишь, Мария Емельяновна! Будешь нам вместо общества по распространению знаний...

— Только у меня без шуток, — предупредила девушка, — потому что так, лишь бы, я не стану.

Вскоре обо всём этом в красном уголке на доске уже висел написанный крупным почерком приказ. Была такая слабость у боцмана: не довольствуясь устными наставлениями, любил при случае выпускать в свет ещё и письменные приказы, над крутым слогом которых мотористы потешались потом целыми днями.

— Попала и ты, Мария, в летопись, — шутили хлопцы. — Не утерпел-таки, увековечил старик...

С новыми своими обязанностями девушка освоилась быстро. Аппаратуру Мария знала хорошо, содержалась она в надлежащем порядке и особенных хлопот девушке не доставляла. Уверенно чувствовала себя Мария и в роли руководителя затеянного отцом «техмаксимума».

Ежедневно после завтрака Емельян Прохорович собирал свою команду в красном уголке, и Мария час или два добросовестно делилась с товарищами тем, что сама получила на курсах. Иногда, правда, отец незаметно оттирал её и принимался втолковывать хлопцам своё, касаясь при этом не только правил морской сигнализации, но и тонкостей международной политики, минуемо съезжая потом на греков-окупантов, от которых он в девятнадцатом году героически отстаивал побережье материка и даже этот маяк.

Днём, когда не было какой-нибудь неотложной работы на маяке, боцман отправлялся с хлопцами в глубину острова косить камыш, заготавливать для маяка топливо на зиму.

Туда уходят вместе, а на маяк возвращаются по одному. Первым выплывает из степи боцман, усталый, с опущенными плечами, словно полководец без войска. Жена встречает его шутливым упрёком:

— Где ж это ты, боцман, команду свою растерял?

— Разве не знаешь... Тот в нору, а тот в гору... Не бойся, ужинать соберутся все.

Мария хорошо знает, как нужно понимать это отцовское «в нору да в гору». В нору — это Грицко, старший из мотористов, который недавно женился в рыбацком посёлке и сейчас, конечно, завернул туда, к молодой жене. В гору — это, разумеется, Дёма Коронай: он отчаянно увлекается спортом, мечтает принять участие в будущих олимпийских играх

и сейчас, наверное, крутит «солнце» на турнике возле клуба под восторженные крики рыбацкой детворы.

А если бы кто спросил боцмана о третьем мотористе — Паше, то его координаты старик, безнадежно махнув рукой, определил бы примерно так:

— Пошёл... Пропал... За мотыльками в заповеднике гоняется...

И Марии это тоже было бы понятно без особых пояснений: гоняется, конечно, не один, а вместе с молодой лаборанткой.

Так проходили дни.

Легко вступив в колею своих новых обязанностей, Мария, однако, не могла побороть в себе чувства, что ей всё же чего-то не хватает на острове. Города, городских впечатлений, весёлой молодёжной среды? Но ведь она же сама мечтала о маяке, сама готовила себя к этой жизни, овеванной для неё романтикой с самого детства! Каких же её надежд не оправдал остров, отчего чувство какой-то неполноты и даже стеснённости время от времени охватывает её среди этих светлых, залитых солнцем просторов?

Вспоминался девушке один случай. Привезли в позапрошлом году в заповедник оленя и олениху для акклиматизации. Некоторое время держали за оградой, вели там над ними какие-то наблюдения, а потом открыли ворота и выпустили обоих на вольную волю. Сорвавшись с места, олени единым духом облетели по кругу весь остров, обогнули его у самого моря и, промчавшись так не один десяток километров, запыхавшиеся, трепещущие, вернулись за ту же ограду, на старое место. Постояли несколько минут, передохнули и снова бросились в степь, на этот раз уже навсегда.

«Интересно, что они почувствовали, очутившись на воле? — думала теперь иногда Мария о тех привозных оленях.— Каким показался им наш остров, покрытый степными травами, обильными пастбищами, но со всех сторон окружённый необъятным, непреодолимым морем?»

После города вся жизнь на острове течёт в каком-то замедленном темпе, перекатывается ровными, невысокими волнами. Каждый делает своё дело степенно, неторопливо, словно впереди у него — вечность. И так все: будь то маячане на маяке, или колхозный пасечник, осматривающий в степи свои ульи, или рыбаки, вытаскивающие бригадой невод... Мария тоже теперь может часами сидеть с книжкой на берегу, читать Джека Лондона, а то и просто неотрывно смотреть в синюю морскую даль.

Вьются в воздухе белоснежные чайки, кувыркаются поблизости неуклюжие дельфины. Едва виднеется далеко в море мелкий рыбацкий флот...

Лишь изредка море награждает девушку волнующей, ни с чем несравнимой радостью... Это когда, направляясь на Керчь или возвращаясь оттуда на рыбозавод, проходит неподалёку «Боцман Лелека».

Мария сразу узнаёт на палубе Вовика. Он стоит на борту с мегафоном в руке и что-то весело кричит в сторону маяка. Как ни напрягает Мария слух, разобрать она ничего не может.

Ветер доносит лишь невыразительное:

— Я-а-а...

— Что он там кричит, этот летучий голландец? — спрашивает с порога мать.

— Не разберу, мама,— откликается с берега девушка, не в силах признаться даже матери в своих тайных догадках: может, это он кричит «Мари-и-я-а-а»? А может, просто дурачится и тянет лишь это раскати-стое «я-а-а»?

Ей хочется, чтобы катер замедлил немного ход, чтобы хоть на минуту завернул на маяк. Но по какому делу? Сюда он прибудет не скоро, не раньше, чем кончатся запасы ацетилена. Доставит полные баллоны и заберёт пустые.

— Я-а-а... Я-а-а... — слышится всё отдалённое, всё глуше. Звуки стежутся низом, по воде, выплёскиваются на берег вместе с волной, будто это откликается Марии само море.

Девушка — в который раз! — пересчитывает в уме, сколько полных баллонов осталось на складе. Ещё много!..

Медленно, очень медленно в короткие летние ночи выгорает на маяке светильный газ!

## 3

Вовик-капитан как будто прочитал тайные девичьи думы: прибыл на маяк внеочередным рейсом, раньше, чем Мария надеялась.

Было воскресенье, выходной день, девушка стояла на берегу, босая, ситцевое платице легко развеялось на ней. Всё, словно чудесный сон, сбывалось перед ней наяву. Сияло небо, расцветало море, и белый красавец «Боцман Лелека», разрезая грудью морскую гладь, полным ходом приближался к маяку.

На палубе было много пассажиров, белели костюмы, звучала музыка, как будто приближалась с моря чья-то счастливая свадьба. Мария сразу догадалась: это рыбозаводцы выехали на прогулку. Догадывалась девушка и о другом: о том, что не кто иной, как сам Вовик-капитан подал им мысль высадиться тут, на маяке, а не где-нибудь в другом месте... Остров чаек был для жителей городка любимейшим местом летних пикников, издавна привлекая их своими пляжами да степным ароматным воздухом... Но прежде все имели обыкновение приставать где-нибудь на окраине рыбацкого посёлка или прямо в степи, а сейчас идут прямёхонько на маяк, к гостеприимному дому Марии. Девушка едва сдерживала свою радость.

«Боцман Лелека» выросал на глазах. Уже отчётливо видна Марии на мостике стройная фигура капитана в фуражке, его приветливое, дышащее отвагой лицо... Вот он что-то говорит рулевому, вот уже улыбается Марии, и девичья рука сама невольно подымается для приветствия, радостно машет ему в воздухе книжкой...

— Постой-ка... Кому ты машешь?

Девушка, вздрогнув, оглядывается. На пригорке у маяка стоит стец. Вид у него далеко не гостеприимный: ружьё на плече, сам насунился, усы сердито топорщатся. Что он задумал?

— Емельяну Прохоровичу — салют! — кричит с катера добродушный толстяк в белом кителе, весело потрясая над головой бутылкой шампанского.

Это отец Вовика, директор рыбозавода, товарищ Гопкало. И товарищ Гопкало и большинство других стоящих на палубе пассажиров боцману хорошо знакомы. Вон смеётся директорша — высокая видная дама в тёмных от солнца очках, за нею толпятся начальники цехов, их жёны, родственники.

Катер замедляет ход, разворачивается, кто-то уже кричит: «Швартуйся!»

Боцман неторопливо спускается к причалу.

— Швартоваться запрещаю, — вскинув ружьё, предупреждает он сурово, как часовой.

— Что? Что вы сказали, Емельян Прохорович?

— То, что слышали. Зона! Швартоваться не дам.

Компания сначала принимает это, как шутку.

— Вот вам и Мыс Доброй Надежды!

— Нас тут ещё холостыми обстреляют!

— Смилуйтесь, Прохорыч! Мы к вам на медок да на ушицу, а вы...

Товарищ Гопкало размахивает в воздухе громадным кружком колбасы, соблазняет ею боцмана:

— Чуешь, Прохорыч, как пахнет? Домашняя! Язык проглотишь!

Боцман стоит, как скала, не улыбаясь, не принимая шуток.

— Зона, и всё, — хмуро отворачивается он в сторону. — Остров большой, ищите себе пристанища в другом месте.

Воевать дольше с боцманом безнадежно, такой уж характер. Лучше уйти от греха подальше, а то ещё и в самом деле стрельбу ради праздника откроет...

Катер дал задний ход.

Мария не знала, куда деваться от стыда. Как можно быть таким! Даже тут не отступить от правил, своих, заводских не пустить на берег! Стояла поникшая, уставившись полными слёз глазами в песок, омытый волной, покрытый до самых её ног тающим кругом белоснежной пены.

Чистыми кружевами плещет море; могли бы они ходить сегодня с Вовиком вдвоём по этим кружевам, по этому светлому, сказочному берегу, который то померкнет, то снова сверкнёт, покрываясь пеной, так что даже светлее становится вокруг... А теперь? Когда ещё он теперь заглянет сюда и какой след оставит в его сердце неумолимая жестокость отца?

Уже отчаливая, Вовик обернулся с мостика к Марии. Думала, будет злой, а он — как ни в чём не бывало! Неожиданная стычка с боцманом, видимо, нисколько его не обескуражила, другой встречи он будто и не ждал тут, в запретной зоне маяка. «Что, мол, возьмёшь со старика? Чудачества его нам известны!» И жестом дал понять Марии, что они пристанут в другом месте, даже показал, в каком именно: там, на северной окраине острова, где высятся мачты радиостанции рыбозавода... Девушке нетрудно было догадаться, для чего это всё объясняет ей Вовик: он как бы приглашал её прийти сегодня туда.

Когда катер ушёл, Мария с болью в голосе обратилась к отцу:

— Ну, как вы можете, папа? Ведь все там свои, заводские, сам директор с ними...

Старик с прояснившимся лицом насмешливо кивнул вслед катеру:

— Вот и директор... Подожди, я его ещё на партактиве расчихвощу — будет ему «медок», будет и «ушица»! Такое судно в вертеп превратить!

— Что вы говорите, папа? Какой вертеп?

Мать тоже решительно встала на сторону отца.

— Это всё он, тот ветрогон, их привёл... Раз угостили мёдом, так его и в другой раз сюда, как трутня на сладкое, потянуло!..

Мария знала, что мать недолюбливает Вовика, но не ожидала, что её непонятная антипатия могла зайти так далеко. Оскорбление, брошенное ему вслед, девушка целиком приняла и на свой счёт.

Хотелось ответить сейчас матери злым, колючим словом, сказать, что мать топчет её чувства, что мать и её самоё, наверное, никогда по-настоящему не любила, потому что для неё всегда на первом месте были сыновья, — Мария имела в виду братьев, один из которых погиб во время войны в Новороссийске, а другой служил сейчас где-то на Дальнем Севере в морской авиации. Им отдавала мать щедрую свою любовь, а Марию с детства считала дикаркой, нелюдимишкой, больше боцмановой, чем своей, дочкой. Так по крайней мере казалось Марии сейчас, когда ей хотелось как-нибудь пообиднее донять мать. Но трогать братьев ей

и самой было больно, да и мысли её всё время кружились больше вокруг Вовика.

— Какими словами вы бросаетесь... А спросить вас, мама, что он вам плохого сделал?

— До худого дело ещё не дошло, а только сердце моё не лежит к нему. Чует, чует оно, что не тот это человек... И тут меня не переубедишь, дочка.

— Я и не собираюсь вас переубеждать. Да и к чему? Вовик пока ещё не подсудимый, вины на нём нет и адвокатов ему не нужно!

Выпала одним духом и, повернувшись, медленно пошла вдоль берега — подальше от маяка. Не туда, где ещё едва виднелся катер, где призывно вздымались в небо высокие мачты радиостанции, а прочь — совсем в противоположную сторону.

Мать не спускала глаз с Марии до тех пор, пока она, уйдя далеко-далеко, не села на песок и склонилась над книжкой. Лишь тогда боцманша, облегчённо вздохнув, вернулась к своим делам.

## 4

Звать Марию к обеду пошёл Дёма Коронай. Из всех парней только он один оставался в этот день на маяке. Как и подобало будущему олимпийцу, он тренировался даже в выходной — метал диски и выжимал двухпудовые гири возле сарая, а когда Евдокия Филипповна предложила ему сходить за Марией, охотно принял на себя эту миссию, хоть и была она не из лёгких.

Девушка сидела, склонившись над раскрытой книжкой, молчаливая, неподвижная, и читала и не читала.

— Ты что, Мафия?

Она подняла на Дёму колючий, раздосадованный взгляд.

— А что?

— Ты как будто заплакана...

— А тебе что до этого?

— Да ничего.

Дёма с его «олимпийским» спокойствием и упрямыми «олимпийскими» мечтами нравился Марии больше всех других ребят, но сейчас и он был ей неприятен, почти нестерпим. Может быть, именно потому, что к нему благоволила мать и как-то раз в разговоре назвала Дёму зятем.

Играя львиной мускулатурой, «зять» растянулся перед Марией на песке, могучий, обожжённый солнцем, белобровый. Какие у него ручки! Беспричинно расплываясь в улыбке до ушей, он берёт у Марии с колен книжку.

— Что читаешь?

Мария молчит.

— «Но разве мы не знаем, что белые люди убивают? — прочёл вслух Дёма. — Разве мы забыли великую битву на Койокуке или великую битву при Нуклукието, в которой трое белых убили двадцать человек из племени тоцикакатов? И неужели ты думаешь, что мы не помним тех трёх из племени тана-нау, которых убил белый Меклрот?..» И неужели ты забыла, — в тон прочитанному продолжал Дёма, — что нам пора обедать, что стол уже накрыт и шеф-кок нервничает?..

Мария поднялась. Мягко плескалось море у её ног, с шелестом разворачивая на песке свои слепящие кружева. Чайки-хохотуньи, большие, белые, тревожно вились поблизости и то смеялись, то плакали, совсем как люди.

— Чего они кружат над нами? — показал Дёма вверх, на белую метелицу чаек.

Девушка не ответила.

Молча возвратились на маяк, молча пообедали. За столом все чувствовали какую-то неловкость.

После обеда Дёма собрался в посёлок, к рыбакам на волейбол. Мария вдруг решила, что и она пойдёт с ним: ей, оказывается, нужно поменять в библиотеке книжку. Отец не стал возражать.

Девушка быстро переделалась, нарядившись в модельные туфли на высоком каблуке, в любимую свою белую батистовую блузочку, что так шла к чёрной юбке. Заколебалась было — брать или не брать с собой красивую голубую сумочку, которую она привезла себе из города, и, постояв минуту в раздумье, решила, что можно не брать. Накинула на плечи лёгонькую газовую косынку и выбежала к Дёме.

— А книжка? — вдогонку окликнула мать.

— Да, ещё ж книжка!

Взяв из рук матери потёртый, зачитанный томик, девушка кивнула Дёме:

— Идём!

Очутившись на тропинке, что, извиваясь вдоль берега, бежала на далёкий посёлок, Мария заметно оживилась. Легко, мелкими шажками шла впереди юноши, сверкая на солнце загорелыми тугими икрами.

— Ты когда возвращаешься, Дёма?

— Как всегда... Зажигать приду.

— Не бросай меня там одну. Я с тобой.

— Идёт... А что до библиотеки, так она, между прочим, сегодня выходная.

— Ах, да! Ну ничего! Попрошу Любку, она мне откроет...

Полыхал зной, прозрачное марево струилось над травами, золотисто искрились пески побережья.

Вскоре Мария вынуждена была снять свои модельные туфельки.

— Прямо пальцы горят... Были как будто ничего, а теперь тесноваты...

— Растёшь!

— Расту? Может, просто усохли, давно не надевала...

— Давай, понесу,— предложил Дёма свои услуги.

Девушка отрицательно мотнула головой.

— Я сама.

Млеет в солнечной дымке далёкий посёлок; растут, становятся всё более чёткими мачты радиостанции.

Собираясь в путь, Мария и сама была убеждена, что идёт только в библиотеку и никуда больше, что внезапное её решение пойти в посёлок вовсе не связано с выразительным жестом Вовика, которым он, уже отплывая, приглашал её на свидание... Да ещё хоть был бы он один, без посторонних... А то ведь сколько их там, что это будет за встреча на виду у всех?.. Не хочет она такой встречи. Никому, ни одному постороннему взгляду не откроет она своё заветное чувство, свою девичью тайну! Птица, и та бросает гнездо, если чужой глаз в него заглянет, а ей, Марии, там заглядывали бы в самую душу... Нет, лучше она потерпит, лучше дождётся Вовика на маяке!

Так думала она, но сощурившиеся от избытка света глаза её сами всё время искали чего-то, искали напряжённо, беспокойно. Когда же наконец оказался в заливе знакомый силуэт «Боцмана Лелеки», Мария сразу остановилась и, весело сжимая зубы, смеясь от боли, снова надела свои тесные туфельки.

— Пускай жмут!



Рыбозаводцы расположились недалеко от посёлка, на диком пляже, и Мария не могла обойти их стороной: тропка стлалась вдоль берега как раз мимо их стоянки. На открытых просторах острова человек виден за километры, и там, на пляже, наверное, ещё издали заметили Марию и Дёму, приближавшихся со стороны маяка.

Как и надеялась девушка, Вовик перехватил их на тропинке. Отделившись от своей компании, он легко взбежал на песчаный холмик и остановился, поджидая, с охотничьим ружьём на плече. Был он в белых, тщательно отутюженных брюках, без кителя, в одной лишь майке, свежий после купания, золотистый от загара... Когда Мария с Дёмой приблизились к нему на расстояние десятка шагов, Вовик с притворно свирепым выражением лица перекинул ружьё с плеча на руку, точь-в-точь так, как проделал это отец Марии, выпроваживая непрошенных гостей из запретной зоны маяка.

— Стой! Зона! Кто такие? — выкрикнул Вовик, вызвав громкий хохот внизу, на пляже.

Девушка простила ему эту шутку, а Дёма вдруг надулся. Исподлобья глядя на капитана, он шёл прямо на него.

— Ты снова с ружьём на острове? Сезон, к твоему сведению, ещё не открыт!

— Для хорошего стрелка всегда сезон, когда дичь летит!

— Думаешь, для директорских сынков законы не писаны?

— Что ты к нему привязался, Дёма? — не вытерпев, вступилась за капитана Мария. — Он же ещё птицу не бьёт!..

— А почему с ружьём?

— А почему бы мне не быть с ружьём? — спокойно улыбнулся Вовик. — Может, я на дуэль тебя вызвать хочу?

— Слишком ты лёгок в весе, друг, для дуэли со мной...

Почувствовав, что назревает ссора, Мария подтолкнула Дёму к тропинке.

— Иди, я сейчас тебя догоню... Пстой, на вот, книжку мою переменишь...

— Что тебе взять?

— «Сын рыбака»... или что-нибудь такое...

— Ладно, — буркнул «олимпиец» и зашагал своей дорогой, а Мария с облегчением обернулась к капитану. В глаза ей бросилась выгатуированная у него на груди голубая русалка с распущенными косами и такая же голубая надпись над нею: «К о г о л ю б л ю — т о г о ц е л у ю». Чувство, похожее на ревность к этой голубой русалке, на миг шевельнулось в душе Марии и снова растаяло.

— Это что: девиз?

Вовик весело тряхнул своей чёрной, кудрявой, ещё мокрой после купания головой.

— Может, и девиз...

Как небо, как море, никогда не утомляющее взор, — таким был сейчас для неё этот долгожданный капитан. Смотрела на него, не сводя глаз. Ничего, кроме Вовика, не существовало для неё в эту минуту — вернее, всё, что было вокруг, существовало только для того, чтобы дополнять его, — и небо и море. Подойдя совсем близко к Марии, он улыбнулся, и такой нежностью повеяло от него, что, казалось, скажи он слово — она бросится ему в объятия, прильнёт, как та русалка, к его груди.

Опомнившись, девушка заметила, что стоит с Вовиком на холме, на виду у всех. Приехавшие — кто плескаясь в море, кто растянувшись

на песке — с почти нескрываемым любопытством поглядывали сюда, на этот счастливый, видимый, как казалось девушке, всему острову холмик. Мария не узнавала себя: при всей своей природной застенчивости она не испытывала сейчас никакого смущения. Стояла, свободно выпрямившись, и было ей только радостно, была только гордость, что она — рядом с ним, смелым своим капитаном. Пусть сколько угодно смотрят, как ласкает она его взглядом, как радуется этой встрече, — сияющая улыбка не сходила с её разгоревшегося лица... Не то что на виду у пляжа, — на виду у всего мира готова она была сейчас встать со светлым своим чувством, первой своей любовью!..

На пляже тем временем, видимо, говорили о них. Краем уха Мария услышала сказанное кем-то из женщин: «Смотрите, какая славная девушка! Вовику нашему во всём везёт!..» Приятно это было слышать Марии, и люди на пляже сразу стали приятны ей, потому что все они, наверное, тоже любили Вовика... Одни, встав в кружок, перебрасываются мячом, другие заводят на коврике патефон, а сам директор, товарищ Гопкало, в подтяжках, в надвинутой на лысину женской панаме, сидит над корзинкой, потрошит рыбу для ухи. Директорша кричит ему, чтобы он набросил что-нибудь на плечи, а то совсем сожжётся, но он и в ус не дует, хотя непривычные к солнцу плечи его стали уже розовыми, как у младенца.

Поймав на себе взгляд Марии, товарищ Гопкало приветливо пома- хал ей зажатым в руке ножом.

— Как там старик твой? Громы на меня большие мечет?

— Да было...

— Наверно, и с трибуны грозился ославить?

— А разве не сто́ит?

— Конечно, сами виноваты... Распоясались, зашли не в свои воды, он и вытурил... А вообще он мужик вполне корректный: хвалю!

— Вовик, — долетело из группы сидевших на песке женщин, — долго ты будешь там держать свою полонянку? Веди её сюда!

Вовик неохотно предложил девушке:

— Пойдём к нашим?

— А тебе очень хочется?

— Не очень.

— Ну, тогда лучше проводи меня немного...

Они медленно пошли тропинкой по направлению к рыбацкому посёлку.

— На уху мы вернёмся! — крикнул на ходу Вовик своим. — Без нас не начинайте.

— Да ты на готовое любишь... — прогудел ему вслед отец. — Смотри, стрелять там не вздумай!

— Есть, товарищ контр-адмирал! — бодро откликнулся Вовик и, засмеявшись, подхватил девушку под руку.

Рыбозаводцы скоро исчезли за пригорком, и Мария осталась с Вовиком с глазу на глаз.

— Куда мы идём? — с удивлением спросила она, когда высокая — по колено — трава зашумела у неё под ногами. Лишь теперь Мария заметила, что они, свернув с тропинки, идут куда-то в открытую степь. — Куда это ты меня ведёшь, капитан?

— А ты боишься?

— Нет, не боюсь... Веди, куда хочешь!

— Вот это я люблю, — засмеялся Вовик, уводя Марию вглубь острова.

— А в самом деле, зачем ты ружьё взял? — спросила немного погодя Мария.

— Как зачем? — удивлённо поднял тонкие свои брови Вовик. — Может, я какую-нибудь жар-птицу там для тебя подстрелю! Хочешь, чтоб я жар-птицу к твоим ногам положил?

— Разве на жар-птиц сезон уже открылся?

— На жар-птиц, Марийка, сезона не бывает: летит — хватай!..

## 6

Сухим пахучим воздухом дышала на них степь. Отцветали травы, красовались последние дни перед тем, как вступить в пору красного лета и сразу пожухнуть. Встревоженный ветром ковыль серебристо волновался вокруг, задумчиво, тихо звенел, как и в седую старину, при каких-нибудь скифах.

Там, где они проходили, вспугнутые птицы тучами поднимались из трав, с пронзительным криком кружась в воздухе. Всё тут смешалось: морские и степные чайки, кулики и жаворонки, бакланы и аисты. Всё клекотало, всё выражало беспокойство.

— Ага, почуяли, что браконьер идёт! — весело шутил Вовик.

Несколько раз он порывался выстрелить, но Мария каждый раз хватала его за руку:

— Прошу тебя, не надо... Это они за свои гнёзда тревожатся!..

В степи почти не было людей. Едва виднелись где-то на самом горизонте две девичьи фигуры, и Мария, удовлетворяя любопытство Вовика, объяснила, что это, наверное, снова приехали в степь студентки на практику по ботанике.

Кое-где маячили фигуры колхозных пасечников, одиноко хлопотавших возле своих ульев, раскрашенные кровельки которых едва виднелись из травы. Проходя мимо одного из таких пчелиных поселений, Вовик громко окликнул пасечника, спросил, богатый ли нынче сбор. Пасечник обернулся к нему в своей парандже, смешной, страшный.

— Проходи, проходи там, — подал он голос. — Мои пчёлы духу твоего не выносят...

— Вот дракон! — засмеялся, взглянув на Марию, Вовик. — А ещё знакомый: на моём катере сюда переправлялся...

Вскоре впереди стеной встал камыш. Издалека он едва темнел, разбросанный отдельными крапинками по степи, а вблизи был, как лес. Высокий — всадник спрячется, густой — мышь не пролезет. Каждый год косили его жители острова на топливо, но никогда не могли выкосить и наполовину.

— Добре чорту в дудку грати, сидя в очереті<sup>1</sup>, — смеясь, вспомнила Мария любимую поговорку отца. — Одну зломить, другу вириже!..

— Да там же полно оленей! — воскликнул Вовик, насторожённо прислушиваясь к звукам, доносившимся из зарослей. — Но разве туда проберёшься!

— Бывает, они и в степь выскакивают, но редко, — сказала Мария, тоже вслушиваясь в таинственный шорох камышей. — Говорят, что отсюда после акклиматизации наши олени по всей Украине пойдут.

— Уж и по всей!

— Ну, хоть по югу...

— Смотри! — вдруг испуганно закричал Вовик, хватаясь за ружьё.

— Не стреляй! — загродила ему дорогу Мария.

Что-то пышное, яркое, похожее и вправду на сказочную жар-птицу, внезапно мелькнуло в камышах, вспыхнуло на солнце и пропало в траве.

<sup>1</sup> Очерет — камыш (укр.).

Вовик, приготовившись для выстрела с колена, ждал бледный, напряжённый, пока оно появится снова.

— Ты куда это целишься? — неожиданно раздалось почти рядом. — Варвар ты, дикарь, убери ружьё!

Затрещал камыш, и из зарослей выбрался, обливаясь потом, худющий, высокий юноша с рыжим, как огонь, ёжиком на голове. Мария сразу узнала его: это был новый, недавно присланный сюда зоолог — младший научный сотрудник заповедника. На ходу надевая пенсне, взмахивая зажатой в руке блокнотом, он приближался к Вовику с такой свирепой решимостью, словно собирался проломить ему череп этим своим блокнотом.

— Убери ружьё, говорю! А то... а то я с землёй тебя тут смешаю!

Вовик поднялся, немного растерянный, но не испуганный. Перекинув ружьё через плечо, ответил с достоинством:

— Камышового луна каждому разрешено бить: хищник!

— Сам ты хищник, хоть и бакенбарды отпустил. Тебе камышового луна позволили, а ты по ком стреляешь? Фазана от луны не отличишь?

— А-а, это ж фазан! — удивлённо воскликнула Мария.

Зоолог, словно только теперь заметив девушку, стоявшую у камыша, круто повернулся к ней.

— То-то и оно: три дня как завезли, а тут уже и коршуны вьются!..

— Я не знал, что это фазан, — примирительно сказал Вовик.

Зоолог не пошёл на мировую.

— Разговаривать с вами не хочу! Вот тут, при девушке, выражаю вам своё презрение! Убирайтесь отсюда прочь!

Сказал, поправил пенсне и, задумчиво взглядываясь в заросли, стал что-то записывать в свой блокнот.

Вовику ничего больше не оставалось, как распрощаться с этими неприветливыми камышами. Взяв Марию под руку, он двинулся с ней обратно. Молча брели они по тем самым травам, что только что так надёжно спрятали сверкнувшую на солнце жар-птицу. Солнце клонилось к западу, и цветущая степь, играя красками, сама уже вся пылала, словно громадная фантастическая жар-птица, притаившаяся, распластавшаяся на земле.

Девушка не решалась первая нарушить молчание: чувствовала себя неловко после этой стычки, которая казалась ей чистым недоразумением. Ведь Вовик, может, и в самом деле не знал, а тот сразу набросился... Нехорошо всё получилось! И как горько, наверное, сейчас Вовику, как неловко ему перед ней...

Вовик, однако, из-за всего этого, кажется, не слишком волновался.

— Это ты виновата, Мария, — вскоре заговорил он в своём обычном шутовском тоне. — Не надо было тебе вспоминать про того чёрта... А то, видишь, вспомнила как раз под руку, он и выскочил из камыша в своём пенсне!

Мария улыбнулась.

— Ты веришь в приметы, Вовик?

— Невольно поверишь... День выдался какой-то невезучий! Там твой «олимпиец» набросился, там пасечник жало выпустил, а тут этот накрыв... Куда ни подайся — отовсюду гонят, всюду улюлюкают, словно сговорились... Уж не старик ли твой, Марийка, такую облаву на меня организовал?

— Что ты! Папа этого зоолога ещё и в глаза не видел!

— Так откуда же, по-твоему, все шишки на меня? За какие такие грехи? Почему я для всех такой... неприемлемый?

Он говорил как будто шутя, но за шутками, чувствовалось, кроется и неподдельное беспокойство.

— Не знают они ещё тебя, Вовик,— утешала его Мария.— Если б знали — все полюбили бы!

Вовик остановился, испытующе посмотрел девушке в лицо.

— Ты это искренне?

— Искренне.

— А сама ты... Хорошо уже меня знаешь?

Мария задумалась.

— И правда, я тебя ведь ещё мало знаю, Вовик, мы так редко встречаемся...— И, усмехнувшись, добавила: — Скажи мне сам... какой ты?

— А я... такой! — проговорил Вовик и, неожиданно обхватив Марию руками, крепко поцеловал в губы.

Сухой, горячий поцелуй ожёг её, опьянил... Так неожиданно, молниеносно всё произошло, что закружилась голова... Очнувшись, она освободилась из объятий, повернулась пылающим лицом к степи. Он её поцеловал... Правда, не совсем таким представлялся ей этот первый поцелуй, что так внезапно опалил её сухим огнём... Но он её поцеловал!

Поправив волосы, Мария повернулась лицом к своему капитану, и он показался ей теперь роднее всех на свете. Озорной, возбуждённый, стоял он по колено в цветущих травах и, смеясь, шутливо целился ружьём в небо.

Прогремел выстрел — далеко по степи покатилося эхо...

Мария стояла в каком-то радостном оцепенении. По кому он стреляет, этот ошалевший от счастья охотник? Не сказочная ли жар-птица примерещилась ему в чистом высоком небе? Или, может, на радостях салютует самому себе, своей молодой победе?

Выстрел, видимо, услышали на пляже, потому что вслед за этим появилась на пригорке женская фигура и стала размахивать чем-то белым.

— Кажется, мамхен,— усмехнулся Вовик.— Наверно, уха готова... Пойдём быстрее!

На пригорке и в самом деле стояла мать Вовика. По её злому, встревоженному взгляду Мария сразу догадалась, что случилось что-то неладное. Какая уж там уха, когда и огня не видно и рыбозаводцы, уже собравшись, медленно под руки ведут кого-то берегом к катеру...

— Это только ты на такое способен! — набросилась директорша на сына.— У отца, может, солнечный удар, нужно спешить на материк, а ненаглядный сынок тем временем, бросив всех, шатается где-то на краю света!

Вовик помрачнел, стал оправдываться:

— Откуда ж я знал, что с ним удар...

— Быстрее на катер! — торопила его мать.— Пусть бы уж нас, а то ведь и судно бросил на произвол судьбы: тоже мне капитан! Распустили, разбаловали мы тебя, дальше некуда, до сих пор каюсь, что в нахимовское не отдала!.. Там бы тебя вышколили!

Из-за материнского нагоняя Вовик не успел даже оглянуться на Марию. Съёжившись, словно пойманный на месте преступления, нашаливший мальчишка, торопливо спускался он к морю, а мать, не отставая ни на шаг, всё что-то сердито выговаривала ему.

... — бессердечный ты, Вовик, эгоист! — это было последнее, что долетело до Марии.

Дёма, возвращаясь из посёлка, застал Марию на том же месте, где оставил её с напористым капитаном.

Теперь она стояла одна, держа туфли в руке, и ветерок слегка шевелил её голубую газовую косынку, накинутую на плечи. Равнодушная к Дёме, чья тельняшка рябила уже невдалеке, девушка всё своё внимание обратила на море: из залива выходил «Боцман Лелека», сияющий, облитый вечерним солнцем... Глядя, как он удаляется, Мария вся даже потянулась ему вслед.

— Не помешаю? — ехидно спросил Дёма, приближаясь.

— Кому?

— Да кому ж... тебе, твоему плачу на валу?

— Ой нет, ты как раз во-время, Дёмочка: ни рано, ни поздно...

— Такова уж моя судьба — являться во-время... Я ведь вижу — «Боцман» с якоря снялся... Ну что, здорово вы тут покутили?

— Здорово... Глянь, вся затока пылает, будто красным вином налита!..

— То — от солнца, а я о другом спрашиваю... Ты что, и правда пьяная?

Мария покраснела. Потом вдруг встрепенулась всем телом, и что-то задорное блеснуло в её глазах.

— Ой, пьяна я, пьяна, Дёмочка!

Пошли тропинкой к маяку. «Олимпиец» размашисто вышагивал впереди, девушка едва поспевала за ним.

— Рекорд поставил, Дёма?

— Может, и поставил, да зафиксировать некому было: судей подходящих не было.

— Это ты на меня намекаешь? Я не могла.

— Знаю, что не могла.

— А книжка, Дёма?

— Любы не было, я матери оставил.

— Какие новости в посёлке?

— В среду комсомольское собрание.

— Собрание? Это чудесно...

Всё казалось сейчас Марии чудесным. И собрание, и море, и эта предвечерняя угасающая степь. Итти было легко, как на крыльях...

Сонце заходить, місяць ісходить,  
Човен по морю тихо плыве...

— О, ты и поёшь? — удивлённо обернулся на ходу парень.

— Я? Пою? — Мария засмеялась. — Это тебе почудилось, Дёма!

...Дівчина в човні пісню заводить,  
А моряк чує — серденько мре...

— Стоп! — вдруг остановился Дёма. — Олени!

— Где? Где? — Мария подбежала, прислонилась плечом к юноше. — Где ты их увидел, Дёма?

— Вон у той полоски камышей.

— Ага, вижу, вижу!

На далёком пригорке, едва различимые на фоне камышей, стояли живописной группкой олени: олень с оленихой и оленёнком. Словно, выскочив из чащи на простор, увидели перед собой огромный багровый шар солнца, лежавший уже почти на самой траве, да так и застыли в удивлении.

— С ветвистыми рогами — это олень, а рядом — олениха...

— Та самая, Дёма? Та, что, помнишь, облетела тогда одним духом весь остров?

— Может, и та...

— И уже с оленёнком!

— Семейка, — невесело пошутил Дёма и, всё сильнее чувствуя упругое тепло мариинского плеча, слегка обнял её рукой за талию. Девушка не отстранилась, как будто боялась малейшим движением спугнуть далёких оленей.

— Стоят, как на картине... Чем не символ, Мария, твоего будущего семейного счастья?

— Оно и тебе бы к лицу...

— Эх, что я... Мне, Мария, не светит...

Сказал будто в шутку, но и другие, горькие нотки обиженно прозвучали в его голосе.

— Почему не светит? Такое, Дёма, каждому светит, только пожелай...

— Только пожелай? — недоверчиво переспросил Дёма, и девушка почувствовала, как крепкая рука его непроизвольно сжимает, медленно притягивает её к себе.

— Дёма, ты что? — изумлённо подняла она глаза на юношу.

Дёма не ответил. С перекошенным, как от боли, лицом вдруг сгрёб её своими «олимпийскими» ручищами и, сгибая, притягивал к себе в каком-то иступлённом отчаянии.

— Ты с ума сошёл, Дёма!

— Мария! Мария! — шептал он, приближая к Марии лицо, как слепой. — До каких пор ты меня будешь мучить! С тем ты не так... тот, наверно, уже целовал тебя...

Изогнувшись, напрягшись изо всех сил, девушка выскользнула из его рук. Растрёпанная, задыхающаяся, отскочила в сторону и стала поправлять волосы. Лицо её пылало гневом.

— Целовал, ну и что? — выкрикнула она, чувствуя, что тот поцелует ещё и сейчас горит на её губах. — Целовал и будет целовать!..

Дёма, будто защищаясь от удара, закрыл лицо руками.

— А ты не лезь, — уже спокойнее проговорила девушка. — Скажи спасибо, что туфлей вот этой не получил, явился бы на маяк меченый!

Не было уже оленей на далёком пригорке, словно и не стояли они там никогда. Может, метнулись в камыши, может, понеслись, что есть духу, по острову, осматривая своё диковинное степное царство, одновременно и бескрайнее и замкнутое со всех сторон непреодолимой морской синевой... Может, только в самую суровую из зим (боится таких зим директор заповедника!), когда мороз скуёт море, вырвутся олени на вольную волю, бросятся напрямик через море, куда глаза глядят: может, в Крым, может, на Кубань...

Придётся, пожалуй, тогда и Марии добираться к милому по льду через замёрзшее море: без ледокола Вовик на маяк не пробьётся!

...Снова шли тропинкой. Теперь Мария шла впереди, а Дёма, опустив свои атлетические плечи, понуро плёлся за ней.

Гаснет степь. Спадает жара. Тишина вокруг. Только море плещет вечным своим плеском и двое шагают тропинкой, будто убегают друг от друга.

Когда они подходили к маяку, знакомый огонёк уже горел в вышине.

Сначала Мария, возмущённая поступком Дёмы, собиралась рассказать обо всём на маяке, но, представив себе, сколько насмешек посыпалось бы на бедного «олимпийца» за неудачное его ухаживание, решила смолчать. Хватит и того, что остался ни с чем. Зачем доставлять парню новые мучения?

Так и жили после той прогулки: внешне, на работе,— будто близкие друзья, а на самом деле — более далёкие друг другу, чем когда бы то ни было.

Дёма больше не тревожил девушку своим неразделённым, загнанным вглубь чувством. Он стал серьёзнее, замкнулся в себе и только ещё упорнее, с каким-то мрачным вдохновением таскал по всему берегу свои олимпийские гири, выбивая ими глубокие ямы в песке.

От глаз боцманши, конечно, не скрылось, что между Дёмой и Марией пробежала какая-то кошка, однако на её приставания дочка только удивлённо пожимала плечами.

— Откуда вы взяли, мама? Какая кошка? Да между нами не то что кошка, олень с оленихой пробегут — и то не поссорят...

Евдокия Филипповна ничего не понимала. Чувствовала, что молодёжь выходит из-под опеки, что руль руководства ускользает из её рук, но помочь ничем не могла: оба вдруг сразу повзрослели, не знаешь, с какой стороны к ним и подступиться.

Мария теперь и ложилась и вставала с мыслью о нём, далёком своём капитане. Не баловала судьба девушку частыми встречами с милым. Только и видела его в море, когда «Боцман Лелека» проходил мимо на Керчь. Правда, видеть Вовика на расстоянии, кажется, было ей не менее приятно, чем вблизи. Проплывая стороной, далеко в море, он, юный её капитан, казался ей особенно привлекательным, таким, каким его не раз рисовало щедрое девичье воображение... Как долгожданный витязь, внезапно появлялся он из моря на сверкающей своей каравелле и снова исчезал в морской дали в ореоле её собственной девичьей мечты.

Как-то Марии удалось отпроситься у отца на материк. Набралась всякие хозяйственные дела, нужно было посылать кого-нибудь в райцентр, и боцман, хотя и не без скрипа, вынужден был дать согласие на поездку. Пока не отплыла от берега, всё боялась Мария, что отец передумает и вернёт её обратно, догадавшись, что не дела, а страстная надежда на свидание с милым неотступно гонит её в далёкий порт.

Добирались на материк рыбацким парусником. Ветер был попутный, белый натянутый парус летел вперёд с лёгкостью птицы, и Мария чувствовала себя счастливейшим человеком на свете.

Городок быстро приближался, вырастал на глазах. Вот виден уже порт, корпуса рыбозавода, элеватор... Выше, поднимаясь террасами, блестят на солнце рыбацьи мазанки, темнеют акации городского парка, а на самом высоком месте, повернутая лицом к морю, белеет колоннами школа-десятилетка, словно греческий Парфенон...

Там Мария училась, совсем будто недавно вышла оттуда с аттестатом зрелости в жизнь, как вот и эти молодые ребята-рыбаки, что возвращаются на берег молчаливые, усталые после бессонной ночи... Ещё, кажется, вчера беззаботно носились по школьному двору да дёргали Марию за ленты, а сейчас выросли, повзрослели, уверенно развернули свой высокий, трудовой, наполненный ветром парус...

Через какой-нибудь час Мария была уже в порту. С радостным трепетом вступила на берег: казалось, вот-вот, с первого же шага, откуда ни возьмись окликнет её Вовик, хотя она хорошо знала, что Вовик сейчас в рейсе, — утром «Боцман Лелека» прошёл мимо маяка курсом на юг.



Вернуться он должен только к вечеру, а пока Марии лишь чудится голос Вовика из-за каждого угла, из-за каждой занавески распахнутых на улицу окон.

Громыхали по мостовой подводы, гром стоял в мастерских, раскалённым камнем дышала на девушку узенькая кривая улочка, по которой она медленно подымалась в гору, к центру. После бескрайней тишины острова городок поразил Марию своим оглушительным грохотом и духотой, но сегодня даже это ей казалось приятным.

Всё тут такое близкое и родное... В годы революции отец был в числе первых, кто устанавливал в городе советскую власть, а много позже сама она, Мария, носила со школьными подругами воду вот под эти жилистые, просоленные морскими ветрами акации. А там, возле районного Дома культуры, уезжая на курсы, она впервые увидела самого заметного среди всех, тогда ещё не знакомого ей Вовика-капитана...

Вовик, где он сейчас? Успеет ли к вечеру вернуться?

Никакой договорённости о встрече у них не было, но это беспокоило Марию меньше всего: она знает, где ей искать своего капитана. Если не в порту, так в парке, на танцах, где он неизменно бывает вечерами...

Хотя до вечера было ещё далеко, Мария, чтобы развязать себе руки, решила заняться делами немедленно. Обошла магазины, сделала необходимые покупки, побывала в Обществе Красного Креста — сдала собранные на маяке взносы. Остаток дня — самый зной — скоротала в гостеприимном доме своих родственников-рыбаков, у которых намерена была и переночевать.

Разговаривая с тёткой, Мария то и дело нетерпеливо поглядывала в окно, а когда, после шести, появился на горизонте знакомый силуэт «Боцмана Лелеки», просияв, вскочила с места, подбежала к зеркалу и начала торопливо прихорашиваться.

...Вовика она встретила возле портового пивного ларька. Окружённый приятелями, весёлый, как всегда, он стоял с кружкой пенящегося пива в руке.

— Привет, Марийка! — сказал он, увидев девушку, видимо, не очень удивлённый её появлением, как будто иначе и быть не могло. — Хочешь пивка?

От пива Мария отказалась наотрез и, отозвав Вовика в сторону, только и успела с ним договориться, что через час они встретятся в парке.

Она была немного обижена, что Вовик встретил её без энтузиазма, но тут же сама стала оправдывать его. Не мог же он на людях броситься к ней с объятиями? Может, это как раз и хорошо, что он так умеет владеть собою... И что пиво потягивает с приятелями — тоже невелик грех: в порту привычны к этому...

В парк Мария пришла первой. Тут уже было много молодёжи — принарядившиеся после работы девушки, матросы, молодые рыбаки...

Смех, шутки, знакомства... Одни толпятся у кассы кинотеатра, другие целыми толпами прохаживаются по хрустящим аллеям, недавно посыпанным свежим ракушником... Под низкорослыми серебристыми маслинами сидят на скамейках замужние женщины со своими мужьями, ждут, наверное, начала первого киносеанса: сегодня идёт «Ночь в Венеции».

Среди гуляющих то и дело попадались знакомые девушки и ребята. Они на ходу здоровались с Марией и, заметив, что она кого-то ждёт, понимающе проходили мимо, не останавливаясь, однако по их блестящим взволнованным взглядам девушка угадывала, что они и сами влюблены или вот-вот влюбятся! Сегодня в городе было полно влюблённых...

Кружась у входной арки, чтобы не пропустить Вовика, Мария неожиданно столкнулась со своей недавней учительницей — преподавательницей родного языка и литературы. Высокая, уже совсем седая,

Ганна Панасьева (так звали учительницу), слегка прихрамывая и, как всегда, опираясь на палочку, шла по аллее с каким-то горделивым, суровым видом.

— Ганна Панасьева! — радостно окликнула её Мария. — Вы меня не узнали? Здравствуйте...

— О, Лелека?! — остановилась учительница. — Здравствуй... Ты откуда тут?

— Да так, по делам приехала, да и сюда завернула... А вы что — уже домой?

— Мне за вами не угнаться, Мария, на режиме живу...

Они встали в стороне, под кустом тамариска, обе обрадованные встречей.

В школе девочки были влюблены в Ганну Панасьевну. Казалось бы, как все старые девы, она должна быть злоущей — кое-кто из посторонних и правда считал её такой, принимая её внешнюю сухость за проявление душевной чёрствости. И, может быть, только воспитанники Ганны Панасьевны до конца знали, сколько подлинной доброты таится за этой суровой внешностью, какая глубокая заинтересованность в дальнейшей судьбе каждого неугасимо живёт в этом человеке...

Мария не сомневалась, что Ганна Панасьева и сейчас вот приковыляла в парк, чтобы, отдыхая душой, с чувством законной гордости любоваться молодёжью, всеми этими юношами и девушками, которые вчера ещё сидели у неё за партами, а сегодня отважно ходят на морской промысел, работают на рыбозаводе, в учреждениях райцентра.

— Значит, ты теперь светилкой<sup>1</sup> на маяке, — улыбаясь, сказала Ганна Панасьева. — Романтичная и истинно благородная профессия.

Марии понравилось, что учительница назвала её светилкой.

— На судьбу не жалуюсь, Ганна Панасьева.

— Но постой, постой? — Учительница, прищурясь, внимательно взглянула ей в глаза, словно стараясь проникнуть взглядом ей в самую душу. — Ты какая-то беспокойная, Мария, чем-то вроде смущена. Скажи: на первое свидание вышла?

Ганне Панасьевне нельзя было не открыться.

— Почти на первое...

— Кто он? Я его знаю?

— Нет, он не из нашей школы.

— Что ж, раньше или позже это должно было случиться, — проговорила в задумчивости Ганна Панасьева. — Но ты ведь помнишь? «Умри, но не давай поцелуя без любви!»

— О, что вы, Ганна Панасьева! — с чувством превосходства засмеялась девушка. — Разве ж это можно — без любви!

Вовик, остановившийся невдалеке, уже подавал Марии знаки.

— Извините, Ганна Панасьева...

— Ну, иди, иди уж, — сказала учительница, покосившись на франтоватого юношу, к которому метнулась Мария с засиявшим от счастья лицом.

Выходя из парка, Ганна Панасьева постукивала своей палочкой сердито, недовольно, словно избранник Марии сразу испортил ей настроение модной своей курточкой в блестящих молниях во всю грудь.

## 9

— С кем это ты разговаривала? — поинтересовался Вовик, беря Марию под руку.

<sup>1</sup> Светилка, свечница — девушка, держащая свечу при венчании.

— Это наша учительница.

— Ух, видно, злюка! Так покосилась на меня, словно я у неё украл что-нибудь...

— Нет, она добрая... Куда же мы? Пойдём в кино, Вовик?

— «Ночь в Венеции»? Это я уже видел... У нас ночи лучше бывают. Пойдём на па д'эспань!

— Танцы ещё не начинались...

— Без меня и не начнут,— засмеялся Вовик.— Без меня там жизни нет... Ты па д'эспань любишь?

— Я не умею.

— А что же ты умеешь?

— Вальсы... Польки...

Как только Вовик появился на танцплощадке, какой-то длиннополоый субъект с тарзаньим зачёсом бросился ему навстречу и, оттащив Вовика на середину пустого ещё круга, стал с ним горячо о чём-то советоваться. Мария удивлялась: Вовик, стоя в центре круга, на виду у всех, чувствовал себя так свободно и непринуждённо, словно он и вырос на танцплощадке.

Наконец включили радиолу, полились звуки любимого Марией вальса «Амурские волны». Какой же он догадливый, Вовик!

Закружились пары, закружилась среди них и Мария, доверчиво положив руку Вовику на плечо. Вовик танцевал легко, свободно, можно было залюбоваться его плавными движениями. Мария чувствовала, что не одна девушка ей завидует, особенно вот та хищная, с голыми, прямо чёрными от загара плечами дачница, которую никто не пригласил на вальс.

Когда танец кончился, Вовик провёл Марию за руку через всю площадку, будто гордился ею, будто хотел, чтобы все присутствующие оценили красоту её стройной девичьей фигуры!

Охотников до танцев оказалось много. Пришли даже ребята из приморской рыбацкой артели «Сыновья моря» — довольно-таки неуклюжие кавалеры, явились целой гурьбой девушки с новых карьеров. Среди них Мария с радостью обнаружила одну из своих школьных подруг, симпатичную толстушку Раю, с которой она после выпускного вечера ещё ни разу не виделась. Теперь она узнала, что Рая уже несколько месяцев работает где-то на Крымской стрелке.

— Кем же ты там, Райка? — обнимая свою неказистую подружку, возбуждённо расспрашивала Мария.

— Работаю в карьерах, — ответила Рая. — А что?

— Да ничего: не всем в институты ломиться... Я тоже работаю. На маяке... А что вы там добываете в своих карьерах?

Рая лукаво прищурила глаза.

— Ты сегодня, небось, расхаживала по аллеям в парке?

— Да.

— Видела, чем посыпано?

— Такое красивое, светлорозовое?

— Так это же и есть наш ракушник. К праздникам все железные дороги, все станции европейской части СССР будут им посыпаны.

— Ой, как хорошо! — воскликнула Мария и, вспомнив Ганну Панасьевну, добавила: — Какая у тебя романтичная, благородная профессия, Рая!

В этот вечер, наверное специально ради Марии, играли только вальсы и польки. Мария видела, что Рае тоже очень хочется потанцевать, но пока что её никто не приглашал. Чтобы доставить удовольствие подруге, Мария уговорила Вовика пригласить Раю на вальс.

— А она умеет? — поморщился Вовик, окидывая взглядом прислонившуюся к барьеру толстушку.

— Умеет, умеет! Пригласи, будь добр!

— Ладно, ради тебя...

И он галантно пригласил Раю на танец, ничем не обнаруживая, что эта партнёрша не совсем его устраивает.

Рая расцвела от удовольствия, идя с таким кавалером по кругу. А та голоплечая, в огромных серьгах дама, что невесть откуда забралась сюда, в среду трудовой молодёжи, всё следила за Вовиком, охотилась за ним своими глазищами с бесстыжей курортной хищностью.

— Какой интересный брюнет! — неизвестно к кому обращаясь, громко сказала она, когда Вовик проходил мимо. В ответ на реплику он только презрительно улыбнулся, и Мария была ему благодарна за это.

Потом он опять танцевал с Марией, а после неё — с какой-то высокой, смуглой, с косами девушкой, похожей на гречанку. Она только что появилась на танцах, но все уже её заметили. Сдержанная, спокойная, она была очень красива. Мария почувствовала, что ей не сравниться с ней, но, когда танец кончился, Вовик сразу оставил незнакомку и снова подошёл к Марии. Сердце её наполнилось радостной гордостью, что из всех девушек он отдаёт предпочтение ей одной.

— Пойдём выпьем воды? — предложил Вовик Марии, и она выбралась с ним из душной тесноты в прохладную аллею парка. Пьянящим запахом цветущего тамариска и маслин повеяло им навстречу.

— Кто эта девушка, что танцевала с тобой, Вовик?

— Какая?

— Последняя, что на гречанку похожа.

— А, Ксана! Это наш новый врач, недавно из института прибыла.

— Очень красивая...

— Ты с комплиментами осторожнее, Марийка, — пошутил Вовик. — Но, что ж это я воды нигде не вижу? Тоже мне торговля!

— Пойдём, проводишь меня и напьёшься заодно.

— И правда! Не до упаду же нам танцевать.

Разгорячённые танцами, опьянённые музыкой, они спустились в район порта, где жили родственники Марии.

Уже у самой калитки Вовика осенила идея.

— Хочешь, Марийка, я тебя сейчас по морю покатаю?

Девушка засмеялась.

— На чём?

— Нашу заводскую яхту возьму!

— Что ты, Вовик! Кто тебе даст её сейчас?

— Об этом не беспокойся: сторож мне по благу даст. Смотри, какие звёзды, какая луна! Чем не венецианская ночь! И в такую ночь спать? Решай!

Мария посмотрела на луну, на звёзды.

— А это долго?

— А что тебе — долго или не долго?

— Завтра мне...

— Да брось ты своё «завтра», — всё больше горячился Вовик. — Хочешь, я тебя на яхте и на остров доставлю... Чем завтра тебе ждать оказии, забирай сейчас свои узелки и — айда!

— Представляю себе: подлетаем вдруг среди ночи на яхте к маяку, и отец навстречу...

— А мы к самому маяку и не пойдём, чтоб не дразнить старика, зачем? Ещё стрелять начнёт, за контрабандиста меня примет. Я тебя где-нибудь на диком пляже высажу!

Лунная ночь... Море... И они вдвоём на белокрылой яхте... Большое было во всём этом искушение, но Мария всё ещё колебалась.

— Яхта ведь заводская...

— А что ей делается? — настаивал Вовик. — Не убавится же от неё, а нам сколько удовольствия! Смотри, море аж светится, лунная дорожка зовёт нас! Марийка, любимая, прошу тебя!

Мария решилась.

Через полчаса они уже были в море...

Не огонёк маяка, а далёкий холодный месяц светил в эту ночь Марии с высоты.

Отдалялись берега, таинственно сияло вокруг ночное море, и казалось, мир вымер, только они вдвоём кружат в этот час, среди тихих сияющих просторов, распустив над собой белоснежный парус своей молодой любви...

Всю ночь провела Мария в море. Всю ночь чертыхались рыбаки на белый блуждающий парус, взятый «по благу». А на рассвете видели рыбаки, как пристал тот парус к дикому пляжу на Острове чаек и девушка, подобрав юбочку выше колен, ёжась от утренней свежести, побрела по отмели к берегу.

## 10

Роднее, чем когда бы то ни было, стал после этой ночи Вовик Марии... Перейдён какой-то великий рубеж, который разделял их до того. Целыми днями думала она теперь о Вовике, всё волновалась — как он там?

Видно, не прошла для него безнаказанно взятая без разрешения яхта, должно быть, отстранил его товарищ Гопкало от капитанства. В обычное время «Боцман Лелека» снова проходил рейсом на Керчь, но на этот раз вместо Вовика на мостике стоял кто-то другой, широкоплечий, усатый, чужой. Проходя мимо маяка, усач этот как раз завтракал: с жадностью грыз красный, как раскалённые угли, арбуз, разламывая его руками, а объединенные корки швырял с мостика далеко за борт, словно хотел дошвырнуть до Марии. Насытившись, он и вовсе отвернулся в сторону, показав Марии свою широченную, обтянутую кителем спину. Разве Вовик мог бы так равнодушно повернуться к ней спиной!

Невесело было на душе у Марии в эти дни. Иногда беспричинно хотелось расплакаться, чего с ней раньше никогда не бывало.

Однажды Мария работала на вышке, настраивала регулятор маяка. Устав, облокотилась с ключом в руке на перила и загляделась на материк. Отсюда, с многометровой вышки, хорошо виден районный городок, тёмная полоска акаций в парке, школа с белыми колоннами... Интересно, там ли сейчас Ганна Панасьева? Марии припомнилась недавняя встреча в парке и короткий разговор, который прозвучал сейчас для девушки по-новому, значительнее, чем тогда... Какое-то неуловимое предостережение послышалось ей в последних словах учительницы и в том, как она сердито, словно осуждающе, постукивала палочкой, выходя из парка... А что сказала бы Ганна Панасьева, узнав про её ночное катание на яхте? Другие с гордостью расправляют над собой трудовые паруса, а каким был тот, взятый контрабандой для пустой забавы парус? А Вовика всё же отец, наверное, разжаловал в пожарники; может, стоит он сейчас на рыбозаводской каланче, хотя тушить вряд ли что-нибудь придётся — один негорючий камень вокруг.

Девушка перевела взгляд на далёкую Крымскую стрелку, которую тоже хорошо видно с вышки. Длинной, ровной лентой темнеет стрелка, где-то далеко, по ту сторону моря, крошечный паровозик ползёт по ней к карьеру, таща за собой длинную цепочку вагонов, — отсюда они кажутся не больше спичечных коробок. Это ведь Рая должна наполнить все те вагоны своим чудесным светлорозовым ракушником, что будет

потом радовать человеческий взор на ближних и дальних станциях «п всей европейской части СССР»...

На этих мыслях и застал девушку «Боцман Лелека». Он появился совсем неожиданно, идя полным ходом со стороны радиостанции, весело разрезая спокойную, сверкающую морскую гладь. Огибая остров, он почему-то держался на значительно большем расстоянии от маяка, чем раньше, но и так Мария с замиранием сердца сразу узнала на мостике бравую фигуру Вовика. Видно, всё же не камень отцовское сердце, сжалилось, вернуло непутёвому сыну его права!

Только почему он так далеко проходит на этот раз — море ли стало мельче или не хочет дразнить боцмана, с которым до сих пор ещё не в ладах?

Вот он поравнялся с девушкой, вот он уже весь перед нею... Мария замерла от счастья. Пусть далеко «Боцман Лелека», пусть едва виднеется на мостике стройная юношеская фигура, но капитан заметит её и оттуда — капитан должен быть зорким! Вот он сейчас возьмёт в руку мегафон, и, расстилаясь по морю, долетит до неё милое, зовущее, плавное, как вальс:

— Я-а-а... Я-а-а... Я-а-а...

Словно зовёт само сияющее море, само марийкино счастье.

Мария ждёт, вся дрожит в напряжённом ожидании. Но почему-то не появляется в руке капитана мегафон, не зовёт Марию море. Вот капитан, видно кем-то окликнутый, шевельнулся, сделал шаг и вдруг... повернулся к Марии спиной!

Девушка сникла, почувствовала, что ноги подкашиваются, и, чтобы не упасть, цепко ухватилась за поручни маяка своими маленькими, замасленными мазутом руками.

Как это понимать? Не заметить её он не мог — она стояла на самой вышке маяка. Не дал гудка, не окликнул, повернулся спиной. Ушёл...

До боли, до отчаяния захотелось в эту минуту Марии, чтобы вдруг разыгралось море, разбушевалось штормом и сразу, одним натиском, загнало беспомощного «Боцмана Лелеку» в тихие, спасительные бухты острова! Пусть бы тут, возле неё, искал себе спасения бессердечный, безмерно желанный её капитан!..

Но не разыгралось море, не разбушевалось двенадцатибалльным. Пройдя стороной, удаляется «Боцман Лелека», и лишь волна, поднятая им, медленно, неохотно приближается к берегу. Докатилась, зашипела на раскалённом песке, угасла...

С тяжёлым сердцем Мария снова взялась за работу.

## 11

Наверное, и вправду обмелело море, потому что «Боцман Лелека» каждый раз проходил всё дальше от маяка, огибая его стороной. Уже и охотничий сезон открылся, можно было бить перелётную птицу, а Вовик на острове не появлялся. И светильный газ вместо него доставил на маяк другой катер, потому что «Боцман Лелека» якобы стоял в это время на ремонте.

Так ушло и лето.

С первым дыханием осени опустел Остров чаек, никого уже не привлекая своими чистыми пляжами да буйным степным раздольем. На пляжах грудями зачернели выброшенные прибоем морские водоросли. Ветры гуляли по степи, что лежала теперь под тяжёлыми осенними тучами бурая, вылинявшая, словно пустыня. Один за другим увезли колхозы на материк свои ульи, разъехались студентки-ботанички, заметно меньше стало птиц: улетели.

Неприветливо, тоскливо на острове осенью. Днями и ночами воют ветры, ревёт море, доставая до самых окон боцманской цитадели солёными брызгами пенящихся бурунов. За густыми туманами даже с вышки маяка не видно уже ни Крымской стрелки, ни весёлой, с белыми колоннами школы на далёком берегу материка. Всё затянута непроглядной мглой, нудный серый дождик моросит над морем.

В один из таких дней Мария впервые осталась старшей на маяке. Отец был в отъезде — его вызвали в управление на какой-то инструктаж, и, отправляясь на материк, старик все свои обязанности возложил на дочку.

— Ты уж тут, Мария, смотри, — предупредил Емельян Прохорович на прощание. — Хочешь — читай, хочешь — гуляй, а огонёк чтоб светил!

Ответственность не испугала девушку. Работа — простая и хорошо знакомая, коллектив — дружный, баллоны со светильным газом наполнены. А что море спокойно, что ночи тревожны, так ей ли к этому привыкать?

Просто и уверенно взяла Мария руль управления в свои руки.

Больше, чем она сама, беспокоилась о ней мать — не столько, собственно, о ней, сколько о том, чтобы хлопцы не разленились в отсутствие боцмана да чтобы не вздумали, чего доброго, пренебрегать своими обязанностями. В этот ответственный момент Евдокия Филипповна глаз с них не спускала и уже заранее была готова в случае чего оказать Марии энергичнейшую поддержку, подкрепить дочкину волю своей испытанной волей. Однако нужды в этом пока не возникало: мотористы, видно, и сами хорошо понимали напряжённость момента и, хотя держались с Марией, как прежде, свободно, распоряжения её бросались выполнять с полуслова.

Весь день Мария была на ногах.

— Ляг, отдохни, — советовала ей мать. — Ведь ночь ещё впереди.

Но девушка только отмахивалась:

— Меня и на ночь хватит.

С моря накатывался туман.

Проклинают осенние туманы моряки, ненавидят их и жители маяка. Густая, ползучая мгла, — чем её остановишь, каким огнём просветишь? Наплывая, застигает собой всё, проглатывает остров, смыкается вокруг тебя холодной, липкой, непроглядной хмарью. Насквозь пропитывает одежду вахтенных, добирается до самого тела, и даже в доме всё становится влажным, как в погребе.

Седая тьма — куда ни глянь. Не по себе становится от сигнальных сирен ослепших судов, от тревожного тутуканья звуковых маяков, неутомимо работающих где-то на крымском берегу. Флот в море — и всё поставлено ему на службу.

К вечеру поднялся ветер, разметал туман, но море не стало от этого приветливее: тёмностальное, освещённое холодным светом осени, оно бушевало и пенилось, яростно качая на волнах мелкий рыбачий флот.

Наступила ночь — длинная, беззвёздная, глухая. Только море шумит, да ветер свищет, да низко проплывают с севера тяжёлые эскадры туч, едва не касаясь вышки маяка.

Первым сегодня стал на вахту Дёма. Несмотря на то, что Мария целиком доверяла вахтенному, она и сама всю ночь не могла уснуть. Надев сапоги, закутавшись в платок, ходила и ходила вокруг маяка с ружьём на плече — по отцовскому обычаю, как будто охраняла жизнь своего маленького огонька.

Услышав в темноте знакомые шаги, подавала голос:

— Демьян, ты тут?

— Тут, — глухо откликнулась тьма дёминым голосом.

— Ветер какой холодный!

— Сиверко.

— До костей пронимает...

— Угу.

И снова расходились в темноте.

Всю ночь в красном уголке горел свет и лежала на столе раскрытая книжка. Время от времени Мария заходила сюда, садилась почитать, но приятное тепло натопленной печки быстро размаривало её, и глаза слипались сами собой. Чтобы не уснуть, Мария заставляла себя снова подниматься и, пошатываясь, словно пьяная, выходила на холод, к маяку.

В полночь полил дождь, и тьма вокруг как будто стала ещё гуще. На все четыре стороны света — мрак, ветер и дождь, колючий, беспросветный, осенний! Даже трудно было представить себе, что в этот самый час земля ещё где-то повернута к солнцу. Казалось, ненастная ночь хлещет вот так дождём да ветром по всему свету... Среди разбушевавшейся тьмы один лишь марийкин огонёк упрямо мерцает в вышине, радует и веселит девичий глаз.

Уже под самое утро, зайдя в красный уголок, Мария устало опустилась у стола и, наклонившись над книжкой, не почувствовала, как задремала. И даже во сне, тяжёлом, тревожном, увидела такую же осеннюю холодную ночь вокруг себя. Всё было, как наяву: и завывание ветра, и шум моря, и её вахта на маяке. Стоит, напряжённо прислушиваясь к морю, и вдруг явственно слышит из далёкой тьмы знакомое, долгожданное:

— Я-а-а... Я-а-а... Я-а-а...

Это он, проплывая мимо маяка, кричит ей с палубы в мегафон. Но почему вместо радости на этот раз столько отчаяния в его зове? Словно зовёт на помощь, словно подаёт сигнал смертельной тревоги — «SOS»?

Мария поняла: «Боцман Лелека» в опасности, он блуждает вслепую среди разбушевавшейся тьмы и не может выбраться из шторма, потому что не видит марийкиного маяка.

В самом деле, где же маяк? Посмотрела вверх и ужаснулась. Вышка есть, всё на месте, а огонька нет... Погас, не горит огонёк!

Мария бросилась его зажигать, но никак не может: баллон со светильным газом оказался пустым. Метнулась на склад, но и там все баллоны оказались пустыми. Как это случилось? Неужели Вовик привёз на маяк пустые баллоны?

А темень бушует ветром, солёно брызжет морем, зовёт милым вовкиным голосом:

— Мари-я-а-а...

Тогда она решила стать на крайность: стала на холме, на самом открытом месте, и, чиркнув спичкой, зажгла на себе праздничную блузочку, ту самую, в которой она была на танцах в парке. Зажгла и так стояла на песчаном холме, радостная, в пылающей одежде, светя ему во тьму вместо маяка...

Разбудила Марию мать. Склонившись над дочерью и дотрагиваясь ладонью до её лба, тихо, ласково звала:

— Мария, Мария... Что с тобою? Ты вся горяишь.

— Горю?— очнулась девушка.— Почему горю?

За окном уже серело, дождь барабанил в окна. Мать принесла термометр, и Мария смерила себе температуру.

— Неважны мои дела, мама...

— Ох, горе ты моё... Сколько там?

— Сорок...

Взяв Марию под руку, мать перевела её в комнату, уложила на диван.

Всё тело ныло, голова разламывалась. Лёжа в постели, Мария слышала глухой разговор на кухне — мать о чём-то советовалась с мотори-



стами. До слуха девушки отчётливо доносился решительный голос Дёмы. Ох, этот Дёма! Он предлагает сейчас же мчаться в посёлок, передать по радио на материк, чтобы немедленно выслали сюда врача.

Марии неловко, что, заболев, она доставляет столько хлопот и своим на маяке и, может, даже тем, далёким, на берегу...

— Мама, не нужно! И так пройдёт!

Но её не слушают. Дёма уже хлопнул дверью, пустившись после ночной вахты в свой марафонский пробег.

Пока он бегал, боцманша принялась лечить Марию домашними средствами. Поила её чаем с мёдом, наварами трав, сильно растёрла каким-то жиром.

Дёма вернулся намного раньше, чем ожидали. Ввалился на кухню встревоженный, запыхавшийся, забрызганный до ушей.

Евдокия Филипповна при его появлении только руками всплеснула.

— Что случилось, Дёма? Не добежал?

— Добежал... Передал...

— Слава тебе гос... Ну?

— Сам товарищ Гопкало обещал принять экстренные меры. А как ей?

— Как будто заснула...

Дёма облегчённо вздохнул.

Вскоре, пробиваясь сквозь сетку дождя, появился на море «Боцман Лелека». На этот раз не прошёл мимо, завернул прямо на маяк и, не смотря на немалую волну, удачно пришвартовался.

Прибыл Вовик, привёз молодого врача.

Мария металась в жару, и в первое мгновение ей показалось, что это лишь во сне привиделась ей похожая на гречанку девушка в голубой накидке, а за ней бледный, весь в блёстках дождя Вовик-капитан. Как будто пленой морского тумана была отделена от них Мария. Они стояли и разговаривали где-то далеко, хотя разделяла их только комната.

Мать, взяв из рук девушки-врача саквояж, показала Вовику, где повесить мокрую топорщившуюся накидку и лёгкое демисезонное пальто, которое он предупредительно подхватил с плеча прибывшей.

Сбросив боты, приезжая оправила на себе шерстяной свитер с приколотым к нему белым голубем мира и, приблизившись к больной, за просто, с деловым видом, присела на край дивана.

— Ну как?— улыбнулась она Марии и, привычно взяв руку больной, стала считать пульс.

Вовик не подошёл к Марии. Может быть, потому что был без галош и боялся наследить на чистеньких, сухих половичках? Ах, пусть бы наследил, а то почти и не смотрит в эту сторону, будто избегает возбуждённого взгляда больной.

Переминаясь с ноги на ногу, потоптался у порога, словно чужой, в своём блестящем дождевике и уже собрался уходить.

— Может, хоть чайку выпьешь?— утираясь белым фартуком, заискивающе обратилась к Вовику боцманша.— С медком, а?

— Нет, спасибо, Евдокия Филипповна. Спешу. Рейс!

— Не забудьте меня захватить потом,— напомнила врач.

— Вас? Забыть?— усмехнулся Вовик. И, обращаясь к Евдокии Филипповне, объяснил:— Ксана Васильевна останется у вас до вечера. Зайдём за ней на обратном пути.

— Ох, сынок, как бы непогода не разыгралась... Как вы тогда пристанете?

— Мы — не пристанем? Да пусть тут хоть горы выворачивает!

Девушка взяла у Марии термометр.

— Сколько?— поинтересовался Вовик с порога.

— Тридцать восемь и восемь...

— О, не так страшно. Крепись, Мария! Ты же у нас молодчина!

И, сверкнув холодным своим плащом, исчез за дверью.

Последние его слова, его улыбка заметно подбодрили больную.

— Я так вам благодарна, Ксана,— от души призналась она, когда мать, отлучившись на кухню, оставила их с глазу на глаз.— Мне даже как-то неловко за эту нелепую мою простуду. Сколько лишних хлопот и вам и... всем.

— Что вы, Мария,— успокоила больную Ксана.— Это ведь наш долг.

— Долг долгом, но в такую даль...

— Конечно, без привычки на море немного жутковато: глянешь — оно такое беспокойное! Но за это уж благодарите отчаянного нашего капитана. Вряд ли кто другой отважился бы сейчас на таком судёнышке да в такой рейс!

— Нет, рыбаки ещё все в море,— появившись на пороге, сказала боцманша.— Вы хотели руки помыть? Вода готова.

— Вот спасибо!

Ксана встала и, постукивая каблучками, направилась на кухню. Мария залюбовалась ею вслед: какие косы! Наверное, если распустить их, совсем была бы похожа на русалку, вытатуированную у Вовика на груди.

Ксана искренне тронула Марию своим вниманием, своим приездом в такой день на остров. Силу долга Мария знала по себе, но здесь, видимо, кроме чувства долга, было и желание, потому что, если бы Ксана не захотела, она нашла бы десяток отговорок, и даже товарищ Гопкало не смог бы её заставить поехать сюда. Сама же говорит, что к морю она непривычна, что на море ей жутко.

Из кухни Ксана вернулась умытая, посвежевшая и, пододвинув стул к дивану, снова спокойно села у постели больной. Мария невольно сравнивала себя с молодым врачом, смотрела на себя и на неё глазами Вовика. Одна сидит — свежая, здоровая, спокойная, исполненная сознания своей собственной красоты, а другая скрючилась рядом с ней, такая неказистая, маленькая в постели, со скуластым лицом и огрубевшими от работы руками... Такими видел их только что Вовик, такими унёс в своей памяти в открытое море.

Для молодого врача Мария, видимо, была приятной и интересной пациенткой. С простодушной доверчивостью она выслушивала советы Ксаны, не морщась, проглотила порошок, на редкость терпеливо перенесла укол. Только очень засмушалась при этом, стыдливо отвернулась к стене.

— Какая вы упругая, крепкая! — похвалила Ксана, вгоняя Марию в тело стальное жало шприца.— Вы, наверно, спортсменка?

— У нас тут все спортсмены.

— И выдержка ваша меня радует... Директорша говорит, что я ещё не наловчилась, грубо делаю уколы, а вы вот совсем легко переносите.

— Я бы и не такое перенесла,— стискивая от боли зубы, призналась Мария.— Только бы быстрее избавиться от этой хвори... Сразу чтоб, одним ударом разделаться с нею!..

— Температура понемногу спадает,— заметила Ксана,— думаю, через недельку встанете на ноги.

— Недельку? Что вы, Ксана! Мне ведь сегодня к вечеру нужно быть на ногах!

— К вечеру? — усмехнулась Ксана.— Свидание у вас, Мария, что ли?

— Нет, просто должна... На мне же маяк!

Евдокия Филипповна, возившаяся на кухне, всё время прислушивалась к негромкому разговору врача с Марией, и оживившийся голос дочери звучал для неё наилучшей музыкой. Дело, видно, и вправду шло на поправку. И хотя причину этого боцманша видела не столько в док-

торских порошках и уколах, сколько в своих целебных травах да натираниях, тем не менее это не мешало ей оказывать молодому врачу всяческое внимание. Горой уже высились перед Ксаной и жареная рыба, и пироги, и пампушки с мёдом, а боцманша всё подкладывала и подкладывала из своих неисчерпаемых запасов.

Отношения между Ксаной и Марией становились всё теплее, интимнее.

Беленький пластмассовый голубь мира, как только Мария имела неосторожность похвалить его, сразу же перепорхнул с ксаниной груди на грудь Марии.

— Это в знак того, Мария, что вы мне нравитесь...

К шуму моря, не утихавшему за окном, Ксана, видимо, уже привыкла и всё реже обращала на него внимание. С явным интересом она рассматривала развешанные на стенах любительские снимки острова, сделанные ещё в позапрошлом году приезжавшим в отпуск братом Марии — Антоном.

— У вас тут летом, наверно, очень красиво,— сказала Ксана, любуясь видами степи.— Это же всё ваша степь?

— Наша,— с едва заметной грустью ответила Мария.

— У вас тут, говорят, и пляжи чудесные, и олени водятся?

— Водятся и олени, Ксана... Уже и оленята есть.

— На то лето обязательно приеду сюда! А может, ещё удастся и заводских детей сюда вывезти, лагерь на всё лето организуем... Я сама с радостью согласилась бы здесь работать!

— Что ж, приезжайте, Ксана... Правда, у нас порой бывает... нелегко.

— А я трудностей не боюсь. Иногда так хочется чего-нибудь героического! Подвиг какой-нибудь совершить! Вот вы тут одна светите на всё море, я просто завидую вам, Мария! В вашей работе столько романтики!

— А в вашей разве нет?

— Что моя!.. Вон в газетах вы читали на днях? Молодой хирург в условиях простой сельской больницы успешно сделал операцию сердца... Может быть, он даже выпускник нашего института — разве их всех запомнишь? А что я?

— Вы тоже своё дело делаете.

— Не говорите, Мария. Мне ведь ещё никого не приходилось спасать.

— Рыбаки наши от болезней умирать не любят,— весело бросил из кухни один из обедавших там мотористов.— У рыбака такая доля: или живёт до ста лет, или совсем с моря не возвращается!

На кухне засмеялись.

А Ксана, понизив голос, продолжала:

— Скажите, а у вас тут бывают случаи, чтобы зимой льдину с людьми уносило в море?

— В прошлом году было, но всё кончилось благополучно: лётчик на следующий же день обнаружил, и их потом быстро сняли.

— Вы не подумайте, Мария, что я просто так жадна к подвигу, из одного лишь честолюбия какого-то,— заговорила немного погодя Ксана, словно оправдываясь перед Марией.— Разве не естественно мечтать о подвиге в наше время? Не ради себя, не ради только своей славы, а просто иногда хочется до конца испробовать свои силы, своё умение, выдержку! Вовик сегодня сказал, что я держалась на море чудесно, хоть качало нас, Мария, ой-ой-ой как!

Ксана вдруг мелко, как от щекотки, засмеялась, а Мария стала прислушиваться к разговору на кухне: мотористы о чём-то громко заспорили там с матерью.

— Будь я на вашем месте, Филипповна, я ему не то что мёду, травы морской не дал бы! — возбуждённо говорил Грицко. И Мария догадалась, что речь идёт о Вовике.— Браконьером был, браконьером и остался!

— В другой раз его надо в три шеи гнать отсюда! — горячо поддерживал его Паша.

Ксана, притихнув, тоже стала прислушиваться к разговору на кухне.

— Если б он только по птицам был браконьером, — донёсся оттуда рассудительный, сердитый голос Дёмы. — А то он и с людьми такой же: во всей своей жизни браконьер, во всех своих чувствах...

Ксана вдруг поднялась с места, растерянно взглянула на Марию.

— Как это можно быть браконьером в жизни?

Мария густо покраснела, даже слёзы заблестели у неё на глазах.

## 12

К вечеру дождь перестал, но резко похолодало. Ветер крепчал. С первыми сумерками мотористы зажгли маяк, и Дёма зашёл сообщить об этом Марии.

— Маяк зажжён, всё в порядке.

— Кто несёт вахту?

— Паша.

— Скажи ему, пусть оденется потеплее, а то ещё и его прохватит... Очень холодно?

— Крупа пролетает.

— Этого ещё не хватало... Ладно, иди.

Дёма вышел, и девушки, оставшись вдвоём в тёплой комнате, притихли, притаились, чутко прислушиваясь к разгулявшейся на дворе непогоде. Море шумело всё сильнее и сильнее.

После дневного разговора Ксана немного померкла в глазах Марии, представлявшей её себе не совсем такой... Что Ксана рвётся к подвигу, это, конечно, хорошо, но не слишком ли она заботится при этом о своей собственной персоне? Вот Рая-толстушка не ищет каких-то необыкновенных подвигов, ей это и в голову не приходит... Устроилась после десятилетки в карьерах, день за днём добывает со своими подружками ракушник для страны, делает своё дело скромно, без шума, как и все другие... А у Ксаны получается так, будто ищет она подвига ради подвига и, кажется, была бы даже не прочь, чтобы рыбаков почаще уносило на льдинах в море, лишь бы только она могла потом спасать их, обмороженных, истощённых от голода...

В комнате сгущались сумерки.

— Может, вам лампу зажечь? — спросила из кухни мать.

— Пока не нужно, — ответила Ксана за обеих. — Я люблю иногда посидеть вот так, в сумерках, — тихо призналась она, прислушиваясь, как ветер грохочет железом на крыше. — Какие у вас тут ветры, Мария... Ужас!

— Вы боитесь, что не попадёте сегодня на материк?

— Я не за себя... Я бы могла и у вас заночевать.

Мария поняла её чувства. «Не за себя, а за него, за Вовика». Это было совершенно естественно, Мария и сама была сейчас мыслями с ним.

— Не бойтесь, Ксана. Море вовсе не такое страшное, как кажется в сумерках.

— Ревёт вон как!

— Нет, я по шуму волн слышу: всего несколько баллов... В такой шторм суда свободно пристают.

— Но ведь ночь наступает!

— Маяк работает... Он пристанет.

И Мария, сдерживая волнение, спросила, сама не узнавая своего голоса:

— Скажите, Ксана... Вы давно его знаете?

— Кого?

— Вовика.

— Не так давно... с лета, когда приехала на рыбозавод. Но только он мне, Мария... очень дорог. Понимаете: о-очень дорог! — И, понизив голос, доверчиво добавила: — Знаете, он ведь мой... жених.

— Ваш?

— Да. Но пока пусть всё будет между нами. Это я вам уж так, Мария, по дружбе... В субботу у нас вечеринка, радиоло — возможно, там мы уж официально объявим о своём решении...

— Каком решении?

— Ну, что собираемся пожениться!

Мария едва слышно застонала.

— Что с вами? Вам хуже? — обеспокоенно склонилась над ней Ксана. Она, видимо, и мысли не допускала, что своим признанием поразила Марию в самое сердце. Очень уж разными, далёкими друг от друга казались Ксане Вовик и эта обыкновенная девушка с маяка, чтобы можно было к ней ревновать.

— Может, вам лучше уснуть, Мария?

— Нет, это так что-то... А скажите... Нет, странно об этом даже спрашивать... Он вас... любит? Хотя что я говорю!

— О, он такой милый! Правда, немного взбалмошный — ему, например, ничего не стоит взять ночью контрабандой заводскую яхту для того, чтобы покатать меня по морю, но всё это я отношу за счёт воспитания — он ведь в семье единственный сын! Да и молодость, знаете... Но если его держать в руках, а я это сумею, — усмехнулась Ксана, — то Вовик, по моему, далеко пойдёт! У него есть смелость, размах, настоящая такая хватка в жизни.

Мария тяжело дышала.

— Суббота... это послезавтра?

— Думаете, не успеем? У нас уже всё готово. Вовик, он, знаете, всё со дна морского достанет, у него везде, как он выражается, блат.

Боцманша внесла зажжённую лампу, пригласила доктора поужинать.

— Ешьте, а то остынет.

Ксана отказалась, и боцманша вышла на кухню, явно этим недовольная.

Шум моря за окном нарастал. Мария отвернулась к стене, притихла, притворившись, что дремлет, а на самом деле напряжённо думала о Вовике. Теперь ей всё было ясно. Вспомнила своё свидание с ним в степи, и танцы, и блуждающую при лунном свете яхту... Так верила, так чисто-сердечно открылась ему, а для него, видно, всё это было только пустой забавой. Зачем же было тревожить, ранить её душу?

Не простуда — горькая боль обиды душила теперь Марию, горячим клубком застряла в горле. Незнакомое до сих пор, мстительное, дикое чувство остро поднималось в ней, и руки под одеялом сами собой сжимались в кулаки... Если б он был сейчас здесь! В ярости кинулась бы на него, сама не знает, что ему сделала бы! Уговаривал ласковыми словами, сиял ослепительными улыбками — и всё только для того, чтобы потом так бессердечно пренебречь ею, так легко растоптать её девичьи чувства.

На врача Мария теперь не могла смотреть. Слышала, как та, нетерпеливо поскрипывая туфельками, ходит по комнате, припадает к окну, высматривает... Пускай бы он не вернулся к тебе, на твою вечеринку! Пусть бы проглотило его море, пусть исчез бы в волнах бесследно — ни тебе, ни мне! Иди, бросайся тогда ему навстречу, в объятия ночной бушующей стихии, попробуй-ка его там спасти, со своей моребоязнью. Будешь иметь тогда полную возможность проверить свою силу воли, удовлетворить алчную жажду подвига!

От обиды, от жгучей боли всё в Марии горело, туманилась, как в бреду, голова. Чёрными проклятиями кляла она ненавистного капитана, уткнувшись в подушку, задыхалась от собственного бессилия, чувствуя, что ни перед чем сейчас не остановилась бы её обезумевшая от горя душа. Наверное, если бы могла отсюда достать до вышки, сама загасила бы перед ним огонь маяка, чтобы ослеп он там, чтобы в щепки разнесло его судно и его самого.

Но когда сквозь шум моря внезапно донёсся до её слуха едва слышный гудок, Мария сразу встрепенулась, посветлела, будто тёмная волна гнева мгновенно отхлынула от её сердца: такой гудок мог подать и «Боцман Лелека».

— Мария, вы слышите? — испуганно обернулась к ней от окна Ксана. — Как будто прогудело где-то вдали...

Ещё за минуту до этого испуг соперницы только порадовал бы Марию, но сейчас она промолчала, разделяя тревогу Ксаны. Почти с горечью Мария вдруг поняла, что далёкий глухой гудок с разбушевавшегося моря снова взволновал её, как волновал и прежде, что под всеми обидами первая любовь живёт в ней с неугасшей силой.

Рывком открылась дверь, растерянный Дёма вырос на пороге.

— Мария... ты не припомнишь, на какую погоду поставлен регулятор?

— На тепло, конечно... А что?

— Был на тепло, а теперь, видишь, похолодало...

Дёма что-то явно не договаривал. Мария поднялась на локте, впились в парня глазами:

— Говори!

— Да видишь ли... — Дёма сокрушённо махнул зажатым в кулаке гаечным ключом, — регулятор заело.

Мария лучше, чем кто-нибудь другой, понимала, что это значит для маяка, но ещё сама не хотела себе верить. В эту минуту Ксана пронзительно закричала у окна:

— На маяке темно! Маяк погас!.. Что же теперь будет?

Мария как подкошенная упала на кровать. Погас! Жутко стало ей от этого слова. Может, это она сама и виновата? Может, сама накликала беду, своими жестокими, бессмысленными проклятиями погасила огонёк?! Что же теперь будет? Совсем ослепнет без её огонька Вовик-капитан, ослепнут вместе с ним и все другие капитаны, одни щепки будет выбрасывать завтра море на берег!

Опомнившись, схватилась рукой за пылающий лоб: «Что это я? Что со мной?»

Взгляд упал на стену, на часы.

— Давно погас?

— Минут десять...

— Так что ж вы молчали?

— Мы... мы... ремонтируем.

Они ремонтируют! Когда же они отремонтируют?

Мать, вошедшая на цыпочках, умоляюще, с надеждой смотрит на дочь: «Что ж это будет?» Мария видит, что все — и мать, и Дёма, и Ксана — ждут сейчас её, марийкиного слова. Ведь она старшая! Она оставлена «светилкой» на маяке, отец на неё положился... Она должна что-то предпринять!

— Зажгите пока хоть факел.

— Есть! — Дёма, круто повернувшись, стремглав бросился выполнять приказ.

Ни доктор, ни мать не стали удерживать Марию, когда она, вскочив с постели, потянулась рукой к одежде. Сами ещё молча принялись помогать ей, укутывая её, как ребёнка.

Мария почти не замечала их. Ослепшие в море капитаны не выходили из головы, старик-отец всё время стоял перед глазами. Нашёл же боцман Лелека кого оставлять вместо себя, уезжая по вызову в центр! И сам доверился Марии, и все там верят ей, а у неё тем временем авария, огонь погас, ребята невесть что «ремонтируют». Что там сейчас можно сделать в крошечной тьме, да ещё без механика? А в море тем временем — мрак, блуждают ослепшие корабли, ревет ветер, заглушая их тревожные гудки!

Одегая в отцовский кожаный, Мария переступила через порог и тут же вынуждена была ухватиться рукой за плечо матери, чтобы не упасть. Ветер, холод...

— Ужас! Ужас! — застонала рядом Ксана. скорее сама прижимаясь к Марии, чем поддерживая её.

Мария шла, чутко, как птица, прислушиваясь к тёмному рёву стихии. Таинственный морской простор весь казался ей переполненным метущимися кораблями, несчётным множеством малых и больших судов, беспомощных, слепых без маяка. Тоскливо завывает, стонет ветер, словно доносит из крошечной тьмы ночи едва различимые, полные отчаяния гудки:

— SOS! SOS! SOS!

Не только первая любовь, уже всё, что было в море живого, казалось, зывало о помощи, просило у неё света.

Напряжёнno, как никогда, работала мысль: как, чем им помочь?

Возле вышки группой стояли мотористы, пылал в чьей-то руке дымящийся факел. Недалеко же в море виден этот тусклый кровавый комок огня! А море всё ещё глухо гудит невидимыми кораблями, зовёт тревожными гудками...

Когда Мария подходила к вышке, мотористы, не замечая её, о чём-то горячо спорили, размахивая руками. Марии стало вдруг совершенно ясно, что ничего они сейчас не смогут отремонтировать: единственное, что остаётся, — это попробовать другой баллон.

— Дёма!.. Ребята! Давайте новый баллон!

— Мария...

— Живо, говорю!

Принесли баллон, и лебёдка, подхватив его, быстро пошла вверх.

Дёма уже был на вышке.

— Готово! — крикнул он оттуда, с тёмного своего Олимпа. — Есть!

— Включай!

Прошла в напряжении секунда, вторая, и вдруг у всех одновременно отлегло от сердца: зажглось!

Мария не сводила с вышки глаз, стояла, как зачарованная.

Ярко, весело трепетал в вышине её огонёк, пусть маленький, скромный, но смело пробивающий далёким лучом ненастную тьму ночи.

1953—1954 гг.

*Перевод с украинского  
С. Григорьевой.*



---

ЛИ ЧЖУНЬ  
★  
НЕ ПО ТОМУ ПУТИ

Рассказ

1

**П**оследние дни только и было разговоров, что Чжан Шуань продаёт землю.

Недаром пословица говорит: «Станешь лениться, будешь с сумой волочиться». Чжан Шуань мог бы жить неплохо: в семье у него только четыре едока, а земли — больше десяти му. Не затай он своих дурацких комбинаций со скотом, обрабатывай как следует землю — хлеба и всего у него было бы вдоволь. Но он уже пристрастился, как говорится, менять плеть на верёвку. Этой весной он обменял своего рыжего быка на осла, однако ничего хорошего из этой затеи не получилось. Не прошло и десяти дней, как Чжан Шуань продал осла и потерял на этом целых двести тысяч юаней. Собрался было купить телёнка, но денег уже не хватало. Не раз деревенские активисты говорили ему: «Брось ты, Чжан Шуань, эти глупые затеи! Ведь доиграешься до того, что ни кола ни двора у тебя не останется!» Но Чжан Шуань продолжал своё. Недавно одолжил он у свояка миллион юаней, отправился в Чжоуцзякоу<sup>1</sup> и пригнал оттуда двух старых коров. А тут, как назло, перед самой уборкой урожая ударили заморозки, цены на скот упали, и, чтобы прокормить коров, Чжан Шуаню пришлось занимать у соседей сено и корм. Только когда подошла пора пахать землю, ему едва-едва удалось сбить этих коров с рук. После подсчёта оказалось, что, продав коров, он возместил лишь стоимость осла, но остался должен свояку несколько сот тысяч юаней.

Влезешь в долг — не выберешься. Долг, как пластырь: приклеится — не отдерёшь. А Чжан Шуань небогат, и из такой передраги, конечно, ему никак не выбраться. Днём и ночью строил он всевозможные планы, но выход так и не сумел найти. Его свояк что ни день приходил за долгом, и всякий раз они крепко ссорились. Всё это Чжан Шуаню надоело, и он твёрдо решил: «Продам «флажок»! Земля хорошая — охотники найдутся!» Часть надела, которую собрался продать Чжан Шуань, по форме действительно напоминала флажок. Он прилегал к оросительному каналу и считался одним из самых плодородных участков в деревне. Во время сбора урожая все с завистью смотрели на него. И всё же Чжан Шуань скрепя сердце решил продать именно этот клин в надежде, что его купят охотнее и что от продажи двух му можно будет получить более миллиона юаней, уплатить долги, а оставшиеся деньги снова пустить в оборот. Ведь к земле он не был привычен и работал без огонька, считал даже, что одним хлебопашеством не проживёшь.

Как только стало известно, что Чжан Шуань продаёт землю, вся деревня начала судить да рядить. Одни считали, что «флажок» купит

<sup>1</sup> Город в провинции Хэнань. (Примеч. перера.)



этот, другие — что тот, но никто не мог сказать ничего определённого. Правда, после освобождения кой у кого завелись деньжата, да кто знает, станут ли они покупать землю. Двум середнякам в деревне покупка земли была по карману, но они прикидывались бедняками, и было ясно, что не отважатся на такой шаг. В конце концов все пришли к выводу, что землю купит Сун Лао-дин. За последние два года он крепко встал на ноги. Его второй сын, Дун-линь, работал в городе плотником и каждый месяц присылал отцу по нескольку сот тысяч юаней. Лао-дин уже давно поговаривал о том, что собирается прикупить несколько му земли. Но некоторые односельчане не верили — ведь старший сын Лао-дина, Дун-шань, был коммунистом.

## 2

Верно говорит пословица: «Глаз — что весы». Слухи про Лао-дина оказались правдой.

В нынешнем году Сун Лао-дин получил от своего сына Дун-линя восемь заказных писем подряд, и в каждом из них были деньги. Вот эти-то деньги и были причиной беспокойства старика. За всю свою жизнь он не имел и пары носков. И вот даже теперь скупился и не покупал их, а всё только копил да копил деньги. Весной его сын Дун-шань попросил денег для покупки бобовых жмыхов, но Лао-дин отказал. А когда в бригаде взаимопомощи решили выкопать в низине колодец и Дун-шань снова обратился к отцу за деньгами, Лао-дин сказал:

— Они мне самому нужны. Придёт время — узнаешь зачем.

Дун-шань был парень такой: нет — и не надо. Он вовсе не думал отбирать у отца деньги, хотя понимал, что тот хочет прикупить земли.

Когда Сун Лао-дин услышал, что Чжан Шуань собирается продавать землю, его охватило такое же волнение, как в день его свадьбы, когда к воротам приблизился расписной паланкин с невестой. Как и тогда, он почувствовал такую тревогу и радость, которые и словами выразить не мог.

Целыми днями он слонялся по деревне, прислушиваясь к разговорам. Как-то во время завтрака он позвал Дун-шаня к себе в комнату и, не утерпев, стал выпрашивать его:

— Ну, что там слышно? Продаёт Чжан Шуань землю?

— Никто ничего не собирается продавать, — отрезал Дун-шань.

Отец замолчал, а Дун-шань, покончив с едой, вышел.

В этот день Дун-шань вернулся домой поздно ночью. Отец всё ещё сидел с трубкой в зубах и, не переставая, курил. Мать дремала возле него.

— Тебя из района кто-то искал, ты видел этого человека? — спросил Лао-дин у сына.

— Видел, — ответил Дун-шань.

Он хотел было сказать ещё что-то, но передумал. А Лао-дин с нетерпением дождался сына. Он хотел всё же посоветоваться с ним насчёт покупки земли. Правда, Дун-шань — парень с норовом, но, как и всякого молодого человека, его можно будет помаленьку урезонить.

В комнате стало так тихо, словно в ней не было ни души. Лао-дин первый нарушил молчание.

— Видел нынче Ван Лао-саня, — сказал он, как бы невзначай. — Он говорит, что Чжан Шуань твёрдо решил продать землю. Я уже вдоль и поперёк исходил его «флажок» — чистый чернозём. При хорошем дождичке и навоза не потребуется.

Лао-дин замолчал, жадно затянулся и продолжал:

— Во время земельной реформы этот участок достался Чжан Шуаню. А почему бы не нам? Только вот мы — активисты, и нам, конечно, не пристало спорить с ним из-за этой земли. Но если он теперь будет продавать её, ни за что не следует упускать случая! — и, взглянув на Дун-шаня, добавил: — Каждый му земли — это большое дело для крестьянина!

Дун-шань знал, что отец непременно скажет это, и собирался уже ответить, но Лао-дин, вздохнув, заговорил снова:

— На что мне деньги? Они останутся вам с братом. Не век же мне жить!

— Чжан Шуань вовсе не продаёт землю. Ван Лао-сань врёт, а ты слушаешь, — засмеялся Дун-шань.

— Не продаёт! — усмехнулся Лао-дин. — Этак, пожалуй, ему никогда не расплатиться с долгами!

— Какие там у него долги! — возразил Дун-шань. — Я обязательно поговорю с ним на днях. Продать землю — это не выход из положения, — заговорил он с жаром. — У Чжан Шуаня не пятьдесят и даже не тридцать му земли. У него всего лишь около десятка му. Допустим, продаст он их, а что потом будет делать? И мы и Чжан Шуань раньше были бедняками. Сейчас он попал в беду, и надо помочь ему. Нет, мы не можем покупать у него землю!

Старик с нетерпением ждал, когда Дун-шань кончит. Он слышал толки односельчан о том, что раз Дун-шань — коммунист, ему-де нельзя покупать землю или давать деньги в долг. Лао-дину казалось, что сын именно поэтому не решается купить землю, и он раздражённо произнёс:

— Как так не можем! Не купим землю мы — купят другие! Купля и продажа земли — это всё равно, что история о том, как Чжоу Юй ударил Хуан Гая<sup>1</sup>. Всё произошло по доброй воле и с обоюдного согласия. Так и с землёй — один продаёт, другой покупает. Мы же не занимаемся вымогательством, прикрываясь тем, что ты член партии. Так чего же нам не купить землю?

Дун-шань не ожидал подобных речей от старика.

— Отец! — воскликнул он раздражённо. — Ты говоришь сущую ерунду. Конечно, то, что Чжан Шуань продаёт землю, — это его дело. Но лучше, чтобы он её не продавал. Ведь ему надо всего несколько сот тысяч юаней. Мы не можем безучастно смотреть, как разоряются другие. Я согласился одолжить ему пятьсот тысяч юаней...

— Когда это вы успели столкнуться? — перебил его Лао-дин, уставившись на сына покрасневшими от гнева глазами.

— Сегодня днём, — ответил Дун-шань.

Лао-дин вскочил на ноги. Лицо его побагровело, жилы на шее вздулись, и он в бешенстве закричал:

— Эти деньги заработал Дун-линь, а не ты! Как вам нравится — он решил одолжить! Может быть, ты и меня с матерью в долг отдашь?!

Старик схватил куртку и выскочил из дома. От шума проснулась мать.

— У твоей сестры скоро свадьба! — с обидой в голосе произнесла она. — Ведь ей купить кое-что надо. Я у отца так просила денег, так просила... Ни за что не даёт. Всё о земле думает. Ты-то чего с ним спиришь?

### 3

Ничего необычного не было в том, что отец и сын повздорили между собой, но жена Дун-шаня — Сю-лань — очень встревожилась. Она выбежала, чтобы уговорить свёкра вернуться домой.

<sup>1</sup> Чжоу Юй и Хуан Гай — персонажи известного китайского романа «Троецарствие». (Примеч. перев.)

— Не пойду, здесь посижу немного! — буркнул он и более мирным тоном добавил: — Не поднимай шума на всю деревню.

Сю-лань торопливо вернулась домой. Дун-шань лежал на кровати и вздыхал.

— Ты что злишься? — спросила она с улыбкой и села на край кровати.

— А чего мне злиться? — с деланным спокойствием заметил он.

— Ты ведь знаешь, о чём мечтает отец, — с упреком в голосе сказала Сю-лань. — Он уже давно всё рассчитал. И если он решил купить землю для младшего сына, пусть себе покупает. Это тебя не касается.

— И ты туда же! — вскричал Дун-шань и, быстро поднявшись, сел на кровати. — Сейчас речь не о том, кто купит землю — мы или кто-то другой. Нельзя допустить, чтобы Чжан Шуань распродал всю землю, — вот что главное! Как он будет жить без неё? Уж если попал он в беду, надо подумать, как ему помочь. Коммунист — это не просто название! — И более спокойно Дун-шань продолжал: — Я и сам знаю, что не до конца выполнил свой долг. Перед уборкой шёл я мимо поля Чжан Шуаня. Уродилось у него неважно, и мне как-то не по себе стало. И он и мы были бедняками. Все прекрасно знали, что Чжан Шуань не привык обрабатывать землю, но никто не помог ему. Кто-то из проезжавших мимо крестьян сказал: «Погляди-ка, какой хлеб! Здесь, пожалуй, не соберёшь и того, что посеял!» Когда я услышал эти слова, меня точно по лицу ударили. А по-твоему выходит, что я должен заботиться только о том, чтобы мне да моей семье было хорошо. Эх ты! А ещё член Союза молодёжи!

— Скажи, пожалуйста! — воскликнула Сю-лань. — Чего ты передо мной распинаешься? Почему отцу ничего не говоришь? Если ты так хорошо умеешь всё объяснять, почему ему не разъяснишь?

— Ничего поделать с ним не могу. Я ещё и рот открыть не успел, а уже его и след простыл, — рассмеялся Дун-шань.

— Я тоже должна упрекнуть тебя, — сказала Сю-лань мужу с нарочито сердитым видом. — Ты обычно при отце и двух слов не молвишь. Где это видано, чтобы отец и сын не посидели часок вместе и не поговорили бы между собой! Ты только проглотил кусок — и уже на улице, только встал утром — и уже бежишь в волостное управление. Вот и получается: ты — коммунист — сам по себе, а отец твой — старый крестьянин — сам по себе. А теперь, когда случилось такое дело, ты хочешь, чтобы отец делал по-твоему. Мне и не удивительно, что он разругался с тобой.

— Однако ты начала учить меня, — снова рассмеялся Дун-шань, но в душе не мог не согласиться с женой.

Сю-лань собралась было уже ответить мужу, но во дворе послышались шаркающие шаги Лао-дина. Дун-шань подал ей знак, и слова замерли на устах молодой женщины. Старик вошёл в дом. Как ни прислушивался Дун-шань, он не мог разобрать, что мать говорила отцу. Через некоторое время раздался голос старика:

— Решил дать денег взаймы — пусть даёт, если они у него есть! Тоже богач нашёлся!

— Ты слушай! Это в твой огород камешек, — толкнув мужа в бок, прыснула в кулак Сю-лань.

Над горизонтом показался яркокрасный лик восходящего солнца. В этот утренний час в деревне было безлюдно, и только с поля смутно доносилось мычание коров.

Сун Лао-дин не пошёл в поле. Он всю ночь не спал, переворачивался с боку на бок и всё думал о покупке земли. А как только рассвело, сразу же отправился к Ван Лао-саню.

До освобождения Ван Лао-сань служил приказчиком у помещика. Он постоянно болтался по деревне и слыл «деловым человеком». Последнее время односельчане не очень-то обращали на него внимание. Тем не менее Ван Лао-сань весьма успешно подлаживался к людям. Старикам и старухам он гадал по древним гадательным книгам, а перед активистами лез из кожи вон, чтобы показать себя передовым человеком. Раньше, попадись ему навстречу Сун Лао-дин, он бы и не взглянул в его сторону, но теперь, когда крестьяне деревни пошли за его сыном Дуншанем, Ван Лао-сань, встречаясь со стариком, стремился подчеркнуть своё особое к нему расположение. Когда же Сун Лао-дин, решив купить землю, обратился к нему за советом, Ван Лао-сань засновал по деревне, как челнок.

Едва только Сун Лао-дин переступил в это утро порог его дома, Ван Лао-сань выбежал навстречу.

— А! Старший брат! — залезбил он. — Я ещё вчера собирался зайти к тебе. Дело-то с Чжан Шуанем — на мази!

— А говорят, он не думает продавать, — пробормотал Лао-дин.

— Не продаст сегодня, так продаст завтра! А на худой конец — я под боком. Чжан Шуань хотел было ещё занять денег, но я сказал ему: «Ты брось дурить! Раз задумал продавать — продавай! Что ты такой нерешительный! Ну хорошо, займёшь ещё денег — всё равно придётся отдавать!» — И Ван Лао-сань зашептал на ухо Лао-дину: — Слово даю, земля будет твоей. Стоит она недорого, и на будущий год, после первого урожая, ты оправдаешь половину своих расходов.

Лао-дину были противны бегающие глазки Ван Лао-саня, и он ответил:

— Если Чжан Шуань и впрямь не собирается продавать землю, я неволить его не стану.

— Послушай, брат! Такие случаи не часто бывают, ты не зевай! — воскликнул Ван Лао-сань, похлопывая Лао-дина по плечу. — Эх ты! Сейчас у тебя около двенадцати му, а прикупишь ещё с десяток — сможешь нанять работника! Хватит! Потрудились ты на своём веку, теперь и отдохнуть можно, — продолжал он с лстивым смешком.

Старик Лао-дин слушал Ван Лао-саня, опустив глаза и не проронив ни звука. В голове у него гудело. «Неужели я действительно стану нанимать работников? — подумал он. — Ведь я сам восемнадцать лет батрачил!»

Выйдя из дома Ван Лао-саня, Лао-дин вспомнил, как раньше тот же Ван Лао-сань изо всех сил старался угодить помещику, скупая для него землю. Он вспомнил также и о том, как сам работал на помещика Чжу. Тогда во время уборки хозяйские надсмотрщики не спускали глаз с них, батраков, всё следили, чтобы они работали от зари до зари не покладая рук. А Ван Лао-сань стоял тут же, обмахиваясь веером... Сун Лао-дин плюнул со злости, и у него вырвалось:

— И родила же мать такого! Ну и пройдоха!

Лао-дин медленно шёл вдоль деревни и вскоре очутился в поле. Перед его глазами рядами высились скирды соломы. Он огляделся по сторонам и подумал: «Мне бы только купить эти несколько му земли у Чжан Шуаня, а там посмотрим, у кого на будущий год скирды будут больше». И он, словно наяву, увидел, как растут его скирды. Ему почудилось, будто на его поле работает много-много людей... А на поле Чжан Шуаня скирды становятся всё меньше и меньше — совсем как маленькие кучки травы... Тут Лао-дин вспомнил, что у Чжан Шуаня полон дом

детей. И он ясно представил себе, как эти худые, измождённые дети бегут к нему... Он резко повернулся и пошёл домой.

В это время Сю-лань со свекровью пекли на кухне лепёшки. Между женщинами шёл оживлённый разговор. Лао-дин, стоявший во дворе, невольно услышал, как сноха сказала:

— У нашего отца замашки старые...

— Да разве он не о вас заботится! — воскликнула старуха. — Ведь он старик, одной ногой уже в могиле стоит. Как же ему не беспокоиться о вас?

— А нам и не надо, чтобы он беспокоился, — засмеялась Сю-лань. — Мы сейчас в бригаде взаимопомощи. Если на будущий год организуется кооператив, мы вступим в него и землю машинами будем обрабатывать. Нам тогда о куске хлеба думать не придётся!

Эти слова так возмутили Лао-дина, что у него даже усы затопорщились. Вот тебе и на! Думал, что только сын у меня дерзкий, а оказалось, и сноха — сварливая бабёнка.

Во время обеда, когда Сю-лань принесла еду, Лао-дин отвернулся, словно не заметил её.

— Отец! Всё остынет, ешь! — сказала ему Сю-лань.

Лао-дин сделал вид, будто не слышит, а немного спустя сказал жене:

— Не буду я обедать! Пойду на рынок, там поем мяса!

Он схватил несколько лепёшек и, задыхаясь от гнева, закричал:

— Для кого, как не для вас, я всё это наживал? Всю жизнь лямку тянул, а теперь я же и не хорош!

Его глаза метали на Сю-лань громы и молнии, а та беззвучно смеялась, отвернувшись к стене.

Лао-дин в самом деле отправился на рынок и закусил там, но не мясом, а миской бобового сыра с пампушками.

## 5

У Лао-дина и Дун-шаня была одна общая черта в характере: чем больше они сердились друг на друга, тем с большей злостью работали. Если один пахал — другой сеял. За целый день они могли не обмолвиться ни единым словом, но ни тот, ни другой не стал бы отлынивать от работы.

Весной Лао-дин ни в какую не захотел, чтобы его телегой пользовались другие, хотя Дун-шань уже дал согласие на это. Отец и сын поссорились и не разговаривали между собой целых десять дней. На этот же раз, когда они повздорили, Лао-дин решил, что не раскроет рта и не будет разговаривать с сыном по крайней мере полмесяца.

Как-то под вечер, когда Дун-шань вернулся домой после партийного собрания, Лао-дин кормил быков. Старик сделал вид, что не замечает сына, и продолжал накладывать животным сено.

— Отец! — неожиданно обратился к нему Дун-шань. — А не засеять ли наше поле горохом после уборки хлеба?

Лао-дин растерялся — он никак не ожидал, что сын может заговорить с ним сейчас, — взглянул на Дун-шаня. На лице у того блуждала улыбка. И потому, что улыбка эта была смущённой, старик понял, что сын ищет примирения.

— Ну что же, это неплохо! — помедлив, ответил Лао-дин. — На этой земле и надо сеять бобовые.

С этими словами он уселся посреди двора на камне, на котором женщины обычно стирали бельё. Ему почему-то показалось, что сын согласен купить землю, и он нерешительно произнёс:

— Ты ещё молод и не понимаешь, как важно нам прикупить несколько му земли. Ведь земля для крестьянина — это всё. А я пока никак не могу выделить тебе и брату даже по восемь му. Вот и ноет моё сердце... Ну чего ты боишься? Никто не скажет обо мне дурного слова, если я куплю землю. Не всё же есть чёрные лепёшки. Пора и о белых подумать! Да что говорить! Будем каждый год засеивать пшеницей ещё несколько му — и хлеба будет по горло, — сказал старик, взмахнув рукой.

— А у нас и сейчас хлеба хватает, — заметил Дун-шань и присел на корточки.

— Что верно, то верно! Хлеб-то есть, но не так уж его много.

Чувствуя, что отца не переубедить, Дун-шань перевёл разговор на урожай.

— Как ты думаешь, сколько мы соберём зерна на восточном поле? — спросил он улыбаясь.

— Да не меньше чем тысячу триста — тысячу четыреста цзиней<sup>1</sup>, — прикинув в уме, сказал Лао-дин.

Дун-шань знал: если он скажет отцу, что у других хлеба лучше, старик лопнет от зависти. Тем не менее он не удержался и заметил:

— У Линь Вана в этом году соберут с каждого му по целому даню<sup>2</sup>. А у крестьян из бригады взаимопомощи на всех девятнадцати му пшеница во какая ядрёная! Колос в колос! Да и выше нашей на целую четверть.

Всякий раз, когда Лао-дину доводилось слышать подобные слова, ему становилось не по себе. Он крякнул и сказал:

— Не пожалеешь удобрений — земля тебе сторицей оплатит. Поле — это не прислужник в даосском храме, которому без толку таскают подношения.

— Всё это так, да только мы ничего не вывозили, — быстро проговорил Дун-шань. — Весной надо бы истратить каких-нибудь сто—двести тысяч юаней на удобрения — и зерна бы собрали цзиней на пятьсот больше.

Лао-дин несколько раз пытался завести речь о покупке земли, но Дун-шань втянул его в беседу о весенних работах. Наконец старику всё же удалось перевести разговор.

— Одним удобрением не обойдётся. Надо ещё знать, что за земля. Когда-то участок, о котором ты говоришь, был нашим. Там сплошной чернозём, вот там и родит хорошо. Я-то знаю!

— Зачем же мы тогда продали эту землю? — невольно вырвалось у Дун-шаня, хоть он и боялся, что отец неправильно истолкует его слова. В голосе Дун-шаня прозвучала обида.

— Ты не должен быть в обиде на своего отца, — сказал Лао-дин, взглянув на сына, и со вздохом продолжал: — Как вспомню об этом, меня всего в дрожь бросает. В сорок третьем году мы не собрали ни одного урожая, а тут ещё, как на грех, мать целый месяц проболела. В это время меня рассчитал помещик Чжу, и мне оставалось только одно — толкать тачку с углем. Все заработанные деньги шли на лекарства матери. Ты тогда был ещё маленький. Так ты думаешь, отчего стряслась беда с твоей сестрёнкой? Мать не вставала с постели, и мне приходилось каждый день с девочкой на руках бегать и искать молоко. Хотел я было взять к нам бабушку, да самим есть было нечего. Я сам ухаживал за больной, а чуть свет — развозил уголь. Вот и получилось, что девочка умерла...

<sup>1</sup> Цзинь равен 596,8 грамма. (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> Дань — мера объёма, равная 103,5 литра. (Примеч. перев.)

Когда Лао-дин заговорил о смерти дочки, его глаза покраснели, он помолчал немного, стиснув зубы, и продолжал:

— Пока твоя мать болела, мы по уши влезли в долги. Сначала мы задолжали помещику пять шэнов<sup>1</sup> хлеба, а после сбора урожая долг вырос до целого доу<sup>2</sup>. Вот и пришлось нам продать наши четыре му земли Хэ Лао-да, но и этих денег хватило только на лекарства. — Лао-дин опустил голову. — В тот год я отправил тебя в ученики к жестянщику. А тебе было только тринадцать лет!

Лао-дин украдкой взглянул сыну в лицо, до сих пор носившее на себе следы пережитых лишений.

— Неужели нам никто не помог тогда? — спросил Дун-шань.

— Помог! Волостное управление драло три шкуры с бедняка. А у богачей было одно на уме — разорить нашего брата вконец! Разве тогда было так, как сейчас... — сказал Лао-дин и осекся.

Дун-шань понял, что творится сейчас на душе у отца, вздохнул и медленно заговорил:

— У Чжан Шуаня сейчас почти такое же положение, как тогда у нас. Случись с нами такая беда сейчас, нам не пришлось бы продавать землю. Партия учит: если ты работаешь добросовестно и усердно, то правительство и весь народ всегда помогут тебе в трудную минуту. Партия стремится, чтобы со временем всем стало жить хорошо. И мы не должны смотреть равнодушно, когда кто-нибудь из наших односельчан разоряется.

Лао-дин не проронил ни звука. Он почувствовал, как бешено застучала в висках кровь, а в голове зашумело так, словно там вздымались волны Хуанхэ.

Дун-шань заметил волнение старика.

— Отец! Раньше помещики только и думали, как бы разорить бедняка. А сейчас — другое дело, сейчас все помогают друг другу. Ты всю жизнь бедствовал, и не тебе объяснять, что значит продать землю. Итти по пути помещиков мы не можем!

Лао-дин попрежнему молчал, в голове у него шумело.

## 6

Вдоль поля тянутся ряды деревьев. Их густая листва переплелась, образуя сплошной зелёный шатёр. На тонких ветвях висят зелёные плоды хурмы. В голубой вышине неба — ни облачка.

Разувшись, Сун Лао-дин сидит под деревьями на высоком холмике. Он смотрит на поле. Там стоят осенние хлеба, которые, словно наперегонки, буйно тянутся вверх. Прямо перед ним — участок, засеянный гао-ляном. Его колосья, раскрывшиеся, словно маленькие зонтики, переполнены круглыми, как жемчужины, зёрнами.

— Обрабатывай землю как следует, и впрямь один му стоит двух, — громко произнёс Лао-дин и снова вспомнил о том, что занимало его уже много дней.

Нет, он успокоится только тогда, когда прикупит несколько му земли. А когда Дун-линь выделится, он сможет дать ему му этак десять — двадцать. Внуки рано или поздно вспомнят о нём и скажут: «Вот сколько земли у нас благодаря нашему деду!» Они будут знать, что дед их был настоящий хозяин. Ему снова пришли на ум слова Ван Лао-саня: «И на будущий год, после первого же урожая, ты оправдаешь большую половину своих расходов!»

<sup>1</sup> Шэн — мера объёма, равная 1,03 литра. (Примеч. перев.)

<sup>2</sup> Доу — мера объёма, равная 10 шэнам. (Примеч. перев.)

Кто жалуется на то, что у него много земли! К тому же этот участок Чжан Шуаня — один из лучших в деревне. Никак нельзя упускать такого случая. Лао-дин поднялся и быстро направился к полю Чжан Шуаня.

По всему было видно, что Чжан Шуань собирается засеять свой участок пшеницей. Однако земля ещё не была вспахана по второму разу. При виде сорняков, обильно покрывавших участок, Лао-дин тяжело вздохнул. Он взял горсть земли. Чёрная и маслянистая, она как будто притягивала его.

— Всё же надо купить этот участок, — проговорил он и оглянулся, как будто испугавшись, что его кто-нибудь услышит. Он зашагал вдоль участка: ему хотелось самому измерить, действительно ли во «флажке» два му и четыре фэня.

Лао-дин начал тщательно отсчитывать шаги от угла участка. Повернувшись, он вдруг заметил на середине его небольшой жёлтый холмик, весь поросший колючей травой. Сердце Лао-дина вдруг сильно забилося — он вспомнил: это была могила отца Чжан Шуаня. Лао-дин пытался не смотреть в ту сторону, но не мог оторвать глаз от этого жёлтого холмика. У него перед глазами встал образ отца Чжан Шуаня, который умер за год до освобождения. Вся жизнь он тянул лямку, а когда умер, у семьи его не оказалось и клочка земли, чтобы зарыть его прах. Два года лежали останки отца Чжан Шуаня в разрушенной шахте, и только после земельной реформы сын похоронил его здесь, на своей земле. Лао-дин всё это прекрасно знал. Он вспомнил, как перед смертью отец Чжан Шуаня сказал сыну: «Если будет у тебя когда-нибудь своя земля, схорони меня в ней, если же земли не будет, не хорони меня. Я не хочу, чтобы мои старые кости лежали в помещичьей земле». Думая об этом, Лао-дин вспомнил также, какие страдания пришлось ему самому перенести за долгие годы жизни до освобождения. В носу у него защекотало, на глаза навернулись слёзы, и он, не закончив обмера, повернулся и быстро зашагал с поля.

Подойдя к деревне, он встретил старого Чан Шаня, который вёз в тележке два мешка пшеницы.

— Что, на базар продавать? — спросил Лао-дин.

— Нет, это я даю взаймы Чжан Шуаню, — с улыбкой ответил старый Чан Шань. — Говорят, он собирается плести цыновки. Так я одолжу ему это зерно. Пусть продаст в кооператив, а на вырученные деньги купит тростника.

— А ты, видно, много пшеницы собрал в этом году! — невольно вырвалось у Лао-дина.

— Много не много, а на пропитание хватит. Чего хлеб копить! Я ведь не собираюсь покупать землю!

## 7

После ужина Лао-дин вышел из дому и уселся во дворе, под высоким деревом. Двор был залит тусклым светом луны. Отовсюду несло стрекотание цикад. Лао-дин сидел неподвижно. Его раздражали то цикады, то позвякивание моющейся посуды, то доносившийся из кухни разговор и смех Сю-лань и его жены.

— Что за беспорядок! Покоя нигде нет, — ворчал Лао-дин.

Но вскоре его мысли снова вернулись к земле, и он уже ничего больше не слышал.

В это время кто-то вошёл во двор и позвал:

— Дун-шань!

— Он ушёл в волостное управление! — ответил Лао-дин и, по голосу узнав в пришедшем Чжан Шуаня, поднялся и пригласил:

— Заходи к нам, Чжан Шуань, посидим немного.



— Нет, нет! — пробормотал Чжан Шуань и быстро пошёл со двора. «Этот дурень словно не меня, а волка увидел!» — подумал Лао-дин и медленно вошёл в дом.

— Продаёт в конце концов этот Чжан Шуань землю, или ты дашь ему денег взаймы? — спросила его жена.

— Не продаёт! — бросил Лао-дин. — А мне давать ему взаймы незачем. Довольно с него и того, что бригада взаимопомощи поможет ему.

Во дворе снова послышался какой-то шум. Лао-дин прислушался — разговаривали его сын и Чжан Шуань. Он услышал, как Дун-шань тихо сказал:

— Пойдём, посидим у меня!

Оба вошли в комнату Дун-шаня. Когда за стеной послышался шёпот, Лао-дин нахмурился ещё больше. Он глянул на жену и тихонько направился к двери. Ему показалось, что его мягкие туфли скрипят, и он сбросил их за порогом. Выйдя во двор, старик встал под окном сына. До него донеслись слова Чжан Шуаня:

— Так всегда бывает, когда человек испугался трудностей, — ничего уж не может он решить твёрдо. А у меня тогда и правда, не было выхода. Но как говорят: «Хочешь избавиться от нарыва, не бойся резать мясо». И я решил продать землю. Но тут же подумал: ведь мне в конце концов терять нечего, сгоняю-ка я ещё разок в Чжоуцзякоу, приобрету там что-нибудь и, если повезёт, выкручусь из долгов.

— Тебя всё на лёгкую наживу тянет! — раздался голос Дун-шаня. — Разве можно жить и не трудиться? Ведь сейчас не старое время. Ты вот несколько месяцев поплети цыновки да как следует обработай и займи свою землю, тебе и незачем будет заниматься комбинациями со скотом! И не нужно избегать советов и помощи людей.

— Знаешь, Дун-шань, крепко за душу взяли меня твои слова. Добрый совет ты мне дал. Да и жена твоя тоже уговаривала меня не продавать землю. Беда страшна, только когда не с кем посоветоваться. А есть друзья — всегда можно найти выход из любой беды. Это ведь благодаря тебе старый Чан Шань одолжил мне пять доу пшеницы. Он сказал: «Чжан Шуань! Ты бери, с кем беды не случается!»

— Ты не узнавал, кредитное общество может дать тебе двести тысяч юаней?

— Управляющий согласен! Но мне сказали, что ссуда даётся только на три месяца. А сейчас мне надо ещё тысяч двести — триста. Ты мне не можешь помочь?

Лао-дин, стоявший под окном, тяжело вздохнул.

— Моего отца не переубедишь! Старику уже за шестьдесят перевалило. Не хочу расстраивать его. Жизнь у него была тяжёлая. Сейчас ему удалось скопить немного денег, и не удивительно, что он трясётся над ними. Но ты будь спокоен! Коммунисты не допустят, чтобы ты разорился, чтобы ты и твои дети оказались на улице. Я соберу бригаду взаимопомощи, поговорю с народом, и мы сообща поможем тебе.

«Плохо, значит, я знаю своего сына — мне никогда бы не пришло в голову, что он боится расстраивать меня», — подумал Лао-дин.

— Ты не бойся — выкрутишься из беды, — услышал затем Лао-дин слова сына. — Дядюшка Чан Шань одолжил тебе немного, кредитное общество выдало тебе небольшую ссуду, наша бригада взаимопомощи тоже поможет тебе. Ты возмёмся за цыновки. Я поручу кому-нибудь поговорить с твоим свяком, чтобы он подождал немного. А ты тем временем зарабатывай и постепенно выплатишь свой долг. Вот и дел с концом!

— Дун-шань! — раздался взволнованный голос Чжан Шуаня. — Я знаю, что ты не любишь, когда болтают попусту. Но будь спокоен, в

деревне все, от мала до велика, знают, что ты за человек. Ты — коммунист, и все говорят о тебе только хорошее.— И, понизив голос, добавил: — Всем известно, что твой отец — человек тёмный, но никто не станет обижаться на тебя из-за него.

И хотя он произнёс последние слова совсем тихо, Лао-дин услышал их особенно отчётливо.

— За последние два года мой отец заметно изменился. Ты ведь помнишь, как я поругался с ним в позапрошлом году, когда вступал в бригаду взаимопомощи. Теперь мы в бригаде, и это — главное. Мелкие неурядицы между мной и отцом не имеют никакого значения, да и трудится он изо всех сил. Вот я и подумал, что ссориться с ним, как раньше, не годится. Знаешь,— продолжал Дун-шань,— когда отец собирался купить твою землю, я отговаривал его, и вчера он всё-таки согласился со мной. «Да, мы не можем покупать землю Чжан Шуаня,— сказал он.— Ведь раньше я вместе с его отцом несколько лет подряд таскал уголь. Оба мы были бедняками, и нам никак нельзя покупать его землю». Но деньги одолжить он боится,— и Дун-шань рассмеялся.

— Я-то знаю дядюшку Лао-дина,— быстро перестроился Чжан Шуань.— Он человек справедливый. Ему самому приходилось ставить крестик под договором о продаже земли, и он знает, что значит продавать землю. Мой отец часто говорил: «Только после смерти увидим мы с дядюшкой Лао-дином землю». Кто думал, что придёт коммунистическая партия и так всё изменится? Если бы мой отец дожил до наших дней...

Лао-дин больше не мог слушать, он смахнул рукой набежавшие слёзы, вошёл в дом и рухнул на кровать как подкошенный.

## 8

Ясное августовское утро, как вода в реке осенью, свежо и прозрачно. Воздух напоён ароматом созревших хлебов. Ветер доносит его до смеющихся крестьян, занятых уборкой урожая, наполняя радостью их сердца.

Лао-дин поднялся ни свет ни заря и отправился в поле, чтобы там поговорить с сыном о делах. Старик решил вырыть в низине колодец, а после осенних работ поставить водяное колесо. Когда он шёл вдоль гаолянового поля, ему навстречу попался Чжан Шуань. Лао-дин хотел было заговорить с ним, но Чжан Шуань поспешно свернул в гаолян, как будто намеренно избегая встречи со стариком.

— Эй, Чжан Шуань! Подожди! Я хочу тебе сказать что-то! — громко окликнул его Лао-дин.

Чжан Шуаню ничего не оставалось, как выйти из гаоляна.

— Заходи к нам вечером. Я дам тебе займы тысяч триста юаней,— одним духом выпалил Лао-дин.

— Мне? — вытаращил глаза Чжан Шуань.

— Разве стал бы я давать тебе займы, если бы собирался покупать землю? Я дам тебе денег, только запомни: если не будешь по-настоящему трудиться на земле — опозоришь доброе имя своего отца!

Старик повернулся и пошёл на восток, навстречу восходящему солнцу.

*Перевод с китайского*

Д. Воскресенского, М. Шнейдера.



---

---

# НОВЫЕ ПЕРЕВОДЫ

## ИЗ КИТАЙСКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ

*Публикуемые в этом номере журнала стихи классиков китайской поэзии относятся к разным периодам истории Китая. Стихотворение Цюй Юаня (340—278 гг. до н. э.) «Плачу по столице Ину» написано в последний год жизни поэта, бывшего свидетелем разгрома столицы государства Чу войсками циньского полководца Бо Ци в 278 г. до н. э. Стихотворение Тао Юань-мина (365—427) «В год гуймао в начале весны думаю о старом деревенском доме» очень характерно для всего творчества поэта, которому были чужды мотивы придворной аристократической поэзии его времени. Поэты Мэн Хао-жань (689—740), Ли Бо (701—762), Гао Ши (умер в 765 г.), Чжан Цзи (765—830), Бо Цзюй-и (772—846) жили в эпоху династии Тан (618—907), когда китайская поэзия достигла своего расцвета.*

### ЦЮЙ ЮАНЬ

★

#### *Плачу по столице Ину*

Справедливое небо,  
Ты закон преступило!

Почему весь народ мой  
Ты повергло в смятенье?

Люди с кровом расстались,  
Растеряли друг друга,

В мирный месяц весенний  
На восток устремились —

Из родимого края  
В чужедальные страны

Вдоль реки потянулись,  
Чтобы вечно скитаться.

Мы покинули город —  
Как сжимается сердце!

Этим утром я с ними  
В путь отправился тоже.

Мы ушли за столицу,  
Миновали селенья;

Даль покрыта туманом, —  
Где предел наших странствий?

Разом вскинуты вёсла,  
И нет сил опустить их:

Мы скорбим — государя  
Нам в живых не увидеть.

О деревья отчины!  
Долгим вздохом прощаюсь.

Льются-падают слёзы  
Частым градом осенним.

Мы выходим из устья  
И поплыли рекою.

Где Ворота Дракона?  
Их уже я не вижу.

Только сердцем тянусь к ним,  
Только думой тревожусь.

Путь далёк, и не знаю,  
Где ступлю я на землю.

Гонит странника ветер  
За бегущей волною.

На безбрежных просторах  
Бесприютный скиталец!

И несёт меня лодка  
На разливах Ян-хоу.

Вдруг взлетает, как птица.  
Где желанная пристань?

Эту боль в моём сердце  
Мне ничем не утишить,

И клубок моих мыслей  
Мне никак не распутать.

Повернул свою лодку  
И иду по теченью —

Поднялся по Дунтину  
И спустился по Цзяну.

Вот уже и покинул  
Колыбель моих предков,

И сегодня волною  
На восток я заброшен.

Но душа, как и прежде,  
Рвётся к дому обратно,

Ни на миг я не в силах  
Позабыть о столице.

И Сяпу за спиною,  
А о западе думы,

И я плачу по Ину —  
Он всё дальше и дальше.

Поднимаюсь на остров,  
Взглядом дали пронзаю:  
Я хочу успокоить  
Неутешное сердце.  
Но я плачу — земля здесь  
Дышит счастьем и миром,  
Но скорблю я — здесь в людях  
Живы предков заветы.  
Предо мною стихия  
Без конца и без краю,  
Юг подёрнут туманом —  
Мне и там нет приюта.  
Кто бы знал, что дворец твой  
Ляжет грудой развалин,  
Что Ворота Востока  
Обратятся в руины!  
Нет веселья на сердце  
Так давно и так долго,  
И печаль за печалью  
Вереницей приходят.  
Ах, дорога до Ина  
Далека и опасна:  
Цзян и Ся протянулись  
Между домом и мною.  
Нет, не хочется верить,  
Что ушёл я из дома,  
Девять лет миновало,  
Как томлюсь на чужбине.  
Я печалюсь и знаю,  
Что печаль безысходна.  
Так, теряя надежду,  
Я ношу моё горе.  
Государевой ласки  
Ждут умильные лица.  
Должен честный в бессильи  
Отступить перед ними.  
Я был искренне предан,  
Я стремился к вам ближе,  
Встала чёрная зависть  
И дороги закрыла.  
Слава Яо и Шуня,  
Их высоких деяний

Из глубин поколений  
 Поднимается к небу.  
 Своры жалких людишек  
 Беспокойная зависть  
 Даже праведных этих  
 Клеветой загрязнила.  
 Вам противно раздумье  
 Тех, кто искренне служит,  
 Вам милее поспешность  
 Угождающих лестью.  
 К вам бегут эти люди —  
 Что ни день, то их больше,  
 Только честный не с вами —  
 Он уходит всё дальше.

Я свой взор обращаю  
 На восток и на запад.  
 Ну когда же смогу я  
 Снова в дом мой вернуться!  
 Прилетают и птицы  
 В свои гнёзда обратно,  
 И лиса умирает  
 Головою к кургану.  
 Без вины осуждённый,  
 Я скитаюсь в изгнании,  
 И ни днём и ни ночью  
 Не забыть мне об этом!

### ТАО ЮАНЬ-МИН

★

*В год гуймао в начале весны  
 думаю о старом деревенском доме*

Учителем Куном  
 Оставлены нам заветы:  
 «Тревожись о правде,  
 Не сетуй на то, что беден».  
 С надеждой взираю —  
 Высот мне достигнуть трудно.  
 Ищу я со страстью —  
 Мой дух в трудах неустанных...  
 Иду за сохою —  
 Я рад весенним работам.  
 Довольной улыбкой  
 В крестьян я вселяю бодрость.

Здесь ровное поле  
Ласкает далёкий ветер,  
И славные всходы  
Уже набухают новым.  
Хотя ещё рано  
Подсчитывать доблесть года,  
Но в самой работе  
Нашёл я большое счастье.  
Пашу или сею  
И отдыху знаю время.  
Случайный прохожий  
Не спросит меня о броне<sup>1</sup>.  
А спрячется солнце —  
И все мы домой уходим.  
Там полным кувшином  
Порадую я соседа.  
Стихи напевая,  
Убогую дверь закрою...  
И кажется, стал я  
Простым хлебопашцем тоже.

### МЭН ХАО-ЖАНЬ

★

#### *В конце года я вернулся на гору Чжуннань*

В Северный зал  
Больше бумаг не ношу.  
К Южной горе  
Вновь я в лачугу пришёл.  
Я не умён —  
Мной пренебрёг государь.  
Болен всегда —  
И позабыли друзья.  
Белая прядь  
К старости гонит меня.  
Зелень весны  
Году приносит конец.  
Полон я дум.  
Грусть не даёт мне уснуть.  
В соснах луна...  
Пусто ночное окно.

<sup>1</sup> Не спросит о броне — никто не потревожит. Намёк на случай, описанный в книге изречений Конфуция «Луньюю».

## ЛИ БО

★

*На Озере Персиковых Цветов**Ван Луню*

Ли Бо уже в лодке своей сидит,  
Отчалить ему пора.

Вдруг слышит — кто-то на берегу  
Поёт, отбивая такт.

И Озера Персиковых Цветов  
Бездонной пучины глубь

Не мера для чувства, с каким Ван Лунь  
Меня провожает в путь.

## ГАО ШИ

★

*Ночью расстаюсь с другом*

Людная станция. Свет огней.  
Прощальный глоток вина.

Гонг полуночный. И лук луны.  
Гуся тревожный крик.

Ты говоришь: «Когда ворон зовёт.  
Подруга летит за ним.

Ветер весенний — больше никто —  
Делит со мною путь.

Там, на изгибе Жёлтой реки,  
Берег — сплошной песок.

Ниже, где «Белой лошади брод»,  
Клонит иву к стене».

Ты не горюй, что в далёкий край  
Не едут с тобой друзья.

Помни одно — где бы ни был ты,  
Всюду найдёшь людей.

## ЧЖАН ЦЗИ

★

*Я ночью в доме рыбака*

Домик рыбацкий  
У самого устья реки.

Волны прилива  
Вбегают в убогую дверь.

Гость я проезжий,  
Мне надо здесь ночь провести.



Только хозяин  
 Ещё не вернулся домой.  
 Гуще бамбук  
 И темнее дорога в село.  
 Месяц взошёл,  
 Стало меньше рыбачьих челнов.  
 Вижу — вдали  
 Там на берег ступил человек.  
 Ветер весенний  
 Играет плащом травяным.

### БО ЦЗЮЙ-И

★

#### *Я впервые на Тайханской дороге*

Холодное небо.  
 Свет зимнего солнца тусклый.  
 Вершина Тайхана  
 Теряется в синей мгле.  
 Когда-то я слышал  
 Об этой опасной дороге.  
 Сегодня и я  
 Проезжаю один по ней.  
 Копыта коня,  
 Леденя, скользят на склонах:  
 По пётлям тропинок  
 Тяжёл для него подъём.  
 Но если сравнить  
 С крутизною дороги жизни,  
 Покажется эта  
 Ровней, чем моя ладонь.

#### *Я смотрю, как убирают пшеницу*

Приносит заботы  
 Крестьянину каждый месяц,  
 А пятый и вовсе  
 Хлопот прибавляет вдвое.  
 Короткою ночью  
 Поднимется южный ветер,  
 И стебли пшеницы,  
 На землю ложась, желтеют...  
 Крестьянские жёны  
 В корзинах еду проносят,

А малые дети  
Кувшины с водою тащат.  
Одни за другими  
Идут по дороге к полю —  
Мужчины-кормильцы  
На южном холме, под солнцем.  
Подошвы им ранит  
Дыханье земли горячей.  
Им спины сжигает  
Огонь палящего неба.  
В труде непрерывном,  
Как будто им зной не в тягость.  
Вздохнут лишь порою,  
Что летние дни так долги...  
Ещё я вам должен  
Сказать о женщине бедной,  
Что с маленьким сыном  
Стоит со жнецами рядом  
И в правой ладони  
Зажала поднятый колос,  
На левую руку  
Надела свою корзину.  
Вам стоит подслушать  
Бесхитростную беседу —  
Она отзовётся  
На сердце печалью тяжкой:  
«Всё дочиста с поля  
Ушло в уплату налога.  
Зерно подбираю —  
Хоть так утолить бы голод».  
А я за собою  
Какие знаю заслуги?  
Ведь в жизни ни разу  
Я сам не пахал, не сеял.  
А всё ж получаю  
Казённые триста даней,  
До нового года  
Зерно у меня в избытке.  
Задумаюсь только,  
И мне становится стыдно,  
И после весь день я  
Не в силах забыть об этом.

*Перевод Л. Эйдына.*



---

---

# ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ

★

## ПОЕЗДКА ПРОШЛОГО ГОДА

**С**он. У каждого человека, наверное, есть один, самый любимый и самый счастливый, всю жизнь повторяющийся сон. Его невозможно вызвать, упросить, чтобы пришёл; он приходит сам, когда захочет. Он может исчезнуть на целые годы, но потом обязательно вернётся и щедро одарит вас той же радостью.

Есть такой сон и у меня: мне снится город детства — Углич, куда мать увезла сестру и меня из Петрограда в 1918 году и где прожили мы почти два с половиной года, пока отец где-то далеко на юге воевал с белыми. Мы жили на разных улицах, в разных домах, но дольше всего по ордеру Горкоммуны в келье Богоявленского девичьего монастыря; это было наше последнее жильё в Угличе. Наш корпус был самым дальним, угловым, он стоял в конце монастырской стены, близ дремучего садика, над глубоким, притаившимся под огромными липами прудом, а в школу мы иногда ходили не по улице, а по тёмному коридору в толстой каменной монастырской стене. Ходить по этому коридору было страшно, зато в оттепель не промокали валенки. А школа помещалась тоже в монастыре, в красном кирпичном здании, которое раньше называлось «покоями» и стояло прямо напротив высокого белого собора с пятью синими главами, и главы были усыпаны крупными золотыми звёздами.

Мы прожили в келье лето, осень и зиму, — главное, зиму двадцатого года... Ух, какие это были медленные, ледяные вечера с вонючей слепой копилкой, с грозным рёвом близких монастырских колоколов, с горючей тоской о Петрограде! Мама говорила, что увезла нас из Петрограда для того, чтобы мы не умерли там с голоду; но мы помнили, что два года назад в Петрограде мы ели лучше, чем теперь, что там бывала даже колбаса, а в нашей столовой горела висячая лампа с абажуром. Мы вспоминали эту лампу, как живого, любимого человека, и нам всё казалось, что она и сейчас горит в Петрограде, хотя мама говорила, что дедушка, бабушка и няня Авдотья тоже давно сидят с копилкой, а едят ещё хуже, чем мы: у нас хоть дуранда есть, вобла бывает и много овсяных высевок, из которых можно варить кисель, а там... и она замолкала. Но невозможно было поверить, что во всех, во всех городах и в особенности в милом Петрограде так же голодно, холодно и темно, как у нас в келье. Нет, лампа в петроградском доме, наверное, всё-таки горела... А мама по вечерам уходила в нашу школу, на работу в ликбез, где старухи учились читать, как маленькие, и мы оставались одни, запертые в сводчатой морозной келье. Угрожающе ревели колокола, чернели полукруглые окна, поблизости было кладбище с могилами каких-то старцев; монашенки, дежурившие в нашей школе, говорили, что старцы иногда зачем-то «встают из могил», и если б не Тузик — рыжая голодная собака, приставшая к нам в эту зиму, — то было бы совсем страшно. Как хорошо, что мы уговорили маму взять собаку в келью и потихоньку делились с нею скудной своей едой: она отвечала нам глубокой любовью, она ревни-

во оберегала нас. Закутавшись в одеяла, придвинув смердящую копилку к самым книгам, страшась, что она может потухнуть, и потому почти не дыша (мать оставляла нам на всякий случай одну спичку из своего запаса), мы учили уроки, а Тузик сидел прямо против двери, воинственно наострив рыжие треугольные уши, готовый в любую минуту броситься на старцев, если они вдруг встанут из могил и будут сюда ломиться.

Один раз всё-таки, тяжело вздохнув, Муська загасила копилку. Единственная спичка сломалась у меня в руке, и головку её мы, конечно, не нашли. Мы оцепенели от ужаса, от внезапной тьмы.

— Теперь мы умрём,— басом сказала Муська.

— Ничего,— прошептала я,— скоро вернётся мама. Это звонят ко всенощной, значит урок в ликбезе уже кончился. Ведь старухам ко всенощной надо...

Но мне было ещё страшнее, чем сестрёнке.

Тузик подошёл к нам и, положив лапы мне на колени, деловито облизал наши лица. Язык у него был шершавый, горячий, от него пахло теплом. Он держался, как самый старший в доме.

— Скоро весна,— сказала я.— Мы опять пойдём в лес... на субботник... собирать ландыши для аптеки и шишки для электростанции. Тебе хочется в лес, Муська?

— Я хочу в Петроград,— ответила она тем же грустным басом.

— Это всё из-за Колчака,— пояснила я,— нам в классе говорили! И голод и всё, всё...

И сладкая судорога ненависти сдавила мне горло.

Мы замолчали. А в келье было уже не так темно, как в первую минуту, когда погасла копилка и сломалась спичка: смутно стали видны контуры лежанки, подушки на кровати и кадка с водой. То полукруглые окошки, чудесно посветлев, лили в келью снежный, лунный, грустный свет глубокой зимы.

Так мы вместе с Тузиком коротали зиму, встречали милую волжскую весну, ждали папу, ждали конца войны и возвращения в Петроград, к родным, к хлебу, к светлой висячей лампе.

...И вот, уже в молодости, в тридцатых годах, тёмное, бедственное жильё времён детства и гражданской войны — эта келья, этот угол монастырского двора с могучими липами и, главное, высокий белый пятиглавый собор напротив школы,— всё это стало мне почему-то снится, как место чистейшего, торжествующего, окончательного счастья.

Мне снилось: я попала в Углич и иду по длинной широкой, заросшей мелкой зелёной травкой улице; и иду я не то на раннем рассвете, когда сумрак переходит в свет, не то поздним, но светлым вечером, переходящим в ночь, потому что не только небо, но весь воздух и даже дома и деревья, окружённые им, трепетно излучают какой-то серебристо-молочный свет, чуть с голубизной — там, наверху. И вот я иду по зеленоватой, мерцающей улице, а вдаль тоже мерцает и светится белая громада собора. Мне обязательно нужно дойти до него, потому что за ним — наша школа и садик, а в садике похлопывают и шумят всеми своими круглыми, как бы жестяными, звонкими листиками огромные липы, и я знаю, что когда дойду до собора, до лип,— наступит удивительное, мгновенное, полное счастье. И я кружу по странно-сумеречным улицам, и собор всё ближе, всё ярче, и всё нарастает и нарастает во мне предчувствие счастья, всё сильнее дрожит и трепещет внутри что-то прекрасное, сверкающее, почти режущее, и всё ближе собор, и вдруг конец: просыпаюсь! Так и не удалось мне за долгие-долгие годы дойти — во сне — до «своего собора». И с тех пор, как мы уехали из Углича, прошло тридцать два года...

В прошлом году я решила поехать в Углич и обязательно наяву дойти до собора, до школы, до того трепетного счастья, которое столько лет снилось. Мне это очень нужно было.

Но, прежде чем рассказать об этом, надо рассказать ещё о том, как мы возвращались в Петроград. Я помню наш обратный путь в Петроград не мёртвой памятью, знающей, что то-то и то-то было, имело место, но живой памятью ощущения тогдашних событий. Той памятью, которая связывает отдельные воспоминания в цельную, единую жизнь, ничему не давая отмереть, но оставляя всё вечно живым, сегодняшним. Такая память, говорят, есть наказание или благо человека, а может быть, то и другое вместе. Но если б она была только наказанием, я всё равно не отказалась бы от неё.

**Папа приехал.** Мне было десять лет, а сестре восемь, когда однажды утром я проснулась и вдруг увидела, что какой-то военный стоит посередине кельи, спиной к нашей кровати. Его красноармейская шинель была нараспашку, в правой руке он держал мешок, а левой обнял маму и, быстро похлопывая её по плечу, говорил негромко:

— Ну, ничего, ничего...

Невероятная догадка озарила меня.

— Муська, — закричала я, — вставай! Война кончилась! Папа приехал!

Тут папа обернулся, шагнул к нашей кровати, и мы оцепенели от страха: голова у него была бритая, лицо худое, тёмное и без усов, а мы знали, что он должен быть в косоворотке, с красивыми усиками и волнистыми волосами: мы целых семь лет — с тех пор, как он ушёл на войну ещё с германским царём Вильгельмом, — знали его по студенческому портрету и давно забыли, какой он — живой.

— Вы — наш папа? — вежливо спросила Муська.

— Ну, да, — ответил он и в шинели сел на край кровати; от него пахло незнакомо — сукном, махоркой, дымом, — пахло войной и папой. Он тоже, наверное, не узнавал нас и не знал, что с нами делать; он осторожно левой рукой потрогал сперва мою макушку, потом муськину, а в правой руке всё держал и держал свой мешок: ведь он ехал издалека, с войны, и, наверное, всё время так держал мешок, чтоб его не украли мародёры или спекулянты. Мать наконец взяла мешок у него из рук и сказала:

— Ну поцелуй же ребят.

Но папа не поцеловал нас.

— Вынь им сахару, — сказал он, пристально глядя на Муську.

Мы впервые за последние три года ели сахар, свирепо хрустя и захлёбываясь, и всё смотрели на нашего папу и привыкали к нему.

— Папа, — спросила я, — голодное время тоже кончилось? Да, папа? Мне хотелось говорить слово «папа» всё время.

— Кончилось, — ответил он.

— И мы поедем в Петроград, папа?

— Ну, конечно же. Я же за вами приехал.

— Скоро, папа?

— Через три дня.

Мы завязжали и захлопали в ладоши, — они были липкими от сахара и склеивались. Папа в первый раз улыбнулся — он уже немножко привык к нам — и вдруг слегка стал похож на свой студенческий портрет в косоворотке...

— А пароходы по Волге не ходят! — воскликнула Муська. Она была упрямой, она была скептиком и не верила всему этому счастью. — Как же мы?

— А мы прямо на лодке поедем. На большущей такой, знаете? До станции «Волга». А оттуда — тук-тук — поездом прямо до Питера.

Он засмеялся, и мы засмеялись и задохнулись от восторга, с обожанием глядя на папу.

И сборы в Петроград начались на другой же день. Незнакомые мужики принесли прямо в келью большие фанерные ящики и свёртки рогожи, и к запаху папы присоединился запах путешествия, отъезда — щемящий запах свежего дерева, воздуха и рогожи. Мы сразу полюбили эти новые незнакомые вещи: забрались в ящики и посидели в них, завернулись в рогожи и походили так по комнате, и папа строго прикрикнул, чтобы мы перестали безобразничать. Нам и это было приятно, потому что означало, что папа с нами не просто так, а уж действительно, как настоящий папа, и вообще всё на самом деле, потому что он ещё прибавил:

— Лучше бы собирали, что в Питер взять!

Мы бросились разбирать наше небогатое детское хозяйство, книжки и игрушки, и вдруг почти всё, что ещё вчера радовало и было любимо, оказалось недостойным Петрограда: солдаты из чурочек, цветные черепки и большая деревянная ложка, запелёнутая в тряпки, которую мы называли «маленький Ванька».

Мы, конечно, забирали Мишку с одним пуговичным глазом и продавленным животом, — ведь Мишка был ещё петроградский, он приехал в Углич вместе с нами, а черепки, солдат и «маленького Ваньку» решили оставить здесь.

— А старичка возьмём? — шёпотом спросила сестра.

Я тоже перешла на шёпот.

— Старичка — да!

И, бросив сборы, мы побежали за нашим старичком.

Мы нашли его ранней весной в монастырском саду, среди ещё голых кустов шиповника: он сидел на корточках, горбатенький, тёмный, опустив корявые ручки до самой земли, неестественно повернув вправо сердитое задумчивое личико с острой бородкой. Подкравшись поближе, мы увидели, что старичок не настоящий, не живой, а такой необыкновенный древесный корень. То есть на самом-то деле он, конечно, был живой и только перед нами, перед людьми, замирал и прикидывался корнем, и мы поняли его хитрость.

Мы устроили старичку дом под маленькой, но удивительно густой и угрюмой ёлкой, похожей на шатёр (ведь старичка нельзя было тащить домой, это же была не игрушка, а житель иного, недоступного для людей мира), и старичок жил под ёлкой, как в капище, в тишине и тайне. Малюсенькие кусочки хлеба, которые мы ему оставляли, он съедал и воду из крышки от банки выпивал, но, конечно, не при нас. И никто, кроме нас, не знал о старичке и его таинственной жизни, да и нам ни разу не удалось подсмотреть её, хоть мы очень старались. Но мы догадывались обо всём! Мы даже рассказывали друг другу, как наш старичок ночью бегаёт по саду и всё трогает своими корявыми ручками, а иногда зачем-то выкапывает ямки. А бегаёт он, как ступка, переваливаясь с боку на бок, ведь ног-то у него нет! И так было интересно и жутко верить этому, и мы побаивались даже нашего старичка и очень любили его.

Мы захватили с собой старую клетчатую тряпку и благоговейно, немало страшась, вытащили старичка из-под ёлки. Заглянув в его опустевшее капище, я ещё раз убедилась, что мы уезжаем в Петроград. А старичок был безучастен, горбатенький и тёмный, он думал о чём-то своём, страшном, и неестественно повёрнутое личико его было, как всегда, сердитым и задумчивым. Я завернула старичка в тряпку очень быстро, чтобы никто его не увидел. Мы говорили при нём всё время шёпотом.

— Дома его не будем развёртывать, да, Лялька?

— Да, да, не развёртывать. А то мама увидит.

— И папа.

— Да, ведь и папа. Папа приехал!

— Ага. Папа приехал. А где старичок будет жить в Петрограде, Лялька?

— Как где? В нашем саду! Муська, ты помнишь наш сад,— какой он огромный, правда?

— Ага. Я помню — он громадный. А наш петроградский дом ещё громаднее. Ты знаешь, через три дня мы будем жить в нём!

Мы изумлённо смотрели друг на друга и смеялись от счастья.

— Побежим скорее собираться!

Я прижала завёрнутого старичка к груди, и мы понеслись к нашему корпусу. Липы монастырского сада, ликуя, гремели над нами круглыми своими, как бы жестяными, блестящими листиками, медовый, сияющий, жаркий ветер летел нам навстречу, мы нарочно бежали что есть силы, опрометью, задыхаясь от ветра и счастья, как вдруг из-за кустов выскочил Тузик.

Он бросался на грудь то ко мне, то к сестре, громко, обиженно лая, и мы остановились как вкопанные, мы поняли: Тузик в сё з н а е т. И то, что мы уезжаем в Петроград, и то, что мама и папа решительно сказали нам вчера, что Тузика взять с собой невозможно. Он узнал всё по новому, чужому запаху папы, по запаху ящиков и рогожи — щемящему запаху отъезда. Он знал также, конечно, что мы не возьмём его с собою, но... но он всё-таки надеялся! И в день отъезда, когда мы ловко и незаметно для взрослых сунули нашего старичка в большой ящик под самую рогожу, когда чужие мужики заколотили ящики и повезли их на тачке к пристани, а мы пошли за тачкой, Тузик деловито бежал рядом, не отвлекаясь ни на минуту в сторону. Он твёрдо решил ехать вместе с нами в Петроград. Мы с Муськой молчали, подавленные своим предательством, и я даже не оглянулась на монастырь, на собор, который потом столько лет подряд снился мне таким прекрасным и недостижимым.

Большая лодка уже была нагружена нашим скарбом, и папа, очень худой и потный, обнимал угличских друзей и знакомых и торопил нас садиться, а мы, обняв и перецеловав товарищей, всё никак не могли проститься с собакой, коротавшей с нами голодные, тёмные, страшные вечера в келье, и обнимали её, и плакали, плакали...

Один из мужиков, кативших нашу тачку на пристань, спросил певуче:

— Чья собачка-то?

— Наша, — ответила я и, взглянув на дядьку, увидела, что у него круглое доброе лицо. — Возьмите её себе, дяденька! Только, пожалуйста, кормите. А то она умрёт.

Дядька кивнул головой.

— Ладно. Возьму для ребят. Собачка весёлая, чисто детская.

Он вынул из глубины полосатых штанов верёвку, завязал её на шею Тузика, а конец взял в руку.

— Ну, садитесь, садитесь, — торопил папа. — Да не ревите вы, девчонки, к дедушке-бабушке едете, в Питер!

Мы сели, и лодка отчалила. Отчаянно рванувшись к нам, Тузик залаял, завизжал, захрипел, точно тоже разрыдался. Мы заревели в голос обе.

— Ну, господи благослови, — сказала мама. — Ну, посмотрите же в последний раз на Углич, дети. Ведь сколько здесь пережили.

Я подняла лицо, распухшее от слёз. Колеблясь сквозь слёзы, точно погружаясь в воду, Углич стоял на высоком-высоком откосе, узорный,

древний, зелёный, и «наш собор» возвышался в гуще его зелени, белый, с пятью синими звёздными главами, и сумрачно краснел терем Дмитрия-царевича на берегу, а немного поодаль — Воскресенский монастырь, и всё это было подёрнуто лёгкой дымкой летнего зноя и колебалось за пеленой слёз, и какой-то белый, нежный пух с деревьев тихонько летел и летел в воздухе. И вдруг во мне вспыхнула небывалая доселе нежность к исчезающему из глаз городку: здесь ведь было не только «голодное время»; здесь была испытана первая, горделивая, распирающая радость походов на субботники вместе с настоящими большевиками и комсомольцами, под пение «Интернационала», когда чувствовал, что ты совсем такой, как «большие», и тоже по-настоящему участвуешь в войне с белыми, с ненавистным Колчаком... А наша школа? А Тузик? А праздники — особенно весенние?..

И, не отдавая себе отчёта в этом так ясно, как теперь, я помню — сердцем помню, как почувствовала, что что-то очень хорошее, светлое остаётся в Угличе, такое, чего уже никогда-никогда не будет, даже в Петрограде. И точно тонкая, блестящая, острая струнка дёрнулась и застонала, задрожала в груди.

...Мы ехали по Волге целый день и целую ночь, и ночью сперва было очень интересно; казалось, что можно даже, если изловчиться, подцепить из тёмной и тёплой воды серебристую звёздочку, как рыбку, и на берегах толпились тёплые, уютные огни, но потом очень захотелось спать. Мы долго не могли примоститься, отовсюду выпирали ящики, потом, пощенившись прижавшись друг к другу, кое-как задремали. Однако проснуться пришлось почти сразу — мы подъехали к станции «Волга». Кругом был темнорозовый туман: мы причалили прямо у берега. Мучительно хотелось спать, и всё было, как во сне: и то, что мы долго карабкались по какому-то мокрому, холодному, сизому от росы откосу, и то, что потом сидели в какой-то вонючей избушечке, а потом ехали на нестерпимо скрипящей телеге и, когда уже взошло солнце, приехали на станцию «Волга» и вошли, наверное, в вокзал.

И тут я до того поразилась, что сон как сдунуло, а та стонавшая внутри тонкая струнка смолкла внезапно, как оборвалась: столько людей, столько людей было кругом — и в зале вокзала с мутными, полуразбитыми окнами, и на платформе, и прямо на земле у стен вокзала, — столько людей и, главное, у всех, решительно у всех было одно лицо! Не мужское и не женское, не старое и не молодое, а просто лицо, жёлтое, как церковная свечка, с синими тенями у глаз, со слившимися прядями серых волос... Потом я узнала это лицо на плакатах Помгола. И кто лежал в изнеможении, прямо на полу или на земле, кто сидел, кто стоял, но все как-то клубились, кричали, кишели, и диким бедствием, дикой стихией веяло от этих жёлто-синих клубящихся людей с одним лицом, от слитного, горестного, неумолкающего крика, от режущего плача грудных, от пронзительного запаха мочи и гари.

«Это потому, что кончилась война... это все домой... В Петроград, как мы! Все, все в Петроград... И мы, как они, мы такие же, мы все вместе в Петроград, в Петроград», — стремительно пронеслось в уме, и вдруг я ощутила себя целиком во власти этой стихии, ясно почувствовала, что меня — отдельно — вовсе и нет на земле.

И мы с мамой сели прямо на пол, в гущу людей, тесно прижавшись к одной тётеньке с жёлтым лицом, до ужаса похожей на нашу маму. Я не могла отвести глаз от нашей соседки. И мы сидели на вокзале долго, до самого вечера, и с ненасытным, новым для себя любопытством разглядывала я обглоданных голодом людей, всем существом ловила общий гул и стоишь и с жадностью, со страхом, со странным восторгом прислу-



шивалась к первому, смутному, непонятному и огромному — ощущению бытия.

Посадка в вагоны была страшной. Тут всё закружилось так, что, казалось, ещё минута и — гибель. Папа подал нас какому-то дядьке прямо в окно, и дядька бросил обеих на верхнюю полку, как мешки. Потом забравшиеся в вагон стали выталкивать тех, кто ещё лез в окна, и в вагоне, в дрожащем жёлтом свете свечи люди галдели, стонали и кишели ещё страшнее, ещё печальнее, чем на вокзале, но я уснула мгновенно, едва голова коснулась полки...

**Сказка о свете.** Мне казалось, что кто-то быстро гладит меня по лицу прохладной пушистой лапкой.

«Белка», — подумала я, не удивляясь, и в ту же минуту мне приснилась оранжевая сосновая роща, где сосны стояли очень прямые и ярко-оранжевые, и между ними неподвижно висели зеркальные солнечные блики и тени. Было очень жарко, руки и щёки прилипали к смоле, было душно от сияющей жаркой смолы, от солнца, от яркого цвета сосен, а белка шекотала лицо быстро, прохладно, нежно, всеми волосинками, расторопно перебирала пряди волос у меня на лбу.

— Белинька, милая, — шепеляво пробормотала я, смеясь и очень любя белку, — вот я тебя поймаю и привезу в Петроград...

Я подняла руку к лицу и открыла глаза. И мгновенно, с той неукротимой жадностью, которая вспыхнула во мне вчера на вокзале, стала смотреть и слушать, смотреть и слушать...

Стучал поезд. Смутный рассвет недоуменно, неуверенно освещал вагон. Я взглянула вниз: непонятно как разместившись, истошно кричавшие ночью, грубо пихавшие друг друга люди спали. Все спали, спали сидя, тесно, доверчиво прижавшись друг к другу, спали, опустив головы на колени, или спрятав лицо в ладони, или охватив руками затылки. Я не могла различить среди круглых, одинаково согнутых спин лапу и маму, спавших, как все. Все сидели так, точно цепенели в глубоком, трудном раздумье, неподвижные, серые, согнувшиеся, и были похожи сверху на большие круглые камни, робко озарённые серым рассветом.

«И спит король Артур, и крепко спят рыцари круглого стола», — вдруг торжественно и грустно прозвучала в уме вычитанная откуда-то фраза, и так это похоже показалось!

Они спали, усталые, безмолвные, как бы навсегда оцепеневшие в важном раздумье, и, спящие так, мчались в Петроград. Лишь иногда раздавался стон или отрывочное, полубредовое бормотанье, — наверное, у многих уже начинался сypняк...

«И крепко спят рыцари круглого стола... А белка?» Лапка её всё ещё бегала по моему лицу. Но это оконная рама чуть-чуть опустилась, лёгкий предутренний воздух врвался в горячий вагон. Я подставила под живую эту струю открытый, горящий рот, приостановив дыхание... Нет, спали не все: внизу, под моей полкой, невидные сверху, негромко говорили двое мужчин. А за окном расстилалось пустое, серое, туманное поле. Обгоревшая избушка бокom проскочила мимо. Туман стал гуще, зарокотало железо: мы медленно ползли по железному мосту. Чёрные влажные балки плыли мимо окна, нахлывшийся часовой, стоя на каком-то странном выступе моста, поднял глаза и взглянул мне прямо в зрачки, и взгляды наши столкнулись, слились... А внизу и вдали, за балками, тускло поблёскивала вода — это была река. Холодная, бесцветная, строго поблёскивающая, вся в парах, уходила она в пустые поля, где едва-едва в тумане и утренних сумерках намечались кустарники. И на мгновение остро, почти болезненно, мне показалось, что всё это уже было один раз

в моей жизни: земля и вода в тумане и пристальный взгляд незнакомого человека прямо в зрачки — из пустоты и тумана...

— ... И вот, дружба, трудятся на этой реке массы народа, — нараस्पев говорил под моей полкой мужской голос; таким голосом, наверное, говорили по ночам сказочники — сипловатым, таинственным, чуть воспалённым. — Со всех концов Расеи народ, всякого рабочего люду массы — каменотёсы, камнебойцы, плитоломы, катали... как при Петре Великом.

— Мы слышали, — ответил голос помоложе, усталый и ломкий.

— И завезена туда удивительная машина... Это... это умнейшая машина на свете, дружба! Она тебе этаким когтем, вроде ковшика, подцепит и подымет земли... Ну, сколько, ты полагаешь, подымет земли?

— Ну сколько?

— А до ста возов земли за один раз! Чуешь? И она любую землю берёт, и летом и зимой. А зимы у нас какие пошли? Голодные и холодные, и земля теми зимами — железная. А она этой земли не боится! Она её копает и копает, грызёт до самого дикого камня и сыплет высоченной горою...

— Ну, а для ча ж это всё?

Рассказчик глубоко, радостно вздохнул, и голос у него стал мягким и умилённым, точно засиял в сумраке; так, должно быть, светлели голоса сказочников, когда приступали они к рассказу о снятии заклития.

— Эх... дура ты, малый. «Для ча?» Да ведь там же водопад будет! Преогромнейший, пойми, водопад. И такой неистовой силы, что от этого водопада появится сам свет. Как от бога. Оно Волховстрой называется, дружба, ты запомни это — Волховстрой.

— И много его будет, того свету?

— У-у, малый! Спросил тоже! Да всю Расею светом зальёт, до последней щёлки. Белый свет, ясный, как денной. Одно слово — научный, ну, попросту говоря, элек-три-ческий... только тебе пока не выговорить это, пожалуй.

— Отчего же это, — вдруг обиделся молодой голос. — Очень даже выговорим: е...е-лек-тричест-кий... Уж ты, дед, думаешь...

— Да я не думаю! — почти ликуя, воскликнул рассказчик. — Я просто говорю: учишь, дружба, понимай... Ведь сила от этого света будет, от электричества, страшная сила! Этой силе всё подвластно: ею и железо можно точить, самое твёрдое, и машины двигать, и пахать, пахать можно, малый, вот что главное, да не так, как мы сейчас сохой ковыряем, а тыщи вёрст зараз поднимать. Сила и свет, как от господа бога, — сила и свет.

Рассказчик бурно вздохнул и помолчал. Стучал поезд. Как бы оцепенев в глубоком раздумье, все спали, измученные, подстерегаемые сыпняком, круглые и неподвижные, и, спящие, мчались в Петроград.

— Голодаем и холодаем, пусть хоть светло будет, — грустно, устало сказал молодой голос. — При свете легче, чем в темноте, правда, дед?

— Может, правда, — равнодушно согласился тот и снова вдохновенно пророкотал: — Оно как брызнет с Волховстроя, как засияет на всю Расею, как заплещется! Это Ленин так велел, Владимир Ильич Ульянов-Ленин...

**Петроград.** В полдень приехали мы в Петроград, за родную Невскую заставу. И вдруг оказалось, что наш петроградский дом вовсе не огромный, каким вспоминали мы его почти три года, а маленький... Он был очень даже маленький, и было совершенно непонятно, почему он так уменьшился, пока мы жили в Угличе и мечтали о нём.

А сада не было совсем, и даже зеленоватого забора с вырезанными в досках сердечками не осталось.

— В голодуху на дрова срубили,— сказала бабушка и первый раз заплакала о саде. Вместо сада был общий домовый огород, огороженный ржавыми кроватями и ржавыми жестяными вывесками,— очень маленький, значит и сад был когда-то маленький,— и новые, незнакомые нам жилищки окучивали на грядках картошку.

Итак, нашему старичку негде было жить.

Три дня, завёрнутый в клетчатую тряпку, он прожил за печкой в столовой. Потом мы, оставшись одни, вытащили его с великим благоговением, развернули и поставили на стул. Поставили, взглянули и — обомлели: старичка не было. Это был просто уродливый тёмный корень, правда, тот же самый, что и в Угличе, и отросточки по бокам у него торчали, которые были в Угличе ручками старичка, и нарост был наверху тот же самый, который раньше был его сердитым и задумчивым личиком, — всё, всё было на месте, но самого старичка больше не было. Он как бы исчез по пути в Петроград, оставив вместо себя что-то некрасивое и совершенно мёртвое. Мы уж и так и этак его вертели, смотрели на него и с боков, и сзади, и на пол ложились, и с полу смотрели, нарочно жмурясь, нет — корень, а не старичок! Муська ещё различала бородку и общие смутные очертания старичка, а я уже ничего не видела, кроме уродливого корня, и это, как я поняла потом, была большая утрата.

Бывшего старичка я сама пихнула в плиту, потихоньку...

А может быть, это случилось со старичком или с нами ещё и потому, что в петроградском доме встретила нас нежданная и большая радость: как раз незадолго до нашего приезда к нам провели электричество, и старая висючая лампа горела теперь ещё ярче, чем до отъезда в Углич! Как хорошо, что мы не верили маме, будто везде эти годы было темно и холодно, как у нас в келье. Правда, свет давали только с вечера, но когда дедушка тихо чикнул выключателем и под старым зеленоватым абажуром вспыхнул приветливый огонёк, мне показалось, что у меня внутри тоже что-то чикнуло и зажглось,— так хорошо стало!

— Дедушка,— спросила я тихонько, робея, точно выдавала большую тайну,— дедушка, это... это с Волховстрой?

— Ну что ты, Олюшка! Волховстрой ещё строится... А когда его построят, разве у нас такие лампочки будут? Это — тёмненькая, шестнадцать свечек... А тогда будут большие, круглые, светлые, и на весь день ток будет, и везде, а не только у нас в Петрограде.

И мне стало ещё счастливее. Наш дедушка говорил почти точь-в-точь, как тот старик под моей полкой, значит тот старик не врал, значит Волховстрой — правда, и он будет... и везде будет светло-светло, а если будет светло, значит не будет холода, темноты, голодного времени, не будет такого вокзала, как на станции «Волга», не будет таких страшных людей, как там, их нигде не будет, ни в Петрограде, ни в Угличе! На мгновение видения минувших суток, ночной разговор в вагоне, путь в Петроград, весь целиком, остро и ярко пронёсся передо мной, и я не умом, а чем-то другим поняла, что всё это теперь навсегда останется во мне, как часть меня самой, как нечто вечно живое.

**На моей памяти.** И так это и стало. Путь из Углича в Петроград остался во мне не просто как воспоминание,— с течением жизни это воспоминание, живое и острое, всё более пополнялось, обогащалось, всё более жило, и всё новое, что вливалось в него или соприкасалось с ним, что я узнавала, становилось моим личным тогдашним прошлым.

Уже много лет спустя я узнала, что в те же годы, когда мы возвращались в Питер, чуть ли не в те же дни, на Родину мою приезжал известнейший английский писатель-фантаст Герберт Уэлс, и прочла его книгу об этом путешествии.

Он ехал по той же железной дороге, как и мы, он видел таких же женщин, мужчин и детей, как мы, он видел нас. Но мы жили, а он смотрел. Смотрел, как на сцену, из окна отдельного купе в хорошем вагоне, где ехал со своим сыном, со своим английским кофейным прибором, пледом и консервами, привезёнными из Англии. Их сопровождал «приставленный в Петрограде» матрос, перевитый пулемётной лентой, который зорко следил, чтобы никто не обидел знаменитого гостя, на останках бегал для него за кипятком, а кипяток набирал в «серебряный чайник с царской монограммой», настолько «прелестный», что Уэлс этот чайник запомнил... Матрос ходил за кипятком на вокзалах, подобных станции «Волга». А английский писатель был ужасно недоволен, что едет не экспрессом, а скорым, и непрерывно, сварливо донимал балтийского матроса с серебряным чайником политическими претензиями... «Уста мои разверзлись,— писал он впоследствии,— и я заговорил с моим проводником, как моряк говорит с моряком, и высказал ему всё, что думал по поводу русских порядков...» Писатель упоминает также, что испытывал острое раздражение из-за ответов матроса, который, выслушав «мою длинную едкую речь, весьма почтительно отвечал одной, стереотипной, очень знаменательной для современного настроения умов в России фразой: — Видите ли,— говорил он вежливо,— блокада! Блокада четырнадцати держав...» И автору «Борьбы миров», описавшему войну людей и марсиан, непонятно было, что вкладывал матрос в эту «стереотипную» вежливую фразу — «видите ли, блокада...» До сих пор думаю, сколько выдержки потребовалось матросу, чтобы не ответить «по-балтийски» брюзжащему писателю... В те дни даже мы, дети, ещё в Угличе пели, что у Колчака «мундир английский...» О, как любит моё детство этого неизвестного, через много лет узнанного матроса, как не прощает ничего знаменитому писателю,— сильнее, чем зрелость!

Герберт Уэлс не слышал, конечно, такого разговора, который слушала я по пути в Петроград, но ведь ему в то же самое время говорил о Волховстрое Ленин! И знаменитый фантаст снисходительно пожалел «кремлёвского мечтателя», впавшего в «электрическую утопию». И книгу свою о моей Родине в те годы он назвал «Россия во мгле»; он видел её только во мгле и будущее её видел, как мглу, а он ещё был не самый худший из зарубежных людей, он в чём-то «сочувствовал» нам. Как гордится детство моё неизвестными спутниками в вагоне — русскими крестьянами, которые видели будущее своей Родины, как свет, как гордится и детство и вся жизнь моя Владимиром Ильичём Лениным, не только мечтавшим, но уже тогда, в те годы, начавшим воплощать народную мечту о свете и силе. К декабрю 1920 года был готов план ГОЭЛРО, и, докладывая о нём перед VIII съездом Советов, Глеб Максимилианович Кржижановский включил карту Российской Советской Федеративной Социалистической Республики «с центрами и кругами», и она засверкала перед взорами делегатов, почти ослепляя их. Быть может, это было в тот самый вечер, когда в келье у нас от неосторожного вздоха сестры погасла копилка и сломалась единственная спичка, и мы, в темноте и страхе прижимаясь друг к другу, не знали, что в эти часы далеко в Москве горит и сверкает карта Будущего — нашего будущего. Оно было уже определено партией, оно было уже зримо ей.

Всё это, уже почти легендарное теперь,—поездка Уэлса, разговор его с Лениным, сверкающая карта на VIII съезде Советов — было узнано мною и сопряжено с детством и органически, горделиво включено в него, как нечто ему принадлежащее, как его достояние, уже в дни комсомольской молодости, в период азартной работы на «Электросиле» в первую пятилетку, на заказах Большого Днепра. И детство моё и жизнь моя обогатили всё больше и больше,— ещё двадцать лет спустя я услы-

шала обо всём этом от самого Глеба Максимилиановича Кржижановского, когда в январе пятьдесят второго года провела у него целый вечер перед первой своей поездкой на Волго-Дон.

**«Рыцарь света».** Невысокого роста, сухонький, подвижный, в чёрной шапочке академика, с темносмуглым лицом, на котором ослепительно сверкали белые треугольные кустики бровей, такие же кустики усиков и такой же кустик бородки, с очень большими, тёмными, полными жизни и ума глазами,—таким предстал передо мной человек, начавший работу с Владимиром Ильичём Ульяновым в «Союзе борьбы за освобождение рабочего класса», отбывавший вместе с ним сибирскую ссылку, написавший неуывдаемую «Варшавянку», один из руководителей работ по созданию плана ГОЭЛРО, — один из тех подвижников электрификации, которых Ленин назвал «рыцарями света».

По просьбе Глеба Максимилиановича я рассказала, как выглядит сейчас Александровская улица за Невской заставой, куда он и Ленин приходили в конце девятнадцатого века на собрания первых рабочих кружков: деревянный домик, где они собирались, не сохранился, и середина мощённой крупным булыжником улицы немного осела, так что огромные тополя, стеной стоящие по обеим её сторонам, сильно и ровно склонились друг к другу и почти сомкнули кроны, как будто зелёным живым шатром прикрывая путь, по которому ходил когда-то молодой Ленин...

— О... как я помню его — тогдашнего! — негромко воскликнул Глеб Максимилианович, и столько трепетной, глубокой любви зазвучало в его голосе и выразилось на живом лице, что она словно озарила всё вокруг.— Я горжусь, что ещё тогда сразу пошёл за ним. И я уж этак, знаете, за ним, за ним, не отставая, этаким, как говорят, петушком — всю жизнь... А сколько он сердца вложил в этот наш план ГОЭЛРО, сколько о нём мы в этой самой комнате переговорили...

— Владимир Ильич бывал здесь? В этой комнате?

— Ну, конечно,—весело подтвердил Кржижановский.— Частенько бывал, и один и с Надеждой Константиновной... И всегда сидел на том же самом месте и на том же самом стуле, на котором вы сейчас сидите.

Я невольно вскочила и по-новому оглядела скромную, умную комнату, и даже лёгкий озноб пробежал по телу...

— Сидите, сидите,—замахал на меня рукой хозяин,—ничего... Тут всё с ним у меня связано... Он был мечтатель — смелый, гениальный мечтатель, иногда... озорниковатый — по-русски! Он, знаете ли, не только как государственный деятель понимал, что такое электрификация, но ещё как-то по-юношески был влюблён в неё, в свой Волховстрой... Да, это его детище. Любимое. — И, строго взглянув на меня, спросил: — Вы были на Волховстрое, надеюсь?

И тут я не могла, хоть бегло, не рассказать Кржижановскому, что была на Волховстрое всего три недели назад, когда первенец электрификации отмечал своё двадцатипятилетие. И так счастливо получилось, что там настигла я живое и прекрасное завершение легендарной были, подслушанной в детстве, в бедственном вагоне двадцатого года: я познакомилась с сыном и внуком человека, который привёл в девятнадцатом году из Красного Питера ту самую «умнейшую на свете машину», грызущую землю вплоть до дикого камня, о которой с таким вдохновением и надеждой рассказывал старик под моей полкой. Это был коренной путиловец, старый питерский рабочий, его звали Алексей Васильевич Васильев, а «умнейшая машина» была экскаватором № 25, поднимавшим полкубометра земли. О, как ей далеко ещё было до сегодняшних шагающих гиган-

тов!.. А она казалась моей стране огромной, как мне — петроградский дом... Когда Волховстрой был создан, Алексей Васильевич вернулся в Питер — уже Ленинград, — на родной «Красный путиловец», а сын его, Василий Алексеевич, пришедший сюда в двадцатом, остался работать на новорождённой станции. Он женился на девушке — «волховской русалке», на крестьянке из деревни Дубовики, ушедшей на дно, затопленной Волховом после постройки плотины. В год пуска Волховстроя у них родился сын, названный в честь деда — первостроителя Волховстроя — Алексеем. В дни Великой Отечественной войны семья Васильевых не покидала станцию, оберегая её, готовясь драться за неё до последнего вздоха с врагами, подошедшими к Волховстрою очень близко и стремившимися взять его. И хотя немцы стояли буквально рядом, обстреливали и бомбили Волховстрой, маленькая кучка волховчан — работников станции — всё же торжественно отметила пятнадцатилетие Волховстроя в декабре сорок первого года, а в январе уже принялись восстанавливать станцию, чтобы дать ток Ленинграду. Старый путиловец Алексей Васильев в это время работал на Кировском заводе — в блокированном Ленинграде. Он умер на заводе от голода в январе сорок второго года за работой на оборону колыбели революции, на своём рабочем месте.

Я рассказала Глебу Максимилиановичу эту историю, достойную поэмы, ещё более бегло, чем здесь, мне не терпелось спрашивать и слушать его. Всё более оживляясь и как бы молодея, он рассказывал и о Ленине и о встрече его с Уэлсом — «Ленин над ним смеялся, говорил: — Ничегошеньки не понимает!». Рассказывал о VIII съезде Советов, где включил карту плана электрификации России. Я всё-таки спросила, неужели правда, что пришлось выключить ток во всей Москве для того, чтобы зажечь эту карту.

— Нет, — ответил он серьёзно, — не во всей: в Кремле, в одной комнате осталась гореть одна лампочка в шестнадцать свечей... Боже, как я волновался в тот вечер! Мне было предложено уложиться в сорок минут... А план — ведь это же томá, томá, видите?.. Но сорок минут! Я говорю Владимиру Ильичу: «Владимир Ильич, провалюсь». Он посмеивается: «Ничего, ничего, не волнуйтесь, выпейте перед самым докладом чашечку крепкого чёрного кофе — я сам так иногда делаю, когда волнуюсь перед докладом». Ну, что же, я последовал его совету, но волнение моё не убавилось... И вот я делаю доклад и чувствую, что так много не говорю, так много... Заканчиваю — чувствую, ничего не сказал! Включаю карту Российской Федерации, уже всю карту, произношу последние фразы и совершенно ясно понимаю: ну, провалился! (Глеб Максимилианович схватился руками за голову, в глазах его вспыхнул настоящий ужас.) Провалился! А сам этак краешком глаза, самым уголком — на Ленина, на Ленина. И вижу... Владимир Ильич кивает мне головой и улыбается, и Надежда Константиновна улыбается... А из зала, из полумрака — какой-то непонятный гул... Смотрю — это делегаты один за другим встают, глядят, этак не отрываясь, на зажжённую карту и рукоплещут ей... понимаете, рукоплещут! И Ленин такой довольный, улыбается и тоже аплодирует.... Ну, думаю, кажется, сошло...

Он засмеялся молодо и счастливо, потряхивая головой в академической шапочке, явно укоряя себя за тогдашние свои сомнения, — всё это трудное и прекрасное прошлое жило в нём вечно живой памятью. Он прошёлся по комнате, помолчал и добавил с сильным душевным волнением:

— Д-да... многое пришлось пережить, пока составлялся план... Он весь вон на той машинке отстукан, видите! (И указал на большой старомодный ремингтон под помятым и довольно обшарпанным колпаком.) Всякое было. С иными старыми спецами приходилось порой вести себя,

как укротителю тигров... Но одной ночи мне не забыть никогда! Я в эту ночь заканчивал предисловие к «Плану электрификации»... Заканчивал его словами, обращёнными к далёким нашим счастливым потомкам. Я писал там, что, быть может, прекрасные, высокообразованные, смелые и умные люди Будущего найдут в нашей работе немало погрешностей, ошибок, недодуманностей... И я просил их извинить всё это нам, потому что мы, создавая этот первый, несовершенный план, работали в тяжёлых условиях, в блокаде четырнадцати держав, отбиваясь от интервентов, задыхаясь от разрухи, холода и голода. И, знаете, представляя себе этого изумительного, счастливого человека Будущего, мысленно беседуя с ним, я плакал... Да, вот стоял посреди этой самой комнаты один я, вот так стиснув руки, плакал от любви к этому будущему человеку, от восторга перед ним, от невероятного желания хотя бы одним глазком взглянуть на него, на то Будущее, которое мы закладываем, — далёкое Будущее...

Он стоял посередине комнаты, невысокий, очень старый человек — старше электрической лампочки, автомобиля, самолёта, помощник бессмертного Ленина, доблестный рыцарь света, — стоял, стиснув руки, с увлажнёнными, блестящими глазами, заново переживая ту свою ночь восторга перед Будущим. И с каким-то суровым волнением глядя на него, мне хотелось сказать:

«А ведь вы плакали тогда перед самим собой — сегодняшним... Перед сегодняшним нашим днём — таким, как он есть сейчас... со всем, что в нём есть...»

Но я ничего не сказала — целомудренное волнение минуты было больше слова.

**Главная книга.** И вот с того года, с той ночи, когда Глеб Максимилианович Кржижановский, замирая, мечтал «одним глазком» взглянуть на Будущее, а потом вскоре включил «его зримую, деловую, сияющую карту»; с того года, как мы уехали из Углича; с того первого смутного ощущения бытия на голодном приволжском вокзале; с той ночи в сыпнотифозном вагоне, где подслушала я фантастический рассказ о Волховстрое; с приезда нашего в Петроград, где уменьшился родной дом и исчез старичок (волшебное зрение детства) и тревожное, знобящее, как рассвет, отрочество вступило в свои права вместе с первой электрической лампочкой, блеснувшей в старом нашем доме, — с тех пор по сегодняшний день прошло тридцать два года. И если я о чём-нибудь больше всего хочу писать, то это именно об этих тридцати двух годах жизни, своей, а значит и всеобщей, потому что не могу отделить их друг от друга, как нельзя отделить дыхание от воздуха.

Я уверена, что если не у каждого, то у большинства писателей есть Главная книга, которая всегда впереди. Самая любимая его, самая заветная, зовущая к себе неодолимо. Быть может, иногда, в одиночестве, писатель трепещет от восторга её видением, пока никому не доступным, кроме него самого... Писатель может не знать заранее, в какой форме она воплотится — в поэме ли, в стихах ли, в романе, в воспоминаниях ли, но твёрдо знает, чем она будет по главной сути своей: знает, что стержнем её будет он сам, его жизнь и в первую очередь жизнь его души, путь его совести, становление его сознания, — и всё это неотделимое от жизни народа. Иначе говоря, главная книга писателя — во всяком случае моя главная книга — рисуется мне книгой, которая насыщена предельной правдой нашего общего бытия, прошедшего через моё сердце. Главная книга должна, мне кажется, начинаться с самого детства, с истоков, с первых, чистейших и фундаментальнейших впечатлений, которые, в частности для моего поколения, так счастливо совпадают с пер-

выми годами — тоже детством! — нашего нового общества. Главная книга должна достичь той вершины зрелости, на которой писатель работает с полной и отрадной внутренней свободой и бесстрашием, безоговорочно доверяя себе, на виду у всех и наедине с собой; когда единственной его заботой остаётся забота о том, чтобы вся жизнь, и его и всеобщая, смогла выразиться наиболее полно и едино, смогла предстать не в случайных эпизодах, а в целом, то есть — в сущности своей; не в частной правде отдельного события, а в ведущей правде истории. Как на фундаменте, главная книга покоится на едином всеобъемлющем и ясном чувстве, то есть на фундаменте нашей великой идеи, которая стала всеми пятью чувствами человека и объединяющим их особым художественным чувством писателя. В главной книге совершается открытый и правдивый показ становления, мужания и созревания этой идеи-чувства, иначе — коммунистического мировоззрения и мироощущения человека, раскрывается борьба за него — с обстоятельствами, с самим собой, с пережитками прошлого в себе и вокруг себя, с врагами, недругами, а иногда и с друзьями.

Противоречит ли мечта о создании такой книги основной задаче писателя — отражению объективной действительности в художественной форме и воспитанию коммунистического мировоззрения читателя? Нет, не противоречит, потому что самое главное, что должна отображать литература, — это внутренний, духовный мир нашего человека, его движение, его красоту и богатство, мир и определяемый деяниями человека-общественника и определяющий эти деяния. Ничего выше и благородней этой задачи для литератора не существует. Незачем говорить о том, каких общечеловеческих побед (а не просто успехов!) добилась великая советская литература на этом поприще; эти победы широко известны, и мы в дальнейшем движении вперёд смело можем опираться на них. Если же, в частности, меня спросят, смогу ли я указать такого рода книги, то я в первую очередь укажу в поэзии на такие произведения, как «Про это» и «Во весь голос» Маяковского, а в прозе — на «Как закалялась сталь» Николая Островского.

Страстная, насквозь пропагандистская финальная глава поэмы «Про это», «Прошение на имя», с её пламенной и незыблемой верой в Будущее, в «тридцатый век», который «обгонит стаи сердце раздиравших мелочей», в прекрасных людей этого Будущего, мольба, обращённая к ним, — «воскреси», жажда быть с ними, состоя хотя бы «у зверя в сторажах» («Хоть одним глазком взглянуть на них», — мечтал Кржижановский), — вся эта глава поддержана всем предыдущим ходом поэмы, где поэт с предельной беспощадностью к себе обнажает своё сердце, свой внутренний мир со всеми его смятениями, горестями, борьбой «с тем, что в нас ушедшим рабим вбито», — тот внутренний мир, в котором не просто отображались, но через который то с болью, то с радостью проходили сложнейшие общественные процессы того времени. Как нечто глубоко интимное, как ревность к любимой, переживает поэт попытки интеллигентского наступления на «наш краснофлагный строй» в годы нэпа. Поэма написана, как говорил о ней сам Маяковский, «по личным мотивам об общем быте». Пропагандистская — проповедническая убедительность её финальной, особенно жизнеутверждающей главы опирается на глубочайшую убеждённость самого поэта в своих идеалах, убеждённость, выношенную, проверенную в испытаниях, выраженную им с беспощадной правдивостью.

В ещё большей мере всё это относится к поэме «Во весь голос», поэме не просто пропагандистской, но агитирующей за боевое, социалистическое, партийное искусство, — вот именно проповедующей его. Но Маяковский проповедует это искусство не как нечто прекрасное, но внешнее, вне его



существующее, а как дело всей своей личной жизни, агитирует силой личного примера. Сердце его настезь, до самых глубин открыто перед читателем, он настолько убеждён в правоте своего дела, в истинности проповедуемого им искусства, что ему ничуть не страшно сказать: «И мне агитпроп в зубах навяз». И следующее за этим открытое, суровое признание:

Но я  
       себя  
               смирял,  
                           становясь  
 на горло  
                           собственной песне...

или столь же открытое обращение к далёким и счастливым потомкам:

Для вас,  
       которые  
                           здоровы и ловки,  
 гоэт  
       вылизывал  
                           чахоткины плевки  
 шершавым языком плаката, —

не противоречат гордым заключительным строкам поэмы:

я подыму,  
       как большевистский партбилет,  
 все сто томов  
               моих  
                           партийных книжек, —

а придадут этим строкам незыблемую правомочность, вызывают в читателе безусловное, неограниченное доверие.

Огромное, не проходящее со временем воспитательное значение книги Н. Островского «Как закалялась сталь», до сих пор формирующей души новых поколений (уже иных, чем поколение Островского!), книги, насквозь партийной, зиждется именно на том, что, создавая образ Павла Корчагина, пропагандируя этот образ, Н. Островский влил в него всю свою жизнь, всю свою душу. А эта душа была большой душой коммуниста, лучшего «сына века». Не важно, что повествование ведётся здесь не от самого автора и даже не от первого лица, — я уже говорила выше, что формы воплощения главной книги могут быть самые разные... Я не знаю, какой процент доммысла и вымысла вложен в прекрасную трилогию Фёдора Гладкова («Детство», «Вольница», «Лихая година»), но я убеждена, что вот этому писателю удалось написать свою главную книгу, что в ней он пишет действительно о себе и своей жизни — «по личным мотивам об общем быте», — такой большой, человеческой, радующей правдой, таким лично пережитым бытием веет от страниц этой трилогии, с такой высокой художественной свободой она написана. Да главная книга и не чуждается ни собирательных героев, ни доммысла, ни вымысла, не отказывается ни от одного из чудес искусства и прежде всего — ни на минуту не отказывается от великих задач коммунистической пропаганды. Это прежде всего действительная передача личного душевного и жизненного опыта, приобретённого в общенародной борьбе за создание нового, справедливого общества, а потому она нужна согражданам; это — настойчивое внушение читателю той большой правды жизни, которую лично постиг писатель. Мы, пропагандисты, «партией мобилизованные и призванные», мы гордимся этим, и мечта о главной книге есть мечта о наибольшей отдаче сил на

партийное, народное дело. Не требование максимума, а требование минимума — вот что обескрыливает художника, чувствующего в себе истинные силы и мечтающего о подвиге во имя искусства. Но народ требует от нас максимума, и все наши писательские раздумья, споры, дискуссии подчинены именно этому требованию.

Попытки отделить исповедь от проповеди, противопоставить их друг другу, наконец, предпочесть исповедь проповеди вызывают активный внутренний протест не только в силу своей явной чуждости и вредности для дела советской литературы, но ещё, я бы сказала, своей какой-то воинствующей малограмотностью. Эти попытки производятся людьми, которые явно не любят, не ценят и даже не знают опыта великой русской классики и советской литературы, никогда не отделявших исповеди от проповеди, но, наоборот, всегда стремившихся использовать форму исповеди, как сильнейшее орудие пропаганды, то есть проповеди. Я говорила уже о величественном личном примере Маяковского. А разве не является великолепная автобиографическая трилогия основоположника советской литературы Горького — «Детство», «В людях» и «Мои университеты» — одновременно великолепной, уничтожающей пропагандой ненависти к миру мещан и торгашей, искажающему человеческий облик, пламенной проповедью человечности, устремлённой в будущее?!

Горький остался здесь таким же публицистом, трибуном, пропагандистом, как и в «Песне о Соколе», в «Матери» и всех других своих произведениях: для настоящего писателя, кровно связанного с жизнью и борьбой народа, не может существовать никакой опасности в писании о себе и своей жизни. Нет, и здесь он не погрузится в созерцание собственного пупа, не займётся ничтожными откровенностями, но, рассказывая о своём сердце, даже о тайных его движениях, обязательно расскажет о сердце народа, если, повторяю, он истинный художник и живёт единой с народом жизнью.

«Былое и думы» — вот книга, с которой я, как, наверное, множество литераторов, могу беседовать почти ежедневно, каждый раз с новым волнением и с новым изумлением. Какое бесстрашное и естественное сочетание интимнейшего повествования о «кружении сердца» с картинами европейских социальных поворотов; какой умной и требовательной любовью пронизано создание обликов тогдашних передовых людей, борцов с царской тиранией, и рядом — какие уничтожающие, памфлетные характеристики и «портреты» царских сатрапов, и испепеляющая ненависть к Николаю I, и боль за русский народ, и вера в его безграничные силы! Обо всём в этой книге написано с той идейной прямоотой, с тем личным страстным отношением, с той «субъективностью», которая и является одной из существеннейших сторон партийности художника. И всё пропитано кровью сердца, и всё — сокрушительной силы пропаганда! Тут уж исповедь проповеди не противопоставишь, и вот это и есть та традиция, которую — я утверждаю — на новой идейной основе, новыми средствами продолжила и углубила советская литература и будет продолжать и углублять!

Повторяю и подчёркиваю, я вовсе не хочу сказать, что главная книга может быть только дневником, мемуарами, только прямой автобиографией, — и совсем не каждый писатель может и должен выступить с такой книгой, в такой форме. Но если говорить об облике главной книги, появления которой я вместе со множеством писателей и читателей особенно горячо жду, о создании которой, как о деле всей жизни, мечтаю сама, то в представлении моём она ближе всего подходит именно к «Былому и думам», гениальному роману о человеческом духе, роману, не имеющему себе подобий в мировой литературе. Но советская литера-

тура должна создать его. Мне кажется иногда, что уже всё подготовлено для его появления. Мне кажется иногда, что уже рядом с собой я чувствую локоть, прикосновение «нашего Герцена», необходимого нам не менее, чем Гоголи и Щедрины. Я готова отдать ему всё, что ему требуется, пусть и жизнь и имя моё растворятся в его имени, я буду счастлива, если ему пригодится хоть одна написанная мной строка, хоть одна дневниковая запись, хоть одна мысль или чувство!.. Писатель пишет свою главную книгу непрерывно, иногда с самого детства. Чаще всего это дневник, разумеется, не пишущийся с расчётом на торжественную публикацию при жизни. У некоторых дневник — потребность. Не потребность «самолюбования» или «самоковыряния», как полагают литературные мешанины, скрытники и скупцы, а сначала инстинктивное, но со зрелостью всё более осознаваемое ощущение значительности всеобщей жизни, проходящей сквозь его жизнь, а может быть, вернее сказать, ощущение значительности своей жизни, неотделимой от жизни всеобщей.

Конечно, дневники ведут не одни писатели. При этом потребность вести дневник и у литераторов и у нелитераторов возникает в некоторые периоды с особой остротой. Так, огромное количество ленинградцев самых разных возрастов, профессий и положений вело дневники в дни блокады. Я прочла множество блокадных дневников, писанных при тёмных копилках, в перчатках, руками, еле державшими перо от слабости (чаще — карандаш: чернила замерзали), записи некоторых дневников обрывались в минуту смерти автора. То опаляюще, то леденяще дышит победоносная ленинградская трагедия со многих и многих страниц этих дневников, где с полной откровенностью человек пишет о своих повседневных заботах, усилиях, скорбях, радостях. И, как правило, «своё», «глубоко личное» есть в то же время всеобщее, а общее, народное становится глубоко личным, воистину человеческим. История вдруг говорит живым, простым человеческим голосом.

Я сказала, что писатель пишет свою главную книгу непрерывно, идёт к ней всё время, мечтает о ней неустанно. Очень часто кажется: «Вот то, что я пишу, и есть наконец самое главное, вот тут-то я и выражу всё самое своё тайное и драгоценное, необходимое согражданам. Вот она — главная книга, я пишу её...» Но книга написана, и видишь, что это опять не она, или только подступ к ней, или отступление от неё. Поэтому главная книга как бы всегда в черновике, вечный черновик. Потому что она находится в непрерывном движении, совпадающем с движением жизни, с ростом и движением сознания писателя. О чём бы она ни была, она по мере движения жизни и сознания вбирает в себя всё больше и больше, всё время требует дополнений, даже задним числом, даже дополнений из прошлого, встающего по-новому. Сама жизнь и обретаемая в ней истина всё время держат свою суровую корректуру над главной книгой. Она ветвится, рождает отдельные самостоятельные произведения, которые не более чем её деталь, она обрастает сносками, массой заметок на полях — к тому, что написано, к тому, что напечатано, а иногда только задумано или набросано. И может быть, именно эти сноски, заметки на полях, дневниковые раздумья и есть то, что станет основой, «вдохнёт душу живую» в будущую книгу и сделает её главной. Быть может, она так и останется черновиком, быть может, её так и нужно печатать?

...И у меня, как и у других писателей, есть главная книга, которая вся ещё впереди, отрывки из которой рассеяны и в том, что напечатано стихами и прозой, и в том, что держится пока ещё в черновике, в столе, в сердце или только в памяти. Но всё больше хочется всё это собрать, попытаться объединить, вплотить. Наверное, это опять будет не она, но уже наступило то время своей и общей жизни, когда, начиная любую работу, даже газетную, не можешь не думать о ней, не можешь не

надеяться, что это — путь к ней, приближение, пусть хотя бы на шаг, но уже реальное приближение.

Я уже говорила, что главная книга должна начаться с самого детства, с первых страниц жизни... И вот потому в прошлом году я поехала в город детства, в город счастливейшего сна. По следам главной книги, которая всё ещё впереди, только в черновике... Как никогда, возникла потребность начать с начала, с истоков сознания, с далёкого, но неувыдающего прошлого — моего и моей страны. Но то, что вы уже прочитали и прочтёте на этих страницах, ещё не главная книга, это ещё не из неё, но только для неё, только шаги к ней, только черновики черновика — вечного черновика. Но так как многие идут сейчас к ней, к главной своей книге, может быть, это чем-нибудь поможет общим поискам? Я только пока хочу описать здесь поездку в город детства — не больше...

«Это моё!» И вот синим июльским днём прошлого года отчалил маленький теплоход «Георгий Седов» от Химок и направился по каналу имени Москвы, по Волге, к Угличу.

Я с терпеливой покорностью ждала конца многочисленного шлюзования, уже испытанного однажды на этом канале, и, как и в первый раз, когда теплоход опускался в тёмную пещеру шлюза, мне казалось, что мы никогда отсюда не выберемся. Мы вошли в Большую Волгу, когда поднималась огромная темнозолотая луна в прозрачном и тихом небе и ещё не совсем погас розоватый свет на западе. Несказанный покой царил вокруг, и милая, добрая, не давящая, а ласкающая своим простором русская природа взалёб, настезь, щедро раскрывалась перед глазами и сердцем... «Приюти ты в даях необъятных! Как и жить и плакать без тебя?» Я твердила эти строки Блока, как собственную мольбу. О, правда, правда, даже плакать без тебя нельзя, даже горевать. Ничего без тебя нельзя. А если ты есть, то всё будет, всё вернётся, даже то, что кажется сейчас невозвратимым. Строки стихов — чужих и своих — вскипали и уходили, и они были о разном, о многом...

О Родине и о любви, —  
они во мне неразделимы...

о «золотой свадьбе» —

Ни до серебряной и ни до золотой,  
всем ясно, я не доживу с тобой.  
Зато у нас железная была —  
по кромке смерти на войне прошла.  
Всем золотым её не уступлю:  
всё так же, как железную, люблю...

о калязинской колокольне —

о том, как вся она, белея,  
из тихих-тиких вод встаёт,  
и облака идут над нею  
и у подножия её.  
Стоит, отражена в зеркальной,  
в бездонно чистой высоте,  
как бы дивясь своей печальной  
старинной русской красоте;  
как будто говоря: «Глядите ж,  
я с вами — всей своей красотой»...  
О город Китеж, город Китеж,  
бесстрашно вставший над водой!

Наш теплоходик осторожно, тихо, как будто бы с глубоким уважением гибал колокольню полузатоленного города, а она в ясном и добром лунном свете, вся до маковки отражённая в воде, была так прекрасна, что, как в детстве, хотелось протянуть к ней руку и воскликнуть: «Это моё!»

Была у нас в детстве, в Угличе, такая игра... да нет, пожалуй, не игра, а что-то серьёзное: вот, если увидишь что-нибудь, поразившее воображение, — красивого человека, необыкновенный домик, какой-то удивительный уголок в лесу — и если первый протянешь к этому руку и крикнешь: «Чур, это моё!», то это и будет твоим, и ты можешь делать с этим что хочешь. Например, если это здание — дом, ты можешь населить его кем хочешь, рассказывать о них и о том, как они там живут, какие там комнаты или как ты сам там будешь жить. Если это человек, ты можешь вообразить о нём всё, что тебе хочется, дать ему любую жизнь, словом, всё можешь ты в воображении своём сделать с тем, что стало твоим. Но самое главное, что это — картина, город, человек — твоё, и никто из ребят не может уже покуситься на это, потому что все знают, что это — твоё, и ты сам знаешь. И не было никаких сомнений, что это действительно принадлежит тебе. Эту удивительную, абсолютную уверенность в праве на обладание избранной тобой вещью, это чувство полного, счастливого, нерушимого обладания я помню по сей день. «Моей» была картина Куинджи «Лунная ночь на Днепре»; «моей» была старшеклассница Таня Козлова — девушка с круглым русским лицом и тихими большими сероголубыми глазами, не красавица, даже немножко курносыя, но такая милая, что глаз нельзя было отвести; она и не знала, что она — «моя». «Моим» стал Севастополь, матрос Кошка и адмирал Нахимов, когда мы прочитали книжки Лукашевич и Станюковича об обороне Севастополя; Муська мне ужасно завидовала, и хотя я великодушно уступала ей французов и даже Наполеона, она говорила: «Куда мне их»... Потом ещё «моим» был один ручеек в лесу, выбегавший из-под зелёно-мшистого, точно плюшевого камня, прозрачный, почти светящийся и ужасно ворчливый. Он ворчал и бормотал почти по-человечески, во всяком случае одно слово, которое он баском упрямо твердил — «буду-буду-буду-буду...», было слышно совершенно ясно... Кем он собрался быть — он не говорил... Наверное, каким-нибудь чудным водопадом, но где-то так далеко, куда мы не могли пойти. Да, много чего у меня было в детстве, столько богатств, столько «моего», что и не вспомнить... Да, ещё валдайская дуга в тереме Дмитрия-царевича в Угличе, но о ней я расскажу особо...

**Две встречи.** И город детства возник на раннем рассвете, в туманце, за марлей мельчайшего тёплого дождя, в том самом странном мерцании, в каком снился много лет подряд. И не волнение, а насторожённая тишина встала во мне, когда я увидела его ещё издали, ещё до входа под грандиозную арку шлюза с аккуратно-пышным цветником, рядом с прямоугольным, огромным, почти нагим по архитектуре зданием знаменитой гидростанции.

Мой городок больше не высился на стремительно-крутом зелёном откосе: поднятая плотиной вода подошла почти вплотную к его бульвару, к терему Дмитрия-царевича, к древним церквушкам на берегу; он показался мне очень маленьким, щемяще-маленьким, как бы сошедшим к воде, как бы тяжело осевшим в землю. Я уже давно понимала, что так и должно показаться, но потом узнала, что Углич и на самом деле уходит в землю, а частью ушёл в воду. Это точная терминология, бытующая на гидростройках, — уходит в землю, уходит в воду, уходит на дно. Ушёл в воду старый-старый Паисьевский монастырь, отражавший набеги ляхов в Смутное время, ушла в воду Спасская слобода, поредел

древний бор на той стороне. А многие здания Углича, особенно старинные, уходят в землю: с возникновением водохранилища высоко поднялись в городе грунтовые воды, и грунт размягчился, стал иным, чем несколько столетий назад, когда воздвигались эти церкви, эти колокольни и монастыри, всё ещё сказочной красоты, кротко и непримиримо вздымающиеся над водой свои потемневшие главки.

...Было около пяти часов утра, когда сонная дежурная городской гостиницы — одноэтажного деревянного дома с резными наличниками — отвела мне номер; в маленькой продолговатой комнате была постель, где подушка дыбилась уголком, стол под старенькой скатёркой, кушетка, над ней старинное зеркало в ореховой раме и на подоконнике большого окна — высокие, пышные, яркорозовые герани. А из окна, за кучами деревьев и кровлями, строго, печально и стройно возносясь в чуть голубевшее небо, виднелись три шатра Дивной — церкви Алексеевского монастыря, три с половиной столетия назад названной так народом за свою поистине дивную архитектуру. Было очень тихо, только еле слышно шептал в листьях маленький светящийся дождик, и запах мокрой травы вливался в открытое окошко, и порой бесшумно падал на подоконник розовый лепесток герани...

«Вот и хорошо, — подумала я, — точно всегда тут жила. Теперь ничего не буду ждать. и куда-никуда не буду торопиться, даже к нашей келье и школе... Успею».

Я добросовестно попыталась уснуть, но, неподвижно полежав в постели около часу, вскочила: нет, надо пойти к «нему». Надо, надо. Пойти и пойти, хотя почему-то вдруг страшно. И я пошла к «своему собору». Он был виден отовсюду, теперь не синими, а почти чёрными куполами в еле видных ржавых звёздах, и всё-таки я долго, как во сне, шла к нему, кружа забытыми улицами. Дождик прошёл, город понемножку пробуждался, неясный жемчужный рассвет перешёл в утро. Отодвинув рукой пышные герани, из окошек осевших в землю домиков глядели на меня бессонные старухи, и широкие улицы, как в детстве и во сне, были покрыты пушистой зелёной травкой, и по улицам неспешно расхаживали многочисленные гуси с умиительно-безобразными подростками-гусенятами. Огнепёрый великан-петух (несомненный потомок того самого петуха, что оставил отпечаток своей гигантской лапы на Петушином камне, некогда лежавшем в конце Петуховой улицы), огнепёрый и огнехвостый петух взлетел на глухую деревянную калитку с железным кольцом и упоённо закричал оттуда. А я всё шла, и собор был всё ближе... И чем ближе я к нему подходила, тем яснее видела, что нет на этом месте ничего похожего на детство и счастливый сон. Нет, не было корпуса с нашей кельей. Просто не было на земле. Не было тёмного пруда и лип, которые должны были греметь круглыми своими листьями, не было сада, где жил старичок, не было стены, идущей к собору и школе. Ничего похожего не было. Я дошла до самого собора: в обшарпанном, словно покрытом лишаями, основательно осевшем в землю соборе был склад «Заготзерна» и нефтебазы, о чём свидетельствовали безобразные вывески над кое-как сколоченными дощатыми дверьми, прикрывавшими входы. И только красное кирпичное здание нашей школы, первой моей школы, напротив собора, было таким же, как тогда (хотя, разумеется, уменьшившимся), и было попрежнему школой. Но сейчас были каникулы, и школа стояла пустая и тихая.

Я села на скамейку в маленьком цветнике, разбитом перед школой, напротив склада «Заготзерна», и подумала, что встреча с детством и счастьем не состоялась. Оно прошло, и то, что было за ним, прошло, ушло в землю, ушло в воду.

И твердил мне край, родной и милый,  
Синь его, и камни, и зола:  
— Ты пришла туда, куда стремилась.  
Будь теперь спокойна. Ты пришла.

Наверное, я сидела здесь очень долго, потому что разгорелось солнце, и в каких-то лёгких лиловатых и голубых цветах на школьных клумбах засверкали под солнцем капли дождя, а лепестки их стали просвечивать. Молодая женщина, поправляя кошёлку с овощами, опустилась рядом со мной на скамейку.

— Скажите, пожалуйста, как мне попасть отсюда на Благовещенскую улицу? — спросила я её.

Мне хотелось разыскать ещё дом наших друзей по тем годам.

— На Благовещенскую? Что-то я такой не знаю...

— Она пересекает Крестовоздвиженскую, вот эту, которая идёт отсюда.

— Ну-у? Разве это была Крестовоздвиженская? Вот интересно, какие все названия были божественные... Она — Октябрьская. А та, что вам надо, наверно, улица Свободы. Я не знаю как следует, я на улице Зины Золотовой живу.

— А Зина Золотова — это кто?

Она посмотрела на меня, склонив голову, как птица, тёмными серьёзными глазами.

— Разве не знаете? Приезжая, видно, ну да. Это наша замечательная угличанка. Первая здешняя трактористка, комсомолка. Её кулаки зверски убили, молодую совсем. Вот в её честь и назвали улицу. Мы там и живём с мамой, со старушкой.

— Вы здесь родились, да?

Она покачала головой и коротко вздохнула.

— Нет, не здешние... Мы — ленинградские. Только мы тут уже давно — одиннадцать лет. Наш папа тут работал, на строительстве гидростанции, монтажником. Только вернулся со строительства, а тут война, блокада... Ну... он умер в блокаду, с голоду, не выдержал. А умирал — велел нам с мамой сюда ехать. Выбирайтесь, говорит, в Углич, там на Волге красота, там сытно. Мы в феврале через Ладогу ехали, по Дороге жизни. Много тогда через Дорогу жизни ехало, а некоторые просто шли... Везут за собой саночки, в саночках — ребятишки, ребятишки замёрзнут, а мать всё везёт, пока сама не упадёт или подберут. А мы на грузовике... мне десять лет, сестрёнке того меньше, мама еле жива, вся чёрная, как смерть... Как только доехали до Большой земли, не знаю... Ну, всё-таки в нашем грузовике несколько человек по дороге замёрзло. А мы сюда всё же добрались, как отец велел. Тут много блокадников, ленинградцев. И встречали нас тут сердечно, кормили хорошо, а нам первое время всё не наесться, всё не наесться, даже стыдно. Я девочкой была, и то мне было совестно... Но — ела!

Она рассказывала так, как говорят о блокаде почти все ленинградцы, пережившие её, — ровным, глуховатым голосом, словно прислушиваясь к себе и не веря себе...

— Вот так с тех пор и живём мы здесь. Я эту школу как раз кончила, а сестрёнка ещё учится, в девятом. Ну, многие из блокадников обратно уехали, в Ленинград, а мы здесь остались. Понимаете, побоялась мамаша возвращаться в Ленинград, — не могу, говорит, не могу, мы ведь там такое пережили, вы не представляете...

— Нет, — ответила я, — представляю.

— Ой, — воскликнула она, словно обрадовавшись, — вы там были, в блокаду? До конца?

— Да. До конца.

— Ой... А сейчас вы... не оттуда?

— Оттуда. Всего две недели назад.

— Оттуда! — воскликнула она, и вдруг слёзы брызнули у неё из глаз. Она засмушалась, постаралась засмеяться. — Ну, расскажите ж, какой он?

— Ну, какой же он может быть? Чудесный, самый красивый! В этом году на Невском трамвай сняли... И на Большом на Васильевском тоже. И на проспекте Кирова... А за Московской — Парк Победы совсем густой стал. Да, ведь вас уже не было, когда сажали этот парк... Но он прекрасный! Следов блокады не осталось совсем...

Я рассказывала добросовестно, а всё как будто не о том, не о главном, но она жадно спрашивала и спрашивала, перебивая иногда восклицаниями: «Ну да?», «Вот здорово!» — её блокадное детство было для неё тем же, чем для меня угличское! — и вдруг, заторопясь, вытащила из сумочки фото.

— А я здесь после школы замуж вышла, и вот сын, Вовочка, уже третий год, хотите взглянуть?

С фото глянула на меня толстая мордочка мальчугана с губами, вытянутыми в трубочку, и донельзя вытарщенными, очень удивлёнными тёмными глазами: наверное, фотограф показал ему какую-то особо удивительную «птичку».

— Вот он уже настоящий угличанин, — сказала молодая мать, любясь удивлённым сыном. — Но я его обязательно в Ленинград свезу, — горячо добавила она, — обязательно свезу, как только понимать начнёт. И покажу ему всё, и прочитаю, и о дедушке расскажу... Нельзя, чтоб дети про такое забывали... то есть он, конечно, не может помнить, я хочу сказать, надо, чтоб знали дети, что до них пережили, правда ведь? Если не возражаете, дайте ваш адрес, мы вас навестим обязательно...

Я подумала, что к тому времени, когда удивлённый мальчуган «начнёт понимать», пройдёт по меньшей мере семь лет, но адрес свой дала и сказала, чтобы обязательно заходили, когда приедут, обязательно.

...Я вновь обошла участок, где когда-то было детство, где маленький древний русский город Углич приютил нас, детей, в годы гражданской войны, в годы борьбы за власть Советов... и снова принял ленинградских матерей и детей в годы войны Великой Отечественной... а наше поколение уже воевало, обороняло Ленинград, и холод, голод и тьма блокады были стократно страшнее, чем в детстве, в Угличе... и я была на войне, в Ленинграде, вместе с папой, как равная... и пришёл сверкающий День Победы, и в честь него мы заложили парки, теперь уже почти дремучие... А между этими двумя войнами была трактористка Зина Золотова, убитая кулаками, и сотни подобных ей — я помню их по работе в Казахстане, по первым большевистским вёснам, — и строилась Угличская гидростанция, и часть древнего Углича безвозвратно ушла в воду, а гидростанция по мощи своей во много раз превзошла мечту детства, первую любовь молодой Республики — Волховстрой, но и она, эта гидростанция, — лишь одна из первых ступеней великой «волжской лестницы»...

О, какое большое время уложилось в жизнь каждого из нас, какое большое! Его хватило бы на несколько поколений, а приняло его — одно... Сколько событий, и почти каждое — твоя жизнь, сколько горя и радости, неразрывных с горестями и радостями всего народа. И вот не светлое чувство счастья, которое мечтала я встретить здесь, но нечто большее — почти грозное, открытое чувство своей живой с о п р и ч а с т н о с т и, кровной жизненной связи со всем, что меня окружает, с тем, что уходит в землю и в воду, и с тем, что воздвигнуто и воздвигается над землёй и водой сейчас; с теми, кто в разные годы погиб за Родину, за коммунизм; с теми, кто строил Угличскую гидростанцию; с теми, кто



рождается, растёт и трудится здесь, в Угличе, в Ленинграде, во всей стране,— это всеобъемлющее сильное чувство, знакомое многим и многим советским людям, охватило сознание и сердце. И если жизнь моя так неразрывно сплетается с жизнью страны, значит в ней остаётся всё, вплоть до утрат, и всё вместе с родной землёй устремляется в будущее, к новым утратам, к новым возникновениям. «Это моё». Нет, это н а ш е. И всё наше — это моё! Это моё.

...А монастырский корпус, где жили мы далёкой зимой двадцатого года, и липы, и прудок я всё-таки нашла и, забегая вперёд, расскажу об этом.

**Рисунок пером.** Я нашла это всё потому, что сначала отыскивала одного старого своего учителя, учителя рисования. Он не помнил меня, конечно, но я вспомнила и даже узнала его, когда пришла в его кирпичный домик на самом берегу Волги.

Иван Николаевич Потехин, художник, старожил-угличанин, мой старый учитель рисования, одну за другой показывал мне акварели, этюды маслом, рисунки карандашом и пером, изображающие старый сказочный Углич, и вдруг так запросто и положил глазами этот тонкий рисунок пером, а на нём — детство, зима, счастье, на нём то, что снилось долгие годы, заветное место, к которому так и не мог дойти во сне и не дошёл наяву... А оно, оказывается, живо. И вот глядит на меня всей своей неуходящей прелестью. Оно живо, оно сохранено старым художником — этот корпус с нашим окошком, выходящим к липам и зимнему дворику. Как догадался он, что этот скромный рисунок так нужен будет чьему-то сердцу? Радость встречи этой, подаренной искусством, была, вероятно, глубже той, которую ждала я от жизни... Нет, не за прошлое держался старый художник, запечатлевая и этот угол монастырского двора и стоящий теперь на дне Угличского водохранилища Покровский монастырь XV века, фиксируя облик Углича до возведения рядом с ним плотины, гидростанции, шлюза. О потомках, о будущем думал он, о наследниках, которые придут сюда принять всё своё наследство и пожелают увидеть, а что же тут было много-много лет назад, и, увидев, по достоинству оценят бурное наше время, менявшее облик русской земли... Он думал, как большинство встреченных мною людей, не только о завтрашнем дне, но и о большом времени, простирающемся далеко в будущее. Не мешает это, а помогает ему творчески, озарённо работать для дня сегодняшнего. Вот он ходит по деревьям, зарисовывая старинную, ещё сохранившуюся кое-где резьбу наличников, подзоров, коньков, — ведь резчики по дереву, как и гончары, здесь почти исчезли. Исчезают и образцы. Но они должны быть сохранены — чудесные в простоте, первоисточности и естественном изяществе образцы! Должны вновь появиться искусные молодые мастера, искусство резьбы не должно исчезнуть, ведь оно служит людской радости, украшению мирного жилья, его не заменить никаким машинным производством — здесь нужна мудрая и свободная человеческая рука... Вот он, невысокий и крепкий смуглый старичок, неутомимый краевед, бродя по лесу, обнаруживает под корнями вековой вывороченной ветром сосны кирпичи... Старые, массивные кирпичи... Он наклоняется, разбирает кирпичи, обнаруживает лаз, бесстрашно ползёт туда на спине, чиркает спичкой и видит, что кирпичный свод над ним сияет десятками ослепительных красок. с преобладанием голубых, жёлтых, зелёных — точно ушедшая в землю пышная радуга спряталась и окаменела здесь. Ему ясно — это печь для обжига немеркнущих знаменитых угличских изразцов, которыми изукрашены древние церкви возле его кирпичного домика, из которых сложены лежанки и печи в старинных бревенчатых домах Углича, здесь они обжигались — на своде следы

полив, секрет которой ещё не разгадан, которая так нужна была бы нам и для облицовки московских зданий и в керамическом современном производстве. Значит, оно действительно было в Угличе и его тоже можно возродить, тем более, что возле города огромные залежи прекрасных, жирных, пластических глин и редкие по качеству каолиновые глины. И вот Иван Николаевич из этих великолепных глин лепит опытные фигурки, вазочки, утварь, с большим трудом, кустарным способом обжигает их, и всё же обжиг даёт прекрасные результаты. Здесь сама природа, сами исторические традиции подсказывают: возродить керамическое производство, и старый художник предлагает создать студию, объединить и воспитывать кадры художников-резчиков, керамиков — тружеников, которые уже сейчас могли бы украшать быт горожан и колхозников. Его никто не обязывает к этим зарисовкам, изысканиям, опытам (так же, как никто и не помогает ни в чём!), — его обязывает к этому личное, государственное сознание долга перед сегодняшним днём, перед будущим, перед наследниками.

...Но я была у Ивана Николаевича через несколько дней после встречи с «моим собором», а в то утро, простившись около него со своей землячкой, вернулась к себе в гостиницу.

**«Серебряная ночь».** Я вернулась в свою комнатку с померкшим старинным зеркалом и пышными геранями и, ещё раз с наслаждением почувствовав, что я — у себя, дома, больше «у себя» в настоящее время, чем где бы то ни было, раскрыла тетрадь, чтобы записать о встрече с «моим собором», с молодой ленинградкой, и вдруг мне неудержимо захотелось писать не об этом, но об одной ночи в конце сентября сорок первого года.

...Уже сгорели Бадаевские склады — продовольственные запасы Ленинграда, и когда они горели, маслянистая плотная туча встала до середины неба и закрыла вечернее солнце, и на город лёг тревожный, чуть красноватый сумрак, как во время полного солнечного затмения, — первый вестник голодного мора, уже вступившего в наш осаждённый город, но мы ещё не знали об этом. Я была в те дни политорганизатором (комиссаром) нашего дома, а Н. Н. Фомин — начальником группы самозащиты. Мы были взволнованы странной листовкой, которую разбросал во время последней бомбёжки немец, уже после пожара Бадаевских; она состояла из одной только фразы: «Ждите серебряной ночи», и, конечно, внизу подлая виньетка и буквы «шт. в з.» — что означало «штук в землю». Мы боялись, что листовка всё же попала к населению, потому что некоторые женщины у нас на дворе стали говорить, что «он обещал газы»... Но газов, конечно, не было, а через несколько дней, около 12 ночи, Фомин постучал ко мне и сказал, что пришёл приказ группе самозащиты быть «на товсь». Мы расставили усиленные посты и встали у подъезда. Не было ни обстрела, ни тревоги, ясный-ясный лунный сентябрьский вечер властвовал в городе, уже прекратилось движение, и в этой тишине вдруг слабо, но отчётливо мы услышали рокот полевых орудий.

— Немцы взяли Стрельну, — сквозь зубы сказал мне начгруппы самозащиты, — прорываются к «Красному путиловцу»... — И вдруг проstonал, всхрипнув: — Поз-зор... о позор, позор... куда пропустили...

— Серебряная ночь, Николай Никифорович? — также сквозь зубы, сдерживая внезапную противную дрожь, спросила я. — Быть может, вас кем-нибудь заменить?

— Ерунда, — крикнул он, — я не мальчишка! Займите пост у подъезда, я пойду на крышу. О бже...

(Через три месяца он умер от истощения, по дороге на работу, на Литейном мосту.)

Я встала у подъезда, приготовила «на товсь» санитарную сумку и противогаз; дворничиха тётя Маша, сухонькая тихая старушка, подошла ко мне, доложила, что бутылки с горячим наготове, и встала рядом, по-деревенски пригорюнившись. Убийственная тишина царила в лунном неподвижном городе, звуки смертного боя, идущего на окраине, доносились сюда, в центр, как слабый смутный гул...

Я глядела на наш дом; это был самый нелепый дом в Ленинграде. Его официальное название было «дом-коммуна инженеров и писателей». Мы, группа молодых (очень молодых!) инженеров и писателей, на паях выстроили его в самом начале тридцатых годов в порядке категорической борьбы со «старым бытом» (кухня и пелёнки!), поэтому ни в одной квартире не было не только кухонь, но ничего подходящего для них. Не было даже передних с вешалками (вешалка тоже была общая, внизу), и там же, в первом этаже, была общая детская комната и общая комната отдыха: ещё на предварительных собраниях отдыхать мы решили только коллективно, без всякого индивидуализма. Мы вселялись в наш дом с энтузиазмом, восторженно сдавали в общую кухню продовольственные карточки и «отжившую» кухонную индивидуальную посуду — хватит, от стряпни раскрепостились, — создали сразу огромное количество комиссий и «троек», и даже архинепривлекательный внешний вид дома «под Корбюзье» с массой высоких крохотных железных клеток-балкончиков не смущал нас: крайняя убогость его архитектуры казалась нам какой-то особой «строгостью», соответствующей новому быту... И вот, через некоторое время, не более чем года через два, когда отменили карточки, когда мы повзрослели, мы обнаружили, что изрядно поторопились и обобществили свой быт настолько, что не оставили себе никаких плацдармов даже для тактического отступления... кроме подоконников; на них-то первые «отступники» и начали стряпать то, что им нравилось, — общая столовая была уже не в силах удовлетворить разнообразные вкусы обитателей дома. С пелёнками же, которых в доме становилось почему-то всё больше, был просто ужас: сушить их было нелегко! Мы имели дивный солярий, но чердак был для сушки пелёнок совершенно не пригоден. Звукопроницаемость же в доме была такая идеальная, что, если внизу, в третьем этаже, у писателя Миши Чумандрина играли в блошки или читали стихи, у меня на пятом уже было всё слышно, вплоть до плохих рифм! Это слишком тесное вынужденное общение друг с другом при невероятно маленьких комнатах-конурках здорово раздражало и утомляло. «Фаланстера на Рубинштейна семь не состоялась», — пошутил кто-то из нас, и — что скрывать — мы часто сердились и на него и на свою поспешность.

И вот мы ходили с дворничихой тётей Машей от подъезда до калиточки и, напряжённо вслушиваясь в неестественную тишину ночи, глядели на наш дом, тихий-тихий, без единого огня, в серебряном лунном свете видный со всеми своими клетками-балкончиками на плоских серых стенах...

— Хороший дом, — вдруг нежно, как о ребёнке, сказала тётя Маша и, вздохнув, тем же тоном прибавила: — Ничего... отобьёмся.

«Хороший дом, правда», — подумала я, и вдруг неистовая, горячая волна любви к этому дому, именно такому, как он есть, взмыла во мне и начисто смела остатки страха и напряжения.

Хороший дом, нет, — отличный дом, нет, — самое главное — любимый дом! В нём всегда зимой было светло и тепло, а какие хорошие коллективные вечера отдыха у нас были: приходил и пел свои песенки Борис Чирков, живой Максим из «Юности Максима», показывал нам новые

работы свои; приходили живой Чапаев, Борис Бабочкин... обе картины только что вышли тогда. «Тётя Катя» — чудеснейшая Корчагина-Александровская нередко бывала у нас и вдруг за столиком, импровизируя, «выдавала» такое, чего никогда не увидишь в театре; был один раз даже какой-то прогрессивный красавец-индус, про которого говорили, что он «бывший магараджа», и Миша Чумандрин здорово агитировал его за революцию главным образом жестами и лозунгами, произносимыми на им самим изобретённом эсперанто: «Империализмус нужно — фини! Понятно, камрад?»... Вообще, Миша Чумандрин, когда выпивал, то обязательно таинственным, сдавленным голосом, в ш у т к у, конечно, произносил для узкого круга лиц тосты: «Хай живе наш ридный червонный Китай. Хай живе наша ридна червонна Булгария... Хай живе наша ридна червонна Хермания»... Мы очень смеялись этим тостам — в тридцать втором году!.. Но каким прекрасным был вечер, когда антифашистский певец Эрнст Буш пел нам в комнате коллективного отдыха песни Красного Веддинга и взмахивал головой, давая знак, чтобы мы подхватывали припев, и мы с искренней верой и горящими глазами подпевали ему в темпе марша: «Левой! Левой! Ты придёшь, товарищ, к нам... Ты придёшь в наш единый рабочий фронт, потому что рабочий ты сам!»

Нет, мы не отдадим нашего дома. Мы любим его. Не за удобства, да их и немного, мы любим его просто так, потому что он наш, часть нашей жизни, нашей мечты, наших дерзаний, пусть не всегда продуманных, но всегда искренних, а неудобства... что ж, их ведь можно поправить! Мы сами их наворотили, сами и поправим, всё поправим, всё в наших руках... А если этот, данный дом не поправить, то мы просто будем строить другие, лучше! Будем, будем!

А ночь была серебряно-лунной, невероятно тихой в центре. и на заре нам дали распоряжение оставить только обычные посты,— враг был задержан на ближних подступах к Ленинграду.

Мне вспомнилась почему-то именно эта ночь после встречи с собором и разговора с моей землячкой и захотелось записать об этой ночи и об истории нашего дома вообще, но я ничего не записала тогда, только посидела и страшно, до слёз пережила ту ночь заново, глядя на герани.

Я написала «почему-то», но это тогдашнее ощущение. Теперь я знаю, почему вспомнилась мне именно эта ночь, как знаю и то, почему все три недели жила в Угличе необычной жизнью,— прошлым, настоящим и будущим сразу, жила в с е й ж и з н ь ю.

**Лето прошлого года.** Это было, конечно, потому, что я была в городе детства в знаменательные для всей страны дни: только что было сообщено о разоблачении проклятого врага народа — Берия, потом вместе с угличанами я радовалась заключению перемирия в Корее, слушала и обсуждала тезисы к пятидесятилетию Коммунистической партии Советского Союза, праздновала это великое пятидесятилетие вместе с угличским комсомолом, наконец, вместе с Угличем переживала Пятую сессию Верховного Совета СССР, принятые ею решения и речь, произнесённую на сессии Председателем Совета Министров Г. М. Маленковым. Огромное значение этой сессии и этой речи для всей народной жизни было отлично понято всеми. Понято было больше даже, чем услышано в слух: ясно было, что речь идёт не просто об увеличении выпуска и улучшения качества предметов широкого потребления, но о внимании партии к рядовому человеку, строителю коммунизма, к его самым насущным материальным и духовным нуждам, к его ежедневной, простой, обычной жизни — словом, к е г о л и ч н о с т и. Как и всем остальным, мне было не только понятно, но всем сознанием ощутимо, что та великая работа, которая была начата советской властью ещё в годы моего детства, когда

трудящихся угличан Горкоммуна переселяла в барские особнячки и монастырские покои и, несмотря на блокаду четырнадцати держав, и тьму, и холод, стремилась, чтобы вся страна стала грамотной, и пожилые женщины в классах нашей школы с волнением, удивляясь себе, начинали читать: «Мы — не рабы, ра-бы не мы», а в это время на Волховстрой питерский рабочий Алексей Васильев привёл первый полукубовый экскаватор, чтобы начать закладку первого источника света и силы, — эта великая работа развёртывалась ныне по-новому, брала новый исторический подъём.

Я встречалась в Угличе, Ярославле и Щербакове с десятками различных людей, главным образом интеллигенцией, — газетными работниками, архитекторами, учителями, библиотекарями, молодыми художниками, инженерами и рабочими Угличской ГЭС, на которой встретила я и ветеранов-волховстроевцев и ровесников-днепростроевцев, — и о чём бы мы ни говорили, огромные события прошлого года, перечисленные мною, вплетались в наш разговор. Или стояли за ним так, как стоит, бывает, над омытой грозой равнины высокая, ясная радуга.

...И каждый раз, возвращаясь в свою комнату с геранями, я записывала не только пережитое и увиденное за сегодняшний день (многое было потом из этого опубликовано в очерке, в «Литгазете»), но обязательно заносила на поля сегодняшнего то, что заново начинало жить во мне. А начинало жить разное и неожиданное. Например, вдруг заново переживала я то, как к двадцатипятилетию Октября в блокированный Ленинград в ноябре сорок второго года после долгой, изнурительной тьмы дали первый ток — свет на первые три тысячи жилых объектов, то есть домов, и этот свет был с Волховстроя — первенца электрификации, детища Ленинграда, он первым прорвался к нам из-за кольца. И в тот вечер, когда дали свет, в вымерших квартирах вспыхнули окна, незатемнённые, а немец бомбил, и надо было срочно гасить свет в этих жилищах... И маленький Волховстрой — единственный — питал своим светом и силой кольцо революции всю блокаду... Но об этом надо подробно, очень подробно! Это ведь тоже всё для главной книги, как и всё, что было в Угличе. То вспоминала, как монтировали первый наш электросиловый генератор на Днепрогэсе, — его называли «ворошиловским», потому что почти все, кто его монтировал, сражались в дни гражданской войны под командой Ворошилова, — но это было ещё в дни ранней юности. И вот шла через меня вся юность, со всеми её белыми ночами, с её ясной, простой любовью, с её фанатической верой в то, что далёкое, прекрасное Будущее ты можешь заставить прийти завтра же, запросто, вот в этот дом, — шла вся молодость и обрывалась большим испытанием...

То записывала я, после встреч с архитекторами и художниками, какими должны быть силуэты будущих волжских городов, и как мы откроем и освоим все древние секреты русских безымянных гениальных зодчих и художников, и узнаем их славные имена, и какая превосходная, многообразная живопись у нас будет, и мы всё это вручим наследникам, потомкам (среди них будет и удивлённый Вовочка моей землячки, который уже будет «всё понимать»), и, сидя в одиночестве, не могла сдерживать широкой неуходящей улыбки, представляя их восторг и благоговение перед нашей эпохой, перед этим годом, перед партией, перед нами...

Так, вместе со всей страной пережив громадные события прошлого года, сердце вместе с нею готовилось к какому-то новому восхождению.

На этом пока я обрываю записки о поездке прошлого года.



---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

Л. ДЕЛЮСИН

★

## НАРОДНЫЙ КИТАЙ — ВЕЛИКАЯ ДЕРЖАВА

**Э**то было пять лет назад, 1 октября 1949 года. Над древней пекинской площадью Тяньаньмынь, заполненной ликующими толпами народа, прогремел орудийный салют. Залпы салюта возвестили миру о рождении новой великой державы — Китайской Народной Республики.

В пятизвёздном алом знамени, победно развевающемся над просторами древнего Китая, народы азиатских стран увидели зарю своей свободы и счастья. Всё свободолюбивое человечество горячо приветствовало новый, свободный Китай.

Для империалистов всего мира и их верных слуг — изменников-гоминдановцев — этот первооктябрьский торжественный салют прозвучал, как отходная старому строю. Господству империалистических и феодальных сил в Китае пришёл конец.

Пример китайского народа, сбросившего с себя оковы векового гнёта и рабства, пробудил новые надежды в сердцах миллионов людей, населяющих колониальные и полуколониальные страны.

Перед великой нацией, составляющей четвертую часть всего человечества, открылась широкая, светлая дорога к социализму. «Наша нация, — говорил на первой сессии Народного политического консультативного совета товарищ Мао Цзэ-дун, — отныне вступает в великую семью миролюбивых и свободолюбивых народов мира. Она будет самоотверженно и усердно трудиться, чтобы создать свою собственную цивилизацию и счастье, борясь одновременно за мир и свободу во всём мире. Наша нация никогда больше не будет униженной. Мы уже воспрянули».

Китай — одно из крупнейших государств мира. Необъятны просторы страны. От тёмных вод Амура — реки Чёрного дракона, над берегами которой высятся сосны и пихты, — до светлых вод реки Жемчужной, чьи берега украшены веерообразными пальмами и стройным бамбуком, от снежных гор Тяньшаня до зелёных равнин долины Янцзы раскинулась территория Китая, составляющая почти десять миллионов квадратных километров.

Разнообразна природа Китая — сухие пустыни Гоби, где пески быстро заматают след прошедшего каравана, и плодородная земля китайского юга, дающая человеку два-три урожая в год. Несметные запасы угля, нефти, железной руды, цветных металлов таят в себе недра китайской земли. Природных запасов с избытком хватит на то, чтобы обеспечить экономическое процветание страны. Обильные урожаи риса и пшеницы, гаоляна и кукурузы можно снимать здесь. Щедрое плодородие отдельных провинций давно вошло в поговорку. «Если в Хубэе и Хунани богатый урожай — то сыт весь Китай», — говорят китайские крестьяне. «Земным раем» называют они цветущую провинцию Сычуань.

Свыше шестисот миллионов человек проживает на территории Китая. Китайский народ славится своим трудолюбием, упорством, стойкостью, умением преодолевать все

преграды на пути к цели. О громадных творческих силах и высоких духовных стремлениях китайского народа свидетельствуют сохранившиеся в Китае до наших дней замечательные архитектурные памятники. Их много — десятки, сотни: пещерные храмы Дунхуан, Майцзишань с превосходно выполненной настенной живописью, с реалистической скульптурой, монастыри в Луньмине и Юнгане с огромным множеством великолепных статуй и барельефов. Всему миру известны монументальные сооружения, над постройкой которых трудились поколения китайских строителей: Великая китайская стена и Великий канал. Уже в древнем Китае были открыты свойства магнита, изобретён способ изготовления бумаги, разработан метод печатания с досок. Раньше, чем европейцы, китайцы стали применять порох.

Китай обладает древнейшей культурой. Но в течение веков творческие силы великого китайского народа сковывались феодальным режимом, столетия господствовавшим в стране и ставшим особенно невыносимым в прошлом столетии, когда усилилось проникновение в страну иноземных империалистических сил. Китайские трудящиеся оказались под двойным гнѐтом.

Однако никогда китайский народ не склонял свою голову перед поработителями. Крестьянские движения, мятежи и восстания потрясали страну, расшатывали устой феодально-империалистического режима. В борьбе за своё освобождение китайский народ умножил славные революционные традиции.

Борьба китайского народа за своё освобождение с новой силой разгорелась в XX веке. Орудийные залпы Октябрьской социалистической революции в России донесли до Китая великое учение Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина. Знамя борьбы за свободу высоко подняла вставшая во главе народа Коммунистическая партия Китая.

Революционная борьба была тяжѐлой и упорной. Враги китайской нации внутри и вне страны пытались уверить мир в её бесплодности. Малoverы сомневались в возможности успеха китайской революции. Отвечая этим скептикам и малoverам, товарищ Мао Цзэ-дун в своём выступлении на VII съезде КПК привѐл старинную китайскую притчу из древнекитайского философа Ле-цзы. В этой притче рассказывается, что жил в древности на севере Китая старик девяноста лет отроду по имени Юй-гун. Дорогу от его дома на юг преграждали две высокие горы — Тайханшань и Ваньбушань. Досадуя, что горы преграждают путь и приходится делать большой крюк, чтобы их обойти, Юй-гун вместе с сыновьями решил срыть эти горы мотыгами. Другой старик, по имени Чжи-соу, увидев их за работой, смеясь над ними, стал их отговаривать: «Ведь ты стар и слаб, а занимаешься глупостями, не в твоих силах срыть две такие большие горы». На это Юй-гун ответил: «Туго же ты соображаешь, я умру — останутся мои дети, дети умрут — останутся внуки, и так поколения будут сменять друг друга бесконечной чередой. Горы же эти хотя и высоки, но выше стать не могут; сколько сроем, настолько они и уменьшатся; почему же нам не под силу их срыть?» И Юй-гун со своими сыновьями, не колеблясь, продолжал изо дня в день рыть горы. Это растрогало бога, и он послал на землю двух святых, которые и унесли эти горы.

«Сейчас тоже, — говорил товарищ Мао Цзэ-дун, — две большие горы давят своей тяжестью на китайский народ — одна из них называется империализмом, другая — феодализмом. Коммунистическая партия Китая уже давно решила срыть эти горы. Мы должны настойчиво проводить в жизнь своё решение, мы должны неустанно трудиться, и мы тоже растрогаем бога; а бог этот — не кто иной, как китайский народ. А если весь народ поднимется, чтобы вместе с нами срыть эти горы, то неужели мы их не сроем?»<sup>1</sup>

Эти слова были сказаны в июне 1945 года. А спустя четыре с лишним года весь китайский народ праздновал победу — он сравнял с землѐй две горы, преграждавшие ему путь к светлому будущему.

В стане империалистов эта победа вызывала бешеную злобу. В пыль и прах разлетелись расчѐты американских монополий на превращение Китая в свою колонию, в огромный плацдарм для нападения на Советский Союз. Победу китайского

<sup>1</sup> Мао Цзэ-дун. Сочинения, т. 4, стр. 580—581.

народа американские реакционеры пытались объяснить «директивами из Москвы», но великий учитель народов В. И. Ленин уже давно подчёркивал, что «десятки миллионов людей не идут на революцию по заказу, а идут тогда, когда настает безысходная нужда, когда народ попал в положение невозможное, когда общий напор, решимость десятков миллионов людей ломает все старые перегородки и, действительно, в состоянии творить новую жизнь»<sup>1</sup>.

Впрочем, даже некоторые американские политики вынуждены были признать, что победа китайской революции — дело рук самого китайского народа. Бывший государственный секретарь США Ачесон, называя эту победу «зловещим результатом гражданской войны», писал: «Это продукт внутренних китайских сил, на которые наша страна пыталась влиять, но безрезультатно».

Образование Китайской Народной Республики явилось закономерным итогом долголетней героической борьбы, жестоких кровопролитных сражений китайского народа против внутренних и внешних врагов. Под руководством Коммунистической партии трудящиеся массы Китая создали своё народно-демократическое государство и твёрдо стали на путь ликвидации феодальных пережитков в стране, искоренения влияния империалистических сил, на путь строительства новой жизни.

Победа народной революции выдвинула Китай в ряды великих держав мира. Из страны, служившей ристалищем, на котором пробовали свои силы европейские и американские любители поживиться за счёт китайского народа, Китай превратился в могучее государство. Из страны, которая по воле своих продажных правителей была разменной монетой в игре империалистов за обладание мировым господством, Китай стал независимой страной, проводящей самостоятельную политику. Из вечного очага войны Китай превратился в могучий, несокрушимый бастион мира и безопасности народов на Дальнем Востоке и во всём мире.

От старых, реакционных режимов Народный Китай получил тяжёлое наследие: отжившие земельные отношения в деревне, тормозившие развитие производительных сил страны, отсталую, разрушенную многолетними войнами промышленность. Перед победившим народом встали серьёзные и сложные задачи, требовавшие своего незамедлительного решения. И эти задачи были успешно решены китайским народом в короткий исторический срок.

Прежде всего был решён земельный вопрос, в течение многих веков волновавший китайских крестьян. В результате проведённых в стране аграрных преобразований помещичья земля была безвозмездно передана в собственность безземельных и малоземельных крестьян. В руки трёхсот миллионов тружеников деревни перешло 47 миллионов гектаров земли. Была ликвидирована система феодально-помещичьего землевладения — сравнена с землёй одна из гор, давивших китайский народ. Тем самым был устранён главный тормоз, мешавший росту производительных сил деревни. Поднялась активность крестьян, развернувших движение за получение высоких урожаев. Благодаря патриотическим усилиям крестьянства сельское хозяйство страны в 1953 году дало зерна в полтора раза больше, чем в 1949 году. Из года в год растёт благосостояние сельских тружеников, работающих на своей земле.

Народная революция отменила неравноправные договоры и упразднила все привилегии империалистов. Империалистическому господству в стране пришёл конец. И вторая гора, мешавшая китайскому народу идти прямой дорогой к социализму, была скрыта с лица земли.

Замечательных успехов достиг китайский рабочий класс в восстановлении экономики страны. Многолетние войны принесли громадные разрушения и без того отсталой промышленности Китая. В развалинах лежали заводы и фабрики. И опять нашлись скептики, которые утверждали, что не в возможностях трудящихся Китая быстро возродить промышленность. Некоторые японские инженеры заявляли, что для введения в строй, например, только Аньшаньского металлургического комбината требуется не менее десяти — пятнадцати лет. Жизнь опровергла эти «расчёты». Восстановление промышленности завершено всего за три года. А Аньшаньский комбинат

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 24, стр. 465.



не только поднят из руин, но к его старым цехам прибавились новые цехи — бесшовных труб и рельсобалочный — и две домны, сооружённые по последнему слову техники.

Огромных успехов в осуществлении аграрных преобразований и восстановлении экономики китайский народ добился в обстановке острой классовой борьбы, ломая сопротивление остатков гоминдановской контрреволюции и оказывая отпор американским агрессорам, развязавшим захватническую войну на Корейском полуострове, граничащем с Северо-Востоком Китая.

Три великих патриотических движения — аграрные преобразования, движение за подавление остатков контрреволюции, движение сопротивления американской агрессии и за оказание помощи Корею — были массовыми движениями китайского народа, в результате которых невиданно возрос и укрепился авторитет Коммунистической партии Китая и Народного правительства.

Глубокие социально-политические преобразования, укрепление народно-демократического строя создали необходимые условия для перехода к ведению народного хозяйства на плановых началах. Китайский народ в своём неуклонном поступательном движении вперёд вступил в период победоносного строительства социалистического общества. Маяком, освещающим китайскому народу путь к социализму, является генеральная линия Коммунистической партии, сформулированная товарищем Мао Цзэ-дунем: «От создания Китайской Народной Республики до завершения в основном социалистических преобразований — это переходный период. Генеральная линия и центральные задачи партии в этот переходный период состоят в том, чтобы в течение довольно продолжительного времени постепенно осуществить социалистическую индустриализацию страны, постепенно осуществить социалистические преобразования сельского хозяйства, кустарной промышленности и частной торговли и промышленности».

К решению величественной задачи построения социализма китайский народ приступает единым и сплочённым, как никогда в своей истории. Политика Центрального народного правительства Китая, исходящая из интересов трудящихся, пользуется безусловной и безграничной поддержкой широчайших народных масс. Никогда ещё не было в истории Китая правительства, которое было бы связано такими тесными узами с народом, как Центральное народное правительство. Это глубокое доверие народа нашло своё яркое выражение на закончившихся летом 1954 года выборах в низовые собрания народных представителей. Выборы, в которых приняло активное участие свыше 278 миллионов избирателей, явились убедительным свидетельством роста политической сознательности народных масс Китая. Выборы показали, что трудящиеся полностью одобряют и целиком поддерживают генеральную линию Коммунистической партии, направленную на строительство основ социализма в Китае.

В сентябре состоялась первая сессия Всекитайского собрания народных представителей, открывшая новую страницу в жизни великого китайского государства.

Выступивший с речью председатель Центрального народного правительства Китайской Народной Республики Мао Цзэ-дун, подчеркнув огромное историческое значение сессии, сказал: «Это — вежа, знаменующая новые победы и новые успехи, достигнутые нашим народом с момента основания нашей республики в 1949 году. Конституция, которая должна быть выработана и принята на настоящей сессии, значительно продвинет вперёд дело социализма в нашей стране».

«Наша главная задача, — продолжал Мао Цзэ-дун, — заключается в том, чтобы объединить народ всей страны, добиться поддержки всех наших друзей во всех странах, бороться за построение великого социалистического государства и активно защищать мир между народами и способствовать делу прогресса человечества».

Чтобы успешно претворить в жизнь задачу построения социалистического общества, китайский народ нуждается в мире. Вот почему к сохранению прочного и длительного мира обращены все помыслы и стремления китайского народа и его правительства.

Сразу же после своего рождения Китайская Народная Республика провозгласила в качестве незыблемого принципа своей политики мир, дружбу и сотрудничество между народами. Этот принцип торжественно подтверждается в проекте Конституции КНР:

«Борьба за благородные цели мира во всём мире и прогресса человечества является неизменным курсом нашей страны в международных делах».

Мирная политика Китайской Народной Республики естественно вытекает из самой сущности народно-демократического строя. Одним из важнейших внешнеполитических актов Народного правительства было заключение Договора о дружбе, союзе и взаимопомощи с Советским Союзом. Китайско-советская дружба является важным фактором предотвращения новой войны на Дальнем Востоке и во всём мире.

Советско-китайский договор отвечает не только интересам советского и китайского народов, но и коренным интересам всего прогрессивного человечества. Он способен сдержать и обуздать империалистических агрессоров в их захватнических притязаниях. События последних лет достаточно убедительно подтвердили справедливость мысли товарища Мао Цзэ-дуна, выраженной им в приветственной телеграмме на имя Председателя Совета Министров СССР товарища Г. М. Маленкова по случаю четвёртой годовщины подписания советско-китайского договора: «События истекших четырёх лет всё яснее свидетельствуют о том, что великий союз между Китайской Народной Республикой и Советским Союзом является надёжным оплотом обеспечения мира и безопасности на Дальнем Востоке и во всём мире».

Советско-китайская дружба являет миру убедительный пример новых отношений между народами — отношений бескорыстной дружбы и братского взаимопонимания. Именно такие отношения характерны для стран лагеря мира и демократии, неотъемлемой частью которого является Китайская Народная Республика. Как и все страны, входящие в этот лагерь, Народный Китай неуклонно и последовательно отстаивает дело мира, выступая за установление дружбы и сотрудничества со всеми странами, независимо от их политического и социального строя.

«Правительство Китайской Народной Республики и китайский народ, — заявил на Женевском совещании министров иностранных дел премьер Государственного Административного Совета и министр иностранных дел КНР Чжоу Энь-лай, — последовательно выступают за мир, против войны. Мы никогда не совершали и не совершим агрессии в отношении других стран, но отнюдь не потерпим агрессивных действий против нас со стороны кого бы то ни было. Мы уважаем право народов всех стран выбирать и отстаивать свой собственный образ жизни и государственный строй без вмешательства извне».

Китайская Народная Республика уже установила или устанавливает дипломатические отношения с 25 государствами. Деловые круги более чем 50 капиталистических стран завязали торговые связи с Народным Китаем. Только Соединённые Штаты Америки и страны, которые пляшут под дудку Вашингтона, проводят страусовую политику, упорно не желая признать факт появления в Азии нового государства. Американские империалисты никак не могут примириться с тем, что им не удалось реализовать свои авантюристические планы закабаления Китая. Успехи китайского народа вызывают бешеную злобу в среде американских реакционеров, проводящих неразумную враждебную политику в отношении нового Китая. Агрессивные круги Соединённых Штатов систематически пытаются осуществить вооружённую интервенцию, угрожая Китаю войной с трёх фронтов — с острова Тайвань, из Кореи и Индо-Китая.

Американским империалистам удалось разжечь пламя войны в Корее. Огненный язык военного пожара приближался уже к границам Китая, когда на защиту своей родины и братского народа поднялись десятки тысяч верных сынов и дочерей Китая. Есть у китайского народа старая поговорка: «Отрежут губы — зубам будет холодно». Смысл её таков: если враг ворвался в дом соседа, то опасность нависла и над твоей крышей; поэтому не медли и иди на выручку соседу — этим ты спасаешь и его и свой дом. Героический подвиг китайских народных добровольцев, которые в борьбе с чужеземным захватчиком отстаивали демократические завоевания корейского народа и обеспечили безопасность своих границ, навсегда войдёт в историю человечества как свидетельство высокого интернационального духа китайского народа. Китайские добровольцы железной стеной встали на пути американских агрессоров. Они нанесли сокрушительный удар захватчикам, не дали разгореться пожару войны.

Благодаря инициативе, проявленной Китайской Народной Республикой и Корейской Народно-Демократической Республикой и активно поддержанной Советским Союзом, в Корее заключено перемирие. Тем самым созданы возможности для дальнейшей разрядки международной напряженности.

Всемерно добиваясь мирного разрешения возникшего по вине американских реакционеров конфликта в Корее, Китайская Народная Республика ещё раз доказала, что она имеет все возможности для того, чтобы играть роль великой державы на международной арене. Авторитет Китайской Народной Республики невиданно возрос. Усилились симпатии к Китаю как в странах Азии, так и во всех других частях света. Мирнолюбивые народы мира с всё большей настойчивостью, решительно требуют ликвидации такого ненормального положения, при котором крупнейшая страна Азии и всего мира из-за произвола агрессивных кругов США отстраняется от участия в рассмотрении и решении важнейших международных проблем. За признание законных прав Народного Китая и привлечение его к участию в решении спорных международных вопросов выступили государственные и политические деятели многих стран.

Выдающийся государственный деятель Азии, премьер-министр Индии Неру, критикуя противников признания Народного Китая, сказал, что они «ещё не поняли больших изменений, которые происходят в мире и которые вызваны тем фактом, что Азия изменяется и появляются новые независимые государства... Неужели кто-нибудь сомневается, что существует китайское государство? Оно имеет прочное центральное правительство. Ведь вопрос не в том, — продолжал Неру, обращаясь к правительствам империалистических государств, — нравится ли оно вам или нет. Факт, что это великое государство существует и распространяет свою власть на громадную страну».

Мнение широких кругов английской общественности нашло своё отражение в выступлении члена парламента лейбориста Хью Дальтона, который заявил: «Суровый факт заключается в том, что Китай является во всех отношениях великой державой и будет ещё более могущественным и что нынешнее народное правительство твёрдо стоит у власти. У разлагающейся и вырождающейся клики Чан Кай-ши на Тайване нет ни надежд, ни будущего. Какая же тогда преследуется цель отказа от признания нового Китая или отказа от встречи с его представителями на совещании?»

Общественность азиатских стран, заинтересованная в ослаблении международной напряженности на Дальнем Востоке, указывает, что без Китая невозможно и абсурдно решать вопросы, непосредственно касающиеся интересов народов, населяющих великий континент мира.

Даже в Соединённых Штатах, несмотря на разгул маккартизма, нашлись трезвые голоса, заявляющие, что нельзя решать вопросов Азии без участия Китая. «Неужели кто-либо считает, — писала накануне Женевского совещания газета «Уолл-стрит джорнел», — что любое совещание по Индо-Китаю или по Корее могло бы привести к заслуживающим внимание соглашениям, если бы была исключена сильнейшая держава в Азии».

Требования мировой общественности были столь сильны, что правящим кругам США не оставалось ничего иного, как принять предложение СССР и согласиться сесть за один стол с Китаем для совместного обсуждения спорных вопросов. Провалились попытки американской дипломатии игнорировать Китай как великую державу, отстранить его от участия в урегулировании серьёзнейших международных проблем.

Участие Китайской Народной Республики в Женевском совещании на равных началах с другими великими державами придало этому совещанию особо важное значение в глазах мировой общественности.

Безуспешными оказались неуклюжие попытки американских дипломатов применить в Женеве по отношению к Китаю излюбленную политику угроз и давления. Эти попытки американских стратегов «с позиции силы» не были поддержаны даже представителями западноевропейских держав. По мнению Англии, отмечал корреспондент газеты «Нью-Йорк Таймс» Уэллес, сейчас, когда Женевское совещание началось неплохо, не время делать политические и военные жесты, угрожающие коммунистическому Китаю неопределённым «возмездием». Успешное начало совещания, писал Уэллес, «укрепило

точку зрения англичан, что с коммунистами можно разговаривать и успешно торговаться, но что угрозами от них ничего не добьёшься».

На Женевском совещании представители Китайской Народной Республики вместе с советской делегацией вели настойчивую борьбу за мирное демократическое решение корейского и индокитайского вопросов. Народный Китай показал, что он является последовательным защитником прав и интересов народов Азии. Голос представителей Китая звучал в Женеве, как голос новой Азии, сбросившей с себя цепи колониального рабства. Индийская газета «Ассам трибюн» писала: «Давно прошло время, когда можно было игнорировать азиатские страны и когда империалистические державы Запада произвольно решали их дела. Теперь вся Азия стала сознательной. Ни одна азиатская страна не хочет теперь подчиняться диктату западных держав или покоряться им».

Исключительно важное значение для дела мира имело выдвинутое в Женеве китайской делегацией предложение о том, что страны Азии должны проконсультироваться между собой с целью предпринять, путём соответствующих взаимных обязательств, совместные усилия для сохранения мира и безопасности в Азии. Эта идея была поддержана советской делегацией. Министр иностранных дел Советского Союза В. М. Молотов в своём выступлении 29 апреля заявил: «Глава делегации Китайской Народной Республики Чжоу Энь-лай высказал здесь мысль о желательности объединения усилий азиатских стран в деле обеспечения мира в Азии. Советская делегация полностью разделяет это мнение. Как европейские народы в Европе, так равным образом и народы Азии должны предпринять такие шаги, которые отвечали бы интересам укрепления мира в Европе, в Азии и во всём мире».

Последовавшие вскоре после этого визиты премьер-министра Государственного Административного Совета и министра иностранных дел КНР Чжоу Энь-лая в Индию и Бирму показали, что слова руководителей Народного Китая не расходятся с делом, что правительство КНР искренне стремится установить взаимопонимание со своими соседями и сотрудничать с ними в деле разрешения актуальных проблем современной Азии.

Выражая единодушное мнение индийской общественности, индийская газета «Нейшнл геральд» охарактеризовала переговоры между Чжоу Энь-лаем и Джавахарлалом Неру как «историческое событие» и подчеркнула, что «эти переговоры знаменуют рассвет новой эры в истории Азии... Трёхдневные переговоры в Дели выявили поразительное сходство взглядов двух крупнейших стран Азии на вопрос о мире в Индо-Китае и во всей Азии».

В итоге переговоров Чжоу Энь-лая и Неру было опубликовано совместное коммюнике, содержащее принципы, которые, по мнению правительств Китая и Индии, должны определять отношения между двумя странами. Принципы эти следующие: взаимное уважение территориальной целостности и суверенитета; взаимное ненападение; невмешательство во внутренние дела друг друга; равенство и взаимные выгоды; мирное сосуществование.

Эти пять принципов были вскоре подтверждены и в совместном заявлении Чжоу Энь-лая и премьер-министра Бирманского Союза У Ну, опубликованном 30 июня в Рангуне.

«Если эти принципы, — указывалось в совместном заявлении Чжоу Энь-лая и У Ну, — будут соблюдаться всеми странами, мирное сосуществование стран с различными социальными системами будет обеспечено, а угроза и опасность агрессии и вмешательства во внутренние дела уступят место чувству безопасности и взаимного доверия».

Торжественное провозглашение этих принципов явилось выражением общего для всех азиатских народов стремления превратить Азию из постоянного очага войны в надёжный оплот мира.

Дружба между китайским и индийским народами — это крупный вклад в дело обеспечения мира. Население Китая и Индии достигает почти миллиарда человек. А когда два народа, составляющие немногим меньше половины всего человечества, объединяют свои усилия для совместного выступления против войны, то это означает, что на защиту мира поднимается огромная, могучая сила, которая сыграет решающую

роль в развитии международных событий. За Китаем и Индией стоят силы пробуждённых народов Азии, которые с одобрением встретили результаты переговоров в Дели и Рангуне. «Наконец-то, — заявил член парламента Цейлона Сунтералингам, — азиатские лидеры взяли на себя задачу навести порядок в азиатских делах в пользу Азии».

Совместные заявления Чжоу Энь-лая и Неру, Чжоу Энь-лая и У Ну приобретают тем более важное значение, что они сделаны в обстановке, когда агрессивные круги США усилили свою деятельность по сколачиванию военных блоков в Азии, направленных против Китайской Народной Республики, против растущего национально-освободительного движения в азиатских странах. Разрядка международной напряжённости, наступившая после Женевского совещания, спутала карты поджигателей войны. Восстановление мира в Индо-Китае явилось победой принципа решения спорных вопросов путём переговоров и поражением пресловутой политики «с позиции силы».

Однако противники мира не извлекли надлежащих уроков из этого своего поражения. Они всё ещё стремятся любыми средствами расколоть Азию на враждебные блоки, противопоставить одни страны Азии другим. Американская дипломатия предпринимает отчаянные усилия, чтобы «заставить азиатов сражаться против азиатов». Американские политики хотели бы загребать жар чужими руками. Созданием военного блока в Юго-Восточной Азии американские монополии преследуют цель установления своего безраздельного господства над богатствами азиатского материка и обеспечения американских генералов пушечным мясом для борьбы против Китая. Но заокеанские поджигатели войны, строя свои планы, не учитывают важнейшего фактора — роста национального самосознания азиатских народов. Они забыли, в каком веке они живут, забыли, что прошли те «благословенные» для империалистов времена, когда они могли безнаказанно хозяйничать в разъединённой ими Азии. Теперь народы Азии выступают единым фронтом против войны. Сплочение и солидарность народов Азии растут изо дня в день. И, как писал индийский писатель Кришан Чандар, «нет такого острого меча, который мог бы разрубить дружбу народов Азии».

Заключение перемирия в Корее, прекращение военных действий в Индо-Китае нанесли серьёзный удар по вынашиваемым в кабинетах Пентагона планам создания так называемого «санитарного кордона» вокруг Народного Китая. Но в арсенале американской военщины имеются ещё продажные клики Ли Сын Мана и Чан Кай-ши. Эти клики готовы очертя голову спешить туда, куда их погонят американские хозяева. Они всегда готовы к поставке пушечного мяса для американских генералов.

Особое место в своих планах нападения на Китай агрессивные круги США отводят окопавшейся на Тайване чанкайшистской клике. После того как победоносные войска Народно-освободительной армии выбросили гоминдановское отребье с континента, остров Тайвань стал последним прибежищем злейших врагов китайского народа. Американская военщина взяла обанкротившуюся гоминдановскую клику под защиту своих кораблей и самолётов. Остров Тайвань превращён фактически в колонию США, в плацдарм для нападения на Китай. Представитель воинствующих кругов США генерал Макартур заявлял в 1950 году, вскоре после начала американской агрессии в Корее, что Соединённые Штаты считают Тайвань «центром» американского фронта на Тихом океане, «нетонущим авианосцем» Соединённых Штатов, которые поэтому должны держать Тайвань под своим контролем, чтобы иметь возможность обеспечить «господство своей авиации над всеми азиатскими портами от Владивостока до Сингапура».

Прошли годы, но империалисты Америки не изменили своего отношения к Китаю, они попрежнему делают ставку на Тайвань и нынешних незаконных хозяев его. Совсем недавно помощник государственного секретаря США Робертсон, выступая в одной из комиссий конгресса, утверждал, что Соединённым Штатам остров Тайвань нужен для того, чтобы сохранять «постоянную угрозу военных действий против красного Китая». И надо сказать, что дела американских агрессоров подтверждают их речи.

Американские инструкторы руководят в Тайване подготовкой и обучением гоминдановского войска. После успешного окончания Женевского совещания американские военные силы в Тайваньском проливе были увеличены вдвое. Как сообщала недавно

печать, США решили послать на Тайвань военное снаряжение и боеприпасы, первоначально предназначавшиеся для Индо-Китая.

Обосновавшись на Тайване, империалисты США систематически совершают провокационные действия против Народного Китая. По сообщению агентства Синьхуа, с июня 1950 года по февраль 1954 года американские самолёты свыше семи тысяч раз нарушили воздушные границы Китая, причём в этих нарушениях принимало участие в общей сложности более тридцати тысяч самолётов. Сотни американских военных кораблей много раз нарушали территориальные воды Китая.

Пользуясь покровительством американской военщины, под прикрытием американских военных кораблей гоминдановцы совершают пиратские акты на море, захватывают торговые суда различных стран.

Тайвань превращён американской разведкой в гнездо шпионов и диверсантов. Органы американской разведки отсюда засылают своих агентов в Китай, чтобы мешать мирному труду свободного китайского народа.

Окупируя остров Тайвань и защищая предательскую группу Чан Кай-ши, Соединённые Штаты Америки, как заявил недавно премьер Государственного Административного Совета и министр иностранных дел КНР Чжоу Энь-лай, не только нарушают территориальную целостность и суверенитет Китая и вмешиваются в его внутренние дела, «но также увеличивают угрозу войны на Дальнем Востоке и усиливают международную напряжённость, мешая таким образом Китаю и другим странам пользоваться благами мира».

Китайский народ никогда не мирился с незаконным захватом американскими агрессорами острова Тайвань. Он всегда заявлял о своей решимости ликвидировать укрывающуюся на острове продажную чанкайшистскую клику. Теперь китайский народ выдвинул освобождение Тайваня в качестве своей почётной исторической задачи, успешное решение которой послужит и успеху борьбы в защиту всеобщего мира.

Все слои шестисотмиллионного китайского народа, все демократические партии и народные организации Китая единодушно заявляют, что освобождение Тайваня и ликвидация предательской шайки Чан Кай-ши являются осуществлением суверенитета Китая, представляют собой внутреннее дело Китая, который не потерпит никакого вмешательства со стороны любых иностранных государств.

Волю китайского народа к освобождению Тайваня поддерживает и общественность стран Азии. Так, председатель 8-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Виджайя Лакшми Пандит, согласно сообщениям индонезийской печати, отметила, что остров Тайвань является законной территорией Китайской Народной Республики и должен быть передан под её контроль. Это будет способствовать, сказала она, смягчению международной напряжённости.

Американские политики делают попытки помешать китайскому народу освободить Тайвань. Американская дипломатия предпринимает шаги к заключению с чанкайшистской кликой двустороннего договора «об обороне». Эта политика противников мира решительно осуждается народами Азии. Они выступают за возвращение Тайваня Китаю, за изгнание гоминдановской марионетки из ООН.

Всем здравомыслящим людям очевидна совершеннейшая несправедливость такого нелепого положения, когда место великой державы в Организации Объединённых Наций незаконно удерживается за ставленником американских монополий, а великий китайский народ не имеет в ней своего представителя. Но американские реакционеры упорно противятся восстановлению законных прав Народного Китая в ООН. Правящие круги США неоднократно выступали с заявлениями о том, что они намерены не допустить Китайскую Народную Республику в ООН. Эти заявления в устах некоторых сенаторов и конгрессменов, вроде Ноулэнда и ему подобных, доходят до истерического вопля.

Чего же боятся господа сенаторы? Они страшатся, что появление на трибуне ООН законного представителя китайского народа явится ещё одним сильным препятствием, которое затруднит агрессорам осуществление их тёмных замыслов против мира.

За восстановление законных прав Китая в ООН настойчиво выступают все миролюбивые народы мира. Они требуют, чтобы в Совете Безопасности ООН наряду

с представителями великих держав Европы и Америки находился и представитель великой державы Азии. Требования восстановить законные права Китая в ООН стали звучать с большей настойчивостью и силой после Женевского совещания, на котором представители Народного Китая на деле показали свои миролюбивые стремления.

Уместно вспомнить, что ещё в 1950 году английская буржуазная газета «Таймс» предостерегала «горячие головы» из госдепартамента США от их обречённых на полный провал попыток повернуть вспять колесо истории. «Таймс» писала: «Коммунизм стоит в Китае у власти и его не поколеблет ни сохранение нескольких дискредитированных политиков на Формозе, ни добавление одного американского авианосца к тихоокеанскому флоту. Морской прилив нельзя задержать метлой».

Находясь трезвые политики и в США, признающие, что нельзя бесконечно игнорировать факт существования Китайской Народной Республики, что надо считаться с реальным положением вещей, сложившимся на Дальнем Востоке после второй мировой войны. Так, крупный американский банкир и экономист Джеймс Уорберг опубликовал недавно во влиятельной газете «Нью-Йорк Таймс» письмо, в котором писал: «Наиболее опасным представлением, которого упорно придерживаются, является мнение, что мы можем повернуть назад стрелку часов в Китае». Уорберг заявил, что, отказываясь признать права Китая в ООН, Соединённые Штаты «изолируют себя в мире».

Председатель комиссии «Нейшнл стил корпорейшн» Эрнест Уэйр в докладе, опубликованном в журнале «Юнайтед Стейтс энд Уорлд рипорт», также призвал американских дипломатов к реальной оценке событий. «Китай, — указывал он, — слишком большая страна, его население слишком многочисленно, чтобы в течение более или менее продолжительного времени можно было бы не считаться с его влиянием на международное положение».

Восстановление законных прав Китая в ООН стало насущным требованием нашей современности.

На стороне китайского народа — симпатии и поддержка всего прогрессивного человечества. Весь мир с восхищением следит за замечательными успехами Народного Китая, уверенно идущего по пути прогресса в славной когорте стран демократии и социализма. Величественная программа построения социализма, поставленная перед китайским народом Коммунистической партией Китая, вдохновляет на трудовые подвиги сотни миллионов китайских тружеников. Рассвет, взошедший над Китаем пять лет назад, предвещает светлый солнечный день уже близкого социалистического будущего.

Когда-то в древности китайский историк Сыма Цянь писал: «Устремите свой взор к вершинам высоких гор, но ногами прочно стойте на твёрдой земле».

Высокие вершины социализма открылись ныне перед народом тружеников и создателей. На твёрдой земле стоит народ-исполнин. Никакие преграды не смогут помешать его стремительному продвижению вперёд, к социализму под знаменем единодушно принятой Конституции Китайской Народной Республики.



# ДНЕВНИК ИСКУССТВ

Н. ЖУКОВ

★

## ВОСПИТАНИЕ ВКУСА

*Заметки художника*

**В**оспитание вкуса неразрывно связано с понятием о красоте. Но и вкус и понятие о красоте не являются чем-то неизменным, раз и навсегда установившимся, одинаковым для всех времён и народов. «...Вместе с условиями жизни людей, с их общественными отношениями, с их общественным бытием изменяются также и их представления, взгляды и понятия, — одним словом, их сознание...» Так писали великие основоположники научного коммунизма — Карл Маркс и Фридрих Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии».

Каждая эпоха выдвигала своё понятие о красоте, свой характерный для неё стиль. Понятие это всегда было и социально обусловлено: среди людей различных классов, в различных слоях общества по-разному складывались и эстетические воззрения, формировался художественный вкус. Наконец, нередко крайне резкие расхождения в понятии о красоте мы можем обнаружить в одно и то же время в различных странах и даже в различных географических широтах одной и той же страны.

Одежда, убранство жилища, бытовая утварь людей разных эпох не только характеризуют их понятия о красоте, но и дают более или менее ясное представление об их общем культурном уровне, образе жизни, роде занятий. Поэтому знатоки истории материальной культуры по отдельным деталям одежды или предметам бытового обихода могут безошибочно определить, к какой эпохе относятся изучаемые костюмы или найденные где-нибудь при археологических раскопках предметы домашней утвари. Если вы увидите картину неизвестного художника, на которой будет изображён человек, то по одежде этого человека, по деталям картины, отображающим его быт, вы сможете довольно точно определить, к какой эпохе, к какой стране относится сюжет картины.

Перед нами, людьми эпохи строительства коммунистического общества, стоит задача выработать свой стиль материальной культуры, наиболее отвечающий запросам народных масс, наилучшим образом выражающий характер нашего великого времени.

Издавна повелось считать, что вкус — это нечто неотъемлемое, присущее данному человеку и нечто неизменное для него. Когда говорят: «У него (или у неё) хороший вкус», — обычно подразумевают врождённое качество человека, как и абсолютный слух. Однако при этом мы часто забываем ту простую истину, что вкус можно и должно воспитывать, что формирование вкуса — это процесс, зависящий от общественных условий, среды, обстановки, множества факторов, на него влияющих. Вкус человека воспитывается, складывается постепенно, начиная с самого раннего детского возраста, когда ребёнок впервые соприкасается с окружающим его миром разнообразных вещей — предметов домашнего обихода, игрушек, одежды. Цвет и форма, весь внешний облик вещей, окружающих человека, вещей, которыми человек повседневно пользуется, — всё это влияет на формирование вкуса. А цвет и форма вещей создаются творческой мыслью художника. Следовательно, художнику дано воздействовать на формирование художественного вкуса человека буквально с первых дней его жизни.

Вот, думается, почему в нашей стране, в наше время особенно нетерпима инертность художественной мысли в производстве предметов быта, особенно теперь, когда партия и правительство приняли серьёзные меры к максимальному удовлетворению не-



прерывно растущих материальных и культурных потребностей советского народа, когда на базе достигнутых успехов в развитии социалистической тяжёлой индустрии у нас всемерно форсируется выпуск промышленных товаров широкого потребления.

Партия и правительство особенно подчёркивают задачу постоянно заботиться о добротности и хорошей внешней отделке всех выпускаемых изделий, предназначенных для народа, для народного быта. Нужно ли говорить, что советские художники не могут, не должны стоять в стороне от решения этой задачи. Ведь без участия художников не обходится ни выпуск нового рисунка ткани, ни производство обоев, ни формовка и окраска фарфора и хрусталя, ни создание мебельного гарнитура, ни оформление уличной витрины, ни торговая реклама. И все виды участия художника в работе промышленности и торговли нашей страны непосредственно и крепчайшими нитями связаны с воспитанием вкуса миллионов людей. Поэтому художники, разрабатывающие новый рисунок плательной ткани или оформляющие витрину универсама, — это не только работники текстильной фабрики или торговой точки, выполняющие определённую практическую производственную функцию. Нет, каждый из них должен прежде всего помнить, что он — художник, деятель искусства, самой природой своего дарования и мастерства призванный действовать на эстетические чувства народных масс, воспитывать их художественный вкус.

Воспитание вкуса — одна из важных форм борьбы за становление советской социалистической культуры, за культурный рост всех советских людей.

### БОЛЬШЕ ТОВАРОВ — ХОРОШИХ И РАЗНЫХ!

Ранней весной или поздней осенью на оживлённой, многолюдной улице бросается в глаза назойливое преобладание серых и чёрных тонов одежды. Конечно, пасмурная погода, частые дожди заставляют нас надевать менее маркие вещи и отказаться от светлых и ярких красок одежды. Но ведь и серые и коричневые цвета имеют неисчислимое множество оттенков. Однако оттенков этих, как правило, не имеет одежда, которую мы покупаем в магазинах. Почему?

А возьмём, к примеру, дождевые плащи. Мужчины выглядят в этих плащах так, будто для них установлена некая униформа. И если уж вы приобрели себе синий дождевик — можете быть спокойны: по цвету, фасону и выработке он ничем не будет отличаться от тысяч других точь-в-точь таких же плащей, которые вы ежеминутно видите на улице.

Загляните в наши галантерейные магазины, даже в столице, в Москве: везде один и тот же однообразный ассортимент пуговиц, дамских сумочек, косынок, поясов, гребёнок, галстуков. Но каждому человеку свойственно естественное желание приобрести что-то оригинальное, отличающееся от обычного, уже надоевшего, набившего оскомину. Поэтому когда среди примелькавшегося, стандартного набора вещей, заполнивших прилавки и витрины поголовно всех галантерейных магазинов, вдруг появляется какая-то новинка, красивая, изящная вещь, она охотно и быстро раскупается. Но вскоре владельцы этой обновки начинают испытывать некоторое смущение, а потом и полнейшее разочарование: «оригинальная» вещь в тысячах точных копий мелькает перед ними на улице, в трамвае, в метро, в руках десятков знакомых и тысяч незнакомых людей.

Бывает, выпускают, например, дамскую сумку нового, изящного, оригинального фасона, а через месяц, смотришь — у каждой пятой женщины на улице такая же сумка. И уже сумка эта начинает надоедать. И радость покупательницы сменяется огорчением.

Отсутствие разнообразия, чрезмерная стандартизация моделей — один из основных недостатков, до сих пор присущих товарам широкого потребления, выпускаемым нашей промышленностью. Что касается требований, предъявляемых к этим товарам с точки зрения воспитания, формирования вкусов массового потребителя, то, конечно, скудный ассортимент стандартных моделей способен только портить вкусы, но не развивать их.

Само собой разумеется, нельзя игнорировать технических и экономических интересов промышленности, прибегающей к известной стандартизации товаров ради сниже-

ния их себестоимости, ради удешевления предметов широкого народного потребления и соблюдения экономии государственных средств. Но необходимо потребовать от наших производителей, чтобы эта стандартизация не отражалась на качестве товаров, не наносила ущерба интересам потребителя, не портила его вкуса.

Обычно эстетические качества самых различных предметов соответствуют их техническому качеству и удобству практического применения. Если, к примеру, взять паровоз восьмидесятых годов прошлого столетия и сравнить его внешний вид с новыми моделями паровозов сегодняшнего дня, то ясно будет видно, насколько уродлив, немощен и просто смешон старый паровоз рядом с могучим красавцем — железным конём нашего времени. Посмотрите на легковую машину 1913 года и на наш современный «ЗИМ»: вместе с превосходством техническим сразу бросается в глаза превосходство его внешней формы. Ту же аналогию можно провести, сравнивая и предметы, украшающие наш быт, предназначенные для удобства жизни. Возьмём, к примеру, настольные вентиляторы, которые доставили в жаркие летние дни этого года многим тысячам людей удовольствие прохлады. Эти вентиляторы по совершенству своей формы родственны нашему «ЗИМу» — они рождены одним временем технического прогресса, временем высокой технической культуры, они ровесники времени.

Но сколько есть предметов, форму которых не оттачивает, не совершенствует конструкторская мысль, и они десятками лет живут, сохраняя свою уродливую форму и портя вкус. Например, удивительно безобразны многочисленные чернильные приборы, встречающиеся на столах наших учреждений. Очень некрасивы и несовершенны по своей форме ручки столов, дверей, шкафов, штанги для штор, часто изготавливаемые из пластмассы розового и оранжевого цвета, багет картин и многие другие вещи. К примеру, возьмём такую мелочь, как оправа к очкам, которая, естественно, должна украшать лицо человека или уж, в крайнем случае, не уродовать его. У нас продаётся плохо продуманная, или, как говорят, «ненайденная», форма оправы, очень грубая и везде одинаково стандартная. В то же время мы освоили выпуск таких машин, как «ЗИС», «ЗИМ», «Победа», мы научились делать для них разные мелочи очень красивой формы: ручки дверей, изящную отделку управления, обивку и прочее.

Зачастую совершенно нелепая фантазия какого-то халтурщика создаёт дикие вещи. Однажды в ларьке на Петровке продавались заколки-броши для украшения дамского туалета. Эти заколки были механически увеличены с обыкновенной, так называемой английской булавки до слоновых размеров. Раньше булавка всегда служила мужчинам и женщинам закрепкой при аварийных случаях и её старательно скрывали от постороннего взгляда. Теперь же эту увеличенную булавку продают как новинку моды для украшения.

Надо тщательно рассмотреть вопрос о роли художника в создании предметов быта. Конечно, решение этой задачи зависит не только от художника. Лишь совместные усилия художников, колористов, модельеров, передовых работников лёгкой промышленности могут привести к желаемым результатам. Они должны напрячь все силы, чтобы наши товары были красивы, и изящны, красочны, чтобы они воспитывали хороший вкус, формировали эстетическое восприятие советского человека, прививали вкус к подлинно красивому.

Но эстетическое воспитание — это процесс длительный и постепенный. Трудно предположить, чтобы одна прочитанная книга, пусть самая прекрасная, способна была воспитать литературный вкус читателя. Одно посещение концерта в Большом зале Консерватории не может развить музыкальный слух. Недостаточно однажды показать человеку картину Репина или Сурикова, чтобы он научился раз навсегда отличать мастерство вдохновенной живописи от «художественного» ремесленничества. Нет, нужны месяцы и годы наблюдений, накопления опыта и впечатлений, нужен материал для сравнений и сопоставлений, чтобы человек по достоинству оценил истинно художественное, ощутил тонкое очарование подлинного искусства и научился отличать благородную красоту от ложной красоты.

Тот же процесс постепенного, повседневного формирования вкуса людей мы наблюдаем и в быту. Эстетическая взыскательность, изящный вкус человека применительно к вещам, окружающим его в быту, к его одежде, к предметам домашнего обихода полнее

развиваются, если человек имеет возможность видеть много красивых и разнообразных вещей. И развиваться, оттачиваться его вкус будет тем правильнее и быстрее, чем больше разнообразных, красивых, добротных, изящных вещей предложит советскому потребителю наша промышленность. Привычка видеть вокруг себя и на самом себе вещи, радующие глаз, отвечающие эстетическому чувству, развивает любовь к подлинной красоте и изяществу.

Хочется напомнить, что А. М. Горький ещё в конце прошлого века в своих заметках о промышленной выставке писал: «Мануфактура могла бы сыграть очень крупную роль в развитии у людей художественного вкуса, если бы цвета и рисунки тканей создавались людьми с развитым эстетическим чутьём...»

### «МУЗЕЙ ДУРНОГО ВКУСА»

Пожалуй, одной из самых консервативных отраслей производства товаров широкого потребления является та, которая выпускает мебель. Порой кажется, что люди, работающие в мебельной промышленности, состоят в каком-то таинственном сговоре: не замечать никаких перемен в окружающей действительности, не прислушиваться к требованиям жизни, считать прошлое настоящим! И на мебельный рынок нередко поставляются «многоуважаемые шкафы» прадедовских образцов, будуарные кушетки с бахромой из плюшевых шариков и мещанские кровати со знаменитыми никелированными шарами на спинках.

Лет тридцать назад один немецкий искусствовед предлагал создать «Музей дурного вкуса» и экспонировать в нём уродливые и безвкусные изделия, выпускаемые художественной промышленностью. Надо сознаться, что до последнего времени наши мебельные магазины нередко производили мрачное и убогое впечатление подобных «музеев дурного вкуса».

Долголетнее производство уродливых древесных изделий вместо красивой и изящной мебели в значительной степени объясняется тем, что к этому проявляли полное равнодушие и пренебрежение наши художники и их творческие организации. А ведь дело это очень важное, очень существенное с точки зрения формирования вкусов широких кругов населения. Мебель постоянно окружает человека в его повседневном быту: ею заполнено его жилище, мебелью пользуется он в той или иной мере на работе, в зависимости от характера его деятельности; в столовой, в фойе театра, в клубе — нигде человек не обходится без мебели, и всегда она составляет чрезвычайно важный элемент убранства помещения, а следовательно, воздействует на наше эстетическое восприятие. Поэтому, казалось бы, художники должны были считать производство мебели, разработку её моделей кровным своим делом, непосредственно касающимся сферы их творчества.

Но, к сожалению, художники и художественные организации проявляют своеобразный снобизм в этом вопросе. Надо сказать, что современные снобы имеют предшественников. Например, известный живописец девяностых годов прошлого века, Константин Маковский, очень негодовал, узнав, что группа художников начала работать в мебельном деле. «Если ты художник, так пиши картины», — заявил Маковский в газетном интервью, будучи, повидимому, уверенным, что этой глубокомысленной формулой он оберегает интересы «высокого» искусства от «низменных» посягательств «толпы».

Но к лицу ли нам, советским художникам, такой взгляд? Разве не лежит на нас доля ответственности за безвкусицу мебельного производства, за художественную неполноценность обстановки в квартирах миллионов тружеников нашей страны, чьи жилища нередко превращаются, помимо воли хозяев, в маленькие филиалы «музея дурного вкуса»?

Правда, подчас здесь немалую роль играет и вкус самих хозяев. Входишь иногда в большую квартиру, где много разной мебели, картин, драпировок, вся обстановка состоит из ценных и дорогих предметов, а в целом подобрана как-то случайно и выглядит аляповато: все вещи противоречат друг другу по стилю и характеру. Холодно и неуютно в такой квартире! А иная семья живёт в одной-двух комнатах и владеет немногими вещами, но каждая из них верно выбрана и правильно поставлена. Всё здесь рас-

полагает к себе, ото всего веет семейной обжитостью, теплом и уютом. Наверное, всем знакомо это наблюдение.

Ещё далеко не всё благополучно обстоит с художественным оформлением внутреннего убранства и наших общественных зданий. В первые годы советской эпохи потребность в мебели для новых общественных учреждений удовлетворялась главным образом путём использования старой обстановки различных барских особнячков и помещичьих усадеб. Так появилась в рабочих клубах «стильная» мебель, когда-то изготовленная по заказу богатых мещан для «интимных» будуаров и «шикарных» спален, но совершенно не соответствующая своему новому назначению.

Как реакция на это засилье старомодности, появилось у некоторых художников и специалистов мебельного производства естественное стремление сконструировать новые модели, привлечь новые материалы для мебельных конструкций. Намерения этих новаторов были в большинстве случаев вполне искренни, побуждения, руководившие ими, благородны. Но творческие искания нередко приводили их к «левачеству», к формалистическому шутикарству или некритическому копированию новомодных зарубежных образцов. Так появилась, например, мебель из полых металлических трубок, которая в качестве образцов «нового стиля» одно время вошла в моду на Западе и получила некоторое распространение и у нас.

Но если мы не можем и не должны мириться с устойчивым засильем устаревших форм и моделей, то это не значит, что нам следует гнаться за любой «модой», возникшей за рубежом. Тем более, что в капиталистических странах мода, как известно, изменяется часто не в силу естественных изменений общественного вкуса или реальных практических потребностей потребителя, а только в интересах предпринимателей, стремящихся любыми средствами поднять спрос на выпускаемую ими продукцию.

Советская мебельная промышленность обеспечена широчайшим всенародным спросом на её изделия. Нашим производственникам нет надобности искусственно создавать «моду» на новые художественные формы мебели. Но можно ли мириться с их инертностью, леностью мысли, равнодушием к художественной форме выпускаемой ими продукции?

Советский человек хочет иметь в своём доме, в своём клубе, в своём учреждении хорошую, красивую, удобную мебель. Эта мебель, конечно, должна в каждом отдельном случае отвечать практическому назначению: диван в жилой комнате, в фойе театра или в больничной приёмной — вещи разные. Но во всех случаях мебель должна быть добротной, красивой, изящной, она должна радовать глаз, служить украшением комнаты, отвечать требованиям хорошего вкуса.

Красивая, со вкусом подобранная обстановка имеет огромное значение для самочувствия и настроения человека. Каждому бывает приятнее жить, работать, отдыхать в хорошей, уютной обстановке, в изящно меблированной комнате. Для советского человека одинаково неприемлемы отжившие свой век салонно-будуарные кушетки, созданные в прошлом веке в соответствии с вкусом городского мещанства, и придуманные зарубежными прожектёрами машиноподобные «аппараты для сидения».

За последние годы в наших магазинах появились в продаже новые образцы мебели, пользующиеся большим успехом у покупателей. Это хорошо отполированная мебель простых, изящных конструкций, не промоздкая, удобная в быту, тщательно отделанная в деталях. Такая мебель приятно «смотрится», она придаёт комнате уют. Вместо высоких старомодных буфетов и шкафов с ненужными резными надстройками в виде деревянных спилей и бордюров со столбиками — простые, гладкие очертания, благородные формы. Мебель эта не только красивее, привлекательнее по внешнему виду, она и гигиеничнее, потому что на гладкой полированной поверхности не скапливается пыль и протирать ровные плоскости или обтекаемые формы значительно легче, нежели вычурные и аляповатые резные украшения старых фасонов.

Но, любясь новыми изящными моделями современной мебели и с радостью приобретая её для своей квартиры, не можешь отделаться от беспокойной мысли: почему эта красивая мебель в основном ввозится к нам из Чехословакии, Венгрии, Болгарии, Германской Демократической Республики, а не производится в нашей стране, знаменитой своими лесными богатствами, стране прославленного русского леса? Правда, часть

мебели новых моделей производится фабриками Латвии и Эстонии. Но где же современная, усовершенствованных образцов продукция деревообделочных предприятий РСФСР, Белоруссии — республик, обладающих огромными промышленными ресурсами и производственными возможностями в этой области? Повидимому, наше стечественное мебельное производство сильно отстало от уровня современных требований и прежде всего — требований эстетических. Повидимому, наши мебельщики всё ещё живут по старинке, неторопливо выпуская старомодную утварь, и не желают считаться с растущими запросами советских людей, с задачей воспитания хорошего вкуса.

Надо заметить, что этим делягам-мебельщикам удаётся легко сбывать свою устаревшую, уродливую продукцию по той простой причине, что мебели у нас в продаже мало, её вообще не хватает. В стране повсеместно возводятся один за другим жилые дома; каждый месяц сотни и тысячи советских граждан въезжают в новые квартиры и дачи. Потребность в мебели огромна, можно с уверенностью сказать, что она в Советском Союзе намного больше, чем в любой капиталистической стране. И немудрено, что человек, не доставший красивого шкафа или изящного буфета, вынужден покупать то, что есть в мебельных магазинах: твердокаменные, набитые опилками диваны с высокой спинкой или громоздкие гардеробы стародавнего образца.

Очень мало выдумки, творческой фантазии и хорошего вкуса проявляют и руководители обоевых фабрик. Они выпускают в больших количествах обои, поражающие своим несоответствием даже самому примитивному представлению о красоте. На некоторых обоях изображены огромной величины лиловые или розовые хризантемы, которые со стен жилой комнаты производят ошарашивающее впечатление; другие обои окрашены в настолько яркочерный или пронзительно-зелёный цвет и снабжены для «шика» таким «роскошным» золотым орнаментом, что они могли бы подойти только для оклейки стен «отдельных кабинетов» дореволюционных ресторанных заведений. Если же является наконец более или менее изящный и скромный рисунок обоев, то он механически варьируется в нескольких цветах и в результате быстро надоедает своей назойливой стандартностью. Всё это говорит о пренебрежении художественной стороной производства обоев, а между тем и обои как необходимый элемент оформления комнаты могут и должны развивать у широких слоёв населения вкус, чувство изящного.

Нужно серьёзно подумать и об улучшении расцветки, рисунков и орнамента всевозможных драпери, занавесей, ковровых дорожек, которые зачастую оформляются в грубом, аляповатом, мещанском вкусе. Кроме того, очень беден ассортимент драпировочных тканей. Два-три рисунка и расцветки — это всё, что магазины могут предложить потребителю. А ведь и эти элементы внутреннего убранства помещений могут и должны быть красивы и привлекательны, выполнять не только свою утилитарную бытовую, но и художественную, эстетическую функцию.

## ИСКУССТВО В БЫТУ

Естественно, что ещё большее значение имеет эстетическая сторона дела при производстве таких предметов быта, которые являются непосредственно произведениями искусства, созданиями самого художника: бытовая художественная миниатюра, настольная скульптура, фарфор, изделия народных мастеров. Эти произведения искусства — результат художественного творчества — в ещё большей степени, чем другие предметы бытового обихода, призваны воспитывать наш вкус, прививать любовь к красоте и изяществу.

Редко встретишь человека, который в меру своих возможностей и вкуса не постарался бы украсить своё жилище красивой вазой для цветов, фарфоровой статуэткой или резной шкатулкой. В каждом из нас живёт любовь к красивому, стремление окружить себя красивыми вещами. В большой степени от художника, творца художественных изделий, зависит развить в человеке понимание истинной красоты или приучить его к аляповатой мещанской «красивости», то есть воспитать ли в нём подлинно хороший, тонкий вкус или позволить ему неприятно удивляться безвкусной мишурой.

Издавна в России, да и далеко за её пределами славилось замечательное искусство народных мастеров Палеха, Федоскина, Хохломы, Мстеры и других центров художе-

ственных промыслов. Это замечательное искусство создавалось веками, спыт и традиции его передавались из поколения в поколение талантливых русских мастеров-умельцев. Ещё в 1882 году на Всемирной художественной промышленной выставке в числе премированных экспонентов было более пятнадцати различных художественных ремесленных училищ России. И в наше время многие художественные изделия кустарного производства получили первые премии на международных выставках. Так, были премированы изделия вологодских и елецких кружевниц, якутских резчиков по кости, вятских резчиков по дереву, тверских вышивальщиц и другие.

Но, к сожалению, великолепные изделия золотых рук этих мастеров, так же как и произведения даровитых учеников художественных ремесленных училищ, можно увидеть только на отчётных выставках — в широкое производство они почему-то не поступают и остаются лишь музейными экспонатами. А магазины наводняются выпускаемыми в огромных тиражах безвкусными вазочками, рамочками, топорно сделанными пельнищами, традиционными слониками разных габаритов, неуклюжими и бесформенными изделиями из цветной керамики самых непривлекательных форм и оттенков.

Огромным спросом у населения пользуется бытовая настольная скульптура — красивые статуэтки, сюжетные композиции, выполненные с подлинным художественным мастерством. Заслуженную популярность завоевали в народе фарфоровые изделия Ленинградского завода имени Ломоносова, подмосковных заводов — Дулевского и Дмитровского.

В области производства художественного фарфора работает много выдающихся художников и скульпторов, создающих замечательную посуду и настольную скульптуру. Среди них — известный скульптор Сергей Орлов, автор статуэток «Конёк-Горбунок», «Сказка о рыбаке и рыбке», серии «Цирк» и других. Интересны и оригинальны произведения скульптора-анималиста Павла Кожина, создавшего по мотивам сказок Бажова чудесную композицию «Дары Хозяйки Медной горы». Но если вы зайдёте в магазин, чтобы приобрести что-нибудь из этих вещей, вы не найдёте их в продаже. Произведения эти выпускаются в столь малых тиражах, а спрос на них столь велик, что они с молниеносной быстротой исчезают с прилавков.

Также в небольшом количестве выпускаются и репродукции произведений великих русских художников. Их нужно всемерно распространять и популяризировать, но они не доходят до отдалённых районов нашей страны.

Спрос населения на бытовые художественные (в подлинном смысле этого слова) изделия не удовлетворяется, и покупателю сплошь и рядом приходится довольствоваться уже приевшимся стандартом зайчиков, слоников, кошечек, которые в изобилии продаются во всех посудных магазинах.

Фарфоровая промышленность — одна из наиболее богатых традициями отраслей художественного производства. Русский фарфор славится издавна и своим качеством и художественной обработкой. Сейчас наряду с изяшной и красиво расписанной посудой, которая встречается, к сожалению, не так уж часто, в посудных магазинах можно увидеть много скучных, неинтересных, а зачастую и просто грубо, с художественной точки зрения, сделанных чашек, блюдец, тарелок и т. д. Значительно легче подобрать по вашему вкусу целый сервиз, чем купить отдельно чашку с блюдцем или, предположим, три десертные тарелочки. Выбор отдельных предметов посуды чрезвычайно беден, рисунок на них не блещет выдумкой: или вся чашка и блюдце окрашены в один цвет и украшены обычно ободком, или на белом фоне расписываются два-три стандартных цветочка.

Художники, работающие на фарфоре, в большинстве случаев являются квалифицированными мастерами. Но, к сожалению, они недостаточно проявляют свою творческую инициативу, не разрабатывают новых рисунков, почти совсем не используют мотивов народных сказок, богатых национальных орнаментов народов СССР. А ведь при всестороннем и глубоком изучении народного творчества можно было бы значительно обогатить рисунки на фарфоре, создать новые, интересные узоры.

Очень однообразны и выпускаемые нашими фабриками изделия из стекла. Полки магазинов заставлены мещански безвкусными розовыми и голубыми вазочками, синими и красными фужерами и графинами, к тому же на редкость бездарно скучной формы.

Трудящиеся нашей страны любят изобразительное искусство. Они высоко ценят произведения великих русских художников, хорошо знают лучшие образцы их творчества. Большую популярность быстро приобретают новые произведения советской живописи, скульптуры, графики. Очень важным и ответственным делом является пропаганда лучших образцов искусства средствами художественной промышленности. И надо признать, что за последнее время значительно улучшилось качество репродукций, выпускаемых художественными издательствами. Но некоторые предприимчивые артели стали промышленно тем, что эти репродукции они вставляют в одинаковые круглые пластмассовые рамочки. Таким образом все живописные произведения вдруг неожиданно стали «круглыми», все картины подгоняются под один ранжир и фон, «воздух» художественного произведения при этом неизбежно теряется, нарушаются его пропорции, его композиционная целостность. Какое впечатление останется у зрителя от знаменитой картины Репина «Иван Грозный и сын его Иван», если весь фон картины утерян, а голова Грозного... упирается в пластмассовый ободок?

И не только в магазинах культтоваров продаются эти «круглые» изуродованные репродукции, но даже в художественных салонах в изобилии висят те же репродукции и покупателям предлагается большой выбор безвкусных глиняных вазочек и разных керамических уродов. А мы, художники, безучастно проходим мимо всей этой безвкусицы и ничего не предпринимаем даже для улучшения качества багета, которым оформляются наши картины: багет, который продаётся сейчас в магазинах — позолоченный или коричневый с позолотой, — выглядит верхом безвкусицы.

Издательства «Изогиз» и «Советский художник», репродуцируя произведения русских и советских художников в эстампах и открытках, допускают при этом много ошибок. Так, например, «Советский художник» выпускает в миллионных тиражах открытки, на которых воспроизводятся не всегда лучшие натюрморты, а более содержательные и нужные народу по темам произведения великих мастеров прошлого и современных художников, произведения, способные более активно воспитывать хороший вкус, развивать чувство красивого, — такие произведения или совсем не репродуцируются, или же выпускаются в неоправданно незначительных тиражах.

Необходимо упорядочить издание репродукций — это важный фактор воспитания художественного вкуса советских людей.

### ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ КРАСИВОЙ

Не надо обладать особой наблюдательностью, чтобы заметить: среди шёлковых и хлопчатобумажных тканей, выпускаемых текстильными фабриками, явно преобладают «цветастые» материи.

Смешно, конечно, быть противником ярких расцветок и цветочных орнаментов на тканях. Нам нужны и разнообразные рисунки и яркие, жизнерадостные расцветки тканей. Но при одном обязательном условии: они должны быть красивые, изящные. А когда несуразно крупные цветы назойливо заполняют большинство летних тканей, это не только не красиво, но плохо ещё и потому, что даже самый броский и яркий рисунок, бесконечно повторяясь, становится скучным стандартом.

К весенне-летнему сезону этого года в магазинах появился гораздо более разнообразный ассортимент тканей — и по рисунку и по расцветкам. Особенно заметно это сказалось на новых выпусках штапельного полотна. И всё же до сих пор на выпускаемых нашими фабриками тканях преобладает крупный цветочный рисунок, кочующий с обивочной ткани на ткань для одежды. К сожалению, ещё многие художники по текстилю не проявляют настоящей творческой выдумки, не осваивают интересных национальных мотивов и орнаментов. Многие ещё находятся в плену ремесленных штампов: в лучшем случае они полагают, что можно создать новый, своеобразный рисунок путём видоизменения старого. Однако именно этот «творческий приём» является причиной того, что многие «новые» рисунки тканей иной раз кажутся (и оказываются!) давно известными и приевшимися.

Многие неудачи в рисунках и расцветках тканей происходят от того, что художник, берясь за создание нового рисунка, совершенно не представляет себе предназначения

будущей ткани: пойдёт ли она на занавески или на пижамы, на халаты или на платья? Поэтому нередки случаи, когда рисунок совершенно не соответствует фактуре той ткани, для которой он предназначался. Зачастую характер рисунка дорогой шёлковой материи таков, что придаёт ей вид дешёвого ситца. Бывает и наоборот: рисунок на шёлке выглядит очень красиво, а потом видишь этот же рисунок на штапельном полотне — и он совершенно «теряется», «не звучит».

Нельзя, конечно, все недостатки в расцветках и рисунках тканей объяснять плохой работой художников текстиля. Есть немало замечательных мастеров, плодотворно работающих в этой области. Целые творческие коллективы художников, занятых в текстильной промышленности, показывают высокое мастерство, проявляя настоящее творческое вдохновение при создании новых прекрасных рисунков и расцветок тканей. Однако нужно сделать серьёзный упрёк нашим руководящим художественным организациям — Оргкомитету Союза советских художников и Академии художеств СССР, которые не уделяют никакого внимания художникам текстиля, творчески не руководят ими, не интересуются их работой. По существу, вся творческая деятельность художников текстиля предоставлена самотёку, опыт их не изучается и не обобщается, имена даже лучших мастеров остаются в неизвестности, работы их мало и редко экспонируются на отчётных выставках. В результате всей деятельностью художников текстиля руководят, по сути дела, только администраторы производства и торговые работники, которые зачастую ориентируют художников на отсталые вкусы самых непритязательных потребителей.

Недавно одна московская художница-модельер рассказала такой эпизод из своей практики. Она приехала в ассортиментный кабинет крупного текстильного комбината, чтобы выбрать образцы новых тканей для мастерской, в которой она работает. Художница отобрала несколько образцов, привлёкших её внимание красивыми сочетаниями цветов, свежестью и оригинальностью рисунков. Увидев выбранные художницей материи, заведующий ассортиментным кабинетом рассмеялся: оказывается, ей понравились как раз те образцы, которые были забракованы Художественным советом комбината. Совет решил, что рисунки этих тканей «не найдут спроса у потребителя».

Не раз уже критиковалась в печати работа художественных советов промышленных предприятий. До сих пор их функции сводятся к принятию или отклонению расцветок и рисунков тканей, предлагаемых к производству. Задачи, стоящие перед художественными советами, весьма важны и ответственны. Однако укомплектованы художественные советы в большинстве случаев неправильно. В результате бывает, что голоса художников часто заглушаются здесь голосами хозяйственников, в том числе — плохих хозяйственников, заражённых деляческими настроениями и совершенно не заинтересованных в художественной стороне производства. Зачастую требования, предъявляемые к творчеству художников по тканям со стороны работников промышленности и торговли, дезориентируют художников, приводят их к творческому тупику, к потере правильного критерия в суждениях о том, что хорошо и что плохо.

Мне кажется, что обсуждение новых рисунков тканей должно носить широкий общественный характер. К участию в работе художественных советов текстильных фабрик необходимо, кроме специалистов-производственников, привлекать и видных деятелей искусства — художников, артистов, писателей — и представителей трудящихся самых различных специальностей, способных с достаточной полнотой выразить пожелания и требования широких слоёв населения, для которого и предназначаются вырабатываемые изделия.

Непосредственно с этим связано ещё одно обстоятельство, требующее, на мой взгляд, самого неотложного рассмотрения.

Весной этого года в одном крупном торговом предприятии Москвы художница-модельер показывала образцы новых фасонов женского платья и верхней одежды к весенне-летнему сезону. Это были красивые, нарядные и в то же время простые, с подлинным художественным вкусом и безупречным изяществом сделанные вещи — летние платья, костюмы, пальто. Несомненно, они возбудили у многих покупательниц горячее желание приобрести их. На вопрос к автору моделей, почему этой элегантной одежды



нет в продаже, почему лишь образцы её можно созерцать на специальных выставках и во Всесоюзном доме моделей, не удалось получить сколько-нибудь убедительного ответа.

А ответить надо было так: когда та или иная модель «запускается в производство» на швейных фабриках, она в массовом выпуске оказывается сделанной в большинстве случаев совсем не из того материала, какой был применён для конструирования образца. Образец, модель делаются из самых лучших материалов — шёлковых и шерстяных крепов, утяжелённого крейдешина и тому подобных тканей. Но этот же фасон, повторённый в простой, дешёвой ткани, часто выглядит совсем иначе и многое теряет по сравнению с «оригиналом». Случается и обратное: то, что было задумано художником-модельером для выполнения в простой, лёгкой ткани, вдруг и без всяких оснований вдохновляет руководителя швейной фабрики выпустить эту же модель в более «шикарном» варианте. И получается опять плохо, аляповато, претенциозно. Производственники движимы подчас самыми лучшими намерениями, им кажется, что они «обогащают» предложенную модель тем, что выполняют её в более плотной, дорогой ткани, а на самом деле они грубо нарушают при этом замысел художника и грешат против элементарных требований хорошего вкуса.

Нередко случается и так, что производственники, желая избавиться себя от лишних трудностей, «немного» упрощают новую модель: то поспеют на отделку, то решат обойтись без какой-нибудь детали костюма — складочки, выточки, искусственного цветка на дамском платье. Казалось бы, мелочь, пустяк. А на деле пренебрежение такой «мелочью», задуманной художником для украшения костюма, неизменно изменяет внешность модели, лишает её изящества, грубит, портит. Иной производственник предпочитает путь наименьшего сопротивления для выполнения плана и придерживается принципа «числом поболее, ценою подешевле». Производственнику — проще, легче, дешевле, а потребителю от такого произвольного упрощения и такого «удешевления» — хуже. Об авторе-художнике и говорить нечего: в этой серой продукции он попросту не может узнать своего изуродованного детища.

Я не могу взять на себя смелость исчерпывающе проанализировать все причины того прискорбного обстоятельства, что между моделью костюма, платья, выполненного мастером-модельером, и той продукцией, которую мы видим в продаже в наших магазинах, существует огромная разница в качестве, изяществе, красоте. А ведь именно эта продукция массового производства, широко распространяемая в народе через торговую сеть, призвана формировать вкусы, воспитывать у миллионов советских людей правильное представление о хорошо сшитой, изящной, элегантной одежде.

Между тем в магазинах готового платья наряду с красивыми костюмами и платьями, которые выпускаются пока ещё в небольшом количестве, далеко не достаточном для полного удовлетворения спроса, то и дело наталкиваешься на явную мешанскую безвкусицу, видишь стандартные, неинтересные фасоны.

Вызывает удивление и раздражение покупателей и неряшливая обработка деталей. Если вам повезло найти в магазине хороший мужской костюм именно того цвета, который вы любите, и из такого материала, какой вы хотели, то пуговицы вы уже, наверное, вынуждены будете немедленно спороть с вашей обновки, потому что обычно они ни в коей мере по своему тону не соответствуют цвету приобретённого костюма. И тогда вам предстоят ещё поиски подходящих пуговиц по всем галантерейным магазинам города. А если, к примеру, взять дамские сумки, кстати сказать, очень плохих и мало разнообразных фасонов, то делаются такие сумки неряшливо и безвкусно. Например, как правило, к синей сумке пришивают коричневую подкладку, а к коричневой — чёрную.

Нельзя недооценивать любую «мелочь». Иногда какой-нибудь небольшой штрих, еле заметная деталь — красивая пряжка, пуговка, кармашек — заставляют всё платье или костюм женщины «заиграть», придают ему особую привлекательность, оригинальность, художественную законченность.

Наша государственная промышленность почему-то пренебрегает выпуском отделочных материалов — например, соломки, декоративных шнуров, пряжек, пуговиц, лаков и т. п. Этим и пользуются кустари, ставшие монополистами производства необходимых

«мелочей» отделки: злоупотребляя отсутствием таких товаров в наших магазинах, они искусственно вздувают цены на них.

Следует отметить, что именно культура отделки, внимание к «мелочам» выработки изделий отличает многие заграничные товары, делает их подчас более заманчивыми и заставляет покупателя предпочитать их вещам отечественного производства, хотя последние более добротны и ценны по качеству. Мы всё ещё не уделяем достаточного внимания этим «мелочам» отделки, от которых зачастую и зависит внешний вид вещи, которыми и определяется, «со вкусом» ли она сделана.

Нужно сказать и о том, что многие женщины, имея достаточные материальные возможности, нашивают себе множество нарядов, не обнаруживая при этом хорошего вкуса. Часто возможность приобретать всё новые наряды не развивает требовательного критического отношения к вещи. Появляется много лишних, ненужных вещей. Напротив, нередко можно встретить женщин, которых скромные материальные возможности побуждают взыскательно и очень продуманно выбирать фасон каждого нового платья. Я наблюдал, как девушки-работницы, обладающие хорошим вкусом и хорошо знающие свою внешность, умеют так искусно варьировать и носить, к примеру, одну и ту же косынку или сарафан, платье, что на них невозможно не обратить внимания и не оценить по достоинству их вкус и изобретательность.

Кстати говоря, и платья ведь можно делать таких моделей, которые бы видоизменялись при применении к ним различных деталей отделки, воротничков, пелеринок, поясов. К сожалению, наши швейные фабрики до сих пор почти не выпускают таких очень нужных моделей.

В отношении развития вкуса к предметам одежды важная роль принадлежит не только художникам, но и работникам торговой сети, непосредственно соприкасающимся с потребителями.

Торгующим организациям оказано большое доверие: они имеют право браковать, не принимать от промышленности товары низкого качества, плохо оформленные. К сожалению, далеко не всегда понимая свою большую ответственность в деле воспитания вкуса покупателей, торговые работники идут на поводу у людей с отсталыми вкусами, избегают новинок, руководствуются только деляческими соображениями о ложно понятой конъюнктуре рынка и т. д. Нередко продавцы советуют покупателю приобрести ту или иную явно безвкусную вещь, стараясь сбыть залежавшийся товар, вместо того чтобы с честью выполнять свою миссию проводников и пропагандистов только хорошего товара.

Существенной частью одежды является головной убор. Хорошая шляпа имеет, конечно, большое значение и для мужского туалета. Но особенно важен выбор подходящего головного убора для женщин. Я глубоко убеждён, что шляпа — наиболее «трудный» предмет дамского туалета.

Если задать группе людей, различных по профессии, возрасту, образу жизни, вопрос о том, что можно считать примером хорошего поведения в вопросах морали, мне думается, что принципиальных разногласий в ответах не будет. Но если этих же людей спросить, что они считают примером красоты, то здесь, безусловно, возникнет спор и выявятся различные мнения. У каждого человека — свой вкус, своё представление о том, что следует считать красивым.

К примеру, если спросить нескольких женщин, какой головной убор они считают красивым, то одна ответит, что ей нравится шляпа с полями, другая — без полей, третья предпочитает шляпу с бантом сзади, четвёртая любит береты, а пятая признаёт... «только то, что модно».

Вероятно, каждая из этих женщин уже не однажды испытывала волнующие сомнения и колебания при выборе новой шляпы, не раз советовалась с семьёй, с подругами о том, какая форма шляпы и какой цвет ей больше к лицу. А часто, не умея правильно оценить особенности своей внешности, не обладая сложившимся хорошим вкусом, женщина прислушивается к случайному мнению другой покупательницы, встреченной в магазине, и приобретает совсем не то, что ей нужно. Дома такая неудачная покупка неизбежно служит темой неприятных разговоров, и в конце концов новая дорогая шляпа, сбывав только однажды на голове её владелицы, забрасывается в дальний угол шка-

фа, а на голову снова надевается испытанный и, кстати сказать, очень милый платок или косынка.

К лету в магазинах головных уборов появляется большое количество мужских и дамских соломенных шляп. На всех без исключения мужских шляпах тулья окружены одинаковой чёрной лентой, что делает все шляпы стандартными и неразличимыми. А ведь можно было бы выпустить десятки лент разных оттенков и фактур — это было бы вполне уместно для летнего головного убора и внесло бы большее разнообразие и привлекательность.

А что делают с дамскими летними шляпами? Некоторые артели, исходя из «коммерческих» побуждений, желая удорожить шляпу, украшают соломку тяжёлым плюшем или искусственными цветами в таком количестве, будто это цветочная клумба, а не лёгкий летний головной убор. При этом совершенно не учитывается, что отделку необходимо подбирать по принципу не только известного цветового соответствия, цветовой слаженности, но и фактурной и материальной органической сочетаемости.

Шляпа может резко изменять выражение, даже черты лица человека. Часто приходится видеть женщин, на лице которых написано необычайное смущение, неуверенность: они явно неловко себя чувствуют в шляпах, которые им, действительно, «не идут».

Шляпам, продаваемым в наших магазинах, как правило, придаются почему-то невероятной замысловатые, вычурные формы. В фасонах не хватает вкуса, везде есть тенденция к излишества, к чудовишным нагромождениям каких-то фетровых раструбов и башен или претенциозных бантов. У авторов таких «моделей» явно утеряно чувство меры, ощущение пропорций и приемлемого сочетания цветов. Создаваемым ими дамским головным уборам не хватает простоты и изящества, композиционной цельности. Художникам-модельерам, работающим в этой области, надо упорно совершенствовать культуру своего мастерства, свой вкус.

Воспитанию вкуса советских людей явный вред наносится производством грубо размалёванных косынок и платочков, мешанских диванных «расписных» подушечек, салфеточек, столовых «дорожек», абажуров.

Многим женщинам кажется, что понятие красоты неотделимо от понятия моды. Это — неверное представление. Оно неверно уже потому, что каждая женщина имеет свои, отличные от других, характер, рост, фигуру, цвет волос, цвет глаз, оттенок кожи, особенности движений, и потому естественно, что не может одна и та же мода быть одинаково хороша для худых и полных, маленьких и высоких, тихих и экспансивных, молодых и старых. Мне кажется, что слепое подражание «заграничной» моде, влияние которой иногда переносится к нам с Запада, нивелирует индивидуальность вкуса, парализует у женщин чувство «самостоятельности» и часто прививает ложное понятие о красивом и уродливом.

Вспомните, как быстро и довольно широко распространилась у нас в прошлом году чёрная пятка на чулках. И именно потому, что многие женщины при выборе предметов туалета главным критерием оценки вещей считают только моду, хорошую ли или дурную, но обязательную для себя. И раз уж чёрную пятку одобрили «заправские модницы», так значит все должны следовать их примеру. А ведь «пример» этот — не что иное, как пример типичного буржуазного чудачества. Чёрная чулочная пятка — результат проникновения к нам разлагающих формалистических буржуазных влияний из-за рубежа. Чёрная пятка на чулке уродует форму ноги, делает какой-то нелепый «акцент» там, где его вовсе не должно быть. Чёрная пятка так же «уместна» на ноге, как румянец на носу.

Вся наша советская культура направлена на то, чтобы привить народу верное понимание явлений жизни, правильное суждение о плохом и хорошем, о красивом и некрасивом.

Советские женщины должны проявлять большую самостоятельность в выборе предметов одежды, их манера одеваться должна соответствовать культурному уровню советского общества, требованиям строгого хорошего вкуса, условиям жизни и времени.

Нашему журналу мод следовало бы, кроме репродукций фасонов платья, публиковать и статьи, которые способствовали бы развитию вкуса и ориентировали широкие круги населения на правильное понимание красоты и изящества применительно к одежде.

## ДЕТЯМ — БОЛЬШЕ ВНИМАНИЯ

С первых дней своей жизни ребёнок начинает знакомиться с удивительным миром вещей, с различными предметами окружающей его обстановки. Во многом ещё непонятный ребёнку, этот мир предстаёт перед ним во всём многообразии своих красок, форм, звуков. Какими же качествами должны обладать вещи, которым мы доверяем производить первые впечатления, первое воздействие на чувство ребёнка — на его зрение, на его осязание?

Вокруг ребёнка всё должно быть ярко, красочно, жизнерадостно, светло, красиво. Ведь первые детские впечатления, часто незаметно для нас самих, оказывают огромное влияние на формирующуюся психику человека, налагают определённый отпечаток на его сознание, на его эстетическое восприятие действительности. Между тем далеко не все вещи и игрушки, выпускаемые нашей промышленностью и предназначенные для ребёнка, могут удовлетворить нас своим внешним видом, формой, окраской, отделкой.

В раннем детстве ребёнок прежде всего воспринимает в окружающих его предметах цвет. Внимание детей всегда привлекают яркие, сочные цвета: красный, зелёный, синий, жёлтый. Дайте ребёнку самую занимательную игрушку, но если она окрашена в чёрный цвет, он её скоро бросит. В московском магазине «Детский мир» я видел чёрный сатиновый костюмчик (рубашка и штанишки) для... годовалого ребёнка! Создатели этого «шедевра», видимо, мало думали о потребностях малыша и об особенностях его возраста. Ну разве мыслимо одеть годовалого ребёнка в чёрное? Только очень равнодушные люди, не любящие детей, не заботящиеся о них, могли шить для ребят одежду чёрного цвета.

Беден в наших магазинах и ассортимент детских вязаных шерстяных изделий. Почти всё это вещи грубошерстные, сделанные без всякой выдумки и тщательности. А между тем из мягкой шерсти ярких цветов и различных оттенков можно сделать столько красивых и разнообразных кофточек, джемперов, свитеров, костюмчиков! Но для этого надо не только окрасить шерстяные нитки в яркие, привлекательные тона, но и добиться, чтобы качество шерсти было значительно выше, чтобы она была мягче, шелковистее.

Много заботливого внимания, горячей заинтересованности, творческой фантазии должны проявлять все те, кто создаёт вещи для детей, чтобы ребята в нашей стране были одеты со вкусом, нарядно и красиво.

Заметили ли вы, какой выбор детских головных уборов предложили магазины к весенне-летнему сезону? Больше уродство и убожество трудно себе представить! Ленинградская фабрика имени Самойловой, артель «Прогресс» буквально наводнили магазины капорами для девочек. Капоры эти были сделаны безобразно, из грубого фетра каких-то грязномалиновых и зелёных оттенков.

Подобные вещи не только уродуют внешний облик ребёнка, они портят его вкус. Если девочки пяти—семи лет, для которых предназначены эти капоры, привыкают к столь грубым и неказистым предметам своего туалета, то с течением времени у них постепенно складывается ложное представление об истинной красоте и изяществе, возникает убеждение, что именно такие привычные для них вещи привлекательны и красивы. Так формируется неприятный, изуродованный, дурной вкус.

Но если руководители фабрик или артелей, выпускающих детские вещи, думают только о формальном выполнении плана, не заботясь о существе дела, то что уж тут говорить об эстетических задачах!

У меня есть маленький сынишка. Купили ему погремушку, обыкновенную погремушку с тремя пластмассовыми шариками, нанизанными на маленький пластмассовый обруч. Через некоторое время я стал замечать, что погремушка издаёт не только треск, как ей и полагается, но и... весьма неприятный запах. Вскрыл я пластмассовые шарики, а внутри них, оказывается, насыпан... обыкновенный горох, который и начал загнивать. Спрашивается: о чём думали хитроумные создатели этой игрушки, начиная её горохом? Во всяком случае, не любовь и внимание к детям руководили ими.

Кондитерские фабрики выпускают фигурный шоколад: мальчиков, девочек, собачек и даже сюрпризный торт, наверху которого водружена детская коляска с лежащими в

ней близнецами. Торт выглядит очень «помпезно». Но неужели нельзя ограничиться шоколадными шарами, звёздочками, рыбками, зайчиками и т. д.? Неужели нельзя не делать шоколадных мальчиков и девочек, которым дети вынуждены потом с удовольствием отламывать руки, ноги, головы и, таким образом, заниматься «людоедством»? Подобные «сюрпризы» кондитерских фабрик противоречат элементарному эстетическому воспитанию.

Брожу я вдоль прилавков отдела игрушек Центрального универмага Мосторга, и мне делается тоскливо и грустно. Казалось бы, наоборот: игрушки должны вызывать **жизнерадостную улыбку** даже у взрослых. Да, бывают такие игрушки, которые забавляют, увлекают и взрослых: начинаешь жалеть, что тебе не пять лет и что неудобно солидному «дяде» поиграть с какой-нибудь яркой, заманчиво-соблазнительной игрушкой. Но, увы, таких занятых, интересных игрушек очень мало. Взгляд скользит по полкам, сплошь уставленным игрушками, и то и дело натывается на однообразных, одинаковых кукол, лица которых совершенно бесцветны, волосы у всех одного и того же соломенного цвета, руки и ноги бесформенны, как будто бедные куклы все до одной безнадёжно болны водянякой. Страшно, наверное, девочкам играть с такими куклами!

Скуку навешают и мишки — все на одно лицо. Московская фабрика «Игрушка» выпустила сделанных из чёрного плюша зловещих кошечек и траурного вида мишек. Они плохи не только тем, что уныло одинаковы и мрачны по колориту. По своему «жанру» они относятся к типу так называемой мягкой игрушки. Но ничего мягкого, кроме плюшевой оболочки, в этих игрушечных животных нет: они тверды, не эластичны, не гибки — они не «живые», не «уютные», не «ласковые». А ведь для ребёнка самое важное и привлекательное в такой «мягкой» игрушке, изображающей кота или мишку, именно то, что можно обнять, потискать любимого «зверя», посадить его к себе на колени, уложить спать в кукельную кроватку или усадить за игрушечный столик. Но для всех этих разнообразных и бесконечно милых сердцу ребёнка манипуляций необходимо, чтобы плюшевый мишка был более «податлив» по своей фактуре: тогда он может в любой позе выглядеть естественно, живо, реально. Если же «тело» его ощущается ребёнком только как туго набитый опилками чёрный плюшевый мешок, а лапы — как твёрдые, негнущиеся палки, иллюзия жизни, иллюзия реальности мохнатого, ласкового существа исчезает бесследно. А с ней исчезает и художественное качество игрушки, её эстетические свойства. Многие игрушки вызывают грубые, неэстетические чувства. Возьмём, к примеру, игрушку, широко распространённую сейчас, — «курочка несёт яички». Действие её заключается в том, что ребёнок должен опускать в чрево курицы до пяти шариков (яиц), а затем надавливать на неё, и при нажиме у курицы выпадают эти шарики. Типичная американская игрушка, рассчитанная на грубый, вульгарный смех.

Каждую игру и игрушку нужно как следует «редактировать», не допуская, чтобы в руки нашему ребёнку попадали игры антиэстетические, развращающие его вкус.

### «ЛИЦО» МАГАЗИНА

Представим себе, насколько беднее, скучнее выглядел бы современный город, если бы его внешний облик не украшали нарядные витрины магазинов, пёстрые вывески и афиши, сияющие над домами неоновые надписи реклам.

Известно, что любая улица капиталистического города глушит прохожего истерическим криком своих реклам, движущихся, мигающих световых установок, стремящихся перекричать друг друга, создающих безалаберность света и цвета.

Такой рекламный принцип, или, точнее, рекламная беспринципность, безусловно, не к лицу нашему городу.

Однако отсутствие единого руководства в рекламно-оформительском деле часто и на наших улицах приводит к несуразной пестроте. Улицам не хватает цельности, живописного единства архитектурных форм, продуманности освещения, рекламной целесообразности и вывесочного разнообразия. К примеру, взять вывески прачечных. Казалось бы, они должны быть белоснежны, словно накрахмаленные, а они — чёрные, с серебряным шрифтом и ничем не отличаются от любой учрежденческой вывески. Множество мастерских, комбинатов, занимающихся выполнением рекламных и вывесочных работ,

слишком налегает на золотую и серебряную патель и бронзу, не разрабатывая шрифтовое и фоновое разнообразие. Всё больше и больше на улицах города появляется вечерней световой рекламы; она заняла многие крыши и фронтоны домов. В вечернем небе такой вид рекламы очень ярк и потому требует ещё более серьёзного и строгого продумывания темы и рисунка, ещё более строгой согласованности с местом её применения.

На площадях и улицах Москвы не всегда удачно выбрано место световых реклам. Так, возле памятника Тимирязеву (у Никитских ворот) установлены три световые рекламы: «Пейте томатный сок!», «Пейте лимонад!» и.. «Не забудьте застраховаться».

Таким образом строгий гранит памятника Тимирязеву попал в совершенно неподходящую световую окраску. То же самое можно сказать и о площадях: Белорусской, Пушкина, Арбатской и других. Там, где есть памятники нашим великим писателям, там к месту реклама книжной торговли, реклама театров, но не котлет, куриного желе и шампанского.

Кстати говоря, и сама рекламная установка должна быть оригинальна и красива, и если этим требованиям отвечает реклама мороженого, то реклама крема на Трубной площади поражает прохожих безвкусицей своих «кроватных» завитушек.

Хочется отдельно сказать и об использовании в рекламной и плакатной работе красного цвета. Мы часто злоупотребляем этим цветом, лишая его необыкновенности значения, значения нашего знамени — символа. Мы часто пишем лозунги: «Увеличим поголовье коров» — на красном цвете, «Привет лучшим поварам» — на красном цвете и т. д. Этим красный цвет становится надоедливый, бытовым, однообразным. Мне кажется, что больший порядок в рекламе и оформлении города установится тогда, когда руководство всем этим делом будет сосредоточено в одном месте и возглавлено квалифицированными людьми, главным художником города, так же как существуют сейчас главные архитекторы городов.

Определяя цели и задачи советской торговой рекламы, А. И. Микоян сказал в своём докладе на Всесоюзном совещании торговых работников: «Задачи нашей советской рекламы состоят в том, чтобы, сообщая народу точные знания о товарах, помогать созданию нового спроса, воспитывать новые вкусы и потребности, пропагандировать новые товары, разъяснять способы их потребления».

Реклама должна направлять интерес людей к тем или иным товарам. Но, являясь неотъемлемым элементом внешнего оформления города, она должна воспитывать и художественные вкусы населения, соответствовать эстетическим потребностям советского человека.

Витрины магазинов обращены к непрерывно движущемуся людскому потоку. Поэтому они должны наряжать улицу в яркие, привлекательные цвета, должны быть всегда свежи, интересны и не надоедливы.

Обладают ли этими свойствами витрины наших магазинов?

За последние годы заметно улучшилось художественное оформление торговых витрин. Но хорошо, со вкусом оформленные витрины, к сожалению, ещё далеко не стали частым явлением на наших улицах даже в таких городах, как Москва, Ленинград, Киев. В большинстве своём оформление витрин по художественным качествам пока не удовлетворяет предъявляемым к ним требованиям.

Миллионы рублей тратятся на оформление и организацию торговой рекламы, но расходуются эти средства зачастую непроизводительно. Нашей рекламе не хватает изобразительности, остроумия, простоты мысли и изящества.

В большинстве случаев к оформлению витрин привлекаются специалисты-художники. Но, повидимому, в этой области подвизается ещё и немало разных халтурщиков и дельцов, лишённых не только специальной подготовки, но и хорошего вкуса и элементарной добросовестности. Посмотрите, например, что сделано художниками за очень длительный срок подготовки к открытию московского ГУМа. Наряду с квалифицированными, талантливыми художниками к работе по оформлению помещений крупнейшего в Союзе магазина пробралась десятки невежд, которые всеми правдами и неправдами добивались заключения с ними договоров. А потом эти безграмотные ремесленники, выдавая каждую гнутую линию и лепной завиток за оригинальные проявления своей творческой фантазии, понаделали старорежимные аптекарские орнаменты на стёклах дверей

и окон, понастроили зеркальные потолки, скопированные со старомодного купеческого ресторана «Савой».

Такие же горе-специалисты часто оформляют витрины магазинов «небоскрёбами» из консервных банок или папиросных коробок, тащат на витрины газовые плиты и целые санитарные узлы. Другие «художники-оформители» заваливают окно витрины обрубками муляжного мяса, вызывающими отвращение. Государство платит этим «оформителям» огромные деньги, а руководящие художественные организации молчат и попустительствуют распространению халтуры.

Конечно, на витрине продовольственного магазина целесообразно выставлять муляжи, а не настоящие продукты. Но эти муляжи должны быть сделаны художественно-убедительно, они должны выглядеть привлекательно, «вкусно».

Мне вспоминается такой случай. В годы войны я с женой пошёл в гости к друзьям. Время было трудное, в продуктах питания ощущался недостаток, и самые радушные хозяева могли предложить своим гостям только, как говорится, «что бог послал», а гости, в свою очередь, не могли предъявлять по этому поводу никаких претензий.

Скромно угощали нас хозяева дома. Но на буфете, в красивой вазе, лежали чудесные яблоки «апорт» — в те дни это было необыкновенной диковинкой. Мы невольно поглядывали на яблоки, и нам казалось даже, что по комнате распространяется чарующий аромат свежести... Однако хозяева и не думали угощать нас яблоками. Так мы и ушли, очень разочарованные, почувствовав даже некоторую обиду на друзей: уж если не хотели угощать, так нечего было выставлять фрукты напоказ. Нетактично, некрасиво!

Через несколько дней, встретив хозяина дома, в котором мы были, я выяснил, что виденные нами яблоки не настоящие, а... муляжные.

Вот таким должен быть муляж — художественным произведением, искусно воспроизводящим натуру, а не грубо размалёванным обрубком, отталкивающим своей искусственностью и неаппетитным видом.

Несколько слов хочется сказать о «золотых уродах», населяющих витрины магазинов готового платья. Я имею в виду манекены. Дело не в том, что у всех у них, скажем, одинаковые носы или одинаковые глупые улыбки. Главное зло заключается в том, что почти всем манекенам приданы неуклюжие позы, у них неестественный поворот головы, неловко растопырены руки. А ведь манекен только тогда хорош, только тогда платье на нём «смотрится» и имеет привлекательный вид, когда все линии фигуры и поза естественны, изящны, соответствуют движениям человека. Тогда и платье на нём выглядит элегантно, живо, естественно, а не висит безжизненно, как на вешалке.

Витрины должны украшать улицу и привлекать внимание зрителя-покупателя. Красиво оформленная витрина должна не только рекламировать предлагаемый товар, но и прививать покупателям хороший вкус.

## РЕШАЮТ КАДРЫ

В связи с осуществляемым партией и правительством крутым подъёмом производства товаров широкого потребления и повышением их качества и внешней отделки с особой остротой встаёт вопрос о подготовке новых квалифицированных кадров художников прикладного искусства. Необходимо усилить внимание и к народным художественным промыслам, к деятельности искусных мастеров Палеха, Мстеры, Холуя, Федоскина и других центров художественных промыслов, где создаются великолепные образцы народного искусства, бытовые художественные миниатюры, посуда, кружева, игрушки, вышивки, резные изделия из кости и дерева.

В Москве существует Высшее художественно-промышленное училище (бывшее Строгановское), которое призвано выпускать квалифицированных художников прикладного искусства. Но училище это во многом дублирует наши художественные институты и в то же время не выполняет своего прямого назначения: готовить художников-прикладников для промышленности.

Известно, что Строгановское училище ранее готовило художников-прикладников по сорока восьми специальностям (живописцы по фарфору, по стеклу, переплётчики, грампильщики, лепщики, гравировщики и т. д. и т. п.). В настоящее время Высшее худо-

жественно-промышленное училище подготавливает кадры, насколько мне известно, всего по пяти видам художественных специальностей, а этого, безусловно, недостаточно.

В системе Министерства государственных трудовых резервов в 1945 году было шестьдесят художественных ремесленных училищ. К сожалению, в настоящее время их осталось всего двенадцать.

Такое положение никак не соответствует задачам стремительного развития нашей лёгкой промышленности. А ведь ясно, что соответственно с ростом промышленности товаров народного потребления должны систематически подготавливаться и кадры мастеров художественных изделий по различным отраслям народного хозяйства.

Резкое сокращение количества художественных ремесленных училищ часто пытаются объяснить тем, что готовившиеся ими кадры якобы некуда было «девать», что в них будто бы «не ощущалось нужды». Но в то же время во многих отраслях народного хозяйства, где нужны знания и творческие навыки квалифицированного художника, нередко подвизаются неучи, случайные люди, калечащие вкусы советских людей.

Московский текстильный институт выпускает художников по текстилю, однако до сих пор никто не заботится о подготовке кадров колористов. А ведь именно от колористов главным образом и зависит внешний вид ткани, её расцветка. У нас же колористами зачастую становятся люди без всяких художественных навыков, которые, конечно, необходимы при колористическом решении расцветки тканей. Кадров опытных колористов становится всё меньше, но никто не заботится о подготовке новых специалистов-колористов, которые наряду со знанием производства имели бы художественное образование.

Если бы наши художественные организации своевременно и с должной ответственностью решали вопросы, связанные с участием художника в работе промышленности, в оформлении быта народа, мы с гораздо большим успехом могли бы бороться с безвкусицей.

К сожалению, однако, ни Министерство культуры СССР, ни руководящие художественные организации не занимаются вплотную проблемами подготовки кадров художников прикладного искусства. В системе Министерства культуры до последнего времени даже не существовало штатной должности инспектора по народным художественным промыслам, а во многих главных управлениях Министерства промышленности товаров широкого потребления нет должности главного художника.

Наконец, необходимо подумать и об укомплектовании артелей, выпускающих художественные изделия, квалифицированными специалистами-художниками, а не случайными людьми, неспособными к созданию красивых, изящных вещей, отвечающих требованиям подлинно хорошего вкуса.

Процесс воспитания вкуса — процесс длительный и постепенный, формирование вкуса начинается с самого раннего детства. В связи с этим необходимо, мне кажется, пересмотреть и вопрос об изучении изобразительного искусства в школах и вопрос о роли средней школы в эстетическом воспитании ребёнка.

Преподаванию в школах такого предмета, как рисование, уделяется, по-моему, недостаточно внимания и учебных часов. Между тем рисование способствует не только развитию непосредственно художественных навыков у ребёнка, но прививает ему вкус к эстетическому восприятию действительности, любовь к настоящей красоте, к правдивому, реалистическому изображению окружающей жизни.

Школа имеет очень широкие возможности в течение ряда лет воздействовать на формирование эстетических навыков и склонностей ребёнка, и эту её роль нельзя недооценивать. Воспитатели и педагоги должны в гораздо большей степени, чем до сих пор, уделять внимание воспитанию в детях опрятности и аккуратности в одежде, в обращении школьника с предметами домашнего и школьного обихода. Привычка к опрятности и аккуратности, внимание к внешнему облику развивают внутреннюю дисциплину ребёнка. Очень интересной мне показалась опубликованная некоторое время тому назад в «Комсомольской правде» статья директора 62-й женской средней школы г. Запорожье Е. И. Лови — «Прививать вкус к подлинно красивому».



«Однажды мне пришлось видеть,—говорилось в этой статье,— как у здания школы остановилась женщина и стала предлагать школьницам аляповатые открытки с намаляванными голубками и слащаво улыбающимися лицами. Группа девочек окружила продавщицу пошлых изделий. Сценка эта меня глубоко взволновала. Мне стало стыдно, что среди учениц нашей школы нашлись такие, которым понравились эти нелепые, безвкусно исполненные открытки. Не мы ли, педагоги и воспитатели, ответственны за то, что дети, пробывшие в школе семь или десять лет, не научились отличать истинную красоту от поддельной? Эстетическое воспитание школьников должно быть неотъемлемым элементом всего учебного процесса».

Если бы этот взгляд разделяли все педагоги наших школ и в своей педагогической практике действительно занимались бы эстетическим воспитанием своих учеников, то из стен школы выходили бы юноши и девушки с развитым хорошим вкусом, соответствующим передовому мировоззрению советского человека.

Советское искусство должно активно вторгаться в жизнь. Только отвечая духовным и материальным потребностям народа, его требованиям и чаяниям, искусство сможет решать те ответственные творческие задачи, которые выдвигает перед нами великая эпоха строительства коммунизма. Забота партии и правительства об обеспечении дальнейшего роста материального благосостояния рабочих, колхозников, интеллигенции — всех советских людей обязывает и деятелей советского искусства принять энергичное творческое участие в достижении этой благородной цели. Способствовать тому, чтобы жизнь советского человека, его быт были обставлены красиво, радостно, гармонично; являться воспитателем эстетического вкуса советских людей; быть непримиримым врагом всякой безвкусицы, пошлости и рутины — вот прямые и почетные задачи советского художника.

Скоро должен состояться Всесоюзный съезд советских художников. Мы, художники, и наши руководящие художественные организации — Академия художеств СССР, Оргкомитет Союза советских художников СССР, Главное управление изобразительных искусств Министерства культуры СССР — должны, мне кажется, принять меры к тому, чтобы на предстоящем съезде наряду с другими вопросами искусства были обсуждены и проблемы участия художников в работе легкой промышленности, в оформлении быта советских людей, в повышении эстетического уровня всей нашей жизни.



---

---

# ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Р. ОСТРОВСКАЯ

★

## ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О НИКОЛАЕ ОСТРОВСКОМ

**Н**овороссийск. 1926 год. Осеннее солнце поднимается над железнодорожным вокзалом. Зыбкие тени облетающих деревьев дрожат на белых стенах. На дорожках привокзального сквера шуршат под ногами сухие стручки акации.

День обещает быть не по-осеннему жарким. Солнце уже припекло асфальт, оно прыгает зайчиками в окнах пустых вагонов и, отражённое в накатанных рельсах, бежит рядом с маневрирующими составами.

Сегодня должен приехать из санатория Николай Островский. Мы знаем из писем его матери, Ольги Осиповны, что он очень болен и нуждается в продолжительном отдыхе. Я и моя сестра никогда не видели Николая, но много слышали о нём.

На вокзал мы пришли задолго до прихода поезда и вот теперь ждём с нетерпением...

Наконец поезд подходит и — останавливается.

В дверях жёсткого вагона показался Николай. Он высок, худощав. На нём серый, чуть мешковатый костюм. В правой руке он держит палку. Глаза его, чёрные, блестящие, видимо, отыскивают в толпе знакомую группу. А ветер треплет тёмные густые волосы...

Подшли к Шоссейной улице, которая ничем не отличается от сотен подобных ей в Новороссийске: одинаковые одноэтажные каменные дома с зелёными палисадничками. Узкие мощёные тротуары. Разбитая колёсами булыжная мостовая. Шпалеры невысоких акаций.

На углу улицы — небольшой кирпичный дом. Покривившиеся, но ещё не ветхие ворота. Калитка с кольцом и красный забор, через который перегибаются ветви растущих во дворе акаций.

Никто из нас не знал тогда, что именно здесь, в этом небольшом красном домике, суровая болезнь навсегда свалит Николая в постель.

Нашу семью можно было отнести к разряду типичных провинциальных семейств, с определёнными, несколько мещанскими традициями, раз навсегда установленным течением жизни.

Николай с первого взгляда понял, как и чем мы живём, и тут же прямо сказал о том, что опасно остаться пассивными свидетелями большой и кипучей жизни.

— Нужно, — говорил он мне, — не созерцать, как растёт кирпич за кирпичом дворец нашего счастья. Вы не могли делать революцию, это сделали за вас старшие товарищи, но у вас другие задачи, и задачи большие. Пусть и ваши руки будут по локоть измазаны цементом и глиной, иначе в доме, построенном не вашими руками, вам будет холодно и стыдно.

Отдыхать Николай совершенно не умел. Целыми днями бродил по городу, приглядываясь к людям. Много читал. Книги в городской библиотеке менял через каждые два-три дня.

Неоднократно заходил в районный комитет комсомола с просьбой прикрепить к нему группу молодёжи для политзанятий. Товарищи из райкома советовали ему отдыхать, лечиться и не думать о работе.

Однажды я зашла в комнату Николая и заметила, что настроение у него подавленное. На вопрос, что случилось, он ответил:

— Ужасного ничего не случилось. Просто надоели мне ноги, которые отказываются служить, надоела пенсионная книжка, которая залежалась в кармане и жжёт огнём, надоели одни и те же слова: отдохни, подлечись. Как люди не поймут простой вещи, что у меня в груди бьётся сердце, которому только двадцать два года!

Прошло две недели. Болезнь брала своё. Всё чаще и чаще Николая пронзала острая боль в суставах. В его чёрных и глубоких глазах улёгся нехороший сухой гонёк.

Вечерами, если мы не бродили по городу, Николай всегда был дома. Но однажды он не вышел к ужину. Я постучала в дверь его комнаты. Мне никто не ответил. Приоткрыв дверь, я увидела, что комната пуста. Мною овладело беспокойство. Были глубокие сумерки. Николай уже не мог сидеть во дворе с книгой. Я вышла на улицу. С моря дул свежий востер. Долго и пристально вглядывалась я в темнеющую улицу. Старалась не думать о том, о чём думалось против воли: подавленное состояние Николая все эти последние дни.

Наши уснули. Я много раз выходила за калитку. На востоке уже слабо намечался белёсый предрассвет. Пошёл третий час ночи. И вдруг я услышала знакомые шаги у веранды. Выскочила во двор и столкнулась с Николаем.

Усталый, но взволнованный, он рассказал мне о том, что вечером побывал на собрании городского партактива в клубе имени Демьяна Бедного. Выступал там.

Когда окончилось собрание и участники его стали расходиться, Николай медленно побрёл домой. Не зная города, он направился в противоположную от дома сторону. Итти было трудно, болели ноги, мешали костыли. Дошёл до берега моря. Сел на скамейку сквера у здания райкома партии и устроил заседание «политбюро» со своим «я», на котором стоял вопрос о «предательском поведении тела».

Этот вечер и размышления Островского о предавшем его теле вошли в книгу «Как закалялась сталь». На страницах книги Павел задаёт себе вопрос: что делать и как жить, когда тело отказывается служить? Расстрелять его? Эти размышления заканчиваются словами:

— Умей жить и тогда, когда жизнь становится невыносимой. Сделай её полезной. Так решил Павел Корчагин. Такое же решение вынес и Николай Островский.

Опираясь на костыли, медленно идёт со мной Николай по улице Советов.

— Впервые в жизни годовщину Октября встречаю неорганизованно.

В этот день с восьми часов утра улицы зацвели кумачом и яркими транспарантами. Подошли к Мартиновской улице. Здесь колонны демонстрантов сворачивали на площадь.

Над тысячами голов мерно раскачиваются знамёна. Проходят рабочие цементного завода. Впереди—старые кадровики, сражавшиеся за революцию. Их лица серьёзны и сосредоточены, шаг чёткий и твёрдый. За ними — молодёжь. Я взглянула на Николая. Лицо его оживилось при виде голубых и сиреневых маек. Колонна молодёжи допевала бодрую праздничную песню. Когда замолкли голоса, Николай не выдержал, приостановился и звонким высоким тенором закричал с тротуара:

— Да здравствует девятая годовщина Октябрьской революции! Да здравствует Ленинский комсомол! Ура!!!

— У-ра-а-а! — дружно подхватили комсомольцы и, подтягиваясь, почти бегом прошли мимо.

Чей-то молодой, сильный голос начал новую запевку. Ребята подхватили, и весёлая песня поплыла над морем голов вместе со знамёнами.

Николай провожал глазами колонну и улыбался.  
— Это сама жизнь поёт.

Да, Николай совсем не умел отдыхать и дошёл до того, что стал планировать свой отдых. А когда мы протестовали, он возражал:

— Самым дорогим для меня всегда было время. Я его, как самое дорогое, с радостью, до капли отдавал работе, а вот теперь вдруг мне вместе с инвалидной книжкой вернули весь мой вклад, и я одинолично стал хозяином своего времени. Поневоле растеряешься.

Николай составил расписание дня. Не помню точно, в какой последовательности шли отдельные пункты, но в расписании значилось:

Чтение серьёзной литературы.

Чтение художественной литературы.

Писание писем.

Политзанятия с Раей.

Политзанятия с собой.

Прогулка.

И, между прочим, особняком стояло: «Потерянное время». Под «потерянным» временем подразумевались завтрак, чай, отдых без книг, обед, ужин.

Наступила зима 1926 года.

За окном стонет и бушует норд-ост. Снег не падает, а осатанело крутится, летит куда-то мимо окон. Холодно...

Запомнилось 25 декабря. Вечером собрались к столу. Были гости — мать Николая, Ольга Осиповна, приехавшая из Москвы, Марта Буринь (выведенная в романе «Как закалялась сталь» под фамилией Лауринь). Ольга Осиповна разливала чай. Николай задержался у себя в комнате. А когда его высокая фигура на костылях показалась в дверях, я была поражена бледностью его лица.

— Тебе плохо, Коля, ложись, я подам ужин в постель, — сказала я.

— Нет, ничего, сейчас пройдёт, — ответил он и, беспомощно взмахнув рукой, словно хотел ухватиться за воздух, повалился... Его успели подхватить, бережно уложили в постель. Несколько минут он был в бессознательном состоянии.

С этого дня болезнь резко пошла на ухудшение.

Со сжатыми зубами, подавляя огненные приступы боли, неподвижно лежал Николай на спине. Лицо его оживлялось редко и ненадолго.

Просторная комната залита солнечным светом. Николай лежит в постели, голова его покоится на высоко взбитых подушках. Рядом на столе — стопка журналов и книг.

У Николая сидит заведующий портовой библиотекой Дмитрий Хоруженко. Раньше он не был знаком с Николаем, но услышал о нём, о его болезни и, побуждаемый чувством партийно-товарищеского долга, пришёл с предложением приносить книги на дом.

Николай несказанно обрадовался.

— Замечательно! Значит, я буду подшефным читателем? Лучшего для меня и быть ничего не может. Тащи книги, Митя! Тащи, сколько можно!

Николай разговаривал с Хоруженко первый раз в жизни, но он уже звал его Митей и говорил ему «ты». Они быстро сошлись.

— По возможности, я буду сам носить книги, — сказал Дмитрий, — а в тех случаях, когда не смогу, pošлю с товарищами.

— Да, да, и сам заходи и посылай комсомольцев. Я всегда рад видеть людей. Если у кого из ребят есть музыкальные инструменты, пусть притащат.

— Какие книги тебе нужны в первую очередь? — спросил Хоруженко.

— Из нашей литературы носи всё. Я сам выберу. Горького, Новикова-Прибоя, Серафимовича, Лавренёва, Свирского, Фурманова, — я всё это должен перечитать. Классиков тоже.

— А переводную литературу тоже давать?

— А вот насчёт переводной, — сказал Николай, — очень бы хорошо сделать так: ты будешь подбирать отдельно французских классиков, немецких, английских. Понимаешь, я с ними не очень-то знаком, так чтобы система определённая была в чтении.

Потом заговорили о международных и внутренних событиях, о комсомоле, о XIV партсъезде, стенографический отчёт которого Николай просил обязательно принести.

Николай, обрадовавшись свежему человеку, говорил жадно и много. Он торопился поделиться своими мыслями о прочитанном в газетах, мыслей было много, он волновался и на минуту умолкал, смущённо улыбаясь и вытирая влажный лоб.

Глядя на него, Хоруженко сказал:

— Когда я шёл к тебе, то ожидал встретить скорбный взгляд страдающего человека, и уж, конечно, мне чудился запах лекарств.

— Уж, конечно, — весело, в тон добавил Николай, — ожидал услышать просьбу прислать какие-нибудь романчики специально для постельного чтения. Ну, признайся, думал ведь? А?..

На прощание ещё раз напомнил:

— Ну, буду ждать книг, Митя. И побольше. Насчёт подбора иностранных классиков не забудь.

На другой день стали поступать стопы перевязанных бечёвкой книг. Николай их поглощал с удивительной быстротой: за чтением книг он проводил целые дни, а часто и ночи. Трудно было его оторвать. Читал запоем.

Принесённой стопы книг в 20—30 экземпляров ему хватало на 5—7 дней. Когда я спрашивала, каким образом он умудряется проглатывать такое огромное количество книг, Николай улыбался.

— Надо пользоваться собственным простым, Рая, поднакопить багаж. А почему так быстро? Так ведь я изголодался.

Сначала книги, выдаваемые ему, записывались в читательский формуляр. Но формуляр так быстро разбух от вклеенных дополнительных листков, что библиотечное правило пришлось нарушить: стали записывать общее число книг просто цифрой.

Особенно внимательно читал он художественную литературу, отображающую гражданскую войну, документы, очерки, мемуары об империалистической войне и фантастические повести о войнах будущего.

Из поэтов любил Пушкина, Некрасова, Маяковского. Отрывки из поэмы «Ленин», стихотворение «Паспорт» знал наизусть и часто повторял их. (Замечу в скобках, что много позже смерть Маяковского тяжёлым камнем легла на сердце Николая. Он любил его. Но долго не мог простить Маяковскому того, что он добровольно ушёл из жизни.)

Классиков русской литературы он изучал очень настойчиво, в особенности Горького. Часто после прочтения того или иного произведения, просил принести критическую литературу о нём.

С большим интересом он читал Виктора Гюго, Золя, Бальзака, Теодора Драйзера.

Для чтения научно-популярных журналов и публицистики отводилось определённое время — два с половиной часа в день.

Длинные зимние вечера мы проводили у постели Николая, слушали его захватывающие рассказы о недалёком прошлом.

Рассказывал он просто и увлекательно. И часто, если бы не опасения, что рассказывание утомляет его, мы, вероятно, требовали бы от него всё новых и новых воспоминаний. Тогда я впервые услышала о тех эпизодах, которые впоследствии составили ткань его книг. Он говорил нам о гражданской войне и интервенции, о борьбе с бандами, о строительстве узкоколейки, о съезде комсомола в Москве. При этом он никогда не называл своего имени, а рассказывал так, словно тот или иной случай произошёл с одним из его друзей, и, только закончив изложение эпизода, а иногда и на следующий день, открывал нам своё имя. Мы возмущались.

— Почему же ты не сказал нам сразу, что это произошло именно с тобой?

— Просто как-то невольно сдерживаешься. Скажете, что хвастаюсь. А кроме того, не назвав себя, я могу как бы со стороны наблюдать, как воспринимаются действия героя. А то, зная, что герой я, вы, пожалуй, отнеслись бы к нему пристрастно.

Позднее, в период работы над романом «Как закалялась сталь», он напомнил мне об этом.

— Ты знаешь, я тогда следил за вашим отношением ко всем эпизодам, и у меня зрела мысль составить из них связную повесть для нашей молодёжи. И насколько волнующей могла бы стать эта повесть, я старался угадать по вашим лицам.

Кроме умения образно рассказывать о чём-либо, он обладал способностью вкладывать в рассказ столько чувства и теплоты, что действие его рассказов на слушателей было особенно значительным. Непередаваемая любовь и преданность сквозили в его рассказах о славных подвигах Будённого, Котовского.

Сама его жизнь, жизнь активного участника гражданской войны, была полна героической борьбы за Советскую родину. Он говорил с исключительной страстью, вновь переживал минувшие дни своей жизни, забывая о своей личной трагедии.

...И мы могли слушать его часами, не отрывая глаз от его разгорячённого лица.

В доме стали бывать новые люди. Приходили партийные друзья. Часто обсуждались события на Дальнем Востоке. В Китае в этот период шла жестокая революционная борьба. Над кроватью Николая висела большая, подробная карта Китая с красными и белыми флажками, отмечавшими линии фронтов. Каждый день по сводкам газет Николай сам перекалывал флажки, а если чувствовал себя плохо, просил это делать меня.

— Карту Китая я знаю наизусть... Китай занимает очень много места в моих мечтах... — говорил он несколько лет спустя.

На досуге Николай играл в шахматы. Ими он увлекался давно. Хитрые комбинации боя на шахматной доске. Борьба за пешку, борьба за преимущество, борьба за выигрыш. А в борьбе Николай — в своей стихии. Он не мыслил себе отдыха без какого-либо волевого напряжения мысли, и когда его заставляли сторваться от книги, он брался за шахматы и клялся, что это для него самый лучший отдых.

С помощью друзей была осуществлена давнишняя мечта Николая — поставили радиоприёмник.

Московскую станцию было слышно хорошо. В часы, когда передавалась музыка, Николай нередко откладывал книги и, закрыв глаза, с наслаждением слушал концерты.

В определённые часы, со строгой аккуратностью он слушал лекции I-го курса заочного комуниверситета. Тщательно конспектировал лекции и изучал рекомендованную литературу, главным образом первоисточники — произведения Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина.

Учёба была на первом месте. В эти часы никакие занятия не могли его отвлечь.

Так проходила зима.

Весной Николаю стало хуже. Болезнь обострялась. По утрам мы видели его распухшие губы и знали, что это следы отчаянных ночных схваток с приступами нечеловеческой боли.

Надо лечиться.

Узнали, что в «Горячем ключе», близ Краснодара, серные ванны делают чудеса с ревматиками. «Горячий ключ» расположен от Краснодара в 60 километрах.

Был ослепительный весенний день. Небо казалось особенно высоким и синим, а тени от деревьев и домов — резкими, чёрными. Акации отцветали и засыпали панель и мостовую жёлто-белой пылью. У нашего дома стоит извозчик, он ждёт уже довольно долго и, пригретый солнцем, клюёт носом. Мы заканчиваем последние сборы Николая и выносим его на руках. Повезём его на курорт «Горячий ключ».

Устроились в санатории довольно быстро. Серные ванны приносили Николаю кое-какое облегчение. Это наполняло нас бодростью и горячими надеждами.

Не вставая с постели, Николай сумел и здесь сгруппировать вокруг себя молодёжь.

Часто вечерами молодёжь собиралась у его постели. Пели любимые песни: «Нелюдимо наше море, день и ночь шумит оно...», «Слезам залит мир безбрежный...». Николай подпевал. Иногда брал гитару, клал её на грудь, с трудом дотягивался до ладов и струн и под свой аккомпанемент с чувством пел грустные украинские песни.

Невесёлым было возвращение в Новороссийск. От «Горячего ключа» ждали большего. О том, что Николай будет ходить, теперь нечего было и думать.

Осенью в распорядок дня Николая была введена новая графа — «Писание». Она охватывала большую часть дня.

Никто не знал, что он пишет. Иногда он так увлекался, что трудно было позвать его к обеду. В таких случаях он раздражался и требовал, чтобы к нему не приставали с «идиотскими обедами», обещал, закончив через несколько дней работу, отобедать сразу за всё упущенное время.

Несколько месяцев спустя Николай вручил мне объёмистый запечатанный пакет. — Вот отправь, Раюша, — попросил он.

Через две-три недели после отправки пакета Николай получил коллективное письмо от своих старых боевых товарищей — котовцев. Только из их письма я узнала, что тетрадь содержала в себе повесть о Котовском и его героических походах. Письмо было полно самых горячих отзывов о повести, советов, указаний и добрых пожеланий успеха в дальнейшей работе.

Рукопись повести, как писали товарищи Николая, была отправлена обратно. Но проходили дни, а мы не получали её. Коля мрачнел. Дни сменялись днями. Проходили недели. Нам стало ясно, что рукопись затерялась, а второго экземпляра не было.

Николай долго не мог смириться с мыслью об утрате повести.

Время делало своё дело. Мы все — и сам Николай, казалось, — свыклись с его состоянием. Он был доволен своей работой в кружке. Ребята-комсомольцы, приходившие к нему на занятия, чрезвычайно ценили и уважали своего пропагандиста. Николай читал, учил и сам учился, твёрдо надеясь на выздоровление. Несмотря на неудачу с рукописью, несмотря на тяжёлые приступы болей, к нему вернулась свойственная ему жизнерадостность, деловая бодрость. Но именно в эти дни и началось самое страшное.

Рано утром Николай позвал меня в комнату. Я вошла и поразились небывалой бледностью его лица. Широко раскрытые глаза, нервно вздрагивающий рот и прерывистое дыхание — всё говорило о том, что с Николаем происходит что-то страшное.

— Рая, у меня что-то с глазами нехорошее делается. Они нестерпимо горят, застилаются какой-то пеленой.

Вызвали врачей, но они ничего определённого не сказали. Николай с тревогой следил за выражением их лиц и требовал, чтобы ему сказали правду.

Читать ему запретили. Я не могла смотреть без слёз, как он робко и грустно поглядывал на книги и журналы, лежащие на столе у его кровати.

Он как-то присмирел, затаился. Его живые глаза были скрыты за холодными тёмными стёклами очков. Брови нахмурены. Радионаушники снимались теперь только на ночь.

Неожиданно он получил путёвку в Мацесту. В Сочи повезла его сестра Катя, гостившая у нас в то время. Проводив брата, она уехала в Шепетовку. Освободившись от работы, я поехала к Николаю, так как за ним требовался особый уход.

В санатории Островский встретился с Жигиревой Александрой Алексеевной и Чернокозовым Хрисанфом Павловичем — старыми большевиками, чудесными, отзывчивыми людьми.

Александра Алексеевна — партийный работник из Ленинграда.

Хрисанф Павлович Чернокозов — из города Шахты, бывший шахтёр.

Николай называл Жигиреву «партийной мамашей», Чернокозова — «батько». Он крепко привязался к ним. И они полюбили молодого, умного, любознательного парнишку, как называла его Жигирева. Целые дни они проводили возле Коли. Он засыпал их вопросами, с жадностью впитывал в себя всё, что они говорили о партии.

С Хрисанфом Павловичем Николай жил в одной палате. Чернокозов был тоже тяжело болен. Ходить ему не разрешалось, лишь изредка он вставал на костыли. Поэтому он всегда бывал с Колей. Они много, подолгу беседовали. Случалось, что их ночные беседы прерывал дежурный врач.

Александра Алексеевна Жигирева тоже всё свободное время проводила с Колей. Когда я вывозила его на коляске, она усаживалась возле него, и, казалось, не было конца их разговорам.

Позже в этом же санатории Коля встретился с Иннокентием Павловичем Феденевым, членом партии с 1904 года. Николай познакомился с ним ещё в 1926 году в санатории «Майнаки» в Крыму.

Дружба со старшими товарищами, закалёнными революционными бойцами, росла и крепла с каждым днём. Её прервала только смерть самого Николая. Старшие друзья Николая запечатлены в романе «Как закалялась сталь». Жигиревой и Чернокозову оставлены их фамилии, Феденев выведен под фамилией Леденев.

Когда Николай начал писать роман «Как закалялась сталь», они первые узнали об этой книге, он посылал к ним отдельные страницы и главы. Они отнесли груд Островского в издательства: Феденев — в Москве, Жигирева — в Ленинграде.

В книге сказано об этих замечательных людях мало, и только лишь потому, что они из скромности возражали против упоминания их имён. Против их воли он всё-таки рассказал о них и потом послал им письмо, в котором просил прощения за написанное.

Врачи требовали, чтобы по истечении срока путёвки Николай устраивался в Сочи для продолжения внесанаторного лечения. Это нужно было сделать. На помощь пришла Жигирева. За несколько дней до отъезда в Ленинград она так энергично занялась подысканием хоть какого-нибудь временного пристанища, что в результате у нас появилась небольшая комнатка, снятая у частного владельца на два летних месяца.

— Конечно, комнатка неважная,— говорила Жигирева,— но пока сойдёт. Я из Ленинграда постараюсь вам помочь.

Переехали на Крестьянскую улицу (ныне улица Горького). Зрение Николая всё ухудшалось и ухудшалось. Но он вёл себя мужественно, не теряя надежды, что настанет день, когда и он вернётся в строй.

Утром я записала Николая в комнате, бежала на базар. С утра же готовила обед и, покончив с домашними делами, целый день занималась с Николаем.

Читали газеты, журналы. Много интересного узнала я тогда. На страницах «Правды» обсуждался план первой пятилетки. При чтении мне встречались неясные места, но я боялась отрывать Николая, он слушал с большим интересом. Но Николаю и самому хотелось поговорить о прочитанном, к тому же он почувствовал, что я чего-то не понимаю.

И вот он увлекательно стал рассказывать мне о значении пятилетнего плана в нашей стране. С тех пор ежедневно после прочтения газеты он повторял прочитанное.

Хорошо проходило время.

У хозяев была девочка месяцев восьми. Хорошенькая черноглазая Соня. Часто Николай просил меня принести её к нам. Сажал девочку к себе на грудь, обнимал руками хрупкое тельце, улыбался и забавлял её. Соня доверчиво хватала его за нос. Он морщился и радостно смеялся, когда она ручонкой гладила его по лицу. Пел ей песенки.

Старшие дети соседей также любили заходить к дяде Коле, чтобы поделиться с ним своими радостями и горем. Обступят его со всех сторон — кто на коленях стоит на краю кровати, кто на стул влезет, кто облокотится на подушку у изголовья Николая.

Николай любил эти встречи. Дети никогда не надоедали ему, с ними он отдыхал.

Мне нужно было устроиться на работу. Мы написали в Шепетовку матери Николая — просили её приехать в Сочи.

После её приезда стало легче. Теперь Николай оставался не один. На работу я уходила спокойно, было кому сделать всё необходимое, во-время заставить Николая поесть.



Втроём мы зажили дружной семьёй.

Спустя два-три месяца мы получили квартиру в центре города.

Наш бюджет складывался из моей зарплаты и пенсии Коли, что составляло 60 рублей. Этого хватало на скромную жизнь. Только иногда мать, под строжайшим секретом, брала у курортников в стирку бельё, чтобы на выручку побаловать сына вкусно приготовленным обедом. Когда же стирка белья стала практиковаться всё чаще и чаще, она послужила темой для домашних раздоров. Николай решительно возражал против того, чтобы мать брала себе работу, и запретил ей стирать.

Без людей Коля жить совершенно не мог. Через секретаря райкома он и здесь получил задание как пропагандист. Снова в доме появились комсомольцы. Они привязались к Николаю настолько, что приходили советоваться с ним и по своим личным и семейным делам.

К этому же времени относится знакомство Николая с Львом Николаевичем Берсеневым (в романе «Как закалялась сталь» — Лёвушка Берсенеv). Подружились они сразу.

Берсенеv всегда поздно возвращался от Николая. У них нашёлся общий язык. Оба они активно участвовали в гражданской войне, оба оказались страстными радиолюбителями.

В один из дней на крыше дома укрепили радиомачту. А вечером новые друзья до поздней ночи «выжимали» из небольшого трёхлампового приёмника все его возможности.

Благодаря своей исключительной общительности и чуткости Николай не переставал быть в курсе всех мелочей комсомольского быта, а также партийной жизни и жизни всей страны. С чтения местной газеты и центральных — «Правды», «Известий» и «Комсомольской правды» — он начинал свой трудовой день.

Летом 1929 года наша квартира превратилась в штаб отпускников. Съехались старые друзья Николая: Жигирева, Новиков, Хоруженко, Ляхович, Карась, Муся.

Николай был счастлив. Он очень любил своих друзей и ценил их тёплое, дружеское отношение к себе, но был огорчён тем, что товарищи приехали отдыхать, а сами занялись все, как один, добыванием ему путёвки в санаторий. Его ежедневные протесты, споры и доказательства, что путёвка не обязательна, кончились тем, что в один прекрасный день кто-то влетел в комнату и, размахивая сиреневой бумажкой, крикнул:

— Есть путёвка! Вот она, и туда, куда надо, в Мацесту. Отправляйся, Колька!

В старой Мацесте, в санатории № 5, Николай познакомился с москвичом, товарищем Малышевым, который отнёсся к Николаю с удивительной теплотой и обещал сделать всё, что сможет, для лечения Николая в Москве.

— Я думаю, Коля,— сказал он,— что профессор Авербах отремонтирует тебе глаза.

И тогда же они сговорились, что Николай, отдохнув после ванн, даст телеграмму Малышеву о своей готовности к выезду.

После серных мацестинских ванн Николай почувствовал некоторое улучшение. Прекратились острые боли, частично спала опухоль с воспалённых суставов, и главное — хотя в очень незначительной степени, вернулась способность двигаться.

Живым блеском загорелись глаза Николая. С новой силой вспыхнула надежда. Николай торопил, волновался и едва дождался дня, когда извозчик повёз его и меня на вокзал.

Москва...

Николая поместили в клинику 1-го МГУ.

Я устроилась работницей на консервный завод и впервые окунулась в жизнь большого заводского коллектива.

Николай быстро узнал по моим рассказам о руководителях завода, о моих непосредственных товарищах по работе.

Как-то я задержалась на заводе и пришла позже обычного.

— Что так поздно? — спросил Николай. — Опять прорыв, опять подтягивали план? Когда у вас научатся работать?

— Нет, Коля, задержалась из-за непланового партсобрания.

— Ну-ну, интересно, давай-ка подробнее рассказывай.

Слушал внимательно, уносясь мысленно туда, где бурно кипела жизнь.

— Ну вот и побывал на собрании!

Однажды я рассказала ему, что мастер предложил нашей бригаде объявить себя ударниками и зарплату делить на коммунистических началах.

Николай заинтересовался и, подробно расспросив меня, сказал:

— Знаешь, это очень серьёзный вопрос, я тебе сейчас твёрдо ничего сказать не могу. Конечно, ударниками вы должны быть все. Так и скажи своим девчатам. А вот в части зарплаты мне кажется, что здесь что-то не совсем верно. Раповато ещё. Я здесь смогу посоветоваться с товарищами. Ленина нужно почитать по этому вопросу. Через пару дней скажу вам, что нужно делать.

Значительно позднее я поняла, как был прав Николай в отношении «коммунистического заработка».

Жадно расспрашивал он о жизни и планировке Москвы. Где расположено какое учреждение, где новое большое строительство, как обслуживает москвичей трамвай-трест, попрежнему ли давка в трамвае, как реагируют рабочие на временные недостатки...

Ничего не ускользало от его внимания, круг вопросов, интересовавших Николая, был огромен.

Когда смерть витает над любимым человеком, мучительно тяжело сознание собственной беспомощности.

— Попрощаемся, Ражша, может быть, уже не удастся больше увидеться, хотя меня не так просто угробить, — и улыбнулся.

— Крепись, Коля, я буду здесь. Я не уйду.

Санитары, мягко ступая в суконных туфлях, легко унесли Колю на носилках в операционную.

Два часа длилась операция. Мне казалось, что Николая вынесли другой дверью. С трудом сдерживала себя, чтобы не ворваться в операционную.

Наконец его, бледного, без кровинки в лице, неподвижного, пронесли мимо меня в палату.

Шесть часов спустя Николай пришёл в сознание.

Еле двигая губами, он сказал:

— Вот видишь, Раёк, я говорю, что меня угробить нельзя. Я ещё буду жить. Дай руку, мне так легче.

С сознательным хладнокровием констатировал Николай бесполезность своего пребывания в клинике.

Основное было — глаза. Два раза приезжал профессор-глазник Авербах, но ничего утешительного не сказал. Становилось ясным, что восстановить зрение невозможно.

— Точка. С меня хватит. Я для науки отдал часть крови, а то, что осталось, мне нужно для другого, — сказал Николай.

И тогда же было подано заявление в ЦК партии с просьбой предоставить комнату.

Лечебная комиссия ЦК партии дала указание председателю Хамовнического районного управления недвижимым имуществом о предоставлении Н. Островскому жилой комнаты. Через несколько дней санитарная машина скорой помощи въехала в ворота дома № 12 в Мёртвом переулке (ныне переулок Н. Островского). Мы поселились в квартире № 2. Произошло это в первых числах апреля 1930 года.

Несколько первых недель жизни в этой первой московской квартире были особенно трудными и бесперспективными. Наш бюджет не позволял мне оставаться дома для ухода за Николаем. Пенсия Николая целиком пересылалась старушке-матери в Сочи. О дополнительной помощи со стороны государства Николай и слышать не хотел. Не раз он говорил:

— Было бы позором для тебя и для меня сейчас, в трудный период строительства, просить ещё какой-то помощи, когда, в сущности, мы оба ещё в силах работать.

Я работала в полутора часах езды от дома. Ежедневно, до работы, нужно было умыть Николая, перестелить постель, покормить его завтраком. В шесть часов утра я уже уходила, Николай оставался один. Тонкая палочка с марлей на конце, заменявшая Николаю малоподвижные руки, была единственной вещью, с которой он соприкасался в течение моего двенадцатичасового отсутствия. Такой режим едва ли оказался бы под силу даже здоровому человеку. Каждый раз, возвращаясь, я видела его измученное лицо и не могла сдержать слёз...

— Не волнуйся, Раюша, — утешал он меня, — мне не скучно, я весело провожу время в мечтаниях, а вот кушать давай скорее.

— Всех своих мечтаний я не выразил бы и в десяти томах, — сказал он через несколько лет. — Мечтаю всегда, с утра до вечера, даже ночью... Мечта для меня одна из самых чудесных зарядок... Моя мечта самая фантастическая всегда остаётся жизненной, земной, никогда не мечтаю о невозможном... Для меня большего счастья, чем счастье бойца, нет.

Торопливо закончив хозяйственные дела, я читала Николаю газеты. Все непонятные места Николай тут же разъяснял. Восторженно говорил он о нашей стране, которая, выполнив пятилетку в четыре года, станет сильной, могущественной, культурной и богатой.

Тогда все картины, которые рисовал Николай, казались мне сказкой, плодом его богатой фантазии. Впоследствии я убедилась, что даже воображение Николая не могло нарисовать великих достижений нашей страны.

Прошло несколько дней после переезда. Как-то вечером, когда я вернулась с работы, Николай встретил меня словами:

— Скорее кончай со всеми домашними делами. Я хочу, чтобы ты переписала несколько страниц, написанных мною.

Я решила, что речь идёт об очередном письме к кому-то из друзей.

— Нет, это не письмо, — возразил Николай. — Садись и пиши. Пиши, но ни о чём меня не спрашивай. И не удивляйся тому, что будешь писать. Пиши и пиши как можно быстрее...

С этого времени каждый вечер я переписывала то, что Николай писал днём. Часто засиживались мы с ним за полночь.

Так началась работа Николая над романом «Как закалялась сталь».

Летом Николай снова лечился в Мацесте. Осенью, вернувшись в Москву, он опять взялся за книгу.

Работал он много и напряжённо. Видя это, мы несколько раз пытались уговорить Колю перенести работу «на завтра». Но скоро мы оставили все наши попытки призвать его к отдыху. Поняли, что лучшего отдыха, чем творческий труд, для него нет.

Николай был весь поглощён мыслями о своей книге. Я не ошибусь, если скажу, что он из 24 часов в сутки 18—20 непрерывно думал о композиционном построении романа, рисовал отдельные эпизоды, «выписывал» характеры, делил главы, создавал диалоги — и всё это мысленно.

Каждый вечер я узнавала от него, что в воображаемой книге прибавился новый эпизод, появился новый персонаж, началась или закончилась новая глава. Иногда невозможность запечатлеть образ на бумаге доводила Николая до исступления. Попытки писать самому почти ни к чему не приводили. Строки залезали одна на другую, и расшифровать написанное было очень трудно. Кроме того, всякое движение, связанное с физическим усилием, вызывало острую боль в суставах руки.

Проходили дни. Работа двигалась медленно.

Часто вечером, если я не писала под диктовку, Николай подробно спрашивал меня о том, что делается на фабрике. Несмотря на свою тяжёлую болезнь, он даже и мысли не допускал, чтобы я могла отдалиться целиком уходом за ним. Он требовал, чтобы

я была связана с коллективом, вела партийную и общественную работу, советовал мне учиться.

— Если жена будет духовно отставать от мужа, — говорил он, — брак будет неравен, а неравный брак разрушает основу счастья — дружбу и взаимное уважение.

Вообще он очень строго относился к семейной этике. Он говорил, что качество нового человека проверяется не только на работе, но и в семье. Коммунистическая семья должна основываться на любви, дружбе, доверии, уважении друг к другу, совместный духовный рост только укрепляет её.

В эти дни, когда всё существо Николая, всё его внимание и энергия сосредоточились на задуманной большой работе, неожиданно произошло несчастье, надолго выбившее его из спокойного рабочего состояния.

У соседа был сын, маленький Николка, лет четырёх-пяти.

Однажды вечером он широко распахнул дверь к нам в комнату и, войдя на середину её, спросил:

— Можно войти?

Николай рассмеялся и быстро сказал:

— Можно, можно, заходи скорее.

— А я уже зашёл.

Николай сделал серьёзное лицо.

— Так чего же ты спрашиваешь, если уже зашёл? Разрешение войти спрашивают за дверью.

Николка быстро повернулся и стремительно вышел из комнаты.

Николай огорчился.

— Вот тебе раз, что же это он, Рая, убежал? Какой обидчивый гражданин.

Но в эту же секунду за дверью раздался голос Николки:

— Можно войти?

— Пожалуйста, пожалуйста! Вот молодец, — похвалил Николай, — исправил свою ошибку.

Через минуту Николка сидел у кровати.

— Чего же ты раньше не приходил ко мне в гости? Я один, мне скучно.

Гость озабоченно вздохнул.

— Да всё некогда.

— А-а-а, ну, тогда, конечно.. А по-моему, Колька, ты давно хотел со мной познакомиться. Кто это несколько раз у меня под дверью скрёбся и пыхтел?

— А это были мыши, — не задумываясь, ответил Николка и, в свою очередь, спросил: — А ты почему не приходишь ко мне?

— Да всё некогда, — ответил Николай в тон своему гостю и тоже вздохнул.

Глаза Николки вдруг сощурились. Лицо засветилось хитростью и лукавством.

— А кто это у нас под дверью скрёбся и... и... всё скрёбся?

Николай не выдержал и расхохотался.

— Ну, уж этого я не знаю. Наверное, крокодил хотел с тобой познакомиться.

— Крокодилы в доме не ходят, а плавают. А мне папа говорил, что ты не ходишь, а только лежишь и никого не видишь.

— Это правда, а зачем же ты спрашиваешь, почему я к тебе не пришёл знакомиться?

— А я нарочно. А почему ты стал слепой и стал не ходить, а лежать?

Николай рассказал, как воевал, бил буржуев.

Николка слушал внимательно и в самых интересных местах потихоньку охал.

С этого дня между Николаем и Николкой завязалась прочная и горячая дружба.

Николай рассказывал своему маленькому другу интересные истории, а Николка всегда приходил делиться всем, что происходит во дворе, на улице. Иногда он приносил в кучачке слипшиеся конфеты и угощал дядю Колю.

— Это я тебе купил, мне мама дала пять копеек, а я тебе купил.

Николай так привязался к Кошке, что в дни, когда тот почему-либо не приходил, волновался и посылал вечером узнать, здоров ли его приятель.

Однажды Николай встретил меня словами:

— Николка сегодня не был, сходи узнай, здоров ли он?

Перерывы в посещениях Николки случались не первый раз, поэтому я не торопилась. Но Николай торопил меня.

— Я слышал, что у соседки была какая-то тревога. Сходи сейчас же.

Я пошла. Николай оказался прав. Николка слёг в постель с высокой температурой. Я сказала об этом Николаю.

Утром, когда я уходила на работу, он спросил:

— Раюша, узнай, как там Николка?

Мальчику становилось всё хуже и хуже.

Николай переживал болезнь ребёнка не меньше родителей.

Врачи установили диагноз — аппендицит. Предполагалась операция.

Николай просил сообщать ему о ходе болезни ребёнка.

Раз, придя с работы, я застала Николая возбуждённым и встревоженным.

Оказалось, что операция мальчику будет делаться срочно, поздно вечером. Наступила ночь.

Николай не спал и жадно вслушивался в каждый шорох, доносившийся из соседней комнаты.

Примерно во втором часу послышались торопливые шаги.

И вдруг в тишину ворвался полный ужаса и отчаяния крик, а затем плач. Плакала мать Николки.

— Рая, зажги свет! — крикнул Николай.

Я повернула выключатель.

Невидящие глаза Николая были широко раскрыты и устремлены куда-то в пространство, словно удивляясь, что после того, как щёлкнул выключатель, темнота продолжала стоять перед ним.

— Умер, — одними губами сказал он, — умер...

Николку похоронили. Николай долго не мог приступить к регулярной работе.

Весной приехал из Сухуми мой брат Владимир. Он только что перенёс тяжёлый суставной ревматизм и, получив осложнение на сердце, решил в Москве подлечиться. Врачи прописали ему постельный режим.

Николай пришёл в восторг.

— Значит, в одной комнате валяться будем! Вот это красота!

Потом, вдруг спохватившись и конфузливо улыбаясь, стал оправдываться:

— Ты, Володька, не сердись, я тебе, конечно, здоровья желаю. Выходит, что я обрадовался тому, что ты слёг. Это, конечно, не так...

С этого дня Николай часто встречал меня словами:

— Опять целый день работали, Раюша. Написана целая глава.

Большое и горячее чувство вкладывал Николай в каждую фразу, в каждое слово. Чтобы самому лучше прочувствовать отдельные места, он говорил за каждого из персонажей повести, меняя голос, интонацию. Особенно удачно, с большим юмором, читал он на память одну из сцен в каталажке — сцену с самогонщицей.

Мой брат вскоре поправился и поступил учиться в институт. Николай горячо одобрил это решение. Однако, когда Владимир начал учёбу и стал пропадать на лекциях, усленно заниматься, Николай помрачнел, лишённый регулярной помощи. Теперь ему приходилось работать урывками, то со мной, то со своей сестрой Катей, то с Володей или его женой.

— Ну вот, — говорил он, — опять приходится в черепной коробке держать всё до поры до времени. Но память, даже самая хорошая, — штука предательская. Верить ей никак нельзя. Я несколько дней тому назад поручил ей сохранить одну очень хорошую сценку, а она не справилась, я нажимаю на память, а она подсовывает мне то одно, то другое, но всё не то, что нужно. Подвела проклятая! Надо что-то предпринимать.

И на следующее утро он меня разбудил:

— Рая, Раёк, я придумал! В целом листе картона размером в средний лист бумаги ты прорежешь полоски шириной примерно в строку. И понимаешь, что получится: если положить под этот картон бумагу, то через прорезы я буду писать прямые строчки. Края прорезей помешают им лезть друг на друга.

Так родилась мысль о транспаранте.

Идея Николая была осуществлена на следующий же день.

Техника пользования транспарантом была очень проста. Отдельно подкладываемые листы вскоре сменились пачкой бумаги. Как только лист исписывался, Николай нумеровал его, затем выдёргивал, сбрасывал на пол и начинал следующий.

Работал он ночами, когда было тихо в доме. Записывал быстро и лихорадочно.

Утром мы собирали разбросанные по полу листы — результат ночной работы Николая, а вечером, пока он ничего не забыл, расшифровывали написанное и переписывали в блокнот. Но всё же часто было очень трудно разобрать слова, а то и совсем невозможно. Несмотря на прямизну строчек, буквы нередко сливались в одну сплошную сетку. И тогда я видела искусанные губы Николая и раскрошенные карандаши.

Когда же дневной план работы выполнялся и написанное удовлетворяло Николая, настроение его было особенно хорошим, бодрым. Он забывал о боли, об усталости и часто говорил нам:

— Вы не обижайтесь на меня, такой уж я сумасшедший парень. Конечно, если бы я мог сам писать, не доставалось бы вам от меня так. Но ничего, трудовой день закончен. Давайте отдыхать.

И чем больше работал Николай, тем лучше у него становилось настроение.

Часто в такие дни под аккомпанемент гитары он пел или насвистывал свои любимые песни.

Первая книга подходила уже к концу, когда Николаю удалось привлечь добровольного секретаря, соседку Галину Алексееву, дочь повара, жившую с нами в одной квартире.

Теперь Коля имел возможность в течение дня работать более или менее равномерно. Я же вместе с Катей по вечерам занималась чистовой перепиской рукописи.

— Ну, поздравь меня, Раюша, часа два тому назад я закончил первую книгу, — этими словами встретил меня Николай, когда я после работы вошла в комнату.

В другой раз не успела я перейти порог комнаты, как услышала бодрые, радостные слова Николая:

— Знаешь, у меня сегодня была писательница Анна Караваева — редактор журнала «Молодая гвардия». Беседовали о книге. Сидели долго, говорили много. Книга понравилась, надо только ещё поработать над ней.

Теперь всё чаще можно было видеть Николая весёлым, жизнерадостным, полным энергии. Он совсем не походил на больного. Только скованность тела напоминала о тяжёлой болезни.

Книга принята, книга будет издаваться — вот чем жил Николай в эти дни.

«Дверь жизни широко распахнулась передо мной, — писал он товарищам, — моя страстная мечта стать активным участником в борьбе осуществилась. Жизнь моя теперь наполнена до краёв...»

Из глубокого тыла я перехожу на передовые позиции...»

Николай сам разграничивал свою жизнь на три неравных периода: первый — революционная борьба с оружием в руках, второй — борьба с природой, отнявшей глаза в самое нужное время, и третий — борьба за неугасимое горение в сердцах миллионов любви к родине, к труду, за мир, за социализм.

Разграничивая таким образом этапы своей жизни, Николай шутил:

— В первый период я был здоров; во второй — действительно тяжело болен. А в третий — был болен, пожалуй, с точки зрения разбирающихся в медицине...

Ту же мысль он выразил в письме:

«Я был тяжело болен — теперь всё прошло. Приступил к работе. Итак, борьба продолжается...»

Летом 1932 года в сопровождении матери Николай поехал в Сочи. Он поселился с матерью, Ольгой Осиповной, в доме № 18 по Приморской улице. Там же он начал писать вторую часть романа «Как закалялась сталь».

Я осталась в Москве. В то время я уже стала членом партии, и Коля не хотел отрываться от работы.

В Октябрьские праздники от Бауманского райкома партии была послана делегация в подшефную воинскую часть Одессы. Я была в составе этой делегации.

Руководители завода разрешили мне на обратном пути заехать к Николаю в Сочи.

Много и долго расспрашивал меня Николай о жизни Москвы, о работе, о подшефной части. Радовался моему росту, моим успехам.

Я как бы отчитывалась перед ним. Ведь он был мне не только мужем, другом — он был и моим партийным руководителем. Это он в 1930 году рекомендовал меня в партию. Мне радостно было видеть его улыбку, как знак одобрения моих дел.

В эти дни он с нетерпением ждал от издательства «Молодая гвардия» первую часть романа «Как закалялась сталь». Издательство почему-то не торопилось. Николай жил напряжённо, каждый приход почтальона волновал его и приносил разочарование.

Только в декабре наконец он получил несколько экземпляров первой части романа «Как закалялась сталь».

— Ты представляешь мою радость, — рассказывал он, — когда я наконец получил книгу?! Я, наверное, замучил Лёвушку расспросами о ней. Но мне так хотелось сразу всё увидеть. Рисунок на обложке — штык и веточку — я сам разобрал. Как чудесно оформил художник. Веточка — это молодая жизнь, её рост, её цвет, и тут же штык — оружие, с которым мы шли в бой и завоёвывали своё счастье.

А когда к нему стали поступать письма читателей, где красной нитью проходила одна мысль, одно желание — быть таким, как Павел Корчагин, как сам Николай Островский, — Николай был беспредельно счастлив. Эта высокая оценка читателя влила в него новые силы, звала к жизни, борьбе. «Значит, я нужен, значит, стоит жить», — говорил он.

Партия и правительство высоко оценили заслуги Николая Островского. 1 октября 1935 года Николай узнал, что удостоен высшей награды Советского государства — ордена Ленина.

«Центральный Исполнительный Комитет постановляет: Наградить орденом Ленина писателя Островского Николая Алексеевича, бывшего активного комсомольца, героического участника гражданской войны, потерявшего в борьбе за Советскую Власть здоровье, самоотверженно продолжающего оружием художественного слова борьбу за дело социализма, автора талантливого произведения «Как закалялась сталь», — так было написано в постановлении.

Трудно передать словами ту радость, которую пережил Николай в этот день. Поток приветствий ворвался в комнату. Радостный, улыбающийся, встречал Николай товарищей, пришедших к нему с поздравлениями.

В этот день он продиктовал письмо товарищу Сталину, прозвучавшее клятвой. «Правительство наградило меня орденом Ленина, — писал он. — Это высшая награда. Меня воспитал Ленинский комсомол, верный помощник партии, и пока у меня бьётся сердце, до последнего его удара, вся моя жизнь будет отдана большевистскому воспитанию молодого поколения нашей социалистической Родины.

Мне очень больно подумать, что в последних боях с фашизмом я не смогу занять своего места в боевой цепи. Жестокая болезнь сковала меня. Но с тем большей страстью я буду наносить удары врагу другим оружием, которым вооружила меня партия Ленина—Сталина, выросшая из молодого рабочего парня советского писателя».

24 ноября 1935 года Николаю Островскому должны были вручить орден Ленина.

С утра, начавшегося раньше обычного, Николай был взволнован и радостно возбуждён.

К дому подъезжает машина. Толпа расступилась, и автомобиль плавно остановился у самой калитки. Григорий Иванович Петровский с женой в сопровождении руководителей Сочинского горкома партии выходят из машины.

Григорий Иванович входит к нам, здоровается с Николаем и целует его.

— Добре, добре, сынок!

Николай лежит спокойный, улыбающийся.

Медленно, чётко выговаривая каждое слово, с украинским акцентом, начал свою речь Г. И. Петровский. В конце её он зачитал письмо М. И. Калинина:

«Уважаемый товарищ Островский!

Приветствую и вместе поздравляю Вас с получением ордена Ленина. От души желаю, чтобы эта награда послужила Вам приливом новых сил для Вашей столь полезной работы для народов Союза.

С коммунистическим приветом

М. Калинин».

Прижав к груди дорогие документы, Николай произнёс пламенную речь бойца, полную бодрости, энергии и оптимизма:

«... И я теперь радостно встречаю жизнь, которая подарила мне возвращение в строй.

Только Ленинская Коммунистическая партия могла нас воспитать в духе беззаветной преданности революции. Я хочу, чтобы каждый молодой рабочий стремился быть героическим бойцом, ибо нет счастья выше, как быть верным сыном рабочего класса, партии. И я могу сказать, что иначе быть не могло. В нашей стране только и могут быть такие молодые люди, ибо за нами стоит наша восемнадцатилетняя красавица, молодая, полная мощи, полная здоровья страна. Мы её защищали от врагов, растили, вырастили, и мы теперь вступаем в счастливую жизнь, а впереди нас ждёт ещё более яркое будущее. Это будущее столь пленительное, что никто не может нас остановить в борьбе за него. И вот, как писала «Правда», слепой борец сопутствует великому походу народов...»

Когда гости собирались уходить, получили ещё одну телеграмму:

«Поздравляем с высокой наградой. Горячо приветствуем.

Мария Ильинична и Дмитрий Ильич Ульяновы,

Надежда Константиновна Крупская».

Все ушли. Я осталась с Николаем одна.

В этот же день в театре «Ривьера» состоялся торжественный объединённый пленум городского комитета ВКП(б), горсовета и горкома ВЛКСМ, посвящённый вручению ордена Ленина писателю Н. Островскому.

В зал была включена квартира Островского.

Выступали комсомолы, пионеры. Их краткие речи, дышащие молодостью и юношеским задором, были горячи и близки Николаю. Чувствовалась безграничная любовь молодёжи к своему близкому и родному писателю.

Николай внимательно слушал.

Вдруг мы услышали: «Слово имеет мать писателя-орденоносца, Ольга Осиповна Островская».

Николай вздрогнул.

— Ну, мамуся, не подкачай, — с улыбкой проговорил он и замер.

Когда утихли аплодисменты, Ольга Осиповна сказала просто и хоршо:

«Милые друзья! Много я вам не буду говорить. Каждый отец и каждая мать поймёт моё состояние. Я счастлива, что он живёт и радует людей и меня».

— Молодец, старушка, нашла нужное слово, — сказал Николай и облегчённо вздохнул.

В комнате тесно. Гости и подарки заполнили её до предела. Николай, улыбаясь, ощущает руками маленькую, изумительно выполненную в деталях модель вагонетки — в ней отборный, высокосортный антрацит. Чёрный и блестящий, он отликает в изломах, как полированный. Затем Николай проводит рукой по мраморной доске. На ней прикреплена модель пушки. Включает вентилятор. Это, как заявил кто-то из гостей, не



простой вентилятор, стандартный, серийный, а вентилятор-уникум, сделанный с одной только мыслью, чтобы любимый писатель, включая его, сказал: «Какую замечательную, удобную, приятную вещь сделали для меня комсомолцы Харьковского электро-механического завода!»

Комсомолцы кондитерской фабрики Харькова привезли в подарок любимому писателю необыкновенный торт. Размер его — метр в диаметре. Верхняя часть торта — шоколадное поле, а на нём, тоже из шоколада, — тачанки, пулемёты, конница.

Затем на постель Николая кладут книги. Это лучшие произведения украинских молодых писателей и поэтов.

Читают надписи авторов на книгах:

«Самому мужественному среди нас, самому достойному».

«Славе и гордости украинского комсомола».

Николай смущённо улыбается.

— Спасибо, хлопцы, спасибо.

В 1934 году в Сочи Николай начал писать роман «Рождённые бурей». Этот исторический роман о борьбе украинского народа в 1918—1920 годах требовал огромной подготовки. Необходимо было ехать в Москву для изучения материала, для встречи с участниками боёв.

Партийная организация в Сочи, врачи возражали против поездки. Боялись, что дорога утомит Николая и он не перенесёт этой поездки.

Но Николай был упрям и настойчив. После долгих споров и уговоров он добился разрешения и одиннадцатого декабря 1935 года выехал в Москву. Там для него Моссоветом была подготовлена и обставлена новая квартира.

Николай приехал домой в автобусе. Вечером он просил рассказать, как расположены комнаты и что в них есть. Он интересовался абсолютно всем. Запомнил, где что лежит, чтобы при надобности секретари не теряли драгоценного времени на поиски той или иной вещи.

Из Московского института истории принесли газету «Правда» за 1920 год. С трудом мы начали читать истёртые, пожелтевшие от времени страницы.

Газеты читались обычно по утрам. Сразу после завтрака Коля занимался чтением художественной литературы или продумыванием дальнейшего материала для книги Часов в 12 приходила московский секретарь Зыбина и немедленно приступала к работе.

За ночь продуманные сцены романа «Рождённые бурей» оформлялись композиционно и стилистически. Секретарь едва успевала записывать. Диктовал Николай исключительно чётко и внятно.

Первое время после приезда в Москву Николая часто отрывали от работы всякие мелочи. В его комнату во время работы входили без предупреждения и разрешения, беспокоили по маловажным вопросам, касающимся домашнего обихода. Это нервировало Николая и мешало ему работать. Для того, чтобы избежать этих помех, он установил систему сигнализации звонками. Разрешение войти к нему в комнату спрашивалось условным количеством звонков, и если ответного звонка, обозначающего приглашение войти, не следовало, то знали, что Николай занят, сосредоточен и посещение следует отложить.

— Вы не сердитесь и не обижайтесь на меня, дорогие друзья, — говсрил он, — но я это вынужден делать для того, чтобы сдержать слово, данное молодёжи, и выпустить книгу в срок.

По утрам из Московской областной библиотеки приносили стопы книг. Это была подобранная по заданию Николая литература о Польше, необходимая ему для работы над романом, — книги по истории и экономике Польского государства, а также мемуары, дневники, художественная литература, сборники народных песен.

Быт польского дворянства Николай изучал главным образом по произведениям Реймонта и Жеромского. Из романов последнего он особенно высоко ставил «Преддзсеннее» и «Пепел».

Чтение книг, необходимых для работы, происходило главным образом по утрам. Вечером он любил, чтобы ему читали произведения советской литературы.

Партия и правительство сделали всё необходимое, чтобы Островский мог работать. И это воодушевляло его.

— Мне создали все условия для работы! — говорил он. — Всё это рождает новые силы. Ощущаешь, что вошёл в строй в полном смысле этого слова.

Однажды, в выходной день, Николай позвал меня к себе в комнату.

— У меня сейчас, Раюша, есть очень хорошая мысль. Я хочу с тобой часок поработать. Предупреди наших, чтобы не мешали. И пусть никто не входит.

Было 5—6 часов вечера. Николай стал диктовать 12-ю главу романа «Рождённые бурей». Диктовал быстро и изумительно хорошо.

Глаза его, устремлённые в одну точку, были чуть прищурены. Пальцы судорожно выстукивали дробь, когда одна мысль перебивала другую.

Я смотрела на Николая и с жадностью и нетерпением ловила каждое его слово. Что же ждёт героев Раймонда и Андрия Птаху впереди? Чем кончится эпизод захвата охотничьего домика? Какую судьбу им приготовил Николай? Несколько раз порывалась спросить: неужели они погибнут? Но боялась перебивать Николая. Писала быстро и всё же едва успевала за бурным потоком слов.

Устала. Пальцы начала сводить судорога, когда Николай сказал:

— Ну довольно, Раёк, молодцы мы с тобой сегодня. Здорово поработали. Который час?

Было четыре часа ночи.

— Ну и достанется нам на орехи, — забеспокоилась я.

— Ничего, Раюша, я весь удар упрёков и выговоров приму на себя. Сколько страшиц получилось?

— Сорок семь.

— Это рекорд. Дай мне выпить воды и ложись спать.

На другой день я, конечно, получила замечание от домашних: как это я могла допустить, чтобы в выходной день Николай работал так долго. Но ведь и иначе поступить я не могла. Была готова целая глава. Надо было записать её, освободить мозг Николая. В такой момент отказ работать только усугубил бы его физическую беспомощность.

Каждую новую главу романа Николай выносил на суд друзей. Так было и с 12-й главой. Во время чтения присутствовала мать писателя, приехавшая из Сочи погостить. Она стояла, облокотясь на спинку кровати у ног Коли, и внимательно слушала.

В 12-й главе романа рассказывается, как комсомольцам — Андрию Птахе, Раймонду, Олесе, Сарре и другим — было поручено охранять семью Могельницкого, взятую для обмена на партизан, захваченных белополяками в плен. Охрану они несли в охотничьем домике.

Комсомольцы нашли гитару, пели, плясали. Страшно утомились и уснули.

Их сном воспользовалась графиня Стефания. Тихонько вышла она из домика и сообщила о месте пребывания заложников.

Домик был окружён. Молодёжь приготовилась к обороне. Им предложили сдаться. Они ответили словами:

— Будем биться до последнего!

— Да здравствует Коммуна!

Ольга Осиповна страшно взволновалась. Когда окончили чтение, она воскликнула:

— Что же это будет, Коля? Зачем же ты молодых, неопытных комсомольцев поставил в такое трудное положение? Ведь они погибнут. А перед ними только жизнь открывается. Им только жить.

Николай, улыбаясь, ответил:

— Ничего, мамуся, не волнуйся, они молодые, неопытные, поэтому и попали в такое трудное положение. Не один раз ещё встанут перед ними трудности борьбы, некоторые погибнут, будут искалечены, но зато из них вырастут закалённые в борьбе большевики. Сейчас они потеряли бдительность, больше они этого не повторят.

Серый январский день. Холодное, стального цвета небо над улицей Горького висит так низко, что даже странно, почему высокие дома не утонули в его серой мути.

Я сворачиваю в наш подъезд. Швейцар передаёт почту на имя Николая Забираю большую пачку писем и поднимаюсь вверх. Думаю об этих читательских письмах и о радости, которые они доставят Николаю.

Дверь открывает Катя. Она улыбается.

— У Коли большая радость. Он звал тебя, Раг.

Я прошла к Николаю.

— Ну, Раёк, поздравляй, — говорит он, — сегодня я возвращён в армию и взят на учёт Политуправления РККА как политработник со званием бригадного комиссара.

Радость Николая велика. Для него это — завершение победы над «железным кольцом».

— Понимаешь, Раюша, — говорит он, — этот день последним узлом связал последний канат из тех, которыми я снова потянул к себе жизнь.

В первых числах ноября 1936 года Николай последний раз приехал в Москву и поселился в доме № 14 по улице Горького<sup>1</sup>. Переезд утомил его, но возбуждение, вызванное непрерывными мыслями о завершающейся работе над романом «Рождённые бурей», держало в состоянии постоянного нервного подъёма.

С первых же дней Николай усиленно занялся подготовкой предстоящего совещания президиума Союза советских писателей совместно с ЦК ВЛКСМ и издательством «Молодая гвардия». Совещание должно было произойти у нас на квартире и посвящалось обсуждению романа «Рождённые бурей».

Николай звонил по телефону, приглашал отдельных лиц, спрашивал, прочли ли они рукопись.

Вскоре совещание состоялось. На него явилось много товарищей и среди них Серафимович, Ставский, Фадеев.

Николай, заметно волнуясь, сказал своё вступительное слово. Он говорил о том, чтобы собравшиеся писатели отнеслись к нему со всей строгостью, чтобы никто не смел делать скидок на инвалидность, которую сам он «с точки зрения не медицинской» давно перестал считать инвалидностью.

— Откройте же артиллерийский огонь, — призывал он, — это даст мне ещё больше сил и желания немедленно же приняться за работу.

Один за другим высказались Серафимович, В. Герасимова, Фадеев.

Внимательно слушал Николай. Он, казалось, застыл, словно скованный.

Большинство выступающих склонялось к мысли, что для выправления некоторых недочётов в книге потребуется три-четыре месяца.

Слушая это, Николай улыбался и в заключительном слове сказал:

— Через месяц ЦК комсомола получит первый том романа «Рождённые бурей»... Работая в три смены, всё можно сделать за один месяц.

При этих словах почти у всех присутствующих вырвались возгласы неодобрения.

Николай, не обращая на них внимания, продолжал:

— Кстати, у меня бессонница, а это принесёт пользу работе. Один лечится тем, что отдыхает, а другой лечится работой. Словом, через месяц я думаю представить Центральному Комитету комсомола книгу, на которой можно будет поставить слово «да».

Совещание официально было закрыто. На Николая тут же набросились:

— Да кто тебе разрешит работать в три смены?

— Никто не может мне запретить это, если я чувствую, что здоров только тогда, когда работаю.

Голос Николая звучал решительно и твёрдо.

Всё напряжённее и напряжённее шла работа над редактированием рукописи.

Перед Николаем лежали тетради с отдельными замечаниями, два экземпляра рукописи с правками различных редакторов и один экземпляр без поправок.

<sup>1</sup> В настоящее время здесь находится музей имени Н. А. Островского.

Лист за листом считывались все три экземпляра. Николай ловил на слух поправки, иногда просил перечитать по нескольку раз, и замечание принималось полностью, или подвергалось изменению, или же совсем отменялось.

По мере того, как прочитанные листы окончательно редактировались, они передавались мне по одному, по два. Я несла их в отдельную комнату на машинку. От машинистки они поступали в столовую, где работал, как говорил Коля, «его штаб», состоявший из добровольцев-друзей, которые занимались считкой готовых листов с правленными листами.

Николай работал так быстро и напористо, что машинистки (их было две) и весь «штаб» отставали от него. Каждые 10—15 минут он звонком вызывал меня и спрашивал о ходе работы.

Уже окончательно готовые главы брошировались и отправлялись в издательство «Молодая гвардия». Так работали с утра до поздней ночи.

Истекал установленный Николаем месяц. Месяц невиданно лихорадочной работы.

Мы, близкие, знали, что Николай торопится не потому только, что он сам установил себе срок. Иногда, когда все расходились, он говорил:

— Надо торопиться, Раюша, надо очень торопиться!

И это «очень торопиться» заставляло нас как-то сжиматься, в груди становилось тесно, и язык не поворачивался для возражения. Что можно было ему сказать? Слова успокоения? Они были бы некстати, так как его призыв к самому себе — торопиться — звучал просто, деловито и мужественно.

И Николай торопился. Около него одни сменяли других. Утомлённые напряжением непрерывной восьмичасовой работы, сменявшиеся уходили отдыхать, развлечься, а Николай работал. Работал непрерывно по 18 часов в сутки, обдумывая замечания по ночам, чтобы утром, когда придут помощники, не терять лишнего времени на размышления.

12 декабря в издательство была послана последняя глава.

Два больших события в жизни Островского на время прервали его напряжённую работу над романом «Рождённые бурей». Он был избран делегатом IX Всеукраинского съезда комсомола, проходившего в Киеве, и делегатом X съезда ВЛКСМ.

— Я самый аккуратный делегат, — шутил он. — Я «хожу» на все заседания, внимательно слушаю выступающих.

Работу съездов транслировали ему по радио. У его изголовья стоял репродуктор, и, стараясь не проронить ни одного слова, Николай с жадностью слушал речи выступающих.

С волнением ждал он своего выступления. Когда в Киеве было объявлено о том, что слово предоставляется делегату, писателю-комсомольцу Николаю Островскому, раздался долго не смолкавший гром аплодисментов.

— Дорогие товарищи! — взволнованно начал Островский. — Шлю свой пламенный комсомольский привет съезду молодых победителей, лучшим сынам Советской Украины, собравшимся на свой IX съезд.

Дорогие друзья! Десять лет прошло с того дня, когда я в последний раз выступал на конференции комсомола. Жестокая болезнь пыталась оторвать меня от родной комсомольской семьи, но это ей не удалось...

Своё выступление Островский посвятил молодому человеку нашей эпохи, героизму освобождённого труда в нашей социалистической Родине.

— Мировые рекорды труда, мировые достижения, огромный рост культуры, жажда знаний — вот чем охвачена наша страна, страна мирных строителей. Знамя мира поднято над нашей страной. Знамя прекрасное — оно надежда всего человечества...

Мы все в мирном труде, наше знамя — это мир. И это знамя партия и правительство подняли высоко...

Мы стали заветной мечтой всех трудящихся мира.

13 декабря едва я, возвратившись из университета, открыла дверь квартиры, как меня встретила Катя — бледная, с чуть вздрагивающими губами.

— Коле очень, очень плохо. Не заходи сейчас к нему. Он, очевидно, вздремнул. Ему сделали укол морфия.

Новый приступ боли прогнал тяжёлый, беспокойный сон. Боли были мучительные, но, несмотря на них, Николай ежедневно интересовался положением на фронтах в Испании.

Утром приехал из Харькова его брат. Коля обрадовался и, разговаривая с ним, спросил:

— Держится Мадрид? Хорошо, и я не сдамся...

Ночами он уже не спал совсем.

Часы на Спасской башне пробили полночь.

Стрелки маленьких часов, лежащих на столике у постели Николая, начали отмеривать новые сутки. Что они принесут?

Часа в три ночи Коля тихо позвал меня. Попросил сесть к нему поближе.

Некоторое время лежал молча. Сдвинул брови, как это он делал в моменты напряжённой работы, и вдруг просто сказал:

— Ведь жизнь-то я прожил ничего? Правда, всё брал сам, в руки ничего не давалось легко, но я боролся и, ты сама знаешь, побеждённым не был.

В три часа дня Коле стало совсем плохо.

Бросились к нему.

Он лежал с закрытыми глазами, умирал. В 7 часов 50 минут Николая не стало.

Распахнули окна. Холодный декабрьский воздух ворвался в комнату. Белые клубы пара тяжело упали на пол и поползли по нему лёгким морозом...

В яркие солнечные дни белые сочинские дома кажутся особенно белыми, а тени от кипарисов — резкими, почти чёрными.

В такие дни как-то особенно хорошо выглядит большое белое здание, затемнённое ласковыми, бархатистыми кипарисами на улице Николая Островского. Здесь жил Николай во время своего последнего пребывания в Сочи. Теперь здесь собрано всё, что может рассказать людям о его жизни и деятельности.

Сотни советских людей — пограничники, студенты, инженеры, школьники, горняки, писатели, лётчики — проходят по светлым комнатам музея. И редкий из посетителей музея не оставляет свою запись в книге посетителей.

Вот пишет директор завода:

«Деятельность Н. А. Островского — это программа жизни для советского гражданина».

Пишут горняки:

«Николай — это новая энергия в сердцах современной молодёжи...»

И, как бы в ответ на это, откликаются одиннадцать учеников школы № 8:

«Пусть эта замечательная жизнь послужит примером нам, будущим строителям социализма».

Жизнь Николая Островского — пример негибемого мужества, великой преданности революционному делу.

Только в нашей стране, в стране, руководимой закалённой в боях партией коммунистов, мог жить и творить Островский.

Когда один из представителей иностранной прессы спросил его, мог бы он жить и творить, если бы не коммунизм, Островский ответил коротко: никогда!

«Жизнь старалась сломить меня, — писал он в одной из статей, — выбить из строя, а я говорил «не сдамся», ибо я верил в победу.

Я шёл потому, что меня окружала нежная ласка партии».



---

---

Н. ФЕДОРЕНКО

★

## ВСТРЕЧИ С КИТАЙСКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ \*

ЧЖЭН ЧЖЭНЬ-ДО

**В** Чунцине я нередко видел на письменном столе Го Мо-жо предметы, добытые при археологических раскопках,— панцырь черепахи или бамбуковую планку, бронзовые сосуды, испещрённые иероглифами, вазы, жертвенники, детали старинных костюмов. Я смотрел на эти предметы и думал: «Нелегко быть знатоком литературы, простирающейся на тысячелетия. Недаром об историках древней китайской литературы говорят, что все они являются ещё и археологами».

Я не знал, насколько это определение применимо ко всем историкам китайской литературы, но в отношении Го Мо-жо оно было безусловно верным. Результаты ряда археологических раскопок легли в основу его работ по истории общества Западного Чжоу, имеющих одинаково большое значение и для истории и для литературы. Всё, что Го Мо-жо писал о Цюй Юане, в том числе его большая монография о поэте, частично покоилось на данных, добытых археологами. Но в практике поэта, даже в период работы над пьесой о Цюй Юане, бывало и так, что самое широкое привлечение литературных источников и археологических материалов не давало ответа на какой-нибудь простой, но очень нужный вопрос. В такую минуту поэт сетовал:

— Жаль, что нет с нами профессора Чжэн Чжэнь-до. Он бы определённо помог нам... Он бы помог...

Профессор Чжэн Чжэнь-до — один из наиболее крупных представителей современной китайской науки. Среди знатоков китайской литературы, особенно древней, он едва ли не первый авторитет. Его четырёхтомная «История китайской литературы» является самым обстоятельным и документированным трудом в этой области филологии.

Чжэн Чжэнь-до ничем тогда не мог помочь Го Мо-жо. Он находился в Шанхае, оккупированном японцами. Гоминдановские власти не помогли профессору в эвакуации его библиотеки, его рукописного фонда, а оставить всё это богатство на погибель профессор не решился. Говорили, что он бедствует, сидит дома и редко куда выходит и живёт лишь на те скудные средства, которые удаётся выручить от продажи книг. Говорили ещё, что наперекор всем невзгодам профессор продолжает много работать.

Вскоре после изгнания японцев, в 1946 году, я приехал в Шанхай, там был в это время и Го Мо-жо.

В первую же нашу встречу Го Мо-жо рассказал мне о том, что услышал от шанхайских друзей.

— А как профессор Чжэн Чжэнь-до? — спросил я.

— Профессору было худо, очень худо, но он выжил... Кстати, сегодня я буду у него. Не хотите ли посетить его вместе со мной?

Я поблагодарил Го Мо-жо за его предложение. Между прочим, у меня были и дела к профессору: уже в те времена среди наших китаеведов живо обсуждался вопрос о переводе на русский язык крупнейших произведений древнекитайской литературы, в том числе известного романа Ло Гуань-чжуна «Троецарствие». Стоит ли говорить, что совет такого авторитета, как Чжэн Чжэнь-до, мог быть нам очень полезен.

---

\* О к о н ч а н и е. См. «Новый мир» № 9 с. г.

Скромный дом профессора удалён от центра. Мы едем туда на машине и долго петляем по нешироким шанхайским улицам.

В Шанхае стояла на редкость тёплая зима. В палисадниках, разбитых перед особняками, зелень заметно потускнела, но всё ещё была достаточно яркой. Зато густые кусты полудиких роз, которые здесь долго удерживают и цветы и листву, давно облетели и были непривычно обнажены. Только хризантемы, крупные и пышные, продолжали цвести, как не цвели, наверное, и в июле.

Мы предупредили хозяина о нашем приезде по телефону, и он отложил обычное для себя посещение шанхайских книгохранилищ и букинистических магазинов. «Профессор у себя в кабинете, он просил вас пожаловать туда», — сказали нам. Заслышав наши шаги, профессор вышел навстречу. Я увидел человека лет пятидесяти, рослого и хорошо сложенного. У него было строгое и красивое лицо: правильный, хорошо очерченный нос, большие глаза. Его волосы были тщательно зачёсаны назад, длинные и, как мне показалось, без проседи.

Профессор был одет в китайский халат, сшитый с большим вкусом, — на ткани приятного лилово-синего оттенка неярко проступали строгие узоры.

Го Мо-жо, которого с Чжэн Чжэнь-до связывала многолетняя дружба, представил меня профессору, подробно рассказав о замыслах советских китаеведов, начинающих большую работу по переводу древней китайской классики.

Чжэн Чжэнь-до слушал своего друга очень внимательно и, когда тот кончил, заметил, что труд, предпринимаемый советскими друзьями, благодарен, однако он, Чжэн Чжэнь-до, не знает, в какой мере может быть полезен советским друзьям его скромный опыт.

Я сказал профессору, что советские люди проявляют всё больший интерес к культуре Китая, что ознакомить наших читателей с образцами древней китайской классики — дело очень важное, но сложное. Именно в этой связи мы решили обратиться к профессору Чжэн Чжэнь-до, работы которого хорошо известны советским китаеведам.

Так началась эта беседа, в ходе которой было затронуто много проблем насущных, злободневных, хотя фоном беседы была седая старина — древние китайские писатели и философы, чьи создания дошли до нас на бамбуке, камне, шёлке.

Помнится, профессор очень хорошо говорил о великих духовных богатствах Китая, заключённых в творениях его художников слова. Он сказал, что древняя китайская литература является едва ли не единственной из всех мировых литератур, чьё развитие не прерывалось на более или менее значительный исторический момент, чьи ценности дошли до нас и в виде рукописей, и в виде памятников материальной культуры Великие потрясения, пережитые древними цивилизациями Рима, Греции, Египта, не миновали Китая, однако в силу многих обстоятельств не пресекли развития китайской культуры, устоявшей перед нашествием завоевателей. По словам Чжэн Чжэнь-до, высокое звание поэта издревле определялось в Китае не только талантом, но и незаурядными познаниями во всех областях знаний, особенно в истории и литературе. Так, текст тринадцати книг «Основы ткани», составляющих своеобразную эпопею, заучивался наизусть ещё в детстве. Крылатые слова из этих книг органически усваивались писателями. Изречения Конфуция, составляющие обширный том, если и не заучивались наизусть, то входили в речь писателя наряду с афоризмами из «Основ ткани». Но эти книги составляли лишь фундамент монументального здания, каким мыслилось образование поэта. В стране, где обязательным условием для юноши, поступающего на государственную службу, было безупречное владение прозой и стихами, каждый образованный человек был не только знатоком поэзии, но в известной мере и поэтом. Десять тысяч томов китайской энциклопедии «Тушу цзинчэн» дают лишь приблизительное представление о размерах китайского поэтического наследия. Китаец, решивший стать поэтом и серьёзно стремящийся к тому, чтобы сказать своё слово в поэзии, должен был познать и освоить всё это богатейшее наследие своих предшественников. В Европе упрочилось мнение, что китайская литература, несмотря на свою древность и обширность, не создала имени, которое могло бы соперничать с именами таких корифеев западноевропейской литературы, как Шекспир, Байрон,

Гёте. По словам Чжэн Чжэнь-до, подобная точка зрения основана на незнании китайской литературы. Если бы удалось со временем раскрыть богатства древней литературы Китая, мир был бы потрясён её нетленной красотой, её величием. Однако попытки, которые делались до сих пор к переводу китайской литературы на европейские языки, были робкими и непоследовательными. Правда, «Изречения» Конфуция переводились в Европе раз шестьдесят, но такие корифеи китайской литературы, как Шюй Юань, Ду Фу, Ли Бо, в сущности, мало известны за пределами Китая. Чтобы сделать их творения достоянием человечества, нужен поистине большой труд. По мнению Чжэн Чжэнь-до, этот труд должны прежде всего проделать сами китайцы, но их друзья за рубежом могут оказать Китаю большую помощь...

Профессор говорил с воодушевлением, темпераментно. Нет, он был совсем не похож на тех кабинетных учёных, для которых увлечение древностью является всего лишь формой ухода от современной действительности.

Беседа продолжалась. Профессору понравилась идея издания романа «Троецарствие» на русском языке. Он назвал этот роман своеобразной энциклопедией жизни древнего Китая. Чжэн Чжэнь-до полагал, что роману следует предпослать предисловие, с тем чтобы объяснить советскому читателю любопытную историю возникновения этой книги.

— Ло Гуань-чжун, чьё имя стоит на титульном листе романа как имя автора, на самом деле таковым не является, — заметил Чжэн Чжэнь-до. — Как свидетельствуют летописные хроники, он всего лишь «составил» текст романа по записям придворного летописца Чэн Шоу. Правда, Ло Гуань-чжун, выдающийся писатель своего времени, проделал эту работу с большим талантом, придав роману необходимую сюжетную стройность и, что не менее важно, переложив текст произведения на язык, понятный народу. Успех, которым это произведение пользуется в народе, является лучшей оценкой работы, проделанной писателем. Советскому читателю будет интересно узнать об исключительном успехе этой книги в Китае, где её знает буквально весь народ, и о том благодарном труде, который сыграли в популяризации романа «шошуды» — китайские акыны.

В кабинет вошёл кто-то из домашних профессора. Сообщили, что к профессору пришли студенты. Чжэн Чжэнь-до попросил разрешения оставить нас на некоторое время одних. Пока он беседовал со студентами, мы осмотрели его библиотеку.

Казалось, здесь была представлена вся история китайской письменности. Вот связка бамбуковых планок — так выглядела китайская книга много столетий назад. На каждой планке — до сорока иероглифов. Планки просверлены и связаны кожаным шнурком — в целом они составляют книгу. Связка длинных и широких планок — философский трактат, связка миниатюрных, тщательно оструганных и отполированных планок — описание обрядов, празднеств. Вертикальная китайская строка как раз и возникла в тот период, когда китайцы писали на бамбуковых планках. Но связку планок можно назвать книгой лишь очень условно. Книга, какой мы её представляем сегодня, появилась в Китае лишь с изобретением шёлка (III век до н. э.). Одновременно с шёлком была изобретена и кисть, которой книги писались в течение многих столетий. И вот первые книги на бумаге — вначале они имели форму свитка, потом гармоник. Учёные пытались выяснить, из какого материала древние китайцы делали бумагу. Оказалось, что в её состав входила дубовая кора. Параллельно развивался и способ печатания книг. Первые китайские шрифты делались из глины, потом для изготовления их были использованы камень, бронза, медь, дерево. Кстати, с использованием дерева связано и изобретение подвижного шрифта, а также одна из интереснейших историй. Первая книга, напечатанная с деревянных досок, была обнаружена в знаменитом пещерном храме «Тысячи будд» на северо-западе Китая. В одном из потайных убежищ этого храма находилось хранилище древних китайских рукописей, датированных V—X веком н. э. Однако в XI веке сведения о точном местонахождении этого хранилища были утеряны. Восемьсот с лишним лет учёные тщетно искали его, и наконец сравнительно недавно это удивительное хранилище было обнаружено. Все рукописи, книги-свитки и оттиски буддийских религиозных текстов оказались целыми. Правда, многие ценные рукописи, найденные в этом хранилище, были вскоре вывезены



в Англию и другие страны. В Англии оказалась и «Цзин ган цзин» — первая китайская книга, напечатанная с деревянных досок.

Наша беседа была продолжена в соседней комнате, куда мы были приглашены профессором к столу. Обед был по-домашнему прост и вкусен. Подавали, как это принято в Шанхае, свежую рыбу, фаршированных крабов, трепанги — то, чем богато южное море. За обедом профессор заметил, что за годы оккупации он продал много книг и теперь вынужден работать в квартирах тех, кто стали новыми хозяевами книг. Профессор, однако, надеялся, что книги удастся вернуть, — он уже начал выкупать их.

— А вот глаз своих я уже не верну... Они потеряли прежнюю силу. Плохо видят, плохо...

Зрение испортила напряжённая работа при более чем скудном питании. Врачи выписали профессору сильные очки, но и они плохо помогали. А работа становилась всё интереснее и, естественно, всё напряжёнее.

— Я составил план раскопок, к которым хотел бы приступить после войны, — сказал Чжэн Чжэнь-до. — Друзья говорят, что это утопия, но я верю — этот план можно осуществить, разумеется, при самом благоприятном отношении властей. А власти к раскопкам всегда относились скептически...

— Отчасти потому, что наукой руководят люди, мало смыслящие в ней, — заметил Го Мо-жо и добавил уверенно: — В исследовательских институтах и в департаментах, которым эти институты подчинены, должны сидеть учёные...

После нашей встречи прошло три года.

В течение этих лет я не видел Чжэн Чжэнь-до, но следил за каждым новым сообщением о нём, появлявшимся в газетах. Чжэн Чжэнь-до всё больше и больше интересовался археологией. «Путь Чжэн Чжэнь-до от литературы к археологии» — так называлась статья, опубликованная в 1948 году в одной из крупных китайских газет.

В беседе с корреспондентом газеты профессор с горечью заявил: «История Китая свидетельствует о том, что мы поразительно несерьёзно относимся к литературным памятникам прошлого. Мы не видим необходимости в изучении предметов старины. А между тем пренебрежение к этим литературным памятникам часто приводит к неприятным толкованиям или искажениям исторической правды. Достаточно сказать, что мы плохо знаем жизнь наших древних предков: общественные отношения, обычаи и традиции, культуру и искусство античных времён, хотя есть немало историков, которые успели наговорить и написать столько несуразностей и всякого вздора. Но достаточно внимательно разобратся в исторических памятниках, как многое прояснится, станет на своё место. К счастью, в нашем распоряжении такое эффективное средство, как археология, — раскопки, которые мы ведём, помогают восстановить правду».

Учёный не скрывал острого чувства обиды по поводу того, как поразительно несерьёзно относились в Китае к литературным памятникам старины. Тогда-то я вспомнил замечание Го Мо-жо, сделанное во время нашей шанхайской встречи: «И в исследовательских институтах и в департаментах, которым эти институты подчинены, должны находиться учёные».

Эти слова мне пришли на память вновь летом 1950 года, когда, прибыв в Пекин, теперь уже столицу Китайской Народной Республики, я узнал, что профессор Чжэн Чжэнь-до поставлен правительством во главе одного из крупнейших департаментов министерства культуры. Департамент ведал охраной памятников старины, исследованием древностей и, конечно, археологическими раскопками.

Я встретился с Чжэн Чжэнь-до в его служебной резиденции, находящейся в одном из старинных дворцовых городков Пекина — «Юаньчэн», что значит «Круглый город». Городок, действительно, был будто вписан в правильный круг крепостной стены. За стеной — старый парк и множество флигельков. Нелегко было найти здесь флигелёк директора департамента.

Мы встретились, как старые друзья. Чжэн Чжэнь-до вспомнил наш шанхайский разговор об издании китайских классиков в Советской стране, спросил, как продвинулось это дело.

Я сообщил ему, что недалеко время, когда появятся на свет новые русские издания Цюй Юаня, Ду Фу, Бо Цзю-и. Потом беседа коснулась нынешней работы Чжэн Чжэнь-до, и профессор взволнованно заговорил о своих новых обязанностях.

— Представьте, сделали директором департамента, — сказал он. — Говорят, что во главе департамента, ведающего вопросами науки, должны стоять учёные. Может быть, это верно, но тогда кто же будет заниматься наукой? Кто?..

— Но ваши обязанности в департаменте ничем не отличаются от того, что вы делали всегда?..

Письменный стол учёного был завален находками археологов: здесь лежали и кружочек из серо-голубого нефрита — знак княжеского достоинства, — и зеркальце, сделанное из бронзы, и глиняный кувшин, украшенный старинным китайским орнаментом, и фигурка Цюй Юаня из каолина.

— Да, вы правы, — заметил Чжэн Чжэнь-до. — Чувствую, что многое из того, что делаем мы сегодня, может сделать только учёный, только человек науки.

И Чжэн Чжэнь-до посвятил меня в дела, которыми он был занят сегодня. Он говорил о памятниках древней культуры, которые ему было поручено сберечь для будущих поколений.

— Да, да, сберечь для будущих поколений, — подчеркнул профессор. — На века сберечь, так, чтобы наш далёкий потомок через десятки и сотни лет мог увидеть и пекинские дворцы, и мосты, сооружённые древними зодчими, и «Большую пагоду диких гусей» в Сиани, которой через два года будет тысяча триста лет. А что скрывать: в течение столетий всё это было брошено на произвол судьбы, как можно бросить только чужое. А ведь в памятниках нашей старины воплощена сама история нашего народа, великие деяния его сынов и дочерей...

Большой учёный, профессор Чжэн Чжэнь-до руководит важным участком культурного строительства. На нынешнем ответственном этапе работы по охране памятников старины это дело возглавляет человек с таким кругозором и таким пониманием своей миссии, какими обладает Чжэн Чжэнь-до. Назначение Чжэн Чжэнь-до не могло не оказать положительного влияния и на многотысячную армию деятелей китайской науки. Но эта работа была полезна и для самого Чжэн Чжэнь-до: она показала ему, как велико значение его труда, приобщила учёного к самым насущным делам, которыми живёт сегодня новое китайское государство.

Я вновь посетил Чжэн Чжэнь-до в том же «Юаньчэне» тремя годами позже и подивился изменениям, происшедшим во всём облике учёного. Чжэн Чжэнь-до готовился тогда к поездке на Конгресс сторонников мира. Да, за семь лет, прошедших после нашей встречи в Шанхае, в жизни профессора произошли большие перемены. В Шанхае я встретил учёного, очень известного, но всего лишь учёного, а сегодня передо мной был государственный человек, общественный деятель, борец за мир.

Как и в прошлый раз, я рассказал учёному о работе советских литераторов по переводу классиков китайской литературы на русский язык, работе, которая принимала в нашей стране всё больший размах. Я мог сообщить учёному о том, что перевод «Троецарствия» закончен и в начале будущего, 1954 года книга должна увидеть свет<sup>1</sup>. Мне было приятно поведать ему и о том, что в будущем году в нашей стране выйдут в свет другие замечательные произведения китайской классики: «Поэмы Цюй Юаня», «Рассказы о людях необычайных» Пу Сун-лина, перевод которых сделал академик В. М. Алексеев, первый том избранных произведений Лу Сяня.

Имя В. М. Алексеева — одного из крупнейших мировых китаеведов — было хорошо известно Чжэн Чжэнь-до, и он проявил большой интерес к изданию книги. В связи с изданием этой книги профессор дал мне и несколько советов. Как отметил учёный, в тексте рассказов Пу Сун-лина много идеоматических выражений, крылатых слов, имён собственных, которые понятны только китайскому читателю. Поэтому Чжэн Чжэнь-до считал, что каждый рассказ должен быть снабжён комментариями, способными раскрыть смысловое богатство текста.

<sup>1</sup> Первый и второй тома исторического романа Ло Гуань-чжуна «Троецарствие» в переводе с китайского выпущены в свет в 1954 году Гослитиздатом.

Он сказал также, что необходимо предпослать рассказам предисловие или послесловие, которое дало бы по возможности подробную характеристику исторической обстановки в период деятельности Пу Сун-лина. В этой связи, по словам учёного, следовало бы рассказать об истории крестьянского восстания, возглавляемого известным крестьянским вождём Ли Цзы-чэном, о походе восставших на Пекин, о предательстве, совершённом феодалами, которые, спасая свои классовые интересы, пожертвовали независимостью страны и отдали Китай на разор маньчжурским завоевателям. Когда речь зашла о Пу Сун-лине, авторе замечательных сказок, Чжэн Чжэнь-до посоветовал ввиду крайней скудости сведений о писателе воспроизвести в выдержках старинную китайскую хронику «Описание уезда Цычуань в Шаньдуне». В этой хронике разбросаны скучные, но, несомненно, достоверные сведения о Пу Сун-лине и его родословной. Наконец, по мнению профессора, в предисловии надо было сказать о том, что автор обратился к фантастическим сюжетам не потому, что верил в чудеса, а из желания сказать о земных делах, касающихся кровных нужд народа.

Я встретил Чжэн Чжэнь-до в последний раз уже в Москве. Это было ранней весной нынешнего года. Учёный возвращался из Вены, где он присутствовал на Конгрессе сторонников мира. Пребывание в Москве профессор стремился использовать для осмотра достопримечательностей столицы.

— Только что был в библиотеке имени Ленина, знакомился с хранилищем редких книг, — заметил Чжэн Чжэнь-до. — С какой бережливостью, с каким сознанием ответственности хранятся там книги! Нет, новая культура тем и велика, что воспитывает народ в духе почитания лучшего, что создано прошлым, что вместе с новым, рождённым революцией, является душой народа, силой народа...

Перед профессором лежал один из томов его собственной «Истории китайской литературы». У книги был необычный вид: её страницы были испещрены поправками. Она разбухла от бесчисленных вклеек.

— Вот готовлю новое издание своей книги, — произнёс профессор, — работаю столько лет и не могу решиться издать. Чувствую, что теперь написал бы лучше...

Простившись с Чжэн Чжэнь-до, я долго не мог забыть этих его слов. Я вспомнил наш разговор в Шанхае, рассказ профессора об оккупированном городе, его опасения, что зрение непоправимо испорчено и глаза никогда не вернуть их прежней силы. Эти опасения оказались напрасными. Глаза сохранили силу, быть может, они стали зорче, чем прежде, если сегодня им кажется недостаточно хорошим то, что когда-то казалось хорошим. Силу обрели и глаза и мысли человека, необыкновенную силу, которую даёт людям только общение с жизнью, деятельное участие в преобразовательном труде народа.

### ХАНЬ ЦИ-СЯН

Я услышал его имя много лет тому назад от одного старого китайского писателя. Разговор шёл об искусстве древних сказителей. Их роль в Китае всегда была очень велика. Народ в массе своей был неграмотен и лучшее, что создавала литература, узнавал от них. Эти талантливые люди, зачастую сами неграмотные, проложили живой мост между литературой и народом. Мой собеседник заметил, что по городам и сёлам Особого района ходит безвестный слепой певец, человек незаурядного литературного дарования, который сам сочиняет повести и великолепно их исполняет. Имя певца — Хань Ци-сян.

Уже после освобождения Китая, путешествуя по горам Цзинганшани, я однажды долго беседовал с видным провинциальным актёром. Беседа коснулась искусства художественного чтения, и актёр рассказал мне, что где-то возле Яньани ему довелось слышать слепого сказителя, который один заменял театр; по крайней мере тысячная аудитория, перед которой выступал певец, словно за гипнотизированная, слушала его добрых три часа. По словам актёра, в тот раз певец рассказывал целую повесть, которая необыкновенно увлекательно поведала о жизни простой китайской девушки, нашедшей своё счастье в дружбе с любимым человеком.

Я без труда установил, что писатель и актёр рассказывали об одном и том же человеке — слепом певце Хань Ци-сяне. Меня глубоко заинтересовал китайский акын,

которого писатель, не задумываясь, назвал истинным писателем, а актёр — великолепным актёром, человеком большого дарования, донесшим до нас своеобразие большого искусства древних сказителей Китая.

Я стал искать встречи с ним, но некоторое время мне это не удавалось, так как Хань Ци-сян продолжал жить в Яньани и в то время бывал в Пекине не часто. Я начал собирать сведения о нём, и чем больше я вникал в жизнь Хань Ци-сяна, тем больший интерес вызывал во мне этот человек. Я узнал, что безвестный певец происходит из самых низов народа, — он сын бедного крестьянина, три последних поколения их семьи не имели земли. Поэт прошёл пешком весь север Китая. Люди, знавшие сказителя, говорили о необыкновенной памяти этого человека, вместившей до двухсот больших и малых повестей.

Во время одной из своих поездок по Китаю я посетил район Шэнси—Ганьсу — Нинся, более известный миру под именем Особого района, — здесь в годы антияпонской войны была база китайской Красной армии. Кто посещал эти места, тот помнит безлесные здешние степи. Смотришь на такую степь, и кажется, что природа создавала её, когда на палитре оставалось уже не много красок и все серые, тусклые, пепельные. Это ощущение не нарушилось и после того, как наша машина вошла в столицу провинции — легендарную Яньань. Её холмы с провалами пещер, где некогда помещались штаб Красной армии, находились знаменитые антияпонские университеты и жил в те героические годы Мао Цзэ-дун, выглядели сизыми, будто обдало их не сильным, но дымным пламенем.

И всё-таки этот серый город, окружённый такими же сизо-пепельными степями, был по-своему прекрасен. В нём была та суровая простота, которая всегда отождествляется в нашем сознании с самоотверженностью революционера, с аскетической строгостью его жизни, с благородной красотой его идеалов. Этот пустынный город, зарывшийся в песок и лёсс, стал символом решимости народа отстаивать независимость своего отечества.

Я находился в этом городе уже два дня, но как-то не вспомнил, что именно здесь живёт и творит большой и самобытный художник, встречи с которым я так давно ждал.

Ранним вечером я бродил по городу. Будто прорисованные на кальке жёлто-белёсого яньаньского неба, поднимались три горы, окружающие Яньань: Западная, Прохладная и Гора драгоценной пагоды. Где-то в стороне вздымалась на гребень холма и падала крепостная стена. Упрямо, словно поднятый перст, упиралась в небо древняя яньаньская пагода. По нешироким улочкам города, некогда обращённым в пепел японскими самолётами, а теперь восстановленным, я вышел за пределы городской стены. Прямо передо мной поднимался ровный склон лёссовой горы, разграфлённый линиями сводчатых дверей, — здесь некогда помещался штаб Восьмой армии, может быть, где-то здесь жил Мао Цзэ-дун. Я смотрел на горы и думал о тех недавних годах, когда по призыву партии сюда сошлись со всей страны десять тысяч юных патриотов. Великая идея защиты отечества привела их в этот далёкий и малообжитый край китайской земли.

Я долго смотрел на горы, охваченный воспоминаниями, когда неподалёку от себя услышал шум голосов, мощный, медленно нарастающий, как шум густого бора, потревоженного ветром. Но в этих местах деревья жгут шуметь только в воображении человека — их здесь попросту нет. Я сделал несколько шагов и остановился: у подножия горы, там, где её склоны образуют амфитеатр, сидели люди, сотни людей. Их вздохи, их радостные или смятённые голоса, действительно, были подобны шуму ветра в лесной чаще. Я сделал ещё несколько шагов и остановился: внизу, там, где склон горы достигал подножия, образуя площадку, в неярком электрическом свете был виден человек. Он говорил настолько тихо, что я не сразу внял его голосу, потом я рассмотрел в его руках инструмент, нечто среднее между мандолиной и кавказской тарой, с длинным грифом и большими крепкими колками. Человек сидел на табуретке, у ног его лежала опрокинутая скамеечка, на которую он время от времени ставил свою правую ногу, чтобы удобнее уместить на колене странный свой инструмент. Я спустился пониже и теперь мог хорошо рассмотреть этого человека. Чем-то он

напоминал мне воина, ослепшего в боях. Теперь я ясно видел, что человек был слеп: каждый раз, когда он поднимал лицо к свету, его глаза оставались мёртвыми.

«Да не Хань Ци-сян ли это? — спросил я себя. — Ведь он живёт где-то в Северной Шаньси и часто бывает в Яньяни».

Я вслушался в рассказ певца. Да, он пел слушателям историю простой крестьянской девушки Лю Цяо — ту самую историю, которая произвела такое сильное впечатление на моего приятеля из Цзинганшани. Но я себе представлял слепого певца совсем иным: он мне рисовался седым старцем с бледным лицом, а передо мной был сравнительно молодой человек — вряд ли ему было больше тридцати пяти, — кряжистый, крепкопечий, в гимнастёрке.

Я прислушался к голосу певца и был очарован поэзией его повествования. Это был рассказ о жизни девушки, почти подростка, которая в единоборстве со злыми силами старого мира защитила своё счастье, свою любовь. Голос у певца был глубокий и мягкий, очень искренний. Казалось, задушевная лирика повести о неутолимой нежности Лю Цяо, её тоске по большой любви должна быть рассказана человеком, обладающим вот таким именно голосом. Время от времени в рассказ певца вливались звуки инструмента, и тогда повесть звучала особенно взволнованно, патетически, как будто слепой певец вёл задушевную беседу со своей героиней, ласково успокаивал её в печали, искренне восхищался её решимостью отстаять своё право.

Это был рассказ о человеческом горе, о счастье, о чистых и страстных порывах сердца, рассказ, беспощадно правдивый и откровенно строгий, как сама жизнь.

Рассказ вёлся чудесным народным языком, простым и образным. Велика была изобразительная сила этого рассказа; картины, одна ярче другой, то и дело возникали в воображении слушателей. Казалось, что слепой певец, никогда не видевший красок живой природы, зажгёт эти краски здесь, в Яньяни, где природа так скупа на них. Ещё казалось, что, создавая рассказ, человек физически ощутил своими восприимчивыми зрячими руками каждую деталь, её объём, форму, — кстати, руки у певца были удивительно хороши: белые, с длинными и крепкими пальцами. Кто слушал в этот вечер Хань Ци-сяна? Я посмотрел вокруг — это был простой народ, рабочие маленьких заводов, при этом не только молодёжь.

Конечно же, это был большой и самобытный писатель и актёр, искусство которого ещё полностью не осмыслено. В самом деле, и до Хань Ци-сяна были в Китае народные певцы, талантливые представители этого жанра. Было бы неправильно умалять значение их искусства, которое было так полезно народу. Во многом именно благодаря бродячим певцам литература смогла оказать благотворное влияние на народ. Роль певцов была тем более велика, что, пересказывая творения писателя, они одновременно переводили эти произведения с мёртвого языка «вэньянь», который был достоянием касты аристократов, на язык, понятный народу, — «байхуа» или «путунхуа». Иначе говоря, именно эти безвестные художники из народа заложили основы той реформы языка, которую впоследствии осуществил и узаконил великий Лу Синь. Но как ни велика была важность их труда, эти сказители всего лишь были исполнителями произведений, написанных другими. Хань Ци-сян — сам писатель, при этом самобытный и большой. Этим не ограничивалось то новое, что он внёс в творчество народных певцов. Редко кто из этих бродячих певцов шёл в выборе своих рассказов дальше нехитрых сюжетов китайской мифологии, ограниченных миром богов. Я слышал повесть Хань Ци-сяна, посвящённую любви двух молодых сердец, но как было велико общественное звучание повести, с какой остротой и чувством великой заинтересованности в судьбах народа было сказано в этой повести о браке, о новой морали, новых отношениях между мужчиной и женщиной, — а в нынешней китайской действительности мало вопросов, более актуальных. В тот памятный вечер, размышляя над творчеством народного певца, я подумал о том, что он призван стать своеобразным реформатором художественного жанра.

Но какие качества поставили его над сотнями подобных ему певцов, которые в течение десятилетий бродили по дорогам Китая и умирали там, где обрывалась их песня? Нет слов, Хань Ци-сян был талантливее многих, но только ли в этом дело? Здесь же, в Яньяни, я поделился своими мыслями с друзьями, и те сообщили мне

то, чего я прежде не знал. Оказывается, когда Хань Ци-сян впервые пришёл в Яньань, он отличался от своих сподвижников по беспокойной и не очень благодарной в те годы профессии бродячего певца тем, что прожил жизнь более удивительную, чем остальные. Здесь, в Яньани, с ним встретился писатель-коммунист Хэ Цзин-чжи, известный советским читателям как автор либретто к музыкальной драме «Седая девушка».

Много вечеров Хэ Цзин-чжи провёл с певцом, слушая бесчисленные его повести. Писателя потрясло великое обаяние творчества этого подлинно народного художника, но, к сожалению, сюжеты его песен были далеки от жизни, от того, чем живёт, чем дышит народ сегодня, что является его воздухом, водой, насущным хлебом. Понимая это и не навязывая художнику своих идей и творческих планов, Хэ Цзин-чжи ввёл слепого певца в среду поэтов, собравшихся в тот грозовой год в Яньани.

И слепой поэт вошёл в большой и гостеприимный дом, каким были тогда лёссовые пещеры Яньани. Он не был студентом ни одного из четырёх антияпонских университетов, созданных в те годы в Яньани, но был вхож в любой из них. Когда на восточных склонах гор, там, где расположились пещеры Академии искусств, собирались студенты, Хань Ци-сян сидел с ними рядом. Слепой певец знал, что где-то здесь, на лёссовой стене, висит картон, на котором рукой Мао Цзэ-дуна начертан лозунг, определяющий самое существо революционного искусства Китая тех лет: «За революционный романтизм и антияпонский реализм». Поэт не видел этого лозунга, но достаточно было протянуть руку, чтобы ощутить жёсткий картон, на котором он был написан. Этим лозунгом определялась жизнь молодых людей, ушедших в пещеры Яньани, их интересы, их настроения. Под сводами этих удивительных жилищ, где рядом с пастухом, едва осилившим первую сотню иероглифов, сидел музыкант, окончивший Парижскую консерваторию, Хань Ци-сян впервые глубоко задумался над тем, как помочь своим творчеством родине в её тяжёлой борьбе за свободу. Так возник рассказ «Четыре случая с письмом», сюжет которого певец взял из самой жизни. Рассказ повествует о малограмотных крестьянах, отце и сыне, решивших написать друг другу. Письма, посланные ими, обошли всю страну, но так и не попали к адресатам. Этот рассказ, созданный в мягких, полных хорошего юмора тонах, помогал партии, которая вела в те годы борьбу за культуру, за грамотность. Многочисленные слушатели встретили рассказ с благодарностью, они явственно различили в нём новые черты, которых никогда не замечали прежде в выступлениях народных певцов, — рассказ не уводил в седую древность, как это было прежде, а говорил о сегодняшнем дне. Ещё больший интерес вызвала в народе повесть, услышанная мной в тот сухой яньаньский вечер, — «Лю Цяо нашла своё счастье». Первоначальный сюжет повести рассказал певцу коммунист Ци, слушатель партийной школы. Певец понёс эту повесть в народ, и, как это часто бывает с произведениями, затронувшими живые струны души человека, народ отозвался на это творение певца множеством рассказов из жизни. Возник новый текст повести, неизмеримо более богатый и по содержанию и по краскам. Народ активно участвовал в творческой работе слепого художника. Хань Ци-сян почувствовал, что в своих творческих исканиях напал на золотую жилу, и этой золотой жилой была сегодняшняя жизнь народа, создающего новый, процветающий Китай.

Я слушал своих яньаньских друзей и думал о том, что не могу уехать из Яньани, прежде чем не повидаю Хань Ци-сяна. Очевидно, это желание было так откровенно написано на моём лице, что друзья предложили мне устроить эту встречу, прежде чем я попросил об этом.

Вечером мы ждём Хань Ци-сяна у входа в Дом советско-китайской дружбы. На площадке перед домом стоит круглый столик и вокруг него скамьи из крепких, надёжно сколоченных досок. Подле горит мангал, и на нём вздрагивает, стучит крышкой закипающий чайник. Из дома принесли несколько чашек и церемонно расставили их на столике — чашки тяжёлые, грубого обжига, но чем-то неуловимо изящные.

Вечер тихий и тёплый. Слышно, как внизу гремит галькой беспокойная Яньшуй. Иногда мы чувствуем, как тянет со степей ветер, напоённый запахами сухих трав. Горы стоят прямо перед нами, и чёрные провалы пещер давно бы затушевала тьма, если бы не костры на склоне гор. Где-то далеко летят дикие гуси, и их крики доносятся до нас...

Хань Ци-сян приходит вместе с одним из своих яньаньских литературных друзей. Мы замечаем его ещё издали. Он идёт быстро, взяв за руку своего спутника, и то и дело поднимает к нему своё возбуждённое лицо — очевидно, увлечён беседой.

Нас представляют друг другу. Он кладёт мне на грудь свою руку.

— Я могу только мысленно представить себе советского человека, — произносит он, стараясь справиться с волнением. — Только мысленно...

И я вижу, как из его глаз, затянутых мгlistой плёнкой, выкатывается слеза: наверное, ему хотелось бы сейчас раскрыть глаза, прямо и открыто взглянуть в лицо человеку, стоящему рядом.

Мы усаживаемся, и я говорю Хань Ци-сяну, как я долго ждал этой встречи и как рад, что вот сегодня вижу его здоровым и счастливым в кругу наших общих друзей. Его руки лежат рядом с моими, и я чувствую их сухой жар, их пламень.

Мне хочется проникнуть в жизнь этого человека, в мир его восприятий и чувств. Очень хочется, чтобы он рассказал о своей жизни, но как вызвать этот рассказ, не нарушив настроение этого человека? Однако рассказ возникает сам собой, как степной костёр на ветру.

Я слушал слепого певца, и мне казалось, что это был голос угнетённого Китая, пробудившегося в борьбе, голос рабов, порвавших цепи угнетения, голос чернорабочих земли, вышедших навстречу солнцу новой жизни, могучий голос тружеников китайской деревни, уже ощутивших вкус свободы.

— Я родился в 1913 году здесь вот, в Шэньсийском уезде Хэшань. Когда мне было три года, по нашим местам прошла оспа, она выклевала мне глаза. — Он говорит тихо, совсем не напрягая своего голоса, его белые руки с длинными и твёрдыми пальцами будто успокоились — они недвижимы. Голос невозмутим, даже монотонен, лишён страсти, как лишены красок скудные шэньсийские степи... И события его жизни, одно выразительнее другого, развёртываются перед нами...

У отца Хань Ци-сяна был крохотный клочок земли, совсем крохотный, но помещик отобрал его в счёт невыплаченного долга. Отец впал в уныние: что делать? Но в деревне и кроме него были бедняки. Они нашли выход. И он сделал так же. «Надо укоротить свою семью... она у тебя очень длинная. Сейчас у тебя шестеро — пусть будет четверо. Как это сделать? А вот как...» И отец сделал так, как поступали на его месте другие. Он отдал старшего сына в монастырь, дочь продал в рабство. Остался Хань Ци-сян, слепец, — кому нужен слепец? Но потом оказалось, что при желании и слепого можно пристроить к делу, приспособить. Хань Ци-сяна увидел помещик: «Мальчишка слепой? Ничего... пусть крутит мельницу. Ведь он вроде безглазого коня... Пусть крутит... Ему только шесть лет? Всего шесть? Та-ак... Пусть крутит...» И слепой мальчик начал крутить мельницу до судорог, до головокружения... Ведь он же вроде слепой лошади — ни на что не способен больше. В полдень выбился из сил, засасало под ложечкой, захотелось есть. «Хочу есть, — признался мальчик. — Очень хочу». — «Есть? Рано ты захотел есть... Поработай ещё...» Вечером попросил ещё раз: «Поесть бы надо». — «Сейчас, пожалуй, можно», — согласился помещик. Мальчику пододвинули миску с похлёбкой, но, странное дело, не было уже ни сил, ни желания.

Когда возвращался домой, встретил мать на дороге: «Ел ли ты что-нибудь сегодня, сын мой?» Мальчик молчал, но слёзы полились сами. «Но ведь и мне нечем накормить тебя...» — сказала мать. Теперь плакали оба: мать и сын.

Но настало утро, и мальчик вновь пошёл к помещику и вновь завертел мельницу до сердцебиения, до тошноты, до судорог. «Ведь он вроде слепого коня — ни на что больше не способен». Кто-то видел, как мальчик крутит мельницу, и посоветовал матери: «Пусть уж дома крутит жёрнов... мелет бобы, — всё-таки это полегче и, может быть, чуть-чуть выгоднее... Бобовый сыр — великое лакомство бедняков...» Теперь уж крутились жернова... Он крутил их четыре года, четыре длинных года, а ему было всего только десять, только десять... Так вот не мудрено отупеть, утратить память и впрямь превратиться в лошадь. Но память не притуплялась, она оставалась удивительно свежей, восприимчивой. То ли события жизни были восприняты очень остро и навечно врубцевались в сознание, то ли сама память обладала такой чувствительностью, но оказалось, что человеку не так-то просто превратиться в лошадь. Это заметил кто-то из близ-

ких Хань Ци-сяна: «А ведь слепец — толковый паренёк и памятливым. Все забыли, а он помнит. Может быть, он и не должен мельницу крутить... Вон какая память у паренька! А память человеку так просто не даётся. У воробья ястребиные крылья не вырастут... Ястребок!»

Хань Ци-сян видел своё счастье в матери. Она-то знала жизнь. «Пока мать жива — у нас есть семья, — думал Хань Ци-сян, — а её не будет — всё пропало...» «Мать в семье — клад», — гласит китайская пословица. Но мать сберечь не удалось. Видно, трудно было нести ей тяжёлую ношу жизни — надорвалась. И однажды слепой мальчик понял, что даже в тяжёлом своём положении он до сих пор не знал, что такое одиночество. Ведь плохо ли, хорошо ли было в жизни, а мать была рядом — её руки, её слово излучало тепло, согревали и ободряли мальчика. А вот сейчас... Нет, не так-то просто десятилетнему ребёнку, да ещё слепцу, остаться одному посреди большого мира. И вот тогда в семье Хань Ци-сяна вспомнили о воробье и ястребёнке. «Может быть», и в самом деле он больше, чем обыкновенный воробьишко? Бывает же так, что человек ходит всю жизнь по воду за добрый десяток дворов и не знает, что под его домом течёт ручей...»

...Хань Ци-сян говорит, а вечер становится всё темнее, и новые костры зажигаются на склонах гор — в пещеры вернулись их обитатели. Иногда ветер срывает где-то на скате лёссового холма лоскуток дыма и несёт его по городу — тогда мы чувствуем, как пахнет обожжённое дерево.

А Хань Ци-сян словно мыслит вслух, его глаза полузакрыты, взор обращён внутрь, лицо будто потускнело, и только голос живёт; всё новые интонации, всё новые краски обнаруживаются в этом голосе. Но голос покоряет не только своим тембром или интонациями, его сила в искренности...

Но что может делать слепой мальчик, если он имеет даже хорошую память? Стать «шошуды» — тем, кто запоминает чужие книги и рассказывает их народу. Чтобы научиться искусству «шошуды», нужны деньги. У Хань Ци-сяна было несколько долларов, несколько драгоценных долларов, которые он заработал за четыре года, пока крутил жернова. Мать хотела купить на эти деньги куртку и башмаки — мальчик ещё не носил обуви. Не простое дело — отдать эти деньги учителю. Хань Ци-сян пошёл к старикам, но, как это всегда бывает в жизни, трудно было понять, кто из них прав: казалась, и одни и другие говорят мудро, хотя говорили они разное, совсем разное... Одни убеждали мальчика: «Учись, Хань Ци-сян, учись — люди, а не стены строили города... Будешь «шошуды»... Другие, наоборот, разубеждали: «Не простое дело, Хань Ци-сян, стать «шошуды». Хочешь поймать горлянку, не ищи её в реке». Но Хань Ци-сян пошёл учиться и разом за три месяца выучил шесть книг. Старики ахнули: не простое это дело — выучить шесть книг, оказывается, у паренька и вправду золотая память. Надо было учиться дальше, но учитель рассказал все свои сказки.

Хань Ци-сян выломал камышовый прут, приручил бродячую собаку и пошёл по окрестным деревням. Но счастье, которое уже, казалось, вошло в дом бедняка, ещё бродило где-то в стороне — страшная засуха сожгла поля. Серая шэньсийская степь стала багровой, словно у беды, которая прошла по степи, ноги были в крови.

У Хань Ци-сяна оставалось ещё три брата. Если бы мать была жива, может быть, их и не вспугнула бы беда, может быть, они и удержались бы на насесте. Но матери не было, и братья забеспокоились: «Каждый думает в такую минуту о себе», — сказал один. «Чего же нам сидеть и ждать?» — спросил второй. «Ждать нам теперь нечего», — ответил третий. Сказали и разлетелись. Была семья, и не стало семьи. Мать была жива, всегда говорила: «Когда пьёшь воду, сынок, всегда помни об источнике. Где бы ты ни был, не забывай семьи, не забывай дома». Что же тут вспоминать, когда семья распалась? Правда, стены остались, но стены — это не дом, тем более для слепого, который никогда их не видел. Ткнулся Хань Ци-сян по деревьям, но никто его не слушает. Разве в такую минуту до сказок, когда люди распухли от голода. Вернулся Хань Ци-сян в пустой дом, разделил вместе со своим псом пригоршню горькой травы «куайяя» и разрыдался. Потом отыскал верёвку, скрепил петлю и вложил в неё голову. Увидел пёс, как хозяин на верёвке качается, и заметался по дому, завыл. Прибежал сосед и вынул паренька из петли. Хань Ци-сян хорошо помнит, что, когда он пришёл



в себя и понял, что спасён, чувства облегчения и радости не было. Наоборот, было чувство досады. Вне себя от ярости он накинулся на соседа: «Ты меня спас? Спас! Но что я теперь буду делать?!» Но сосед был добрый человек, он давно знал семью Хань Ци-сяна и искренне хотел помочь слепому. «Я пойду в Шаньси, — сказал он. — Возьму и тебя». — «Зачем я тебе? — заметил Хань Ци-сян. — Ты зрячий, я слепой. Олень и черепаха рядом не ходят». — «Ты забываешь, паренёк, — ласково сказал сосед, — одежда лучше новая, а друзья лучше старые. Я твоей семье друг... старый друг...» — «Но зачем я тебе? У тебя у самого есть нечего». — «Ничего, паренёк, для хороших друзей и вода сладка». Оказывается, есть на земле добрые люди, есть добрые люди на свете...

Слепой певец продолжает говорить, а на склонах гор заметно поуменьшилось огня. От реки повеяло сыростью, и обитатели гор ушли в пещеры. Говорят, лёссовые стены в жару сохраняют прохладу, в холод — тепло. Костры гаснут, но линия гор словно отгиснулась на засветлевшем поле неба — где-то там, за тёмными увалами, уже взошла луна. Лицо Хань Ци-сяна кажется мне необычно бледным.

...Хань Ци-сян разыскал свой рожок, на котором играл в детстве, перебрал через плечо нищенскую суму, подзвал пса и пошёл за соседом. Судя по слухам, и в Шаньси было не сладко, но всё-таки там было чуть-чуть полегче. Тяжёл был их путь — голод ожесточил сердца. «Ругай себя, а не землю за то, что на твоём поле нет плодов», — говорили им одни. «Много посеешь — много пожнёшь, мало посеешь — мало пожнёшь», — поучали другие, будто эта истина была открыта в Шаньси.

Но жили в Шаньси и добрые люди, они были участливы к горю беженцев. И независимо оттого, куда входили друзья — в город или деревню, — Хань Ци-сян брал свой рожок и уходил куда-нибудь прочь. И подолгу спутник Хань Ци-сяна слышал, как печально заливается рожок, будто кого-то кличет, с кем-то задумчиво беседует. «Кого ты кличешь?» — спросил однажды мальчика спутник. «Так, никого...» — ответил Хань Ци-сян, но он сказал неправду.

Когда-то в эти места была продана сестрёнка Хань Ци-сяна, та самая, что любила послушать его рожок. И, хотя чудес на свете не бывает, Хань Ци-сян надеялся, что может быть, это чудо произойдёт, может быть, на слабый звук рожка отзовется сестрёнка. И вот однажды, когда рожок застонал, заплакал под окном большого дома, взволнованный голос позвал слепца. Мальчик вошёл в дом. Девушка вскрикнула и с плачем бросилась к Хань Ци-сяну. «Брат... брат мой!» — вскрикнула она. Мальчик только помнит, как закружилась у него голова, и, слабея, он судорожно глотнул воздух. «Брат, брат мой...» — услышал он.

...Хань Ци-сян умолк и долго сидел молча, сложив руки. Луна взошла над горами и залила серебристым, неживым светом всё вокруг. Горы словно остекленели, они стояли призрачные и невесомые. Кто-то подошёл к мангалу и приподнял чайник. Огонь погас. Я взглянул на Хань Ци-сяна и был потрясён его видом. Его лицо было влажно — всё время, пока он рассказывал историю своей жизни, слёзы текли по его щекам...

И здесь, рядом с сестрой, впервые за много месяцев мальчик почувствовал, что он спокоен, что он сыт. А так уж устроен человек: накорми его, и как рукой снимет все печали, и человек уже заволнуется, охваченный дерзкой мечтой, и увидит свой завтрашний день в таком нестерпимо радужном свете, что дух захватит. Так было и с Хань Ци-сяном: съел он чашку риса и вдруг вспомнил, что и он человек, что и он наделён талантом необыкновенным. И прожил он у сестры всего несколько дней и забеспокоился предчувствием чего-то необыкновенного — стал собираться в дорогу. И вновь закрипел под ногами гравий, закружилась пыль. Когда садилось солнце, где-нибудь на деревенской площади, под чахлым деревцем акации или в тени старой фанзы, собирались крестьяне. И вновь, как некогда, звучали струны нехитрой «хуцин» и грустноватый голос Хань Ци-сяна уводил крестьян в неведомые страны, где единороги сражаются с драконами и принцы в шелковых халатах похищают невест. Это было немножко странно: по пыльным дорогам шла война, и страну полонили японцы, а Хань Ци-сян уводил людей в далёкие фантастические страны. Слепой певец задумался: хорошо ли это? Но так уж было заведено веками: «шошуды» парит

в облаках, он пренебрегает грешной землёй. В этом его сила. «А может быть, слабость?» — спрашивал себя Хань Ци-сян, но ответить на этот вопрос ему было трудно.

Иногда на тех же площадях, где Хань Ци-сян рассказывал свои истории, деревенские парни, такие же, как и он, но только зрячие, читали стихи. Их героями были не принцы и принцессы, а простые китайские юноши. Хань Ци-сян спрашивал своих друзей: «Почему так?» Но ему отвечали прибаутками: «Большой ветер шумит в больших деревьях» или «Мудрая пчела не пьёт из увядшего цветка». Певец задумывался: «Значит, мой цветок увял?» И, не найдя ответа на этот вопрос, Хань Ци-сян продолжал свой путь.

Однажды он зашёл в места, близкие к фронту. Его слушал кто-то из офицеров. Послушал и исчез. Офицеру померещилось, что историю с драконами и единорогами выдумал сам слепой певец, чтобы высмеять в ней власть имущих. В тот год гоминданцам особенно не везло, им всюду всё мерещилось. И, опережая Хань Ци-сяна и его пса, пошла гулять по фронтовым дорогам история о слепом певце, который побасёнками о драконах и единорогах пытается скрыть пропаганду коммунизма. Потом стали рассказывать о том, что слепой певец только притворяется слепым, а на самом деле он зрячий. Хань Ци-сяна схватили и бросили в тюрьму.

«Слепой? Нет, не слепой! Сознавайся, что не слепой, сознавайся...» И посыпался на голову Хань Ци-сяна град палок. Но оттого, что человека изрубцевали палками, он не обрёл зрения. Слепой остался слепым. Тогда его стали пытаться. «Коммунист? Признавайся, что коммунист». Калёное железо шипело, врезаясь в тело. От боли сводило скулы и хотелось выть, как, наверно, не воют даже шакалы. Теперь человек был готов на всё: «Погодите... Коммунист я... Коммунист... Убейте меня...» Но странное дело: палачи засмеялись и затушили огонь. «Вот так бы и сказал давно...» И совсем уже деловито: «Дай пять долларов, и отпустим». Хань Ци-сян вспорол ватник, в котором берёт несколько бумажек про чёрный день, отдал их и чуть ли не на четвереньках выполз из тюрьмы, отполз далеко прочь и обнажил раны, подставив их ветру. Горели, нестерпимо горели обдуваемые ветром раны. Но несравненно сильнее, чем раны, была боль сердца: слепой человек вспомнил свою жизнь, и она словно пробудила в нём такие мысли, какие никогда не приходили ему в голову. Он подумал: «Если эти люди ради пяти презренных долларов подвергли меня таким пыткам, значит недаром коммунисты стараются соскоблить эту коросту с лица китайской земли...»

В эту ночь Хань Ци-сян решил пробираться в Яньань, пробираться любой ценой. И он пошёл через горные кряжи и холмы, наперерез степям и наперекор рекам, пошёл на северо-запад, туда, где должна быть Яньань.

Обессиленный, он уходил подалее от дороги в лошину, за увал, в густую поросль бамбука или камыша, и долго лежал лицом к небу. Ему казалось, что вместе с ним стремятся в Яньань юноши и девушки всей страны, все, кто истрадался под гоминдановским игмом, кто пережил японское нашествие. И, охваченный думами о судьбе родной земли, он вспомнил сюжеты своих легенд и сказок о драконах и единорогах, и показались они ему пустячными забавами, чем-то напоминающими напев свирели, что подолгу звучал на свадьбах знатных феодалов. Может быть, и в самом деле большое дерево шумит только при большом ветре?

Хань Ци-сян пришёл в Яньань. Раны зажили, но шрамы, твёрдые шрамы, казалось, врубцевались в самую душу. Ещё там, в тюрьме, он накрепко сомкнул уста. Он не разомкнул их ни в дороге, ни в Яньани. «Нет, он не только слепой, он ещё и немой. Совсем немой», — сказали его новые друзья в Яньани. Хань Ци-сян улыбнулся и заговорил. Он рассказал одну из тех уморительных сказок, которые так любили его слушатели в шэньсийских деревнях. Друзья приняли это за чудо. «Немой заговорил! Немой рассказывает сказки!» И вот тогда пришёл коммунист Ян Ци-шань и сказал: «Нет, ты ещё не знаешь своего таланта, дружище Хань Ци-сян. Твой талант ещё послужит народу...»

— Так я пришёл в Яньань...

Он умолк и поднял лицо.

Хань Ци-сян ушёл, а я ещё долго стоял и смотрел на город. Луна светила всё ярче, и лёссовый город был виден во всей своей мужественной красе, монументальный и

величественный. Он был хорош в этот поздний час, город-воин, чьим именем отмечена целая эпоха в жизни Китая, самая тяжёлая и самая славная.

Я долго смотрел на город и мог только повторить слова, произнесённые слепым певцом с такой задушевностью и страстностью:

— Яньвань...

### ЦАО ЦЗИН-ХУА

Задолго до того, как я впервые познакомился с профессором Цао Цзин-хуа, я много слышал о нём от своих китайских друзей. Мне рассказывали о нём как об одном из лучших в Китае знатоков русской литературы, её большом друге и популяризаторе. Цао Цзин-хуа изучал русский язык в Китае и в течение нескольких лет совершенствовал свои познания в этой области в Москве и Ленинграде. Китайский профессор достойно продолжил переводческую работу, начатую в своё время зачинателями этого дела в Китае — Лу Синем и Цюй Цю-бо, верным сподвижником которых был Цао Цзин-хуа. Из крупных переводов, сделанных им, мне называли «Железный поток» А. Серафимовича и «Города и годы» К. Федина. Рассказывали, что профессор приступил к переводу повести А. Толстого «Хлеб». По словам друзей, гоминдановцы, окрестившие Цао Цзин-хуа «красным профессором», недвусмысленно давали ему понять, что он должен прекратить пропаганду советских книг, но это не возымело на него сколько-нибудь заметного действия. Цао Цзин-хуа продолжал свой подвижнический труд, глубоко убеждённый в том, что этот труд полезен отечеству.

Не скрою, что ещё до того, как мне удалось повидать Цао Цзин-хуа, я почувствовал к нему большую симпатию.

Мы встретились с профессором в Чунцине в памятную зиму 1939/40 года. Японцы готовили воздушное нападение на город. Холмы, на которых расположен Чунцин, охваченные характерным изгибом Янцзы, были хорошим ориентиром для врага. Но, к счастью, в течение всей зимы лили дожди, и непроницаемая пелена тумана, казалось, недвижимо лежала над городом, мешая врагу осуществить свой замысел. В городе с тревогой ждали прихода весны, которая в здешних местах связана с окончанием туманов.

Между тем в Чунцин продолжали стекаться со всей страны большие и малые предприятия, библиотеки, издательства, учебные заведения. По Янцзы шли целые флотилии джонок, гружённые музейным фарфором, гобеленами, древними свитками и книгами. И часто на этих утлых судёнышках можно было увидеть почтенных учёных, решивших любой ценой сберечь ценности.

Я не удивился, когда однажды узнал, что среди учёных, съехавшихся в Чунцин, находится и профессор Цао Цзин-хуа. Как мне рассказывали, первые месяцы пребывания профессора в Чунцине были сопряжены с большими переживаниями. Во время одного из ночных налётов врага дом, в котором снял квартиру профессор, был разрушен. К счастью, семья Цао Цзин-хуа не пострадала, и профессор поспешил отправить её в деревню. Несмотря на такие невзгоды, он продолжал много трудиться, и перевод повести А. Толстого близился к завершению.

Наша первая встреча состоялась в Чунцине, на большом собрании студенчества, посвящённом началу недели помощи фронту. Я увидел человека небольшого роста, одетого в просторный халат. Своей внешностью Цао Цзин-хуа чем-то напоминал Лу Синя.

Я заговорил с Цао Цзин-хуа по-русски, дав ему понять, что немножко знаю его. Моему собеседнику это было приятно; он охотно вступил в разговор, и я услышал русскую речь Цао Цзин-хуа. Он говорил медленно, но очень внятно, стараясь правильно строить предложение; чтобы точнее выразить свою мысль, иногда повторял слово, какой-либо оборот или даже целую фразу. Он сказал мне, что действительно работает над переводом повести Алексея Толстого, но эта работа идёт медленнее, чем хотелось бы. Он признался, что испытывает некоторое затруднение в переводе диалогов, где сказывается влияние украинского или казачьего говора. Я сказал Цао Цзин-хуа, что, может быть, вместе мы смогли бы прояснить эти места повести. Профессор благо-

дарил меня, но заметил, что осмелится побеспокоить меня только в самом крайнем случае.

И, действительно, прошло довольно много времени, прежде чем Цао Цзин-хуа воспользовался моим предложением. Кончалась весна 1940 года. Утихали дожди, а вместе с ними рассеивались и туманы, надёжным пологом прикрывавшие город. В городе поговаривали, что враг готовится к массированному налёту. Власти объявили, что сигнал воздушной тревоги будет подаваться с помощью больших шарообразных фонарей, зажигаемых на окрестном холме. Один шар — самолёты замечены на пути к городу, два — враг подходит к Чунцину, три — враг проник в пределы города.

Профессор пришёл как-то вечером, когда в городе ожидали налёта японцев.

Я спросил его, как он устроился с квартирой, как чувствует себя его семья. По словам Цао Цзин-хуа, переживания были велики, но в конце концов всё обошлось благополучно. И, судя по тому, с какой поспешностью он извлёк стопку мелко исписанных листков и приступил к изложению своей просьбы, я понял, что профессор не привык даже в беседах с друзьями распространяться о себе и о своих нуждах.

Он разложил на столе мелко исписанные листки, и мы принялись их разбирать. Так мы просидели два, а может быть, и три часа. Наступил вечер, мы зашторили окна и зажгли электричество. В доме стало тише, впрочем, с наступлением вечера затих и город. До нас доносились лишь голоса идущих мимо патрулей и напряжённое гудение машин, поднимающихся в гору.

Профессор уже собирался уходить, когда пришёл дежурный патруль и сообщил, что на горе появился один шар — враг замечен на подступах к Чунцину. Профессор озабоченно нахмурил лоб. Мы посидели немножко, прислушиваясь к шумам с улицы.

Вновь пришёл солдат и сказал, что на горе видны три шара. И вслед за этим напряжённо, словно медленно вращающиеся жернова, загудела, застонала зенитная артиллерия. Мы вышли из дому, направляясь в бомбоубежище. Небо над городом озарялось белесовато-синим сиянием разрывов. Когда всполохи этого огня заливали город, из тьмы выступали ближние холмы, а может быть, и горы, лежащие далеко за Чунцином. Но белёсое сияние гасло, и в непроницаемой тьме южной ночи был виден лишь кроваво-красный глаз фонаря, зажжённого над городом.

Тревога продолжалась дольше обычного, и мы просидели в убежище несколько часов. В эту ночь, освещённую мертвенными всполохами артиллерийского огня, мы впервые по-настоящему разговорились и установили ту общность взглядов, тот контакт, который характерен для человеческих отношений, если они действительно являются сердечными. Именно в эту ночь Цао Цзин-хуа впервые заговорил о работе, которой посвятил жизнь, — большой работе по пропаганде советской литературы.

И, как это всегда бывает с людьми, когда они говорят о самом дорогом для себя, я услышал в голосе Цао Цзин-хуа такое волнение и такую страсть, какую не слышал в его голосе прежде.

Он говорил, что считает популяризацию советской литературы в Китае важнейшей политической задачей. Он говорил о выполнении этой задачи как революционер, убеждённый в том, что помогает родине достичь заветной цели. Начиная эту работу, он понимал, что она потребует от него труда самоотверженного, подвижнического. Именно так, по словам Цао-Цзин-хуа, представлял эту работу великий Лу Синь, когда гсворил, что пропаганда советской литературы является революционным долгом всех китайских писателей.

Профессор произнёс имя Лу Синя с той задушевностью и любовью, с какой произносят имя человека, в которого уверовали на всю жизнь.

Я ещё прежде знал, что профессор Цао Цзин-хуа принадлежал к группе друзей Лу Синя, сподвижников и советчиков писателя во всех делах, связанных с переводами русских авторов. Лу Синь глубоко доверял познаниям Цао Цзин-хуа в русской литературе. Великий писатель знал, что Цао Цзин-хуа изучал русскую литературу в России, в близком общении с русскими учёными. Его волновала живая любовь Цао Цзин-хуа к русской культуре, его творческое отношение к познанию русского искусства.

Профессор часто бывал на субботних обедах у Лу Синя во флигельке на Далу.

Вечером, когда заканчивался долгий китайский обед, друзья уединялись в гостиной. Лу Синь поднимал шторы и распахивал окна. Если накануне над Шанхаем пронёсся ливень, прохлада летнего вечера входила в комнату вместе с заунывным треньканьем китайской лютни и красноватым мерцанием уличных огней. Друзья усаживались за круглым столиком, чуть-чуть расстегнув тугие воротники своих халатов. На столике дымился зелёный чай, и его терпковатый запах распространялся по комнате.

Их беседа была увлекательной потому, что её окрыляла фантазия, прекрасная и действенная мечта. Друзья мечтали о том недалёком будущем, когда в Китае можно будет свободно издавать и Горького и Маяковского, о тех временах, когда выпуск полного Гоголя, Салтыкова-Щедрина, Чехова будет делом реальным. В эти вечера Лу Синь читал переводы горьковских русских сказок, фрагменты из «Мёртвых душ».

— Редко кто из друзей Лу Синя не испробовал своих сил в переводах с русского, — сказал профессор, и его глаза, потревоженные воспоминаниями, стали задумчивы. — Если наша прогрессивная интеллигенция знает Россию так хорошо, как она знает её сейчас, этим она во многом обязана новой русской литературе. К большой работе по переводу её на китайский язык были привлечены все наши лучшие писатели. Эту работу организовал Лу Синь — его авторитет сплотил писателей.

Я слушал Цао Цзин-хуа и подумал, что не случайно в нашей беседе возник мужественный образ Лу Синя. В тяжёлую для Китая годину имя Лу Синя вспоминалось всё чаще и чаще. Ещё ночь лежала над китайской землёй, глухая ночь чужеземного нашествия, и заря была далеко, а Лу Синь говорил уже о победе, неукротимой, бурно атакующей. Нет, не так-то просто было представить этого человека мёртвым, — он жил, и вдохновенное его слово звало живых на бой...

Только под утро пришёл солдат в убежище и сообщил, что на горе погасли шары, — значит самолёты врага ушли и можно покинуть убежище. Чунцин горел, и багровый дым окутывал город. Когда ветер усиливался, разгорался огонь, и из тьмы медленно выпирала утёсистая громада многоэтажного дома, обнажённый купол храма, кедры, высоко поднявшие свои маковки. И в этом мертвенном свете город был непохож на самого себя. Его не делали более похожим на себя даже кирпичная стена, купол храма и кедры, неожиданно выступившие из тьмы, — ведь они стояли в ночи почти рядом, как не стояли никогда прежде.

— Знаете, такое впечатление, будто мы вернулись в другой город, — произнёс профессор и поднял голову.

Новый порыв ветра взвил искры и осветил лицо Цао Цзин-хуа. Оно показалось мне бледнее обычного, но я не увидел в его глазах тревоги или, тем более, смятения.

Прошло пять лет. Японцы были изгнаны почти со всей китайской земли, дни их господства в Китае были сочтены, но народу от этого не стало легче. Как и прежде, Китай стонал под игом угнетателей, и жесточайший террор свирепствовал повсюду. Гоминдан творил суд над сынами народа, и честная кровь рекой лилась по китайской земле. Ненависть реакционеров не знала границ: меч падал на голову каждого, кто не скрывал своих симпатий к коммунистам, своей любви к Советскому Союзу.

Именно в эту пору мне суждено было встретить Цао Цзин-хуа. Встреча произошла в предместье Нанкина. Уже несколько месяцев, как столица перекочевала сюда из Чунцина; многочисленный выводок больших и малых клерков, потревоженных войной, возвратился восвояси, и каждый занял свой шесток. Как много лет тому назад, Нанкин принял облик чиновничьей цитадели гоминдановского государства, главной крепости коррумпции и беззакония. Гоминдановцы, перекрестившие на американский лад всех своих ближних и дальних родственников, назвали Нанкин китайским Вашингтоном, в то время как Шанхаю была отведена роль Нью-Йорка. В этом сравнении была доля истины. Подобно Вашингтону, Нанкин стал цитаделью чиновничества, сюда были стянуты со всей страны нити политического сыска, здесь был центр заговора против сил прогресса, отсюда направлялась тайная война против всех, кто был поборником демократии и прогресса.

Однажды в июне я выехал за город, намереваясь провести день в чудесных рощах, окружающих Нанкин. День был воскресный, но в рощах было не много народу. Пересекая болота и мелководные ручьи и речки, стремительно несущиеся в Янцзы, я

к вечеру вышел на шоссе и в пролёте его увидел характерные очертания мавзолея Сун Ят-сена.

Лестница, широкая, величаво поднимавшаяся, вела на вершину холма. Изредка она прерывалась, и на покато́м склоне холма возникала площадка и невысокая арка, увенчанная крышей типично китайской архитектуры — с затейливым гребнем и загнутым козырьком. Потом лестница поднималась дальше, чтобы вскоре вновь оборваться и укрыть медленно взбиравшегося человека под крышей следующей арки.

Глядя на мавзолей, я невольно вспомнил замечание одного китайского учёного. По словам учёного, у гоминдановцев, воздвигнувших это сооружение, были свои расчёты.

Для народа Сун Ят-сен был сыном Китая. Кровные нити связывали великого демократа с борьбой народа за освобождение. В этом была сила Сун Ят-сена, его революционизирующее влияние на массы. Стремясь отнять Сун Ят-сена у народа, всемерно нейтрализовать его учение, гоминдан причислил великого демократа чуть ли не к лику святых, и самое его тело вынес в полупустынные места и увлёк в поднебесье.

Но для народа, который глубоко чтит память своего великого сына, препятствие, воздвигнутое на пути к его могиле, не было серьёзным. Каждое воскресенье, преодолевая расстояние и бездорожье, сюда устремлялся поток горожан — все, кому было дорого революционное существование учения Сун Ят-сена.

В этот день я встретил здесь и Цао Цзин-хуа.

Профессор уже побывал у могилы и, спустившись с холма, присел под сенью тенистой белолистики. Возвращение в Нанкин было не простым делом, и, прежде чем отправиться в путь, он, очевидно, решил набраться сил.

Я взглянул на Цао Цзин-хуа: нет, его утомило не путешествие в столь отдалённое предместье Нанкина — печать иной усталости, а может быть, и страданий лежала на его лице. Я слышал, что профессору было худо, очень худо в гоминдановском Нанкине. Увидев меня, он привстал и приветливо протянул руку — очевидно, встреча была приятна ему. Я осведомился у Цао Цзин-хуа, как он чувствует себя, как его семья. Профессор поблагодарил, заметив, что всё обстоит как нельзя лучше. Я уже слышал от него однажды такой ответ, а ведь тогда дело обстояло далеко не так благополучно, как хотел показать профессор.

Но и в этот раз истинное настроение моего собеседника скоро обнаружилось.

Мы прошли вглубь молодой рощицы, и профессор заметил печально:

— Вот пришёл... проститься... Уезжаю в Шанхай... совсем уезжаю...

— Что так?

Мне показалось, что Цао Цзин-хуа бросил вокруг осмотрительный взгляд — он явно не доверял белолисткам, как, наверное, не доверял стенам своей квартиры.

— С некоторых пор у меня появились анонимные корреспонденты, — произнёс он, и невесёлая усмешка шевельнула его усы.

Мы шли поляной, зелёным мысом вклинившейся в самую сердцевину рощицы. Вечернее солнце прорывалось меж стволов, и трава словно дымилась. Профессор заговорил вновь, когда мы миновали поляну.

К чему этим корреспондентам действовать инкогнито, недоумевал он, когда такое письмо опубликует любая нанкинская газета? Впрочем, авторы писем вскоре объявились, с одним из них встретился Цао Цзин-хуа лицом к лицу. Однажды на улице к профессору подошёл молодой человек, одетый не только опрятно, но даже щеголевато, и точно повторил содержание одного из писем. Что сказал этот щеголеватый юноша? Всё то же: если профессор не снимет своё имя с красных книг, то он имеет шанс украсить иной фон. Что мог ответить на это Цао Цзин-хуа? Он сказал молодому человеку, что после того, как на чёрную доску был занесён Лу Синь, профессор считает её почётной для себя...

Мы расстались, когда сумерки уже обволокли землю.

Через несколько дней в городе стало известно, что профессор Цао Цзин-хуа покинул Нанкин.

В городе никто не мог сообщить точно, в каком направлении выехал Цао Цзин-хуа и где он теперь обитает, но я втайне надеялся, что ему удалось осуществить своё намерение и переехать в Шанхай.

Посетив вскоре после этого Шанхай, я мог лишь мечтать, что ненароком встречу профессора, однако вышло иначе. События развивались столь стремительно, что профессор не было уже необходимо скрывать своё местонахождение.

Это было предгрозовое время. Гоминдан ещё удерживал власть на огромной территории, но всё сильнее чувствовалась близость перемен. Народ поднимался, готовясь к грядущим боям, которые должны были стать боями последними, решающими.

Всё это не могло не сказаться на настроении Цао Цзин-хуа. Я встретил его на большом собрании прогрессивной шанхайской интеллигенции, посвящённом одной из знаменательных литературных дат.

После собрания мы шли с профессором Цао Цзин-хуа по шанхайским улицам, и он с подлинным воодушевлением говорил о годах своей юности, и всё получалось так, что это были тоже грозные годы. Он пробовал говорить о друзьях своей молодости, и выходило так, что все они были не просто прозаиками, поэтами, литературоведами, но ещё и солдатами революции, воинами.

Надолго останется в моей памяти рассказ профессора о Цюй Цю-бо...

Всё, что я знал о Цюй Цю-бо за годы работы в Китае, что прочёл и услышал от друзей, рисовало мне его человеком легендарным. Для меня он представлял тем больший интерес, что принадлежал к той группе китайских писателей, которые являлись глашатаями русской литературы в своей стране.

Я приехал в Китай через пять лет после смерти Цюй Цю-бо, и воспоминания о нём были ещё свежи в памяти современников, но тон этих рассказов был таким восторженным, что трудно было понять, где кончается правда о человеке и где начинается легенда. Я знал, что это большой, подлинно революционный поэт, прекрасно образованный, читавший в подлинниках и Маркса и Ленина. Да, Цюй Цю-бо хорошо знал русский язык и в отличие от многих китайских поэтов, переведивших Толстого и Горького с немецкого, французского и даже японского, свободно работал с русскими текстами. Первые крупные переводы произведений русских писателей, вышедшие в свет после революции в России, принадлежали ему. Ещё в 1919 году он перевёл Л. Толстого и Гоголя. По его очеркам, присланным из Москвы, в Китае впервые зримо представили себе, что такое красная Москва, Советский Союз, советский человек. Это был большой и настоящий друг нашей Родины, много сделавший, чтобы сблизить наши народы и заложить основы той дружбы, благотворное влияние которой на дела мира с такой силой сказалось сегодня.

Я знал, что близкие, истинно дружественные отношения связывали профессора с Цюй Цю-бо. И то, что мог рассказать о своём друге Цао Цзин-хуа, сохранилось в памяти немногих.

И вот мы идём по притихшим шанхайским улицам, и профессор говорит о Цюй Цю-бо. Только что погасла заря, её отблеск ещё удерживается на чёрной воде Вампу, а город уже заметно притих. Только острый визг полицейской сирены и гудение вездесущих «джипов» с американскими солдатами нарушали эту тишину. Но стихает сирена за дальним поворотом, с разбега взлетает на мост и скрывается где-то на той стороне «джип», и вновь город оказывается в плену у тишины, гулкой, предгрозовой, — грядет, всей своей мощью грядет буря, неистовая, очистительная! Недаром же профессор вызвал в памяти образ Цюй Цю-бо — тот слыл непримиримым врагом старого.

Голос Цао Цзин-хуа сегодня звучал необычно. Страсть, благородное возмущение революционера были слышны в его словах.

— Вы помните портреты Цюй Цю-бо? — спросил он, взглянув на меня из-под очков. — Такие лица бывают у людей с хорошим здоровьем — круглое, совсем круглое. Но у Цюй Цю-бо не было здоровья, совсем не было здоровья. У него была нелёгкая юность, и, подобно многим своим друзьям, он не избежал её тяжёлых последствий — он был опасно болен туберкулёзом. Это было страшное горение — человек сгорал у всех на глазах. Болезнь, словно огонь, раздуваемый порывами ветра, то разгоралась — и тогда человек валился с ног, то угасала — и тогда появлялась надежда, слабая, но в сознании человека настолько обнадеживающая, что человек думал: всё уже прошло и он спасён, совсем спасён. Но так уж устроен человек: если есть надежда, всегда есть и силы. И человек, прикованный к постели, думает о том, как бы так повесить лампу над

кроватью и расположить подушки, чтобы можно было работать. Работал Цюй Цю-бо с таким энтузиазмом, с каким может работать человек, если хорошо знает, что его труд полезен людям. Работал увлечённо, забывая о сне, еде, отдыхе; работал по десяти—двенадцати часов сряду; и поднимал горы работы, горы. Лу Синь задумал издавать «Шанхайские сборники». Добрую половину текста готовил Цюй Цю-бо. Он перевёл восемьсот тысяч иероглифов. Этих иероглифов достаточно, чтобы перевести «Войну и мир»...

— Мы были в России в одно время,— продолжал свой рассказ Цао Цзин-хуа.— Вместе мы бродили по улицам красной столицы, как любил называть Москву Цюй Цю-бо, смотрели на Кремль, любовались его древними дворцами. В такие минуты у Цюй Цю-бо было хорошее настроение, ему хотелось говорить о том, как много предстоит нам ещё сделать, — ведь ему казалось, что он будет жить ещё долго. Советская литература, её интересы, её новые явления составляли содержание наших бесед. Цюй Цю-бо говорил, как важно нам познакомить самые широкие круги китайской общественности с лучшими произведениями советской литературы, которые, как тогда выразился Цюй Цю-бо, в конкретных образах раскрывают героизм Великого Октября и мирной советской жизни. Цюй Цю-бо, как истинный революционер, был человеком прозорливым, он смотрел вперёд. Я хорошо почувствовал это позднее, когда он перевёл повесть Фадеева «Разгром». Моего друга увлекал образ русского коммуниста Левинсона, его бесстрашие, его мужественный оптимизм, его воля, его преданность. «Будут и у нас такие люди,— не раз говорил Цюй Цю-бо. — Будут!» А когда японцы напали на Маньчжурию и война перенеслась на север, к берегам Амура, мы невольно вспомнили «Разгром». Общее было не только в том, что события происходили в тех же почти местах, где проби-вался со своим отрядом Левинсон, но и в том, что на борьбу против нашествия поднялся весь народ, успевший выдвинуть своих вожаков, подсобных героев Фадеева. И Цюй Цю-бо не мог скрыть своей радости, своего счастья от сознания того, что и в Китае уже родилась замечательная порода этих людей. Он был счастлив, что миллионы этих людей, по его словам, уже вступили в борьбу, в ходе которой они преобразуют и закаляют себя, становятся твёрдыми, отважными и мужественными... Слушая Цюй Цю-бо, я думал о том, как, должно быть, счастлив этот человек, впервые так остро ощутивший, как благодарен его труд. Ведь всю свою жизнь он работал для того, чтобы и на китайской земле сформировалась мужественная порода людей, называемых коммунистами.

— Он любил музыку и довольно хорошо играл на фисгармонии, — заметил в заключение профессор Цао Цзин-хуа.— В многочасовом рабочем дне, заполненном тяжёлым трудом, он выкраивал «окошечко» и садился за инструмент. Он весь уходил в мир звуков — это были всё торжественные, патетические мелодии времён великих революций, песни народа, с которыми тот шёл на борьбу. Слушаешь его — и видишь, как рвётся ввысь и полочется на ветру алое знамя, слышишь, как гремят выстрелы на баррикадах и лавина людей несётся по булыжной мостовой и поёт, поёт, поёт, воодушевляясь и накаляясь. Мне казалось, что песни эти были голосом его мыслей, — просто он любил помечтать, пофантазировать, заглянуть в будущее, посмотреть, каким будет Китай после великой победы. Он задался завидной целью: заново перевести слова «Интернационала» на китайский язык. А задача эта не простая: достаточно сказать, что в то время было уже три перевода гимна, и ни один из них не был пригоден для пения. И Цюй Цю-бо сел за свою фисгармонию и начал поиски слов, неповторимых, единственных по своему звучанию и смыслу, которые передадут симфонию гимна. Цюй Цю-бо писал текст, правил и пел, шумно аккомпанируя себе на фисгармонии. И гимн начал звучать всё торжественнее, мощнее, величественнее. Вот и теперь, когда слышу гимн, мне кажется, что это поёт Цюй Цю-бо...

Профессор остановился и посмотрел на ту сторону реки, туда, где поднимались каменные глыбы Шанхая. И мне тоже показалось, что в предгрозовой тишине большого города звучат призывные слова великого гимна.

Недаром тишина в тот вечер была полна ощущения предгрозя: гроза грянула и обильными своими водами сломила и начисто смыла режим произвола и бесправия.

Последний раз я встретил старого профессора уже в свободном Пекине.



Древний город, один из самых древних городов земли, в ту осень был одет в восково-ясную оболочку лесов. Казалось, что деревья напитаны щедрым здешним солнцем: чистые краски и строгие формы новых построек хорошо сочетались с древней архитектурой Пекина. Город менял не только свой облик, менялись звуки и запахи города. В девственную тишину города, отстоявшуюся в течение столетий, вторгался мощный, медленно нарастающий шум большой стройки. В стоячий воздух города, отравленный гнилостным дыханием нечищенных императорских прудов, ворвались острые и свежие запахи краски, лака, смолистого тёса, свежеструганного дерева.

Я был у профессора дома. В этот ясный пекинский полдень, напоённый запахами отцветающих деревьев, квартира профессора показалась мне большой и светлой. Долго я стоял перед книжными полками профессорской библиотеки. Бережно, с величайшим усердием, в котором любовь соперничала со знанием дела, здесь были собраны Пушкин, Лермонтов, Толстой, Некрасов, Горький. Я извлёк томик фадеевского «Разгрома» и перелистал его. Кто знает, может быть, эту книжку держали в руках и Лу Синь и Цюй Цю-бо. Я взял ещё несколько книг с полок: Маяковский, Шолохов...

Не без волнения я развернул русское издание повести А. Толстого «Хлеб». По полям были рассыпаны иероглифы, начертанные рукой Цао Цзин-хуа, — зримые следы работы над переводом. Вспомнились военный Чунцин, укрытый туманами, полуночная тревога, кроваво-красные глаза фонарей на горе, означающие приближение японских самолётов, и беседа о Лу Сине, с именем которого так хорошо отождествлялась воля непокорённого народа, вера народа в победу. Наверное, профессор мог бы рассказать историю каждой из этих книг. Профессор не расставался с ними на всём своём длинном, щедро усыпанном терниями пути революционера...

Я беру с полки всё новые книги, и мне приятно установить, что среди них не много таких, которые не были бы переведены на китайский язык. Я так увлёкся просмотром книг, что не заметил, как лёгкая, почти невесомая рука профессора ласково легла мне на плечо.

— А вот этих книг вы ещё не видели... Это самые дорогие книги моей библиотеки...

Цао Цзин-хуа достаёт из укромного уголка своих больших стеллажей три книги. Я смотрю на их обложки: «Железный поток», «Хлеб», «Города и годы».

— Но ведь всё это я уже видел...

— Нет, не видели — смотрите лучше...

Я раскрываю первую из этих книг.

— Ах, вон как!..

И действительно, для профессора это самые дорогие книги.

На титульных листах этих книг — дарственные надписи, сделанные рукой Толстого, Серафимовича, Федина.

Я понимаю, что профессору было нелегко победить свою застенчивость, свою скромность, чтобы показать эти книги. Если уж он это сделал, то действительно ему очень приятен этот подарок.

Я напоминаю Цао Цзин-хуа, что когда-то, давно-давно, в Чунцине, а может быть и в Шанхае, он говорил мне, что у него есть письма Серафимовича и Федина.

Цао Цзин-хуа достаёт шкатулку, крытую чёрным лаком, и бережно извлекает из неё стопку писем. Конверты уже успели порыхнуть — очевидно, эти письма лежат здесь годы.

— Вот это — письмо от Серафимовича... Я получил его вскоре после того, как вышел в Китае «Железный поток»... А это Федина... Он пишет мне и теперь... Недавно я получил от него вот это письмо и вырезку из советской газеты, где есть несколько слов и о работе китайских переводчиков с русского.

Профессор оглядывает свои стеллажи, задумчиво произносит:

— А как много предстоит ещё сделать, как много...

Со дня нашей первой встречи в Чунцине прошло десять лет, и каких лет! Эти годы не могли не сказаться на облике профессора, и шаг стал не так быстр и твёрд, как прежде, и голос чутко глуше — печальные признаки возраста. И всё-таки, встретив профессора, я увидел в нём такой прилив жизнедеятельности и радостного оптимизма, какой вряд ли переживал он даже в годы своей молодости.

В новом Китае, для которого дружба с Советским Союзом является первоосновой всей его политики, тяга народа к изучению русского языка — одно из самых примечательных явлений сегодняшнего дня. Знаток русской культуры, каким является профессор Цао Цзин-хуа, призван сделать многое. Профессор читает курсы русской литературы в Пекинском университете. Он возглавляет деятельность Общества советско-китайской дружбы по изучению русского языка. Он деятельно участвует в работе по переводу русских писателей на китайский язык — работе, которая приняла в Китае гигантские масштабы. И вот что характерно: этот человек, добившийся осуществления самых сокровенных своих желаний, продолжает оставаться беспокойным, творчески неудовлетворённым, ищущим. В его облике нет и следа праздной торжественности и умильного самовосхищения, которые свойственны некоторым людям, когда они чувствуют, что большой труд их жизни завершён. Наоборот, чудесное настроение профессора выразалось в том, что ещё острее, чем прежде, он чувствовал необходимость трудиться, ещё точнее, чем прежде, его состояние можно было назвать рабочим.

Мы долго говорили с профессором Цао Цзин-хуа о пропаганде русского языка в Китае. Он радовался успеху работы, которой отдал столько лет жизни, но этого ему было мало — он смотрел вперёд, он хотел большего.

— В нашей стране некоторые считают, — произнёс профессор, — что китайцы должны читать русские книги в подлинниках. Действительно, дело изучения языка приняло в нашей стране такие масштабы, о каких мы некоторое время тому назад не могли и мечтать. В стране открыто десять специальных школ по изучению русского языка — в них уже учатся десять тысяч человек. Язык преподают в средней школе, правда, ещё не во всех — не хватает учителей, двести тысяч китайцев изучают русский язык по радио. Хочется думать, что наша интеллигенция будет знать язык. Но как ни велико число людей, знающих русский язык, в сравнении со всем народом их немного, очень немного. А ничто так не помогает нам познать братский народ и освоить его опыт, как советская книга.

В годы войны наши солдаты, действующие в японском тылу, всегда говорили: «Три вещи всегда при нас: сердце, оружие и книга». Вы помните, в каких условиях армия изготовляла снаряды? В блиндажах, в подвалах, в пещерах создавались примитивные заводи, и они снабжали армию. И нередко рядом с таким заводиком, поглубже зарывшись в землю, работала типография. Солдату одинаково были необходимы и оружие и книга! В горах Тайхашани советские книги печатались на стеклографе и потом раздавались воинам чуть ли не под расписку. Когда удалось установить печатные машины в пещерах Яньани, первыми книгами, отпечатанными там, были советские романы «Железный поток», «Поднятая целина». Друзья мне рассказывали, что в разгар боёв за свободу родины в Калгане была издана повесть В. Катаева «Я — сын трудового народа», издана огромным для того времени тиражом — в двадцать пять тысяч..

Я вспомнил всё это к тому, чтобы сказать: если в трудные военные годы мы сумели дать нашему солдату книгу, как много можем мы сделать сейчас, как много! Сегодня в Китае выпускается в пять раз больше книг, чем при старом режиме. У нас есть журналы, тираж которых превысил три миллиона. Только за последние годы мы издали почти три с половиной тысячи советских книг... Но наш народ только приобщается к грамоте, поэтому то, что мы делаем сейчас, всего лишь начало, всего лишь начало. У нас появилась новая профессия — человек, изучающий советскую литературу, кино, театр, науку, искусство профессионально, — ведь то, что мы называем советским опытом, понятие великое и в своих абсолютных размерах и в своей многогранности. А у всех людей повышенные требования к советской книге: они хотят иметь на своей книжной полке если не полные собрания Толстого и Горького, то хотя бы однотомники избранных произведений больших русских мастеров. А ведь эту работу надо выполнить, она ждёт своих переводчиков, людей, знающих это дело и преданных ему... Эти молодые люди, новые переводчики, уже идут, уже стучатся в наши двери... Хочется, очень хочется верить, что они будут любить русское слово так же горячо и бескорыстно, как любили его мы, старики... Мы желаем им великой удачи в их большой и такой благодарной работе. В конце концов самое горячее желание отцов всегда сведется к тому, чтобы их дети сделали то, что не удалось выполнить им самим.

Позже я узнал, что эта фраза в устах профессора была не абстрактной. Он в самом деле решил, чтобы профессия переводчика русских книг была в его семье преемственной. Цао Цзин-хуа представил мне свою дочь, в облике которой угадывались черты отца, и не только внешние, — радушие, приветливость, милая застенчивость. Девушка только что завершила большой труд — она перевела романы К. Федина «Первые радости» и «Необыкновенное лето».

Я возвращался от Цао Цзин-хуа под впечатлением встречи с его замечательной семьей. Мне было необыкновенно приятно, что я знаю эту семью столько лет. И в какой уже раз за годы работы в Китае мне подумалось: как глубоко знаменательно, что носителями нашей культуры в этой стране всегда были самые честные, самые бескорыстные, истинно передовые люди.



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

А. КОНДРАТОВИЧ

★

## ЖИВЫЕ ЗАВЕТЫ

**В**еликие писатели много и плодотворно размышляли над сущностью искусства и его судьбами. Мастера слова, они нередко являлись и великими критиками, замечательными теоретиками искусства. Богатейший творческий опыт позволял им высказывать суждения, равно меткие и глубокие, тонкие и основательные. Небольшие критические наброски Пушкина о прозе, о поэзии классической и романтической, о трагедии, о народности в литературе, о поэтическом слого, о журнальной критике и другие поражают своим изяществом и мудростью, точностью характеристик. По сей день они не просто любопытны, но и практически полезны. Глубоким проникновением в самую суть поэтического творчества отличаются замечания Гоголя о русской песне, а его соображения о театре, комедийном искусстве — пример понимания особенностей жанра. Нам близок саркастический дух критических статей и рецензий Салтыкова-Щедрина, бичевавшего апологетов «чистого» искусства — всех, кто забывал о гражданском долге литературы. Можно только пожалеть, что до сих пор не собрано и не осмыслено чрезвычайно сложное и противоречивое, но по своим основным тенденциям правильное, зовущее к реализму, к верности жизненной правде литературно-критическое наследие Л. Н. Толстого.

Всё это — живые, бессмертные заветы великих художников слова, создавших в прошлом столетии лучшую, правдивейшую литературу мира — русскую литературу.

Особый интерес для нас представляют литературно-критические произведения Алексея Максимовича Горького — и понятно почему: Горький — родоначальник нашей советской литературы, создатель нового творческого метода — метода социалистического

реализма. Эстетические взгляды Горького формировались, оттачивались под непосредственным воздействием партии и её вождя — В. И. Ленина. Критическое наследие Горького необычайно богато и разнообразно: здесь и блистательные, непревзойдённые по мастерству литературные портреты писателей — Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, В. Г. Короленко, М. М. Коцюбинского и других, и яркая литературная публицистика, и собственно литературная критика с анализом произведений, оценкой их качества, и размышления об опыте старших и младших товарищей по перу; большие статьи научно-исследовательского типа и короткие реплики; и, наконец, речи, беседы, письма. Это целый мир мыслей, идей, споров, где всё дышит борьбой за принципиально новую литературу. И потому это ценнейшее наследие — не просто талантливое изложение или даже развитие известного, а новое слово в нашей эстетической и литературно-критической мысли. И потому это не просто наследие, а острое, атакующее оружие, помогающее нам бороться за идейную чистоту и высокий художественный уровень нашей литературы.

Советские горьковеды сделали много для собирания и изучения творческого наследия писателя, в том числе и литературно-критического. В 1937 году, вскоре после смерти Горького, появился наиболее полный тогда сборник его статей «О литературе», явившийся как бы посмертным наказом великого учителя молодой литературе. В 1941 году была издана книга «Несобранные литературно-критические статьи», содержавшая в основном неизвестные широкому читателю горьковские материалы. Издавалось немало тематических сборников Горького. Но все эти книги давным-давно

разошлись и достать их даже в библиотеках стало нелёгкой задачей. Вот почему читатели с большим удовлетворением встретили выход в свет объёмистого, значительно пополненного новыми материалами сборника литературно-критических статей Горького «О литературе» (издательство «Советский писатель»).

Особенно поучительно обращение к литературно-критическим выступлениям Горького сейчас, в преддверии Второго Всесоюзного съезда советских писателей. Неустомимый организатор творческих сил советской литературы, Горький был первым председателем Союза советских писателей СССР — первой в истории мировой литературы писательской общественной организации, объединившей писателей разных индивидуальных стилей на базе единой коммунистической идеологии, единого восторженствовавшего в нашей литературе, в нашем искусстве метода социалистического реализма. Горький деятельно, с огромным увлечением готовил Первый Всесоюзный съезд советских писателей. Он открыл его и выступил на нём с основным докладом, в котором дал замечательный своей новизной анализ многовекового развития литературы и искусства народов, показал, что советская литература — единственная наследница творческих богатств прошлого, что именно советской литературе, советскому искусству принадлежит ныне ведущая роль в художественном развитии человечества.

«Первый всесоюзный съезд писателей наших, — говорил Горький, — явление глубочайшей важности. Оно важно не только для нас, но и для пролетариата всей Европы. Это — экзамен литературы, её отчёт перед страной».

Экзаменом литературы, отчётом перед страной, крупным событием в советской и международной культурной жизни, несомненно, явится и Второй Всесоюзный съезд советских писателей.

Восемнадцать с лишним лет наша литература живёт без Горького. Но жив горьковский дух постоянных творческих исканий, крепнут заложенные им основы социалистического реализма, ставшего ныне уже международным явлением, растут успехи советских литераторов и прогрессивных зарубежных писателей. Традиции Горького — не свод закостеневших правил и положений, а живая плоть и кровь нашей литературы.

Перелистаем же страницы знакомых статей Горького, в которых запечатлена его вечно живая мысль — мысль великого русского писателя, Человека с большой буквы...

Уже первая в сборнике статья — «Поль Верлен и декаденты» — обращает на себя внимание одним важным обстоятельством: рассматривая такое явление, как декадентство, Горький не ограничивается чисто литературными, эстетическими оценками, а даёт оценки социальные, ищет причины явления, устанавливает его связи с общественной жизнью. Назвав декадентство «болезненно извращённой» литературной школой, он тут же замечает, что это «явление вредное, антиобщественное, — явление, с которым необходимо бороться». Психоз декадентского творчества Горький справедливо расценивает, как один из признаков разложения буржуазной культуры. Стихи декадентов, пишет он, «звучат похоронным звоном зарвавшегося, нервно истощённому и эгоистическому обществу и всё более истощают его».

Такого рода оценки и такой подход к литературе сейчас никого не удивят: они стали общепринятыми. Но ведь Горький-то писал это в 1896 году, в пору, когда декадентство в России только-только начинало пускать корни и когда общее направление критики — по преимуществу либерально-народнической и декадентской — было иным, далёким от утерянных традиций гражданственности, революционно-демократических устремлений.

Подход к фактам литературы, как к фактам социальным, общественным, наконец, классовым, понимание литературы, как идеологического оружия, было всегда свойственно Горькому. Об этом свидетельствуют все помещённые в сборнике литературно-критические статьи от первой — «Поль Верлен и декаденты» до последней — краткого предисловия к книге старой работницы А. Коревазовой «Моя жизнь». И ещё одну особенность Горького хочется отметить, выраженную просто и категорично: «необходимо бороться», его активную, наступательную позицию. Литература — оружие борьбы, и, если это оружие отравлено, надо всемерно парализовать его вредоносность.

Читая статью за статьёй, видишь, как Горький целеустремлённо и последовательно борется против различных реакционных, вульгаризаторских, антиобщественных и ан-

тиреалистических направлений в литературе, борется за настоящее, высокое искусство, на знамени которого написано: «народность, реализм, идейность». Уже в самом начале своей литературной работы он отбивает попытки декадентов и натуралистов увести литературу с пути реализма, на котором она одержала свои самые большие победы. В начале века и позднее он многократно выступает против реакционной проповеди мещанина-истерика, напуганного революцией, против так называемой «карамазовщины» («Разрушение личности», «О «карамазовщине», «Ещё о «карамазовщине»). Горький воюет против расслабляющей человека толстовщины за Толстого, за его мужественный, беспощадный реализм. Он выступает в период реакции против веховцев, которые оплёвывали реалистическое искусство, и против доморощенного арцыбашевского «культу сильной личности».

Горький стоял у колыбели советской литературы и до конца своей жизни защищал нашу литературу и искусство от различных вредных влияний. Его пронизательности сопутствовала твёрдая убежденность в правоте творимого молодой литературой дела, а его огромный опыт художника-реалиста позволял разоблачать антиреалистические направления в искусстве с неотразимой убедительностью. Одним из первых Горький разглядел опасность пролеткультовского «новаторства», отрывавшего советскую литературу от бесценной сокровищницы опыта — классического наследия. Горький боролся с ошибочными взглядами различных вулгаризаторов марксизма, считавших, что художнику достаточно определить и высказать свои классовые воззрения, создавать же полнокровные, живые, сложные человеческие образы — это уже, мол, лишнее, это от искусства прошлого... Досталось от Горького — и поделом! — и формалистам, левовцам, конструктивистам. Собирая и объединяя литераторов на общих идейно-эстетических позициях, он неуклонно воспитывал писателя нового типа — писателя советского, живущего одними интересами с народом, способного «осознать себя работником на весь революционный мир».

Горький зорко следил, чтобы ни одно сколько-нибудь заметное гнилое идейное течение не замутило ясный поток реализма. Там, где речь шла о реализме, об идейности, Горький был непримирим и не шёл ни на какие компромиссы. И это пото-

му, что Горький любил литературу — дело всей своей жизни — великой любовью, высоко оценивал её назначение, знал, что это за сила в борьбе за преобразование мира.

Настоящий мастер немислим без любви к своему делу, своему труду. У Горького эта любовь была необычайно яркой, неослабевающей. От детских лет он пронёс *глубочайшее*, не побоймся сказать — благоговейное, святое уважение к книге — «чуду человеческого разума». «Книга, — писал он, — такое же явление жизни, как человек, она — тоже факт живой, говорящий, и она менее «вещь», чем все другие вещи, созданные и создаваемые человеком».

Он не устал повторять, что литература никогда не была частным делом художника («вреднейшая чепуха», — так отзывался он о противоположном мнении), а всегда дело эпохи, страны, класса. Отсюда и значение художника. Истинный художник тот, кто тесно связан с народом, выражает ведущие тенденции времени, отражает самое характерное в жизни. «Художник, — по определению Горького, — чувствилище своей страны, своего класса, ухо, око и сердце его; он — голос своей эпохи». С этим определением тесно смыкается мысль Горького о широте взглядов писателя на жизнь, о его воспитательной, проповеднической миссии. Писатель существует не для себя, а для народа, он возбуждатель творческой энергии, двигатель революционного самосознания масс. Иное понимание задач литературы и писателя неизбежно вступит в противоречие с интересами общества и с самими принципами реалистического искусства.

Горький с негодованием отвергал всякое противопоставление проповеди, то есть отстаивания писателем определённых идей и убеждений, так называемой «исповеди». Он боролся с политически вредным мнением о том, что проповедническая, воспитательная функция литературы, которая позволила, например, Чернышевскому дать литературе высокое звание «учебника жизни», есть якобы извне навязанная искусству функция, портящая его и мешающая ему нормально развиваться. Истинный же смысл работы художника заключается, мол, в регистрации своих «непосредственных впечатлений», эмоций, чувств, короче говоря, в выражении самого себя, и только себя.

Горький отлично понимал, что такого рода «исповедническая литература» на по-

верку оказывалась самой оголтелой проповедью мелкобуржуазного индивидуализма, злобно мешанских воззрений индивидуума, оторванного от народа, от его борьбы и созидательной деятельности. Достаточно вспомнить выступления Горького о реакционном романтизме.

Мелкобуржуазному «исповедничеству» Горький противопоставлял истинные, благородные задачи литературы — учителя, воспитателя лучших чувств, нового характера нового человека. В 1928 году в статье «Как я учился писать» он сетовал, что у нас ещё нет «романтизма», как проповеди активного отношения к действительности, как проповеди труда и воспитания воли к жизни, как пафоса строительства новых её форм и как ненависти к старому миру, злое наследие которого изживается нами с таким трудом и так мучительно».

Понимание высоких, благородных целей искусства, органическая связь с жизнью, с идеалами и чаяниями народа — вот где источник творческого расцвета личности художника, залог его побед. С этой чёткой идейно-эстетической позиции Горький оценивал прошлое, настоящее и предугадывал будущее нашей литературы.

С огромным уважением наследника и продолжателя лучших, революционных традиций Горький относился к творчеству передовых русских писателей, к русской классической литературе, которая представляет, по его выражению, «феномен изумительный». Были у Горького здесь и ошибки: иногда он недооценивал положительный пафос произведений классиков критического реализма, неправ бывал в оценке творчества отдельных писателей. Но он прав в главном — в общей оценке передовой литературы прошлого, как литературы глубоко народной, выразившей в исключительно трудных условиях дворянско-помещичьей России чаяния, надежды и устремления широчайших слоёв трудящихся, литературы правдивой, гуманистической и в подлинном смысле слова высокохудожественной. В статье «Разрушение личности» он писал о ней с гордостью соотечественника и вдохновением мастера, знающего цену подлинным шедеврам искусства: «Наша литература — наша гордость, лучшее, что создано нами как нацией. В ней — вся наша философия, в ней запечатлены великие порывы духа; в этом дивном, сказочно быстро построенном храме по сей день ярко горят умы

великой красоты и силы, сердца святой чистоты — умы и сердца истинных художников. И все они, правдиво и честно освещая понятое, пережитое ими, говорят: храм русского искусства строен нами при молчаливой помощи народа, народ вдохновлял нас, любите его!» Русский человек с его радостями и муками, неиссякаемым оптимизмом, с жаждой новой, лучшей жизни был главным героем русской литературы, и она умела говорить о нём с «неисчерпаемой, мягкой и страстной любовью матери». Именно за это Горький преклонялся перед русскими писателями — честными бойцами, великомучениками правды ради, богатырями в труде.

«Сердце русского писателя было колоколом любви, и веший и могучий звон его слышали все живые сердца страны...»

Правдивость, идейность, высокое художественное мастерство — вот что наследует от искусства прошлого наша советская литература. Развивать лучшие традиции нашего искусства, изучать, знать и любить его — долг каждого работника литературы.

И это один из важнейших заветов Горького советской литературе.

25 сентября 1932 года в Большом театре происходило чествование Алексея Максимовича Горького в связи с сорокалетием его литературной и революционной деятельности. В приветствии ЦК ВКП(б), зачитанном на этом торжественном собрании, говорилось:

«Своими выдающимися художественными произведениями, ставшими достоянием миллионов масс, Горький «крепко связал себя с рабочим движением России и всего мира» (Ленин).

Имя Максима Горького дорого и близко трудящимся Советской страны и далеко за её пределами как имя величайшего художника-революционера».

Штаб партии — её Центральный Комитет — выражал уверенность, что «великий талант Горького и его революционная энергия будут ещё долго служить делу рабочего класса».

Отвечая на приветствия, Алексей Максимович стал говорить не о себе, а о п р и н ц и п и а л ь н о м значении юбилея:

«Я, конечно, никогда не сомневался в том, что рабочий класс умеет ценить заслуги любого из своих бойцов, — сказал он. — Сегодня немножко повышенно, мажорно взято?

Ничего! Это очень поучительно. Не для меня уже, потому что я человек ненадолго, это важно для моих собратьев — молодых писателей. Я думаю, что моим сотоварищам — молодым писателям, тем писателям, которые ещё, может быть, ничего не напечатали, но работают над рукописями. Вот это отношение рабочего класса к литератору надо знать».

О больших надеждах, возлагаемых народом на свою молодую литературу, о почётных и вместе с тем, весьма ответственных обязанностях советского писателя Горький говорит во многих своих статьях и выступлениях. Это новые и потому особенно сложные обязанности. Создаётся новая литература нового, социалистического общества. Читатель и писатель, некогда отгороженные друг от друга, теперь работают в одном нерасторжимом боевом строю. И. В. Сталин назвал писателей «инженерами человеческих душ». Значит, нужно работать засучив рукава, во всю силу своего таланта, со всей энергией и творческим напряжением!

Советский период в жизни Горького изучен нашими литературоведами значительно слабее, чем дореволюционный. Не показано, как жадно и пылливо вглядывался великий писатель в явления советской жизни, не исследованы его многообразные связи с народом, не раскрыт его живейший интерес ко всякому проявлению нового в стране строящегося социализма, наконец, лишь начата исследовательская разведка литературно-художественного и публицистического творчества писателя, посвящённого новым людям, новой жизни. Между тем всё это несомненно благодарнейший и чрезвычайно поучительный материал, поучительный особенно для писателей.

Сколько ещё у нас появляется книг, очерков, стихов, статей, написанных равнодушной рукой, с холодным сердцем, словно писателя совсем и не взволновало то, о чём он пишет. «Равнодушие не должно иметь места» — так называется одна из статей Горького, обращённая к писателям. И сам он являл пример кипучей энергии, постоянного творческого горения. Неугасимый жар беспокойной, ищущей мысли чувствуется в каждой статье Горького о советской литературе.

Даже в самые глухие, безотрадные годы Горького не покидали оптимизм, жизнелюбие. Он презирал нытиков, сеющих уныние, людей, страдающих безволием, мертвящей

апатией к жизни. Сколь же возрос этот оптимизм, это повышенное, радостное жизнеощущение, когда свершилась мечта Горького — к власти пришёл подлинный хозяин жизни, человек труда. Бодростью, неиссякаемой молодостью духа веет от многих выступлений Горького о стране Советов. «В Союзе Советов с быстротой чудодетственной развивается процесс глубокого и всестороннего преобразования древней жизни трудового народа... мощно растёт эпос творчества новых форм жизни» — так начинается статья «Равнодушие не должно иметь места». В другой статье, «По поводу одной полемики», он ещё раз обращает внимание писателей на то, что «советский день громогласно, на весь мир поёт о гигантской, героической, талантливой работе вашего класса, поёт о человеке-герое, которого рождает коллективный героизм класса».

«Героическое дело требует героического слова», — так Горький формулирует одну из важнейших задач советской литературы. Эту ёмкую формулу он конкретизирует в ряде своих статей. Советской литературе, разработке её важнейших проблем и вопросов он отдаёт все свои силы. В этой работе он всегда и во всём руководствуется марксистско-ленинской эстетикой, опираясь на лучшие традиции русской революционно-демократической критики и развивая эти традиции.

Ещё задолго до революции Горький задумывался над судьбами критического реализма. Придя к выводу, что критический реализм как метод изживает себя, писатель много трудится над выработкой нового творческого метода. Особенно упорно Горький занимается этим после революции. Он ищет наиболее точное определение этого метода, соответствующее духу и направлению нового искусства, самой социалистической действительности. Он неоднократно указывает, что новый творческий метод не есть нечто привнесённое извне, созданное волей того или иного художника. Нет, его рождает новая жизнь, новая действительность.

Принципы социалистического реализма, ясно и чётко сформулированные при самом ближайшем участии Алексея Максимовича Горького в уставе Союза советских писателей, требуют от художника правдивого, исторически конкретного изображения действительности в её революционном развитии. При этом правдивость и историческая кон-



кретность художественного изображения должны сочетаться с задачей идейной переделки и воспитания трудящихся людей в духе коммунизма.

Правдивость — одно из условий доверия читателя к литературе, без которого вообще немислимо её воспитательное воздействие. В то же время только правдивое искусство, способное создать типический художественный образ, может выдержать испытание временем. Никакой талант не спасёт писателя, если он лжёт, отступает от правды жизни. Вот почему со страниц статей Горького часто звучит призыв к писателям: изучайте жизнь, изучайте людей! При этом важно не скользить по поверхности, отбирая лишь то, что нравится или нужно художнику в данный момент, а проникать вглубь явлений, видеть сложную диалектику жизни. «Писатель обязан знать всё, — напоминает он одному из начинающих литераторов, — весь поток жизни и все мелкие струи потока, все противоречия действительности, её драмы и комедия, её героизм и пошлость, ложь и правду. Он должен знать, что каким бы мелким и незначительным ни казалось ему то или иное явление, оно или осколок разрушаемого старого мира, или росток нового».

Диалектика жизни, показ борьбы нового, растущего со старым, отживающим составляют душу и суть советского искусства. Отсюда требование исторически конкретного изображения жизни в её революционном развитии. Не выполняя этого требования, вообще невозможно раскрыть правду жизни, создать правдивое произведение. Поэтому способность правильно предвидеть будущее — необходимое качество художника. Горький неоднократно указывает на это, учит писателей видеть не только сущее, но смотреть на жизнь с высот будущего. «Для того, чтоб ядовитая, каторжная мерзость прошлого была хорошо освещена и понята, — писал он в статье «О социалистическом реализме», — необходимо развить в себе умение смотреть на него с высоты достижений настоящего, с высоты великих целей будущего. Эта высокая точка зрения должна и будет возбуждать тот гордый, радостный пафос, который придаст нашей литературе новый тон, поможет ей создать новые формы, создаст необходимое нам новое направление — социалистический реализм, который — само собою разумеется — может

быть создан только на фактах социалистического опыта».

Горький не упоминает в этой статье термина — романтика, но это понятие в ней присутствует. Проблема революционного романтизма также многие годы интересовала и волновала писателя.

К сожалению, превратно толкуя отдельные формулировки Горького, в частности о революционном романтизме, отдельные литературоведы и критики пытались одно время защитить ими свои рассуждения о том, что художник должен привносить идеал в действительность извне, имеет право приукрасить, «возвысить» жизнь. Обставляли цитатами из Горького даже пресловутую «теорию» бесконфликтности. Но всё это, конечно, чистый вздор и полное непонимание Горького! Горький был врагом лакировки, какого-либо приукрашивания жизни: «не следует подменять действительные, хотя бы и скромные, краски сусальной позолотой, кричащей фразой, дешёвой «красивостью», — заявлял он в статье «О том, как надобно писать для журнала «Наши достижения»».

Горький иначе понимал революционный романтизм.

«Молодым людям покажется смешным, — писал он в 1933 году, — если я, старик, сознаюсь, что пишу сейчас в том настроении, которое на утренней заре культуры позволяло людям создавать неувядаемые поэмы, легенды. Да, я пишу именно в таком настроении, и очень тяжело мне сознавать, что у меня нет слов такой силы, которая была бы равна силе фактов, возбуждающих в душе радость и гордость дивными успехами в труде пролетариата...»

В этих прекрасных, гордых словах — ключ к горьковскому пониманию романтики как органической составной части социалистического реализма. Романтика — в самой действительности, в самой нашей жизни, полной высокой поэзии, красоты человеческих отношений, массового, повседневного героизма.

Революционный романтизм, по мнению Горького, есть псевдоним социалистического реализма. Назначение же социалистического реализма — не только критически изобразить прошлое в настоящем, но главным образом способствовать утверждению достигнутого и освещению высоких целей коммунистического общества.

Ошибки литературоведов и критиков в понимании сущности романтики в известной

мере отразились на нашей литературе. Романтику стали вообще замалчивать, чуть ли не стыдиться её, а иногда без всяких оснований навешивать на неё ярлык «лакировки». И как следствие этого появились произведения, чрезмерно «заземлённые», будничные, с подчёркнуто обыденными, бедными духом и неинтересными в своих действиях героями, которые в сущности лишь констатируют: «Вот мы живём», но ничему не могут научить, ни к чему не зовут, ничем не вдохновляют. Они скучны, безинтересны, и читатель со скукой взирает на них. К чему они тогда? В последнее время на страницах печати возобновился — правда, пока ещё в общей форме — разговор о месте романтики в социалистическом реализме. Думается, что на Всесоюзном съезде советских писателей этот разговор будет не только подхвачен, но и станет по-настоящему плодотворным.

Одна из важнейших проблем социалистического реализма — проблема создания положительных художественных образов. Горького радовал рост нового человека. И в публицистике, и в литературно-критических статьях, и в своих очерках он множество раз высказывал свой восторг перед советским человеком. «Я вижу целый ряд товарищей, которых я знал в своё время, — рассказывал он. — Они чрезвычайно не похожи на тех людей, которых я знал, они выросли до такой степени, что странно, я бы даже сказал, что как-то не верится: неужели это ты? Он, корт возьми!» И обобщал: «От Арарата до Мурмана и от Востока до Ленинграда, на этом поле, на этом огромном пространстве сейчас родился новый народ».

Новый народ, новый советский человек закономерно должны стать основными героями советской литературы — к этому логическому, подсказанному самой жизнью выводу Горький приходит в ряде своих статей. Строитель нового мира и должен быть главным героем современной драмы, решительно заявляет Горький, например, в своей статье «О пьесах». И он учит изображать этих героев со всей силой и яркостью художественного слова, раскрывать их лучшие, благородные черты, создавать образы героев, духовный облик которых вызовет стремление к подражанию.

Хочется тут же отметить одно, довольно важное обстоятельство Горький всегда оценивал людей по их способности к труду,

к активному, волевому действию. Важнее труда он ничего не видел на земле — «труда, образующего всё ценнейшее, всё прекрасное, всё великое в этом мире». И ясно, что развитие, расцвет этого качества — любви к труду — были особенно дороги Горькому в советском человеке. Вот почему он с полной убеждённостью заявил на Первом Всесоюзном съезде советских писателей: «Основным героем наших книг мы должны избрать труд, то есть человека, организуемого процессами труда, который у нас вооружён всей мощью современной техники, — человека, в свою очередь организующего труд более лёгким, продуктивным, возводя его на степень искусства». Важное принципиальное высказывание. Жаль, что его начали в последнее время забывать.

Многие критики, правильно заметив отдельные недостатки произведений на производственную тему, вообще взяли под сомнение необходимость таких произведений. Справедливое требование показывать советского человека широко, не только на производстве, но и в быту, в личной жизни, во всём богатстве его чувств, мыслей и устремлений, было понято односторонне. И отдельные писатели стали уже чураться сцен на производстве, разговоров о работе, о труде, обедняя тем самым своих героев. Поэзия труда, воплощённая в живых, полнокровных образах, — могучий фактор воспитания наших людей. Создать новые книги о рабочем классе, о труде колхозника, воспеть труд как творчество, как смысл жизни — достойная и чрезвычайно полезная задача. Сейчас у молодёжи, оканчивающей среднюю школу, обнаруживается, например, стремление пойти на производство, чтобы приобрести там опыт, практические знания и навыки, стать полноценными тружениками. Разве хорошие книги о производстве не могли бы поддержать это патристическое, благородное стремление? Но хороших книг о труде всё ещё мало и, конечно, должно быть больше!

Проблема создания положительных художественных образов — сложная проблема, и несомненно нужны усилия коллективной мысли, чтобы уяснить и понять хотя бы вопросы общего характера, связанные с этой проблемой. Горький настойчиво призывал писателей решать многие творческие вопросы сообща, коллективно. В этом смысле привлекает внимание спор о положительном герое, разгоревшийся сейчас на стра-

ницах «Комсомольской правды» и «Литературной газеты».

Следует отметить необходимость самой постановки вопроса о создании героев, которые могли бы стать идеалом для молодёжи. Это была правильная, естественная реакция на внезапно появившийся косяк идейно порочных произведений, где жизнь советских людей отображалась неверно, в кривом зеркале (типа пьесы Л. Зорина «Гости»). Появилось и «теоретическое» оправдание этой ложной объективистской литературы в виде статьи В. Померанцева, где под флагом борьбы с приспособленчеством и лакировкой была взята под сомнение современная широкая общественная тематика и проблематика советской литературы. Автор статьи, вытаскивая на свет факты и фактики, тянул к одностороннему показу и раздуванию отрицательных явлений нашей действительности.

Наша общественность дала отпор этим взглядам. Вместе с тем был поднят вопрос о положительном образе, идеальном герое в нашей литературе, — и это было нужно, плодотворно, полезно. Но думается, что сейчас дискуссия уже «буксует» на одном месте. Спорить, нужен ли идеальный герой или не нужен и может ли быть герой с недостатками или не может, — это, право же, ломиться в открытые ворота. Конечно, нужен и, конечно, может! Авторы же статей искусно ловят друг друга на неудачных формулировках, полемизируют по всем правилам, ищут и находят «главное направление» спора. И всё это пока в полном отвлечении от опыта литературы, в разрежённом воздухе абстрактного разговора. А не лучше ли, не полезнее ли поговорить о том, как наша литература работала над положительными образами, какие были здесь ошибки, неудачи, срывы и как писатели шли и приходили к большим победам. Не будет спора? Но так ли обязателен спор там, где в сущности нет ничего спорного, но где может быть полезное творческое собеседование?

Создание художественных образов, которые наши люди могли бы взять за образец, — одна из важнейших задач советской литературы. Но, разумеется, не единственная. По нашей жизни ещё ходят тёмные, фальшивые «человечки». Некоторые из них, обладая способностью к социальной мимикрии, прикрываются революционной фразой, а на самом деле стремятся лишь,

по выражению Горького, «сорвать и удрать». Карьеристы, вредители, приспособленцы (титул, замечал Горький, равноценный титулу «паразиты») — вот объект острейшей, начисто выжигающей дрянь литературной сатиры. Отвечая на вопрос: «По каким признакам можно определить действительного пролетарского писателя?», Горький в числе этих признаков указывал на беспощадную ненависть к лентяям, паразитам, пошлякам, подхалимам и вообще ко всему, что путается в ногах и мешает нашему движению вперёд. Советской сатире писатель придавал большое значение. «Часто бывает так, что высмеять — значит вылечить, — сказал он на совещании редакторов политотдельских газет. — Владимир Ильич отлично умел лечить этим приёмом».

Подлинная гражданская сатира ничего общего не имеет с натуралистическим копанием в житейских мерзостях, с обывательским смакованием недостатков в нашей жизни. Горький называл это «неправильным отношением к жизни». Указание на «бытие всякой мерзости», замечал он, ещё не есть служение высокой правде. Художник должен разоблачать пережитки прошлого, всегда памятуя об идеале, и нужно, чтобы этот положительный, утверждающий жизнь пафос присутствовал в сатирическом произведении. В целом же писатель-реалист «призван исполнять одновременно две роли: роль акушерки и могильщика» — помогать рождению нового и хоронить всё враждебное людям.

Хорошо выполнить эту задачу в наше время можно, лишь владея марксистско-ленинским мировоззрением. Об этом Горький часто напоминает. Он не мыслит художника без отчётливого, ясного взгляда на жизнь. Жизнь сложна, многообразна, и разобраться в ней помогает знание законов её развития — законов, открытых классиками марксизма-ленинизма. «Научный социализм, — пишет Горький, — создал для нас высочайшее интеллектуальное плоскогорье, с которого отчётливо видно прошлое и указан прямой и единственный путь в будущее».

Высокая идейность литературы, коммунистическая партийность — основа основ нашей литературы. Горький бдительно охранял и защищал эти основы от различных реакционных субъективистско-идеалистических и вульгаризаторских течений и

взглядов, от нападок на принципы партийности со стороны эстетствующих ревнителей «искусства для искусства». Он высмеивал и разоблачал попытки декадентствующих литераторов защитить так называемую «свободу» искусства, своеволие творческой мысли, отгородиться от политики. Предмет искусства — человек, а человек, указывал Горький, непознаваем вне действительности, которая вся и насквозь пропитана политикой. Буржуазным воззрениям в эстетике он противопоставлял незыблемые принципы марксистско-ленинской эстетики. Сила настоящего искусства, учил он, в его правдивости и идейности. Коммунистическая идейность — могучее оружие советского художника. Сама литература пролетариата, писал Горький, — одно из проявлений его жизнедеятельности, его стремления к самовоспитанию на основе той политико-революционной идеологии, которая создана научным социализмом Маркса—Ленина.

Великий патриот, сын своего народа, Алексей Максимович Горький питал чувства глубочайшей, вдохновенной любви к партии коммунистов. «Товарищи, отличная сила, умная, непоколебимая сила — наша партия!» — восклицал он. В партийном руководстве литературой он видел главный залог новых творческих успехов и побед советских литераторов. «В чём вижу я победу большевизма на съезде писателей, — сказал он в своём заключительном слове на Первом Всесоюзном съезде советских писателей. — В том, что те из них, которые считались беспартийными, «колеблущимися», признали, — с искренностью, в полноте которой я не смею сомневаться, — признали большевизм единственной боевой руководящей идеей в творчестве, в живописи словом. Я высоко ценю эту победу». И тут же он формулировал задачу: «...наше творчество должно остаться индивидуальным по формам и быть социалистически ленинским по смыслу его основной, руководящей идее».

Это указание Горького напоминает нам о необычайной важности идеологического воспитания литераторов. Идеальная закалка — одно из главнейших условий верной, творчески полноценной работы художника, правильного понимания литератором и явлений жизни и явлений литературы.

Политика партии — жизненная основа развития советской литературы. Наши писатели с гордостью заявляют о том, что

они руководствуются в своей работе высокими принципами партийности.

Один из важнейших горьковских заветов — сохранять идейную чистоту советской литературы, защищать и укреплять незыблемый ленинский принцип её партийности.

Одному из молодых писателей, мнившему себя беллетристом, но не знавшему жизни и не владевшему основами писательского мастерства, Горький посоветовал написать очерк. Из молодых, да ранний обиделся:

«Я весь содрогаюсь от напряжения творческой силы, а вы советуете мне пробовать себя на очерке, что это — насмешка?»

Горький ответил спокойно:

«Молодой человек! Вы окажете самому себе хорошую услугу, если поймёте, что решающую роль в работе играет не всегда материал, но всегда — мастер».

Мастер слова, мастерство писателя — эти понятия у Горького насыщены большим и конкретным содержанием. В той или иной мере он затрагивает вопросы мастерства чуть ли не в каждой статье, всю жизнь они занимали его.

Мастерство для Горького — не самоцель и не сумма приёмов, хотя Горький любил термин «литературная техника», так же как слову «творчество» предпочитал простое слово «работа». Форма ради формы для него никогда не существовала, и он презирал самое совершенное владение писательской техникой, если оно не согревалось глубоким чувством и сильной мыслью. Формализм, указывал он, как «манера», как «литературный приём» чаще всего служит для прикрытия пустоты или нищеты души. Горький понимал форму в искусстве с позиций марксистско-ленинской эстетики, никогда не забывал о содержании, об идеях, выраженных художником. И потому понятие «мастерство писателя» у Горького — понятие широкое, охватывающее весь творческий процесс создания художественного произведения. Художник работает не только в те часы, когда сидит за столом над рукописью, но и когда наблюдает, изучает действительность. Наблюдать, сравнивать, изучать жизнь надо тоже уметь, и это умение не менее важно, чем владение собственно литературной техникой. Формалистские побрякушки потому и побрякушки, что лишены серьёзного жизненного содержания.

В то же время Горький прекрасно видел вред невежественного пренебрежения формой. Никакое знание жизни не способно искупить недостатки формы. Самая прекрасная идея может задохнуться в словесных сорняках. Безмерно дорожа мыслью, идейным содержанием искусства и прекрасно понимая, что лишь совершенная форма придаёт идее особую силу, как бы оттачивает её, Горький настойчиво советовал писателям овладевать мастерством. Именно заботой о высокохудожественном, полноценном воплощении жизненного материала продиктована категорическая формула Горького: «Нужно знать технику творчества. Знание техники дела — это и есть знание дела».

Но и самую технику творчества Горький разумел не узкопрофессионально; для него это понятие было широким, включающим в себя большое содержание! Изучение, «освоение» жизни есть первоэлемент литературной техники, без которого вообще немислима серьёзная работа литератора. Не случайно поэтому в статье, носящей заголовок «О литературной технике», писатель обстоятельно рассуждает о таких качествах, как наблюдение, сравнение, отбор жизненных фактов, характерных классовых особенностей и т. п.

Глубокий диалектический взгляд на мастерство писателя, на творческий процесс дал возможность Горькому сделать ряд значительных теоретических обобщений, внести свой вклад в нашу теорию литературы, обогатить эстетику новыми положениями. Важно при этом, что Горький занимался теорией ради практики, передавая свой опыт молодым литераторам; голое теоретизирование, витание в пустых абстракциях было ему абсолютно чуждо. Примечательно, например, что определения художественной литературы, социалистического реализма, темы, сюжета даны в его «Беседе с молодыми». (Кстати, наши учёные, занимающиеся теорией литературы, почему-то проходят мимо этих определений. Почему?!) Немало ценного в теоретическом отношении содержат горьковские «Беседы о ремесле», беседы с писателями-ударниками, его обширная переписка с литераторами. И всюду теоретические положения у Горького скорее практические советы, предложения, нежели «откровения». Меньше всего в них академического догматизма и непререкаемости.

Исключительный интерес имеет для нас горьковское понимание типичности — этой основной проблемы художественного мастерства.

Горький упорно и последовательно на протяжении многих лет размышлял о принципах типизации явлений и фактов действительности в реалистическом искусстве. Эти размышления также носили не отвлечённый характер, а опирались на конкретный положительный опыт литературы и искусства. Горький был принципиальным противником как натуралистического, бескрылого фиксирования фактов жизни, так и субъективно-импрессионистического выражения камерных эмоций, чувств художника. В типизации жизненных явлений он видел победоносную и непреходящую силу искусства. Говоря о таких бессмертных литературных образах, как Онегин, Обломов, Гамлет, Отелло, Фауст и другие, он подчёркивал, что всё это — обобщённые типы и что именно благодаря высокому искусству обобщения, типизации литература и становится художественной, действенной силой, той силой, в которой мы нуждаемся, которая имеет определённое воспитательное, политико-культурное значение. При этом Горький понимал литературный тип широко, не как соединение в одном образе случайных, временных, скоропреходящих черт действительности, а как выражение характерных черт целой эпохи, класса, народа. «Тип — это явление эпохи», — сказал он, беседуя с молодыми ударниками, вошедшими в литературу. Исходя из этого, он и сам создавал свои типические образы. Таков, например, Клим Самгин, по определению самого Горького, «тип индивидуалиста, человека непременно средних интеллектуальных способностей, лишённого каких-либо ярких качеств», личности, противостоящей народу, паразитирующей на теле общества. «Я его знал лично в довольно большом количестве, — говорил Горький об этом типе буржуазного интеллигента-индивидуалиста, — но, кроме того, я его знал исторически, литературно, знал его как тип не только нашей страны, но и Франции и Англии... Этот тип индивидуалиста... проходит в литературе на протяжении всего XIX века».

Знание жизни, глубокое проникновение в социальную сущность явления становятся таким образом одними из самых главных условий типизации. Выявление и раскрытие типичного невозможно без понимания

исторического процесса. Что типизировать и как типизировать — не просто внутрилитературная проблема. Проблема типичности есть всегда проблема политическая. Типическое есть основная сфера проявления партийности в искусстве.

Прекрасно понимая роль и значение литературного типа, Горький полагал, что тип в литературе создаётся отнюдь не по принципу выбора или отбора того, что чаще всего встречается. Бухгалтерское, среднестатистическое понимание типического его никак не устраивало, так как в это понимание не укладывается движение жизни. Новое, нарождающееся не может быть явлением сугубо множественным, но разве оно не имеет права на изображение? Вот почему с проблемой типичности Горький тесно связывал право искусства на преувеличение как положительных, так и отрицательных явлений. Литератор, объяснял он, живёт как бы в центре различных людей: трудолюбивых и лентяев, добродушных и озлобленных, энтузиастов и равнодушных, мечтателей и честолюбцев и т. д. Но не каждое из этих качеств определяет сущность характера человека. Задача художника — выявить, вышелушить это зерно. Для этого нужно отбросить второстепенное, малосущественное и подчеркнуть типическое, придав ему наибольшую убедительность, углубив его смысл, показав его социальную обоснованность и неизбежность.

Горький протестовал против плоской фактографии, ползучего бытовизма. «Глупо, как факт», — повторял он слова Бальзака, давая понять, что факт, не осмысленный, не понятый, не поставленный в сравнение с другими фактами, — не то что не явление искусства, но просто ничтожность. Он учил создавать тип по принципу «абстракции и конкретизации», извлекать из реально данных фактов основной их смысл и воплощать его в художественно-конкретный образ. Факт — ещё не вся правда, замечал он, а только сырьё, из которого следует выплавить, извлечь настоящую правду искусства. Нельзя жарить курицу вместе с перьями, а преклонение перед фактом ведёт именно к тому, что смешивают случайное и несущественное с коренным и типическим.

В то же время литературный тип не есть нечто «отжатое» и очищенное от конкретных деталей; художественное произведение — не экстракт жизни, а сама жизнь.

Решающей предпосылкой создания типического образа Горький считал поэтому умелое изображение конкретного, живого характера. Он понимал, что это — самое тонкое и сложное и самое трудное дело, какое стоит перед художником. Он советовал не наклеивать человеку «классовый признак» извне, на лицо, не рисовать характеры схематичные, ходульные, а создавать фигуры художественно убедительные. Схематизм, упрощенчество вызывали у него насмешку. Но он не считал художественной доблестью и изображение «раздвоенных» личностей, с мучительным самокопанием в душе и унылым психологизированием. Человек изумительной цельности, он считал создание сильных, целостных, волевых характеров одной из важнейших задач нашей литературы. При этом и в работе над созданием характера он предлагал подчёркивать и заострять основные ведущие черты, раскрывать сущность персонажа в его главном проявлении. Именно к этому сводится работа создания характера, учил он.

Не отлекаясь далеко в сторону, следует заметить, что задача создания живых, художественно убедительных характеров — может быть, самая сложная в работе художника. Сколько хороших, благих замыслов осталось невоплощёнными потому, что художнику не удалось создать живые характеры. Многие писатели правильно задумывали, например, образы партийных работников, руководителей, но немногим удалось добиться успеха. Они не смогли, как это смог, например, П. Павленко, создать не только выразителя верных мыслей и идей, но ещё и живого человека — Воропаева, которого уже ни с кем другим не спутаешь.

Много внимания Горький отдал вопросам языковой культуры, так как справедливо считал язык основным материалом литературы. «Слово — одежда всех фактов, всех мыслей», — образно говорил он и требовал, чтобы писатели с любовью и уважением относились к слову, добивались богатства, простоты, ясности и точности языка. Это требование шло у Горького также от понимания художественной литературы как идеологического оружия. Именно поэтому он непримиримо относился ко всякой неряшливости, невниманию к слову, к «словесной глухоте». «В области словесного творчества языковая — лексическая — малограмотность всегда является признаком

низкой культуры и всегда сопряжена с малограмотностью идеологической — пора, наконец, понять это!» — твёрдо и отчётливо заявлял Горький.

Выступления Горького оказали решающее влияние на ход дискуссии о языке, развёрнувшейся в нашей литературе в 1933—1934 годах. Партия поддержала Горького в его борьбе за чистоту языка, против засорения его словесным хламом. В редакционном послесловии к горьковской статье «О языке» «Правда» писала: «Всеми фронту советской литературы, наряду с борьбой за высокий идейный уровень художественных произведений, с борьбой против враждебной пролетариату идеологии, надо крепко взяться за решение проблем мастерства, проблемы овладения ярким, красочным и богатым языком».

Борьба Горького за чистоту языка дала свои плоды, сейчас уже вряд ли найдутся защитники вульгаризмов или собственных словесных «новшеств». Но это совсем не значит, что вопросы языковой культуры сняты, как говорят, с повестки дня. Редкими стали языковые «фокусы», но ещё как часто встречается у писателей тусклый, нивелированный стиль, лишённый какого-либо своеобразия. Меньше стало неряшливостей, небрежностей, но ещё нередко приходится читать страницы, заполненные первыми попавшимися словами, скопированными в грамматически верные, но удручающе вялые, невыразительные предложения.

Борьба за совершенство и красоту нашего литературного языка, так же как борьба на других направлениях художественного мастерства, — это борьба за советскую классику, за высокохудожественные произведения, к созданию которых звал Горький.

Шёл разговор о недостатках и слабостях литературной критики. И Алексей Максимович пожаловался: «...Мне тоже помогли мало, ругали много и плохо, хвалили ещё хуже, а помогали — никак».

Глубоко презирая мелкотравчатую народническую и идеалистически заумную декадентскую критику, долгие годы до революции главенствовавшую во многих журналах и изданиях, Горький не раз возмущался поразительной глухотой и слепотой этой критики. В самом начале литературной деятельности А. П. Чехова один из критиков, «взаимно бездарный и тем отличаю-

щийся от других, менее бездарных», пророчил, например, что Чехов сопьётся и умрёт под забором. «В общем, — замечал Горький, — критики напоминали мне одного воронежского иеромонаха, который, выслушав подробный рассказ о путешествии Миклухи-Маклая, недоуменно и сердито спросил:

— Позвольте! Вы сказали: он привёз в Россию папуаса. Но — зачем же именно папуаса? И — почему только одного?»

Родоначальник советской литературы, великий организатор её сил, А. М. Горький положил немало труда, чтобы сделать литературную критику действенным средством борьбы за повышение писательского мастерства, привить критикам чуткое отношение к писателям, развить в них чувство высокой ответственности за весь сложный и многообразный литературный процесс. У Горького мало похвал в адрес советской литературной критики, и похвалы эти весьма скупы. Но это только потому, что и успехи критики были более чем скромны. Литературной же критике, как таковой, Алексей Максимович придавал огромное значение. Он считал, что она должна стать ведущей и направляющей силой молодой советской литературы, учителем и воспитателем литературы, а вместе с тем и широких масс читателей. «Титул «инженер человеческих душ», — заявлял он, — у нас относится к литератору. Я думаю, что критик не менее заслуживает этого титула».

Ставя большие и почётные задачи перед литературной критикой, Горький требовал, чтобы критики овладевали мастерством, яснее понимали смысл своей работы. Тягостное недоумение вызывали у него грубые, заушательские приёмы, «приёмчики... унижения и заушения», пользуясь которыми отдельные критики стремились во что бы то ни стало опорочить то или иное произведение того или иного писателя. Такая, с позволения сказать, «критика» напоминает Горькому популярную в старое время на ярмарках «пробу силы на голове турка». «В этой пробе силы, — иронизирует он, — много значило умение нанести удар, и обычно победителями оказывались не самые сильные люди, а — молотобойцы». Горький протестует против того, что критические статьи часто сводятся к порицанию, а не к воспитанию автора. «Добролюбов, Чернышевский, Плеханов, — подчёркивает он, — воспитывали писателя».

Серьёзное недовольство Горького вызывала критика схематичная, не умеющая понять своеобразие и многообразие творчества и потому не соглашающаяся с тем, что выходит за рамки устоявшихся представлений. Ему претил поучающий, не терпящий возражений, менторский тон критики. В глубоко ответственной работе литераторов, учил он, аксиоматичность, догматизм и вообще «кустарное» производство бесспорностей неизбежно ведут к ограничению, к искажению смысла живой, быстро изменяющейся действительности. И замечал: «Необходимо очень долго и усердно учиться, чтобы получить право осторожных советов».

Случайность оценок, отсутствие ясного, определённого взгляда на литературные явления, неумение охватить всю литературу в целом, уловить ведущие тенденции её развития — всё это свидетельствует не о силе, а об отставании критики. «Критика берёт отдельную книгу и оперирует над нею более или менее хирургически», «Критика недостаточно действительна, гибка, жива», «Критика... идёт всё-таки не в ногу с литературой» — подобных высказываний немало у Горького. Но это не жалоба и не простая констатация факта. М. Горького тревожит положение с литературной критикой, и потому он борется, чтобы исправить это ненормальное положение. При этом, как бывало всегда у Горького, критикуя, он советует и советуется, высказывает свои соображения, предложения. Он даёт основной критерий оценки произведения, литературного явления — критерий политический и глубоко партийный — «рассматривать явления текущей литературы, исходя от вопроса: насколько та или иная книга способна воспитать в человеке волю к творческой, культурно-революционной жизнедеятельности». Как и писателем, Горький советует критикам изучать жизнь, овладевать мастерством, отметать каноны и шаблоны. Горький — за серьёзную «философскую критику», основанную на знании марксистско-ленинской науки, за то, чтобы критика объясняла социальное значение произведений. Он — за целостное понимание литературы как процесса, творимого коллективно, и потому он за то, чтобы критик всегда работал «в согласии и сотрудничестве с литератором».

Горький не оставил специальной статьи о советской литературной критике, его замечания о ней содержатся в различных статьях и выступлениях, касающихся нашей литературы. В своей совокупности эти замечания, размышления, советы образуют достаточно цельную и ясную положительную программу действий нашей критики. Как ни странно, но критика до сих пор не попыталась осмыслить эту программу и вообще слабовато изучает литературно-критическую деятельность великого пролетарского писателя. Можно только сожалеть, что даже настоящему изданию не предпослана вступительная статья, в которой, хотя бы кратко, освещались эстетические взгляды Горького, оценивалось его замечательное критическое наследие.

Вся литературно-критическая деятельность Горького пронизана духом борьбы за идейную чистоту нашей литературы, против чуждых ей буржуазно-мещанских взглядов, за высокое мастерство писателей, за активность, действенность художественного слова. Необычайно плодотворная деятельность Горького — критика, теоретика и историка литературы учит, как следует развивать и двигать вперёд нашу литературную критику, литературоведение, литературную теорию, избегая опасных отклонений от пути социалистического реализма.

Горьковскому пониманию целей и задач литературной критики было абсолютно чуждо нигилистическое, неуважительное отношение к труду писателей. Десятки статей Горького, сотни его писем проникнуть постоянной заботой о литераторах, в особенности о начинающих. Горький не жалел труда на чтение большого количества новых книг, рукописей, всякий раз давая авторам ценные замечания об их работе. При этом Горький резко отрицательно относился к тем, кто, основываясь на отдельных слабостях того или иного произведения, пытался перечеркнуть работу писателя и вместе с тем умалить успехи литературы.

Бездушный снобизм, ледяная издёвка эстета мертвят литературу, пытаются ограничить её плацдарм, ставят «подножку» литераторам. Не в силах быть откровенным, эстетство чаще всего выступает под флагом «высокой требовательности», надевает на себя маску защитника и ревнителя «высокого искусства». Но это одна лишь видимость. По отношению к искусству эстетство — синоним полнейшего циничного



равнодушия. Это хорошо понимал и ясно видел Горький. Отвечая на злопыхательские смешки эстетов в адрес советской литературы, он с гордостью говорил, что наша литература вместе со всей массой творческих сил Советского Союза живёт в состоянии войны со старым миром и в напряжённом строительстве нового мира. А на войне, сурово замечал он, эстетизм неуместен. На войне только равнодушный циник может остаться эстетом. И тут же, как о великом достижении нашей литературы, он говорил: «Мы имеем право сказать, что никогда ещё и нигде литература не шла так «нога в ногу» с жизнью, как она идёт в наши дни у нас».

Горький гордился успехами советской литературы, радовался каждому новому таланту, каждому новому удачному произведению. Это шло не от прекрасноты и не от личной расположенности к людям, а от трезвого, реального понимания того, как бурно, могуче растёт молодая, новая литература. Горький видел недостатки, помехи на пути этого роста, но это не снижало его оптимизма, любви к советской литературе, веры в её новые успехи. «Вообще у нас в области литературы очень много нового и ценного, но не оценённого по достоинству, — писал он. — И, разумеется, много сора, хлама, всякой чепухи, злорадства над ошибками и противного нутья неудачников. Это вполне естественно, это — ветер революции обрывает жухлые, вялые листья с «древа жизни».

Горький умел хвалить, но умел и критиковать — сурово, нелицеприятно, не подслащивая критику комплиментами. То, что ему не нравилось, — не нравилось. Он не выносил спешки, неряшливости в работе, неуважения к читателю, независимо от того, проявлялось это у молодого или у маститого писателя, и критика его всегда была неотразимо доказательной. Серьёзной критике Горький подверг язык романа Ф. Панфёрова «Бруски» и не согласился с А. Серафимовичем, когда тот попытался защитить Ф. Панфёрова. Горький указывал и на недостатки в языке произведений Ф. Гладкова, В. Вишневского, В. Ильенкова. Это была критика, помогавшая писателям исправить ошибки, она требовала и учила, она шла от глубокой заинтересованности в росте литературы, в творческом развитии писателя и потому при всей своей резкости была отечески заботливой.

«Я иногда говорю резко, — сказал Горький на съезде писателей, — но это я говорю не о писателе, а о его работе. Я — в некотором роде единоличник, и я жаден. Мать моя — литература Союзных Советских Социалистических Республик — празднует годы своего рождения. По жадности моей я страшно хочу, чтобы она получала хорошие подарки».

Литературно-критические статьи Горького — своеобразная школа для нашей критики, школа не только правильного тона, воспитания верного отношения к литературе и писателям, но и понимания литературы, своеобразия каждого настоящего художника. Статьи как бы напоминают и об отставании нашей литературной критики и показывают пути её подъёма.

Мало у нас, очень мало статей проблемных, поднимающих важные, существенные вопросы социалистического реализма, литературной жизни. Горький учит именно такому широкому, масштабному подходу к литературе. Он никогда не писал о мелочах и даже в самой небольшой рецензии, заметке высказывал глубоко поучительные мысли. Уже самые заголовки статей Горького характерны: «О прозе», «О пьесах», «О социалистическом реализме», «О начинающих писателях», «О темах», «О языке» и т. п. Значительные вопросы — и сама постановка их никогда не была случайной, а диктовалась особенностями развития литературы. Горький выступал в нужный момент, по самому животрепещущему вопросу, и его вмешательство часто имело решающее значение. Этому следует учиться нашей критике, часто запаздывающей, негибкой, а иногда и глуховатой к отдельным литературным явлениям, невнимательной и несправедливой и — главное — слабо охватывающей весь литературный процесс. Горький настойчиво советовал критикам обращать побольше внимания на литературу в целом, а не на единичные явления её, не исключая, конечно, разговора и об отдельных произведениях. Он рекомендовал давать ежегодные обзоры развития литературы по темам. Где такие статьи? Нет их.

Опыт Горького нацеливает критику на вопросы мастерства, которыми она до сих пор интересуется вяло и занимается подчас неквалифицированно. Несколько преувеличивая, Горький считал, что учить начинающих литераторов писать просто, ясно, грамотно — чуть ли не главная обязанность

критики. Но за этим преувеличением есть и здоровая, верная мысль. Критика должна помогать литераторам овладевать мастерством, заниматься, по выражению Горького, не одной «социальной педагогикой», но и технологией дела. Разумеется, и сами критики должны писать не многословно и тускло, а просто, ярко, экономно. Горький и на это указывал.

Литературно-критические статьи Горького учат не только критиков, но и писателей заниматься литературной критикой, обобщать свой опыт и вглядываться в опыт товарищей по перу, делиться «секретами» живописи словом, учат высокой требовательности и взыскательности, активности, заинтересованности в общем литературном деле, воспитывают чувство гордости за литературу и неудовлетворённости достигнутым. Горький сказал об этом просто и мудро: «Читатель дал нам право гордиться отношением к нам читателя и партии Ленина, но мы не должны преувеличивать значения работы нашей, ещё далеко не совершенной».

Богато и многообразно литературно-критическое наследие Горького. В нём изложены основополагающие принципы нашего искусства, глубоко и всесторонне освещены многие проблемы социалистического реализма. Горький дал образцы проблемной

разработки основ теории и практики советской литературы. Его всегда интересовали коренные вопросы литературной жизни, и именно на эти важнейшие вопросы он искал и находил наиболее верные и точные ответы.

Сборник литературно-критических статей Горького — своего рода энциклопедия социалистического реализма. Необычайное богатство мыслей, разнообразие метких суждений, подлинная принципиальность в оценке литературных явлений делают сборник настольной книгой каждого писателя, каждого, кто занимается советской литературой. Не случайно почти все статьи Горького, написанные двадцать, сорок, пятьдесят лет тому назад, перекликаются с современностью, звучат, как выступления живого участника живой сегодняшней жизни.

Труды, высказывания Горького оказывают и будут оказывать впредь неоценимую помощь нашим писателям в борьбе за осуществление политики партии в области литературы, за создание изобилия духовной культуры в Советской стране.

Призывно звучит мудрый завет великого учителя советской литературы, обращённый к писателям: «Вперёд и выше — это путь для всех нас, товарищи, это путь, единственно достойный людей нашей страны, нашей эпохи».



---

Е. ТРУЩЕНКО

★

## СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЙ РЕАЛИЗМ И ПРОГРЕССИВНАЯ ЛИТЕРАТУРА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

**Л**юбители поэзии, прозаики, критики и теоретики искусства в различных странах мира размышляют над проблемами художественного творчества, стремятся определить характер литературы, которую требует наша современность. В теоретических высказываниях, статьях, критических этюдах, публичных выступлениях они говорят о призвании и роли художника слова, о сущности и задачах поэзии, о месте и назначении художественной литературы в общественной жизни, социальной борьбе.

Представители различных идейных и эстетических направлений высказывают различные суждения. Итальянский профессор эстетики, мистик и экзистенциалист Стефанини, например, всерьёз считает искусство средством общения с богом. Американский поэт и критик Мельвилл Кэйп, противник «логических размышлений» в поэзии, иначе говоря, здравого рассудка в ней, отстаивает взгляд на поэтическое творчество, как на «излияние души под напором чувств». Поэзия, по его мнению, призвана выражать «потайную истину», «мистическую сущность». Задачу поэтов он видит в том, чтобы «петь на извечные темы любви, смерти, красоты природы и неравной борьбы человека с судьбой». Поэт, по мнению Кэйпа, должен следовать только своей интуиции, «куда бы она ни привела», от него требуется «овладеть стихией, музыкой, волшебством, обладать способностью к безудержному взлёту». Соблазняя прелестями полубреда и «творческого» шаманства, сей певец призывает коллег уйти от социальной действительности, социальных проблем.

Можно было бы привести и ряд других суждений буржуазных эстетов, стремящих-

ся превратить искусство в наркотическое средство, которое могло бы загипнотизировать читателя, вытравить из его сознания мысль о возможности понять, объяснить или изменить мир. И дело не в «разнообразии» всех этих точек зрения, а в том, что при всей кажущейся парадоксальности одних суждений, банальности и примитивности других именно они-то и составляют эстетику буржуазного упадочного искусства. Апологеты этого искусства видят в художественном творчестве либо поприще для отвлечённых формалистических исканий, либо убежище от реальной жизни с её острой социальной борьбой, либо средство, с помощью которого можно вызвать у людей чувство безысходности, пробудить в них тёмные инстинкты, животные страсти.

История современной буржуазной литературы наглядно свидетельствует о том, что следование подобным «теориям» приводит писателей к творческому кризису, деградации.

В противоположность этому агонизирующему искусству и в борьбе с ним растёт и развивается прогрессивное искусство, связанное с передовыми силами общества, отражающее настоящее и будущее этих сил, выражающее передовую идеологию нашего времени. Отличительными чертами этого искусства являются правдивость, идейная насыщенность, политическая актуальность, оптимистическая устремлённость в будущее.

Во главе демократической прогрессивной литературы мира стоит советская литература, литература социалистического реализма, прочно базирующаяся на принципах марксистско-ленинской эстетики. Опираясь на

опыт советской литературы, развивают национальную литературу писатели Китайской Народной Республики и стран народной демократии, обеспечивая её идейный и художественный подъём. Но не только в странах демократического лагеря идёт борьба за идейно и художественно передовую литературу. Борьба эта охватывает и капиталистический мир.

Прогрессивная литература завоевывает всё более прочные позиции в Соединённых Штатах Америки, стране наибольшего разгула империалистической реакции, в Японии, подпавшей под двойной гнёт — американского империализма и японской реакции. Борьба за передовое искусство нарастает в пробуждающейся от колониального гнёта Индии и в крохотной республике Панаме. О задачах поэтов и поэзии, о роли художественной литературы в борьбе за мир, об укреплении братских связей между народами говорят литераторы многих стран Латинской Америки. С открытым лицом противостоят разгулу реакции художники слова, верные принципам демократии и реализма, в Иране. О путях выхода из кризиса и упадка национальной культуры размышляют писатели Швеции. Прогрессивные писатели Франции, продолжая и развивая реалистические традиции национальной литературы, создают новые литературные ценности — произведения, помогающие народу в его борьбе за мир, за демократию. Крупнейшие литераторы Англии, развивая лучшие традиции национального искусства, расширяют и укрепляют демократический фронт. Прогрессивная литература развивается в Австралии и Канаде, в Финляндии и странах Арабского Востока, на островах Индонезии и в республиках Индо-Китая.

Передовая литература каждой из зарубежных стран отличается неповторимым национальным своеобразием. Но при всём различии условий жизни разных народов, различии их национальных традиций, писательских судеб и индивидуальностей есть много общего в творчестве прогрессивных писателей мира. Стремление противостоять реакционной империалистической идеологии, создавать произведения, которые служили бы народу, выражали бы идеи освободительной борьбы, борьбы за мир, стремление к правдивому отображению жизни, к реализму — таковы те общие черты, которые сближают творчество писателей демократического лагеря.

В борьбе прогрессивных писателей зарубежных стран за живое, правдивое искусство большое место занимает обсуждение принципов творческого метода. Интерес к вопросам художественного метода, размышления по поводу того, как показывать, как раскрывать явления современной действительности, побуждают писателей демократического лагеря обращаться к творческой практике советских писателей. В искусстве социалистического реализма они видят наиболее последовательное воплощение собственных художественных принципов.

Тяготение к социалистическому реализму наблюдается не только среди писателей стран демократического лагеря. Во многих странах капитализма передовые писатели, критики, теоретики искусства приходят к убеждению, что именно социалистический реализм, как передовой творческий метод, представляет собой тот путь, по которому должно следовать прогрессивное искусство. И поэтому многие прогрессивные литераторы ставят в настоящее время на повестку дня проблемы социалистического реализма, как актуальные проблемы развития национального искусства в своих странах.

Для возникновения литературы и искусства социалистического реализма во многих буржуазных странах имеются объективные условия: развивается революционная борьба рабочего класса за социалистическое преобразование общества; коммунистические партии вооружают трудящихся передовыми социалистическими идеями; социалистическая идеология, проникая в широкие массы трудящихся, идейно питает художественное творчество писателя. Участвуя непосредственно в борьбе рабочего класса, выражая его интересы, писатели и художники приходят к социалистическому мировоззрению, определяющему их творческий метод.

Принципы развития национального искусства и проблемы развития национального искусства на основе этих принципов обсуждают передовые литераторы Франции, Англии, Соединённых Штатов Америки, Италии, Швеции и многих других стран.

Передовые писатели Франции связывают задачи развития прогрессивной литературы с необходимостью овладения методом социалистического реализма. Борьба за реалистическое искусство, выражающее передовые идеи, в этой стране является давней

традицией. Наследуя и развивая лучшие творческие принципы, выработанные Бальзаком, Стендалем, Золя, Валлесом, Франсом, — принципы «социального реализма», как определил реализм Золя Анри Барбюс, — крупнейшие представители новейшей французской прогрессивной литературы: Барбюс, Вайян-Кутюрье, Арагон, Стиль — вывели её на путь социалистической идейности, на путь социалистического реализма.

Ещё в 1935 году Луи Арагон провозгласил принципы и требования социалистического реализма насущными требованиями художественного творчества во Франции. «Мы, союзники революционного пролетариата, его братья в борьбе, — говорил Арагон, — стремимся к полному раскрытию действительности... И поэтому мы принимаем с радостью лозунг советской литературы — лозунг социалистического реализма».

В своей статье «Реализм социалистический и реализм французский» Луи Арагон развивает следующую мысль: социалистический реализм, пробивающий себе путь во французской литературе и искусстве, является закономерным явлением в культурном развитии страны.

Говоря о задачах писателя в связи с овладением этим методом, Арагон отмечает, что познание и отображение действительности в целях её преобразования — таково требование социалистического реализма. Художник Франции должен прежде всего стремиться к познанию и преобразованию действительности своей страны.

В ногу с Арагоном идёт плеяда молодых прогрессивных писателей, вступившая в литературу после второй мировой войны, — Андрэ Стиль, Пьер Дэкс, Пьер Куртад, Пьер Гамарра и другие.

В последние годы во Франции появилось немало теоретических работ, посвящённых проблеме социалистического реализма во французской литературе. К ним относятся: упомянутая статья Луи Арагона «Реализм социалистический и реализм французский», опубликованная в журнале «Нуэль критик» в 1949 году, книга Андрэ Стиля «К социалистическому реализму», вышедшая в Париже в 1952 году, книга Анри Лефевра «Введение в эстетику», появившаяся в 1953 году, статьи Пьера Дэкса о проблемах французского романа в газете «Леттр Франсез».

Рассматривая пути развития французской литературы, Пьер Дэкс в одной из своих

статей ставит ряд актуальных вопросов: «Какая литература нужна Франции?», «Что должны делать прогрессивные писатели перед лицом деградации буржуазной мысли и искусства?» Отвечая на эти вопросы, Дэкс делает следующий вывод: литература в наше время должна являться «выражением обновления мира». Источником развития её должен быть социалистический реализм. Французская литература в состоянии быть на высоте этой задачи.

Творчество многих прогрессивных писателей Франции в послевоенные годы подтверждает правоту подобного вывода. Социалистический реализм нашёл практическое воплощение в целом ряде выдающихся произведений. В национальной эпосе Луи Арагона «Коммунисты» показана борьба социальных сил во всей её сложности, воплощена воля французского народа к миру и прогрессу. Прогрессивная критика справедливо указывала на то, что успех роману обеспечили передовое мировоззрение автора, творческий метод социалистического реализма.

Передовые идейные и эстетические взгляды помогают также и Андрэ Стилю создавать боевые, высокохудожественные произведения. Автор трилогии «Первый удар», заявив о своём стремлении к социалистическому реализму, воплощает принципы этого метода в своём творчестве. Жак Дюкло назвал роман Стиля «выражением наших самых актуальных и важных битв». В творчестве Андрэ Стиля, раскрывающем глубокую правду жизни и борьбы французского рабочего класса, выражаются идеи борьбы за мир, за хлеб и социализм.

В романе Стиля «Первый удар», отображающем борьбу французских докеров против американской оккупации, военных приготовлений и роста нищеты в стране, предстаёт вся сегодняшняя Франция с её тревогами, гневом и надеждами. На первом плане повествования — в авангарде патриотической борьбы — французские коммунисты. Созданный Стилем образ руководителя организации компартии Андрэ Леруа является одним из наиболее выразительных художественных образов современной литературы Франции.

О значительных достижениях передовой французской литературы, развивающейся по пути социалистического реализма, свидетельствует и творчество Пьера Дэкса, автора книги «Последняя крепость» и романа-

трилогии «Призыв 42-го года». В своей трилогии Дэкс раскрывает судьбы молодого поколения Франции в чёрные годы оккупации. Герои романа — юноши и девушки, ставшие активными и мужественными борцами за освобождение страны, за её светлое будущее. На страницах романа запечатлена вера в торжество правого дела, за которое борется патриотическая французская молодёжь.

Пьеру Дэксу, отстаивающему передовые эстетические принципы, свойственно умение видеть в жизни народа ведущее начало. Писатель раскрыл и показал растущие прогрессивные силы общества, за которыми будущее. Примечательной чертой творчества Дэкса является также умение проникнуть во внутренний мир героев, раскрыть его сложность, его богатство. В этом — одна из сильных сторон реализма этого писателя.

Для творческого метода Пьера Дэкса характерно то, что он черпает материал своих произведений из живой действительности. Образы своих героев он находит в гуще жизни, среди активных борцов за национальную независимость Франции.

Чтобы дать представление об идейных и художественных принципах Дэкса, приведём только один пример. Один из ведущих героев романа — коммунист Жюльен Руссель, патриот и защитник Франции, — во время гитлеровской оккупации был предательски обвинён в измене родине и брошен в тюрьму. В мрачных стенах, в то время когда над ним висела угроза смерти, юноша-коммунист жил смелыми надеждами. Мысль о том, что Франция будет свободной и независимой, что дело, за которое он борется и готов отдать жизнь, восторжествует, вселяет в него мужество и силу, готовность перенести любые невзгоды. Жюльен организует коллективный побег. В подполье он продолжает руководить борьбой молодых патриотов. Схваченный снова ищейками гестапо, он с пением революционного гимна идёт на смерть. Этот образ писатель — участник борьбы французской молодёжи за освобождение страны — взял из жизни. В образе Жюльена Русселя автор воплотил черты подлинных патриотов, расстрелянных фашистами, — Ги Моке и других. Героизм Жюльена Русселя Дэкс раскрыл как типическую черту, свойственную передовой французской молодёжи.

Можно было бы привести много других примеров, свидетельствующих о том, что требования и принципы, которые выдвигают прогрессивные французские писатели в своих теоретических статьях и выступлениях, воплощаются ими в художественном творчестве.

Видя в опыте советской литературы, в эстетике социалистического реализма вдохновляющий источник, прогрессивные писатели Франции отстаивают эту эстетику, пропагандируют, защищают от нападок буржуазных формалистов, вульгаризаторов.

Обоснованию того важнейшего вывода, что путь развития прогрессивной литературы Соединённых Штатов есть путь социалистического реализма, посвятил свою, известную советскому читателю, работу «Литература и действительность» Говард Фаст. Анализируя литературный процесс, литературную борьбу в своей стране, писатель отмечает, что в наше время, в век победы социализма, нельзя быть подлинным художником, нельзя постигнуть и столбизировать правду жизни, не встав открыто на позиции прогрессивной идеологии, идеологии социалистической. Передовые писатели США, заняв эти позиции, заложили основы социалистического реализма в прогрессивной американской литературе. В качестве примера Фаст указывает на роман Александра Сакстона «Большая среднезападная», посвящённый американским железнодорожникам.

Работа Фаста «Литература и действительность» была написана несколько лет назад. С тех пор появились новые произведения писателей, стоящих на тех же позициях, что и Сакстон: «Железный город» Ллойда Брауна, «Горящая долина» Боносского — книга, которую прогрессивная американская критика назвала «романом, рождённым борьбой рабочего класса». К произведениям, в которых нашли своё воплощение принципы социалистического реализма, следует отнести также лучшие романы Говарда Фаста.

Проблемы социалистического реализма обсуждают и многие английские литераторы. В появившихся за последнее время в Англии теоретических и критических работах содержатся высказывания, свидетельствующие о том, что социалистический реализм находит практическое воплощение в лучших произведениях прогрессивных английских писателей — Джека Линдсея,

Джеймса Олдриджа и других — и что он открывает путь к будущему английской литературы, к её идейному и художественному подъёму. В защиту этого взгляда выступает Джек Линдсей. Эта точка зрения высказана также рядом других авторов очерков о социалистическом реализме и национальных культурных традициях, вышедших в Лондоне в прошлом году.

Значение социалистического реализма в развитии прогрессивной английской культуры с наибольшей чёткостью было раскрыто на конференции английской компартии, которая состоялась в октябре прошлого года и была посвящена проблемам развития национальной культуры.

«Развивая наши традиции реалистического национального искусства, мы стремимся к созданию искусства социалистического реализма, — говорилось в одном из докладов на этой конференции. — Мы создаём искусство, помогающее рабочему классу бороться за свои политические цели; искусство, которое не только разоблачает истинную природу нашего общества, но вселяет в рабочих уверенность в своих силах и способности изменить это общество».

Социалистический реализм открывает новые перспективы развития перед шведским искусством — к такому выводу приходят передовые писатели Швеции. Так, Пер Улов Сеннстрем, известный в стране молодой прогрессивный писатель и журналист, определяя задачи прогрессивной шведской литературы, писал в прошлом году в журнале «Вор тид»: «Наши писатели должны перенимать опыт социалистического реализма у писателей Советского Союза и стран народной демократии, они должны учиться всему лучшему, что есть в прогрессивной литературе других стран, следуя в то же время лучшим национальным традициям своей страны».

С произведениями писателей, тяготеющих к социалистическому реализму, к воплощению в своём творчестве передовых идей нашего времени, мы встречаемся не только в прогрессивных литературах США, европейских буржуазных стран, но и многих других стран мира. Особенно наглядно это тяготение там, где процесс роста прогрессивной литературы, борьба за сплочение демократических литературных сил отражают нарастающее освободительное движение народов.

Обратимся к Японии, одной из стран, в литературе которой происходят примечательные явления. Империалистский режим японского империализма и раньше душил здесь всякое проявление прогрессивной мысли. Теперь японским реакционерам помогают в этом силы американского империализма. И если в этих условиях прогрессивная литература Японии развивается и крепнет, то это тем более свидетельствует о её жизненной силе, неодолимости.

Передовые японские писатели стремятся к созданию такой литературы, которая воспевала бы народных героев, изображала простого человека, служила народу своими идеями и образами. Об этом свидетельствуют их художественное творчество, теоретические и критические статьи, декларации, публичные выступления.

Обращаясь в 1949 году с посланием к советским литераторам, «Всеяпонское общество демократических писателей» заявило о своём стремлении «создать истинно высокую национальную литературу для народа», «Сблизиться с народными массами, во главе которых стоит рабочий класс, и в этом направлении совершенствовать своё творчество» призывал литераторов крупнейший современный писатель Японии Токунага Сунао.

Актуальные задачи развития литературы Общества японских демократических писателей тесно связывает с задачами сплочения всех демократических литературных сил в борьбе за демократию и мир, против политики разжигания войны. Это приносят действительные результаты. Состоявшийся в 1953 году пленум Общества писателей отметил, что в настоящее время большинство японских литераторов — на стороне лагеря защитников мира и прогресса и что японская демократическая литература занимает ведущие позиции в национальной культуре.

Прогрессивные литераторы Японии противопоставляют своё творчество тем буржуазным декадентским поборникам «чистого искусства», которые, как писал журнал «Синнихон бунгаку» («Народная литература»), «отворачиваются от насущных требований народа, его страданий, горя, ненависти к угнетателям, которые изолировали себя от подлинной жизни народа, замкнулись в рамках узкого субъективистского мира». Подобная литература, указывает защитники прогресса, теряя живой контакт с действительностью, утрачивает жизненную

силу, вырождается. Она не представляет общественной ценности. У неё нет и не может быть будущего. Будущее — за литературой, которая связана с передовыми силами общества, отражает их развитие, их движение вперёд.

Определяя путь передовой японской литературы как путь реализма, японские прогрессивные литераторы подчёркивают её активную воспитательную и агитационную роль. Писатель обязан остро реагировать на события политической жизни страны и этим повышать агитационную и воспитательную роль художественной литературы, — так писал генеральный секретарь исполнительного комитета общества «Литература новой Японии» Сигэхару Накано в статье «Верно изображать действительность». Он указывал на особую важность этого требования в настоящее время, «когда японское правительство и его чиновничий аппарат открыто ненавидят весь народ, прикидываются «пострадавшими» и в то же время подвергают судебным преследованиям народ, действительно испытывающий страдания».

Насущные проблемы художественного творчества писатели Японии обсуждают и решают, опираясь на явления реальной действительности, на практику национальной литературы, а также на пример и опыт советской литературы, виднейших прогрессивных литераторов других стран. Сигэхару Цубои в статье о проблемах поэзии говорил, что для прогрессивных писателей Японии образцом был и остаётся Маяковский. Автор указывал вместе с тем и на вдохновляющий пример крупнейших прогрессивных писателей капиталистических стран — Арагона, Элюара, Неруды, которые поставили своё творчество на службу прогрессивному человечеству.

Борьба передовых писателей Японии за подлинно народную литературу, правдивую, выражающую идеи народно-освободительного движения, — это не только декларация, это также живая художественная практика. Укажем на творчество одного из старейших прогрессивных японских писателей, Токунага Сунао, который находится в первом ряду борцов за реалистическую и действенную литературу. В числе лучших произведений прогрессивной японской литературы — роман Токунага «Тихие горы». Это произведение свидетельствует не только

о прогрессивном мировоззрении автора, но и о его большом гражданском мужестве.

В романе «Тихие горы» Токунага рисует Японию после капитуляции во второй мировой войне. Изображая жизнь рабочих завода, эвакуированного в глухой горный район, и крестьян окрестных мест, Токунага даёт представление о социальных процессах, характерных для всей современной Японии. Разгром японских милитаристов в войне способствовал пробуждению антивоенных настроений среди широких слоёв японского народа. В стране возникло мощное движение за демократизацию общественного и политического строя. Нарастание единого демократического фронта и отображает Токунага в своём романе. Рисуя образы представителей различных социальных групп, писатель раскрывает сложность социальной обстановки, остроту социальной борьбы.

На пути рабочих и крестьян, осознающих своё право на землю, на труд, на хлеб и демократические права, показывает Токунага, стоит мрачная реакционная сила. Микадо, реакционное правительство, капиталистические монополии, помещики, бывшее офицерство, фашиствующие молодчики — эта сила не сломлена, и её поддерживают всячески заокеанские оккупанты. Но ей противостоит другая сила — трудовой народ. Растёт гнев трудящихся, а вместе с тем растёт и сплочённость их действий. Рабочие создают профсоюз, передовая молодёжь объединяется в комсомольскую организацию. Возглавляет борьбу вышедшая из подполья и восстанавливающая свои организации компартия.

Писатель рисует образы активистов революционной борьбы, волю которых не сломили тюрьмы и репрессии. Таковы рабочий Кабаяси Масару, арендатор Торидзава Фумия. Их девиз — слова казнённого революционного японского поэта Сюсуй Котокю:

Можно железом сковать наше тело,  
Бросить на плаху, в тюрьму —  
Дух, что ведёт нас на правое дело,  
Не заковать никому!

Автор показывает широкий фронт народно-освободительной борьбы, описывает события и людей, участников этих событий. Образный показ автор дополняет публицистическим рассказом, обрисовкой политического положения страны. Такой приём при-



даёт повествованию большую масштабность, политическую заострённость.

Раскрывая сложность социальной обстановки, писатель показывает также сложность психологического склада своих героев, преодолевающих влияние идеологии окружающего их враждебного буржуазного мира.

Роман Токунага «Тихие горы» создаёт в представлении читателя реалистическую картину жизни и борьбы трудящихся Японии. Роман служит народу в его освободительной борьбе. В этом — его сила и достоинство.

Токунага принадлежит к старшему поколению прогрессивных японских писателей. Вместе со своими старшими собратьями по перу за литературу жизненной правды и передовых идей борется отряд молодых писателей, пришедший в литературу прямо с фабрик и заводов.

Значительным событием в литературной жизни страны явилась повесть Тэцуо Харукава «Японские рабочие». Автор этой повести — рабочий, коммунист, участник борьбы против американской оккупации страны и политики подготовки новой войны. Содержание повести — события на строительстве военно-морской базы в Йокогаме, борьба японских трудящихся против превращения их страны в военный плацдарм.

Книга Харукава освещает самую злободневную проблему современной жизни трудящихся страны. Она близка и понятна широкому массам, именно потому книга приобрела чрезвычайно широкую популярность.

В прошлом году Харукава опубликовал новую повесть «Линия базы», также посвящённую теме борьбы против американской оккупации, против превращения Японии в американскую военную базу.

Передовая литература Японии — один из ярких примеров, характеризующих пути развития мировой прогрессивной литературы.

Литературу жизненной правды и больших социальных проблем создают виднейшие писатели Индии. В манифесте, с которым выступила Ассоциация прогрессивных писателей Индии весной 1949 года, провозглашалась задача создания литературы, которая выполняла бы роль руководителя, организатора и вдохновителя народных масс в их борьбе за полную независимость и де-

мократию, выражала бы стремления и чувства простых людей.

Черты этой новой литературы можно обнаружить в небольшом рассказе видного прогрессивного индийского писателя Кришана Чандра «Я буду ждать». В этом рассказе писатель изображает судьбы трёх представительниц простого народа, но за этими частными судьбами выступает судьба миллионов людей сегодняшней Индии, и не только Индии.

Юноша-индус, от имени которого ведётся рассказ, мечтал стать большим художником. Но его мечты разбились о действительность. Необходимость зарабатывать кусок хлеба заставила его работать у цирюльника, затем на заводе. С завода его прогнали за участие в забастовке и бросили в тюрьму. В конце концов юноша оказался обитателем мостовой в Бомбее.

Старик-китаец Хан — другой герой рассказа. На его лице, похолодевшем, как пишет автор, на высохшую тыкву, можно было бы прочитать всю историю Азии за последние 50 лет. В глазах его были страх, хитрость и невежество, резкие морщины на лице «рассказывали о тяжёлых цепях рабства». Его согнал за долги с клочка земли помещик. В Гонконге, где Хан вынужден был стать рикшей, он подвергался издевательствам со стороны английских колонизаторов. Впав в крайнюю нужду, Хан продал богачу свою жену. За горсть риса, которую он взял на складе английской компании, Хан был брошен на два года в тюрьму. Он узнал также изнурительный труд на каучуковых плантациях в Малайе. Судьба его забросила в Бомбей, где он стал сутенёром. Жизнь этому человеку, пишет автор, представлялась бесконечным голодом. Этот человек — живое свидетельство того, как уродует людей строй империализма.

Чжи-и, дочь Хана, — третье действующее лицо рассказа — человек новой формации. Узнав, что её родина — Китай — стала свободной, она покинула Бомбей, вернулась в родную деревню, где уже больше не хозяйничал помещик. Она горит желанием строить новую жизнь. Чжи-и стала учительницей, а затем уехала в Корею, чтобы вместе с китайскими добровольцами защищать свою родину, своё обретенное счастье. Чжи-и гибнет в Корее. Индийский юноша, который полюбил Чжи-и, узнаёт об этом из газет. Пример китайской девушки, её письма из свободного Китая пробудили у ин-

дийского юноши сознание и стремление бороться против империалистических хищников за лучшее будущее своего народа. «Война в Корее стала теперь не только войной Чжи-и, но и моей», — говорит молодой индус.

Через эти жизненные образы, через индивидуальные судьбы простых людей Кришан Чандр раскрывает злободневные социальные проблемы своей страны — проблемы борьбы с нищетой, голодом и бесправием своего народа, борьбы за его независимость и свободу. Изображая в рассказе крепнущую дружбу между индийским и китайским народами, автор указывает путь, который может привести к осуществлению чаяний индийского народа, — путь братского китайского народа, сбросившего цепи колониального и феодального рабства.

Черты новой, прогрессивной индийской литературы мы находим и в других рассказах Кришана Чандра, а также в произведениях Мулк Радж Ананда, Навтедж Сингха, Валлатхола, Чаттопадхайя и многих других прозаиков и поэтов Индии.

Напряжённая и мужественная борьба за прогресс в общественной жизни и литературе развёртывается и в странах Латинской Америки.

В апреле прошлого года состоялся континентальный конгресс деятелей культуры Америки.

Выступая против губительного влияния экономической и идеологической экспансии Соединённых Штатов, против яда «ввозимых отбросов культуры», как охарактеризовал известный чилийский писатель Фернандо Сантивана нескончаемый поток низкопробной писанины из Северной Америки, большинство участников конгресса выступило с требованием защищать и развивать народную национальную культуру и литературу в своих странах.

Эту литературу сегодня представляют книги выдающегося писателя Бразилии Жоржи Амаду, произведения крупнейшего поэта Чили Пабло Неруды, стихи народного поэта Кубы Николаса Гильена, книга костариканского прозаика Карлоса Луиса Фальеса «Мамита юнай», стихи поэта той же страны Карлоса Луиса Саенса, стихи Карлоса Аугусто Леона, поэта Венесуэлы, удостоенного Золотой медали мира и брошенного в тюрьму реакционным правительством, произведения многих дру-

гих известных литераторов стран Центральной и Южной Америки.

Красноречиво выразил устремления передовых латиноамериканских писателей представитель костариканской литературы Хоаким Гутьерес. «Мы, костариканцы, — сказал он, — защищаем душу народа, нашу культуру. Это всё равно, что защитить своё имя, защитить своё лицо. Мы боремся в труднейших условиях, но мы продолжаем борьбу и... никогда не сложим нашего оружия».

Как важнейшую задачу литераторов Гутьерес выдвинул требование отобразить бедственное положение народа, помочь ему укрепить национальное самосознание, пробудить его к активной борьбе за свои права.

«Великая скорбь царит во всех странах Латинской Америки, — продолжает далее Гутьерес. — Мы, писатели, должны рассказать о ней. Мы должны поведать всему миру о том, что происходит в этих трудовых лагерях, в которые превращены наши страны. Только так мы можем укрепить наши силы. Только рассказав народу всю правду о его жизни, мы поможем ему... Не будет нам оправдания, если мы не сделаем этого».

Итти вместе с народом в его трудной борьбе, говорить его языком — так определил задачу писателя представитель прогрессивной литературы Парагвая Морель. Чилийский поэт Пабло Неруда назвал поэзию оружием в борьбе за светлое будущее, насущным хлебом для простых людей. Поэт выразил мнение многих своих собратьев по перу, сказав, что именно прогрессивные литераторы думают о будущей судьбе Латинской Америки. «Мы хотим смыть пятна крови и страданий, которыми она покрывалась в течение столетий. Мы хотим, чтобы её лик, полный света и радости, заблестал среди великих морей. Мы хотим вложить в её уста прекрасные слова, мы хотим, чтобы был ясен её взгляд».

Веру в будущее, в рождающееся братство простых людей мира Пабло Неруда назвал стимулом прогрессивной поэзии.

Выдающийся писатель-реалист Бразилии Жоржи Амаду, обращаясь к художественной интеллигенции с призывом объединить усилия в защите демократической культуры, указал на долг писателей сделать литературу средством воспитания народа в духе

любви к миру и равенству, в духе уважения к человеку, в духе братства всех народов.

С большой страстностью обсуждают литераторы латиноамериканских стран актуальные проблемы современной литературы. Привлекает внимание статья прогрессивного эквадорского писателя Луиса Кардоса и Арагона «Отношение художника к насущным проблемам нашего времени», опубликованная в журнале «Летрас де Эквадор». Называя уход художника слова от актуальных проблем современности дезертирством, писатель заявляет, что он всегда был и будет со своим народом, «который борется за то, чтобы пришёл свет». Кардоса и Арагон каждое произведение писателя расценивают либо как горсть колосьев, либо как комок грязи, в зависимости от того, что оно выражает. «Каждая книга,— говорит Кардоса,— это зеркало, в котором отражается, кроме всего прочего, облик писателя, его вера, его стремления, надежды, его воля к борьбе или пассивное подчинение».

Разочарованные скептики, люди, уходящие от действительности, поклонники чистого искусства, которые самым постыдным, глупым и допотопным образом стоят в оппозиции к нашему времени, на стороне прошлого, служат отживающим силам,— продолжает автор. Их произведения лишены вдохновения, чувств, мыслей.

Осуждая литературу, «лишённую живой связи с людьми», автор горячо ратует за литературу, которая являлась бы огненным мечом в социальной борьбе, была литературой своего народа, своего времени.

Только та литература может служить народу, которая несёт идеи братства, гуманизма и прогресса. Только в создании такой литературы передовые писатели Латинской Америки видят верность передовым идеям нашего времени. В этом плане представляет большой интерес статья прогрессивного уругвайского писателя Альфредо Гравина о реализме в литературе, опубликованная в газете «Хустисиас».

Отстаивая принципы реализма, Гравина уделяет особое внимание требованию, которое предъявляет современная действительность писателям Уругвая,— создать народную, национальную по форме, революционную по содержанию литературу. Задача прогрессивных писателей, подчёркивал Гравина,— отображать действительность методом революционного реализма и этим сде-

лать литературу достоянием масс, оружием в борьбе. Считая критический реализм бесперспективным, изжившим себя, а реализм социалистический — лишь достоянием социалистического общества, Гравина определяет творческий метод формирующейся прогрессивной литературы стран капитализма как «революционный реализм». По поводу этого определения можно спорить с уругвайским писателем, но в данном случае у нас другая цель — раскрыть стремление прогрессивных писателей стран Латинской Америки к реалистическому, идейно насыщенному творчеству. Статья Альфредо Гравина ярко выражает это стремление, несмотря на ошибочность ряда суждений автора.

Прав Альфредо Гравина, когда говорит, что задачи, стоящие перед прогрессивным писателем наших дней, нельзя в полной мере разрешить, пользуясь методом критического реализма. Художник слова, опираясь на знание законов общественного развития, должен раскрывать причины этих явлений, показывать их в революционном развитии, в перспективе. Эту задачу, по мнению Гравина, успешно разрешают писатели Жоржи Амаду, Карлос Луис Фальяс, Тотсльбойм, Альфредо Варела, Амори́ма и ряд других авторов. В произведениях этих писателей, отмечает Гравина, звучит надежда и вера в лучшее будущее людей, они раскрывают положительные начала в развитии общества, его духовные и моральные ценности, показывают благородные и энергичные характеры, перспективу движения народов к освобождению, к счастью.

Альфредо Гравина считает, что незаменимую помощь в создании передовой, идейно устремлённой литературы оказывает писателям Латинской Америки, как и писателям других стран мира, советская литература и, в частности, произведения М. Шолохова, которые, как говорится в письме уругвайского писателя советскому писателю, сочетают идеологическую и политическую глубину с самым высоким художественным мастерством.

Успехи борьбы за реалистическое и идейно насыщенное художественное творчество в Латинской Америке можно проследить на произведениях того же Альфредо Гравина, в частности на его романе «Границы, открытые ветру». Это произведение — ещё одно свидетельство того, как прогрессивное мировоззрение художника, его передовые эстетические взгляды благотворно сказыва-

ются на идейном и художественном уровне его произведений.

Творческие достижения прогрессивного уругвайского писателя, стоящего на передовых эстетических позициях, с особенной убедительностью предстают перед нами, если мы сопоставим их с творчеством известного писателя Эквадора Хорхе Икаса, автора нескольких сборников рассказов и романа «Уасипунго». Спisyвая в своём романе бедственное положение туземного населения своей страны, Хорхе Икаса рисует мрачные, беспросветные картины. Восстание индейцев, доведённых до отчаяния империалистическими угнетателями, писатель изображает как что-то роковое и бессмысленное, ведущее к гибели всех восставших. Выводы автора пессимистичны, взгляд беспросветен.

Противопоставляя натурализму реализм, революционную идейность, Гравина создаёт произведения не только правдивые, но и оптимистические, вселяющие веру в человека, показывающие трудовому народу путь выхода из бедственного положения.

Изображая в своём романе жизнь уругвайских пеонов — крестьян-скотоводов, работающих на помещичьих фермах, — писатель раскрывает рост политического сознания своих героев.

Этот процесс особенно убедительно показан в образе главного героя романа — Хуана Мендеса. Горячая, темпераментная натура этого молодого, сильного и ловкого батрака, каким мы его видим в первой части книги, приводит его к столкновению не только с жадным и бесчеловечным хозяином поместья Сабалетой или с эгоистичным и хищным надсмотрщиком Дон Камило, но и со всеми, кто его окружает. Неуживчивый, горделивый, он при малейшей обиде хватается за нож. Он не видит и не понимает главной причины своих бед и злоключений — своего подневольного положения батрака. Раскрывая этот образ в развитии, писатель показывает, как герой постепенно преодолевает необузданное бунтарство, эгоистические порывы души и становится сознательным борцом против тех, кто угнетает и эксплуатирует подобных ему труженников. Хуан Мендес организует скотоводов на борьбу за повышение заработной платы. Он разъясняет тем, кто трудится вместе с ним, что причина их бедствий — в господстве помещиков-латифундистов и иностранных монополий и что путь к завоеванию лучшей

жизни — объединённые действия трудящихся, организованная борьба.

Писатель показывает столкновение сельскохозяйственных рабочих — «стригальщиков» с хозяевами. Это организованное выступление людей, которые ещё вчера были безропотны и покорны помещику-властителю, является кульминационным пунктом романа. Победа в организованной борьбе открывает перспективу, указывает путь к лучшему будущему — такой вывод делает автор из описанных событий.

Изображая реальные процессы современной действительности, показывая руководящую роль рабочего класса в освободительной борьбе трудящихся своей страны, в борьбе за демократические права, за улучшение условий жизни, писатель создаёт правдивое, идейно насыщенное произведение.

Два лагеря предстают в романе — лагерь труда и лагерь капитала. Заслуга писателя не только в реалистической обрисовке обоих лагерей, но и в показе их исторической перспективы. Ближится конец безраздельному хозяйничанью и произволу эксплуататоров и хищников. Рост организованного и сознательного движения людей труда заставляет их отступать.

Идейная целеустремлённость, богатство реалистических, жизненных деталей, сочный, образный язык, своеобразие образительных средств делают это произведение значительным вкладом в прогрессивную литературу латиноамериканских стран.

Приведённые выше примеры, характеризующие прогрессивную литературу Японии, Индии, Латинской Америки, дают основание сделать вывод: передовые писатели этих стран, стремясь правдиво отобразить освободительную борьбу своих народов, воспеть героев этой борьбы, отдать свои силы делу мира, демократии, прогресса, учитывают в своей творческой практике принципы социалистического реализма, опыт советской литературы. Одни писатели в этих странах не называют свой творческий метод социалистическим реализмом, другие же открыто объявляют социалистический реализм методом прогрессивной литературы. В связи с этим уместно здесь напомнить выступление известного поэта Аргентины Рауля Гонсалеса Туниона, который непосредственно связывает насущные задачи поэтического творчества с задачей овладе-

ния эстетическими принципами социалистического реализма.

В статье «Борьба духа», опубликованной в журнале «Куадернос де культура», Туннион противопоставляет принципам «чистого искусства» принципы искусства идейного. «Сейчас нужно петь не ради самого пения,— говорит поэт.— Нужно петь во имя дела, воспевать жизнь, мир, свободу, честь, хлеб, борьбу за преобразование общества».

Прогрессивный аргентинский поэт выступает за многообразие и красоту поэтического творчества. Но он против той красоты, которую проповедают буржуазные эстеты. Литература, которой требует современная действительность, не может развиваться по пути «чистого искусства». «Я проповедаю такую поэзию, такую литературу, такое искусство,— пишет Туннион,— которые, не устраняя богатства и разнообразия формы, питаются действительностью, занимаются проблемами человека, мира, говорят и о розах и о жизни и борются за изменение жизни». Современная литература должна быть социально значимой, реалистической. Путь, по которому может развиваться такая литература,— это путь социалистического реализма, приходит к заключению писатель.

Борьба народов за мир, демократию и прогресс вызывает к жизни искусство и литературу, которые отображают эту борьбу, служат ей.

Своеобразными путями развивается прогрессивная литература Латинской Америки, Японии, Индии. Однако у этих литератур много общего с прогрессивной литературой других капиталистических стран — Австралии и Ирана, Италии и Исландии, Дании и Норвегии. При всём географическом, национальном и социальном различии этих стран многим писателям, представляющим свои народы, присущи общие идейные и эстетические принципы.

Они вытекают из общности той борьбы за мир, независимость и социальный прогресс, которую ведут народы. Рост сплочённости и самосознания трудящихся Австралии показывает в исторических романах Катарины Причард. Правдивыми произведениями о жизни, любви, о борьбе за счастье простых людей Италии завоевал признание итальянский писатель-коммунист Васко Праттолини, автор популярного романа «Хроника бедных влюблённых». Судьбы своих народов, их устремления к миру, свету, лучшей жизни отражают в своём творчестве Бозорг Аляви, видный писатель Ирана, защитник демократии, исландский писатель Халлдор Лакнес, старейший датский романист Ганс Кирк и ряд других прозаиков и поэтов названных стран. Все эти писатели, как и многие другие, представляют демократический, прогрессивный фронт современной литературы.

Передовой опыт советской литературы и литератур стран народной демократии обогащает литераторов всего мира, помогает им решать те сложные проблемы, которые ставит жизнь, социальная и идейная борьба. Теоретические и идейные принципы советского искусства служат для многих передовых художников капиталистических стран творческим маяком, освещающим путь в будущее.

Метод социалистического реализма, принятый художниками многих стран и народов, является в наше время признанным во всём мире выражением прогресса современной художественной мысли.

Двадцать лет назад на своём Первом Всесоюзном съезде советские писатели приветствовали представителей зарубежного прогрессивного искусства. Их ряды пополнились новыми замечательными художниками. Формируется и растёт армия прогрессивного искусства. Она одерживает большие творческие победы.



И. ВЕРЦМАН

★

## ГЕНРИ ФИЛЬДИНГ, ВЕЛИКИЙ ПРОСВЕТИТЕЛЬ И ГУМАНИСТ

*Сессия Всемирного Совета Мира 28 ноября 1953 года вынесла решение отметить в 1954 году юбилей четырёх великих представителей мировой культуры: Фильдинга, А. П. Чехова, Дворжака и Аристофана.*

**Г**енри Фильдинг родился 22 апреля 1707 года. Потомок обедневшего дворянского рода, внук судьбы и сын офицера, Фильдинг довольно часто испытывал нужду. Привилегии рождения сказались у него только в возможности получить образование. Он учился сначала в старинной аристократической школе в Итоне, затем, не более года, — в Лейденском университете. Отец не мог оказать ему достаточной материальной помощи, и потому Фильдинг спешно вернулся в Англию. Его первые писательские опыты оказались успешными, и вскоре литературный заработок стал для него основным условием существования.

В то время английская буржуазия занимала ещё скромное место рядом с аристократией, путём соглашений и уступок добившись в стране «свободы инициативы». Конституция 1688 года ограничивала власть монарха и руководящую роль класса землевладельцев. Боясь повторения народных движений, с такой силой проявившихся в революции 1648 года, буржуазия утверждала свои интересы с помощью светского знания, просветительной философии, экономической науки, но по традиции, унаследованной от пуритан XVII века, прибегала и к помощи религии. Однако даже буржуазия не была вполне довольна своим положением. Тем более не могли принять формулу умеренного просветителя А. Поопа: «Всё, что существует, хорошо» — демократические слои английского общества, так как народ страдал и от многочисленных пережитков феодализма и от роста самого буржуазного богатства.

Фильдинг жил до индустриального переорождения Англии и до Французской революции. Для него экономические проблемы выступали ещё в аллегорической передаче Мандевилля, автора знаменитой «Басни о пчёлах», а демократические идеи и настроения разных общественных групп — в абстрагированной переработке моралистов и поэтов. Фильдинг мог бы стать поклонником автора изящных моральных этюдов лорда Шефтсбери, подобно ему брезгливо отворачиваясь от «дурного» простонародного юмора, восхваляя английский парламент и «здравый смысл», вместе с консервативным критиком Сэмюэлем Джонсоном посещать англиканскую церковь и признавать оплотом порядка образованную, богатую аристократию. Однако Фильдинг не пошёл по этому пути «респектабельных» кругов английского общества. Он не пытается затушевать контрасты богатства и нищеты и судит о них как выразитель настроений демократической части «третьего сословия». Именно поэтому Фильдинг с первых своих шагов так твёрдо верит в силу правды и могучее действие художественного слова, и вот почему не Шефтсбери и не Джонсон, а Фильдинг составляет фокус английского просветительства.

Здесь следует вспомнить Свифта, которого занимала не столько возможность превращения стяжателей, названных им презрительной кличкой «йэху», в благочестивых, приличных филантропов, сколько политика господствующих классов и причины полного отчуждения их от народа. Именно идеи Свифта оставили глубокий след в

мировоззрении Фильдинга, определив его политический взгляд на вещи, его влечение к публицистике. Фильдинг — неутомимый журналист. С его именем связана не одна газета двадцатых—сороковых годов XVIII века: «Борец», «Алхимик», «Истинный патриот», пародийный «Якобитский листок». Как и Свифт, Фильдинг был автором ряда полемических памфлетов. От Свифта Фильдинга отличает только известный оптимизм по отношению к процессу развития буржуазного общества. Свифт всегда саркастичен, тогда как Фильдинг часто остаётся юмористом.

Писатель-публицист, Фильдинг с одинаковым успехом сочинял послания, очерки, философские диалоги. Между 1727 и 1737 годами он написал также около 25 комедий, фарсов, кукольных представлений. Некоторые из них представляли смелые политические сатиры. Цензура не без основания усмотрела в них нападки на учёное сословие, продажных литераторов, состояние политических дел в стране. Декретом правительства от 1737 года были закрыты театры, не имевшие государственных патентов, и тем самым наложен запрет на всю драматургическую деятельность Фильдинга.

Перестав сочинять драмы, Фильдинг приступает к созданию своих знаменитых романов; их всего четыре, и о них мы скажем ниже. Ещё до написания этих романов Фильдинг, подумывая об упрочении своего положения, решил сделаться судьёй. Ему было 30 лет, когда он приступил к изучению специальности законоведа в качестве слушателя юридической академии. Некоторое время Фильдинг занимался адвокатурой, а с 1748 года вступил в должность мирового судьи.

Не приходится удивляться тому, что, облечённый властью судьи, Фильдинг иногда выступал как строгий блюститель сложившегося в Англии социального порядка. Но в то же время при объяснении причин угрожающего возрастания нищеты среди народа он не страшился взглянуть в изнанку буржуазно-аристократического мира, заинтересованного только в доходах и барышах. Мимо его внимания не прошли вопиющие изъяны буржуазного правосудия. Однажды Фильдинг написал судьбе Барнету: «Это очень жестоко, мой лорд, вешать бедняка за кражу лошади», — на что получил в ответ издевательскую шутку: «Вы,

сэр, будете повешены не за кражу лошади, а для того, чтобы другие не крали лошадей». Мрачный опыт судейской профессии Фильдинга, как и гуманность его взглядов, понять которые вряд ли мог кто-либо из его коллег по департаменту, отражены в его художественных произведениях. Если Дидро в повести «Монахиня» обнажил мерзость монастырской жизни, то Фильдинг в своих пьесах и романах раскрыл ужасы тюрем буржуазной Англии.

Напряжённая жизнь литератора и общественного деятеля подорвала здоровье Фильдинга, и по совету врачей он в 1754 году уехал лечиться в Лиссабон, где 8 октября скончался.

Всесторонний интерес к творчеству Фильдинга в нашей стране — явление не только сегодняшнего дня. Переводы Фильдинга в России выходили в свет ещё в XVIII веке. Советские издания «Джозефа Эндрьюса» и «Тома Джонса» Фильдинга отличаются высоким качеством перевода. Особо следует отметить, что в текущем году издательство «Искусство» выпустило сборник комедий Фильдинга. Советский читатель получил возможность познакомиться с пятью пьесами Фильдинга, впервые переведёнными на русский язык. Пространное предисловие серьёзного знатока классической английской литературы М. П. Алексеева даёт глубокую характеристику сатирического театра Фильдинга.

Драматург-Фильдинг был незаслуженно забыт прежде всего в его отечестве; следует уточнить: в буржуазной Англии. Любая история литературы на английском языке сообщает о драматургической деятельности Фильдинга в том же безразлично-нисходящем тоне, что и об его очерках, статьях, памфлетах, то есть как о чём-то второстепенном, устаревшем по сравнению с его романами. Причина этого — отнюдь не слабые художественные достоинства фильдинговской драматургии, а её содержание. Пьесы Фильдинга — не просто картины нравов, а бичующая сатира, сатира на пороки имущих классов, государственного и общественного строя Англии. Фильдинг задел такие стороны политической жизни, к которым имели отношение новые «хозяева жизни» — представители коммерческой Англии. Фильдинг посмел сказать о них немало горьких истин, значительная часть которых и для современной

Англии не утратила своего значения, если не стала ещё сильнее, действеннее.

Комедии Фильдинга написаны на различные бытовые, моральные и политические темы. Они разоблачают лицемерие, ханжество, алчность богатой части общества; реальную «комедию выборов» в английский парламент — механику избирательных кампаний; антипатриотизм буржуазно-аристократической верхушки, способы её маскировки для обмана народа, равнодушные к национальной культуре; суррогаты искусства, мешающие делу просвещения масс. Читая эти комедии, перестаёшь удивляться, почему на Фильдинга обрушился в 1737 году правительственный указ.

Уже в комедии 1730 года буржуазный политикан, обитый с толку газетными утками, производит меньшее впечатление, чем «страж закона» — судья Скуизем, взяточник, вымогатель, клеветник и к тому ещё грязное, похотливое животное («Политик из кофейни, или Судья в собственной ловушке»). Глядя на этого Скуизема в театре, английский зритель XVIII века не мог не задуматься над устройством буржуазной судебной машины. Шутка слуги, развратного и циничного Уайльдинга (в пьесе «Щёголь из Темпля»): «Путь к сердцу большинства людей пролегает через их карман» — девиз всей капиталистической Англии. В той же комедии скопидом Эварайс пародирует страсть своего сына Педанта рассуждать логическими фигурами, создавая свой «силлогизм»: «Посылка — двадцать тысяч фунтов; следствие — принесу присягу в чём угодно». В комедии «Дон Кихот в Англии» испанский рыцарь приносит вещие слова, сохраняющие свой жестокий смысл, пока существует на свете капитализм: «Если бедняк украдёт у знатного человека пять шиллингов — в тюрьму его; а знатный может обобрать тысячу бедняков и спокойно оставаться в собственном доме». Фильдинговский Дон Кихот уже знает о существовании «Рыцаря Длинного Кошелька, растлителя девиц, истребителя сирот, грабителя вдов». В Англии Дон Кихот узнаёт о том, что «даже почести можно купить за деньги», когда мэр одного городка предлагает ему выступить кандидатом в парламент от оппозиции и для этой цели прибегнуть к подкупам избирателей. Сумасброд и фантаст Дон Кихот, которому всюду мерещатся то Дульсиenea, то великан Тотклогмоглог, то принцессы и гер-

цоги, гораздо разумнее всей буржуазной Англии, одержимой манией стяжательства. Как жаль, что Фильдинг несколько «обуржуазил» своего Дон Кихота, вложив ему в уста такую здравомыслящую фразу: «Брак, в котором не сочетаются любовь и состояние, не может быть счастливым».

Глубже всего политическая сатира Фильдинга в комедиях «Пасквин» и «Исторический ежегодник». Обе они построены на принципе «сцена в сцене», или «некий автор проводит репетицию своей пьесы». Пользуясь этим приёмом, Фильдинг метит одновременно в две мишени: 1) конкретное явление реальной действительности, 2) фальсифицирующее жизненный материал дурное искусство. В «Пасквине» мы встречаем сразу двух «авторов». Первый демонстрирует комедию «Выборы», второй — трагедию «Жизнь и смерть Здравого Смысла». В комедии незабываема сцена, где избиратели, подкупаемые поочерёдно кандидатами правящей партии и «оппозиции», заливают себе глотки бесплатным вином и кричат — то «За таможенные пошлины и акциз», то «За свободу, собственность и против акциза». Когда мэр с деланной миной оскорблённого достоинства объявляет о своём отказе брать взятки и голосовать «против совести», автор комедии, Трепвит, эту вспышку честности у мэра комментирует своему партнёру, трагику Фастиену, следующим образом:

«До вас дошла соль этой остроты, сэр? Фастиен. Ей-богу, нет, сэр.

Трепвит. Ну, как может голосовать против совести тот, кто её не имеет вовсе?»

«Комедия» изобилует живыми типами, хотя имена придуманы Фильдингом как «метки» статичных положений: лорд Должность, сэр Посул, сквайр Пивная Кружка и т. п. «Трагедия» — пародия на этот жанр, к тому времени выродившийся на английской сцене, — вся аллегорична, наполнена принятыми тогда фантастическими фигурами, но, тем не менее, остроумна и прозрачна. Любопытен спор между Здравым Смыслом и судьёй, в ходе которого «королева» осуждает всю социальную систему, на которой покоилась хваленая британская конституция: «Тех людей преследует закон, кто платит долги не в силах и жизнь свою проводит в тюрьмах». Недаром враг королевы Здравый Смысл — королева Невежество; изменили Здравому Смыслу в самый трагический момент нападения на её царство: формалист-судья, неуч-медики, хан-



жа-пастор, а приветствуют агрессора и рабски лебезят перед победителем актёры государственных театров и продажные литераторы... И всё же в «трагедии» вымышленного Фастиена Фильдинг выступает перед читателем как типичный буржуазный просветитель, ведущий борьбу только против глупости и невежества, тогда как «комедия» затрагивает политическую основу буржуазного государства.

Такого же рода политическую пьесу представляет «Исторический ежегодник за 1736 год». Здесь английский парламент перенесён якобы в Корсику, управляемую авантюристом Теодором I, а на втором плане показан великосветский мир английской столицы. Уже в эпилоге к «Пасквину» Фильдинг напоминает публике о глупости низкопоклонства перед «любой страны ничтожным твореньем», когда английский народ имеет право гордиться Бойлем, Ньютоном, Локком, Бен-Джонсоном и Шекспиром. В «Историческом ежегоднике» перед нами помещанные на иностранщине светские дамы, только и говорящие об итальянских операх и актёрах. Посетив аукцион, где сбываются всевозможные редкости: остаток Политической Честности, старый Патриотизм, три зерна Скромности, Очень Чистая Совесть, Успех при Дворе и, наконец, Здравый Смысл,— эти дамы, как и следовало ожидать, предпочли Успех при Дворе... В то же самое время в «Корсике» разыгрываются «бурные сцены». Лозунгами «За свободу и собственность», «За успех торговли» буржуазные политики выражают свой патриотический энтузиазм («Особенно за мою лавку», — поднимает тост один из них). Они совещаются, на кого выгоднее возложить бремя налогов — на Просвещение, приверженцами которого являются немногие и чаще всего бедняки, или на Невежество, и принимают «мудрое» решение о преимуществах второго. Фильдинг не щадит ни буржуазных и аристократических парламентариев, ни министров. Так, он обрушивает свою «дубинку» сатирика на Роберта Уолполя, изображённого в лице анонимного «Некто», первого министра Англии и продажнейшего из политических деятелей того времени. Ловко подкупает Некто «честных парней»; и когда они пускаются в пляс, то через дыры их штанов только что полученные деньги возвращаются в его руки.

Среди английских сочинителей комедий, включая наиболее талантливого — Шерида-

на,— Фильдинг занимает исключительное место, ибо он единственный, кто стремился создать политическую пьесу, смехом выжечь пороки государственного строя буржуазной Англии. «В 1737 году, — писал Бернард Шоу, — Генри Фильдинг, величайший из всех профессиональных драматургов, появившихся на свет в Англии от средних веков до XIX века, за единственным исключением Шекспира, посвятил свой гений задаче разоблачения и уничтожения парламентской коррупции, достигшей к тому времени своего апогея. Уолполь, последовательно осуществлявший свою систему управления страной, живо заткнул рот театру цензурой, остающейся в полной силе и поныне. Отторгнутый от профессии Мольера и Аристофана, Фильдинг обратился к профессии Сервантеса; с тех пор английский роман стал гордостью литературы, тогда как английская драма стала её позором».

Борьба с гнётом цензуры в «классической» стране личных свобод, борьба с продажностью судейского и чиновничьего аппарата, своекорыстием и бесчестностью парламентских деятелей — вот нить, связывающая Фильдинга и Шоу; отделяют же их друг от друга более чем полтора века упадка английского театра, измельчавшего и деградировавшего до предела.

Эпическая форма была избрана Фильдингом не только потому, что театр был для него закрыт «заботами» английского правительства, но также из-за её могучей познавательной силы. В своём первом романе, «История Джонатана Уайльда великого», Фильдинг показывает частную жизнь индивида не в её благополучии, не в мундире общепринятой морали и не в трагических коллизиях с обществом, а с её разрушительной, безнравственной стороны. Герой романа Фильдинга — представитель уголовного «дна»; прототипом его была конкретная случайная фигура преступника, аферы которого были раскрыты и завершились публичной казнью в мае 1721 года. Фильдинг воспользовался лишь некоторыми подробностями его биографии и создал яркий сатирический образ благодаря тому, что связал его с основами «нормальной» буржуазной практики, прикрытой маской благонаравия. У фильдинговского Джонатана целая «философия» — «религия арифметики», как сказал бы мольеровский Сганарель, ибо сводится она к исчислению

выгод и ущерба для собственной шкуры. Оправдывая свои поступки сомнением в истинности всяких моральных устоев, Уайльд сравнивает действительность с театральной иллюзией или с шахматной игрой, где «подлая пешка» может сразить и ферзя. Женившийся на распутнице, организатор шайки из промотавшихся картёжников, разорившихся купцов, бездельничающих подмастерьев, празднующихся кутил, он ни во что не ставит принципы чести и порядочности.

Джонатан Уайльд предвосхищает племянника Рамо из гениального произведения Дидро и бальзаковского Вотрена своим утверждением, что люди труда — низшая и презренная часть общественного мира, а почтеннейшие — это знать и неработающие ловкачи. Роман Фильдинга показывает, что преступление является постоянным спутником общества, в котором «любезные деньги» — начало и конец всего.

Наделяя своего героя пышной родословной, Фильдинг сообщает, что предки Джонатана Уайльда жили ещё в древней Британии, куда прибыли с разбойничьими ордами саксов, что один из них был волонтером в роте такого плута, как собутыльник Генриха V Джон Фальстаф; другой при Карле I переходил от одной партии к другой. И Фильдинг открывает нам иронию общественной жизни, состоящую в том, что бандитские приёмы обогащения Джонатана не могут снизить его «величия» в глазах ослеплённых невежеством людей, поскольку власть имущие в Англии действуют в сущности теми же методами.

В гротескной манере Свифта рисует Фильдинг комически-вздорные распри между обитателями тюрьмы, куда в конце концов попадает Уайльд. Отъявленные мошенники, они разделяются на «партии» с символическими наименованиями: «кавалеры», «вислоухие», и ожесточённо спорят по поводу того, как носить шляпу — набекрень или надвинув на глаза. «Расхождение принципов» напоминает тут борьбу «высококаблучников» и «низкокаблучников» в свифтовской Лилипутии — прозрачный намёк на тяжёлое положение английского народа, которое остаётся без изменений, руководят ли страной аристократы-тори или буржуазные виги.

Роман о Джонатане Уайльде — сатира в стиле Свифта, одно из первых в мировой литературе разоблачений хищного, возро-

ского характера буржуазного эгоистического интереса, хотя Фильдинг, пытаясь обеспечить победу нравственному началу, противопоставил Уайльду добродетельного буржуа в лице ювелира Томаса Хартффри.

Затем Фильдинг создаёт три романа, которые по своей окраске, по способу выражения, по всей концепции резко отличаются от «Джонатана Уайльда». Это — «Джозеф Эндрьюс» (1742), «Том Джонс» (1749), «Амелия» (1752). Ими начинается в творчестве Фильдинга «комический эпос», в котором героем является не авантюрист, подобно Уайльду, а человек нормы, хотя и совершающий ошибки, тип, а не исключение. В этих трёх романах «эпос больших дорог», унаследованный восемнадцатым веком от плутовского жанра, и «эпос частной жизни» слились, образовав новую форму повествования. Сохраняя схему авантюрного романа, Фильдинг полностью изменил его содержание. Его герои в реальных обстоятельствах борются за своё существование, кочуют за пределами налаженного быта, часто отступают от общепринятой морали, но стремление вернуться к стезе добродетельной жизни не покидает их ни на минуту. Стихия буржуазной действительности, в которой Фильдинг не мог не заметить огромного числа несчастий, страданий, горя, несправедливости, приобретает в его романах характер арены для закалки воли, а также развития ума.

Роман «Джозеф Эндрьюс» имеет подзаголовок: «Написано в подражание манере Сервантеса». Из этой многозначительной формулы следует, что в данном романе перед нами не «Дон Кихот в Англии», а «методом Сервантеса» описанные английские «Дон Кихоты». Это целая программа, литературный манифест, открывающий новый, «сервантесовский» этап английской литературы, с которым мы ассоциируем имена Фильдинга, Смоллета, Стерна, Голдсмита. «Англичане прежде всего начали подражать Сервантесу и до сих пор ещё имеют его образцом», — сказал об этом Гейне во «Введении к Дон Кихоту». Чем же объясняется интерес английских просветителей к великому испанскому гуманисту? Тем, что, не понимая ещё противоречий капитализма и причины распада патриархальных отношений, они своё критическое отношение к этому процессу выражают симпатией к наивным, чудаковатым правдоискателям.

На фильдингских «Дон Кихотах» лежит, конечно, печать буржуазной ограниченности, однако непосредственное чувство общечеловечности, солидарности с людьми, нуждающимися в помощи, странные для окружающих привычки делать всё «по-своему» — как подскажет верный инстинкт, порыв сердца, движение души, а не ходячий кодекс морали, — всё это делает их в какой-то степени небуржуазными фигурами. Бескорыстие Адамса, великодушие Тома Джонса и Уильяма Буса из последнего фильдингского романа «Амелия» — в каком-то смысле выражение протеста против установившихся буржуазных связей. Что Фильдинг при этом показывает своих чудачков не тощими, как их испанский предок, что он наделяет их широкими плечами, розовыми щеками, здоровенными кулаками и отличным аппетитом объясняется его отвращением к спиритуализму, к проповедям пуританских проповедников. Говоря о фильдингском понимании донкихотства, надо ещё иметь в виду, что юмор Фильдинга образует атмосферу сочувствия и в то же время трезвости, исключаяющей какой бы то ни было захлёбывающийся восторг.

Так, одним из основных героев романа о Джозефе Эндрьюсе, является пастор Адамс, философствующий богослов, отчаянный спорщик и резонёр, странствующий рыцарь «великой цели» — поведать миру о найденной им античной рукописи. Именно Абраам Адамс, смешной в своём душевном идеализме, представляет резкий контраст подчеркнутому рационализму, прозаическому духу английской жизни, где тон задавали циничные дельцы и холодно-скептические лорды. Среди последышей Дон Кихота у Фильдинга Адамс самый яркий, самый обаятельный, а по своим человеческим качествам, по своей готовности действительно оказывать людям добро он превосходит намного и стерновского дядю Тоби и голдсмитовского Примроза.

Далее в романе о Джозефе Эндрьюсе идут персонажи менее значительные: хитрая и в то же время глупая камеристка леди Буби — миссис Слипслон, приходский пастор, жадный кулак Барнабас, милая, несколько безличная Фанни, деревенские сквайры с их сворой бездельников, представители правосудия, эксплуатирующие царящее в стране беззаконие, — адвокат Скаут, судья Фролик — и многие, многие другие. В этом романе Фильдинг впервые развернул картину быта

людей своей родины, от которой большинство героев Дефо уезжает подальше в мировые, космополитические пространства и от которой изолировал себя Ричардсон замкнутыми семейно-домашними драмами.

Следует при этом заметить, что уже в «Джозефе Эндрьюсе» на первом плане стояли бедняки: деревенский священник, слуга богатой леди, горничная. Во втором фильдингском романе, «История Тома Джонса найденныша», герой — внебрачный сын неизвестной женщины, приёмный и воспитанник судьи Олверти. После ссоры с племянником Олверти — Блайфилом, с которым Джонс живёт в одном доме, но глубоко его презирает, несправедливо разгневанный Олверти выгоняет оклеветанного Джонса, и тот вынужден пуститься в далёкое путешествие. Фильдинг пользуется странствиями юноши Джонса для того, чтобы представить нам широкую панораму английской жизни, так сказать, «пёструю плебейскую общественность» тогдашней Англии. Лишь после страданий, риска, борьбы, лишений, колебаний — от великодушия и самоотверженной храбрости до низменной слабости перед соблазнами плоти — Том Джонс, влюблённый в дочь сельского сквайра Вестерна Софью, приобретает право на семейное счастье, как Дон Кихот Сервантеса — право на мудрость отрезвления уже на ложе смерти. При этом моральное обаяние Джонса имеет своё плебейское содержание: он безродный мещанин, разночинец, с определённо осознанным влечением к нравственной, разумной жизни; ему противостоит среда из своекорыстных лицемеров, подобно Блайфилу, а в Лондоне — великосветские развратники, способные на самые гнусные поступки, вроде леди Белластон и лорда Феламара.

Не так важно, что к моменту разрешения коллизий в романах Фильдинга Джозеф Эндрьюс узнаёт в дворянине Уилсоне, у которого он случайно нашёл приют и ночлег, своего родного отца, а Том неожиданно становится «джентльменом», родственником состоятельного и почтенного Олверти. Неважно, что завершением романа Фильдинга обязательно является семейное благополучие в условиях сельской идиллии. Именно потому, что в романах Фильдинга не оправдана внутренне развязка, главным становится действительная часть повествования: Джозеф и Джонс вызывают нашу симпатию, пока они находятся в потоке движения, пока

их сердца возмущаются зрелищем человеческой несправедливости, коварства, подлости, своекорыстия. Фильдинг жертвует жалкими крупинками поэзии, имеющимися в буржуазной семье, ради большого слитка поэзии, заключённого в борьбе героя с жизненными обстоятельствами, и потому романы Фильдинга завершаются браком, но не дают его описания.

Роман «Амелия» — последнее произведение Фильдинга — в критической своей части отнюдь не слабее первых, но положительные его образы уступают прежним. За исключением тюремного заключения Буса и живых воплощений варварской судебной системы Британии, всё остальное — повторение знакомых сюжетных мотивов и характеров. Сходство образов этого романа с прежними показывает не только границы круга наблюдений Фильдинга, известных ему человеческих типов и жизненных отношений, но и кризис его творчества в последние годы. Однако бесспорно привлекательно в романе «Амелия» гуманное сострадание автора к жертвам деспотизма и несправедливости.

В «комическом эпосе» Фильдинга сатира не ослабляется, выступая в содружестве с юмором, хотя в известной степени меняет свой характер; это новая ступень в творческой эволюции Фильдинга, как художника. Именно на базе «комического эпоса» Фильдинг создал галерею неумирающих образов — не только привлекательных, но и отталкивающих. Если смягчающая сила фильдингговского юмора состоит в неизменном уравнивании зла добром, как бы по закону симметрии, то это не значит, что писатель требует снисхождения к отрицательным явлениям действительности. Достаточно вспомнить сцену издевательства сквайра и его шайки над беднягой Адамсом, произвол развратной помещицы леди Буби, заключившей в тюрьму Джозефа и его невесту, или случай с тем же Джозефом, избитым разбойниками, которого приездные джентльмены не берут в карету из опасения запачкаться кровью его ран, — чтобы сказать: критическое жало Фильдинга после «Джонатана Уайльда» отнюдь не притупилось. Жуткие эпизоды преследования Джозефа, попытка насилия над его возлюбленной, травля собаками Адамса, лицемерие и жестокость леди Буби — все эти факты Фильдинг показывает во всей их мерзости и отталкивающей правде. Сло-

вом, Фильдинг не перестаёт быть сатириком и в своих комических эпопеях. Недаром каждый роман Фильдинга содержит эпизоды тюремного заключения. Во многих его произведениях, включая и пьесы, мы находим образы судей, адвокатов, полицейских, далеко не внушающих восторга перед английским правосудием, которое в буржуазных кругах Европы считали тогда образцовым. В книге 4-й романа «История приключений Джозефа Эндрьюса» есть глава, «содержащая в себе судебные материалы, любопытные образцы свидетельских показаний и прочие вещи, небезинтересные для мировых судей и их секретарей». Из этой главы мы узнаём, что бедняга Джозеф, лакей, преследуемый его развратной госпожой леди Буби, отрезал ножиком ветку орешника стоимостью в 1,5 пенса и за это его отправляют в тюрьму вместе с его невестой. Адвокат Скаут, ловко смастеривший это судебное дело по наущению леди Буби, объясняет возмущённому таким фактом сквайру, что отправить Джозефа в тюрьму за ветку — ещё мягкое наказание, что если бы он назвал ветку «молодым деревцом», то Джозефу грозила бы смертная казнь.

В романе «Том Джонс» Партридж рассказывает Джонсу и горному отшельнику о краже лошади у фермера Брайбла, и хотя делает это в шутовском тоне, его рассказ не вызывает желания смеяться. «Знатнейшее это развлечение, — иронизирует Партридж, — ходить по судам да слушать, как людей приговаривают к смерти». Партридж к этому добавляет, что в процессе с бедняком, укравшим лошадь, адвокату подсудимого не позволили говорить, тогда как адвокат противной стороны говорил больше получаса, что «на бедняка в оковах напали и судья, и члены суда, и присяжные, и адвокаты, и свидетели».

Герой романа «Амелия» Бус спасает ночью одного человека от напавших на него богато одетых негодяев и при этом становится жертвой полицейской расправы. Джентльмены быстро опустили — за деньги, конечно, — а Бус, опутанный долгами, не имеет возможности откупиться. Вместе со спасённым им бедняком он надолго заточён в тюрьму. Судья Трэшер никого не выпускает без взятки. Один из узников рассказывает Бусу о жертвах несправедливого суда и закона. Вот большой — в прошлом офицер, герой Гибралтара, — подозревался в краже... трёх селёдок; его оправдали, но он

не может оплатить судебных издержек, и потому ему остаётся заживо гнить до смерти. Вот измождённый старик и его дочь — она украла для него краюху хлеба, а в Англии XVIII века, восхищаясь своими свободами даже передовых идеологов Европы, кража карается смертью. Но вот подозреваемый в убийстве джентльмен — его освободят через несколько часов, потому что он убил за нарушение клятвы, а это проступок, наказуемый всего лишь высылкой в другое место. Как же выбрался на свободу Бус? От одной арестантки, своей бывшей приятельницы, он получил 19 фунтов, которыми одарил начальника тюрьмы, судью, клерка, констебля, стражника, а также адвокатов..

Да, не напрасно последний роман Фильдинга назвали «криминальным памфлетом». Гуманизм Фильдинга особенно глубоко выражен в разоблачительных картинах социального зла. Конечно, мы встречаем у Фильдинга всевозможных «стражей закона» — наряду с плохими и положительными, но гораздо ярче, убедительнее обрисованы у него первые, и в этом была правда английской действительности.

В романе «Том Джонс-найденш» есть глава, в которой описана беседа Джонса со стариком-отшельником. Рассказывая об одном эпизоде своей жизни, побудившем его в 1685 году сражаться на стороне протестантского лагеря против «короля-паписта», этот отшельник вставил в свой рассказ следующее замечание: «События такого рода обыкновенно заслоняют собой все частные интересы».

Этими словами Фильдинг выразил свою собственную мысль, и они могли бы служить эпиграфом ко всему его творчеству: политические события стоят выше всего личного. Не удивительно, что любимец автора Том Джонс, по убеждениям виг и защитник сложившегося в ходе борьбы режима — буржуазной конституционной монархии, — сочувствует войне «за протестантскую религию и свободу». Не слухом революционная идеология Джонса всё же враждебна стремлению реставраторов повернуть колесо истории назад, принявшему угрожающий характер во время мятежа якобитов сороковых годов XVIII века. Разумеется, Фильдинг искренне хотел бы, чтобы буржуазные свободы в существенном совпали с «вольностями и правами народа».

Воспринимать народ как великую коллективную силу ни Фильдинг, ни другие писатели XVIII века ещё не умели. И это одна из причин, почему Фильдинг не мог осознать в целом трудное положение народа, стоявшего на пороге капитализма. Трагические мотивы в его романах являются как бы случайными новеллами, вкрапленными в чужеродный текст. Отстаивая реализм, Фильдинг ещё не способен был проникнуть за пределы быта, в сферу большого мира истории. История как эпос величественных событий, воплощающих судьбу народа, для Фильдинга весьма неясное понятие. Фильдинг не понимал массовых сил и потому не повёл своего Джонса на поле битвы, когда тот едва не стал добровольцем. Фильдинг только рассказывает о мятеже, и точно так же мы только косвенно узнаём об участии Буса в сражении при Гибралтаре. Войны, восстания, революции, где принимает участие множество людей, Фильдинг не мог представить в живых картинах, и в этом его ограниченность как мыслителя и художника. Поставить Фильдинга на один уровень с английскими романистами XIX века, о которых Маркс писал, что они «разоблачили миру больше политических и социальных истин, чем это сделали все политики, публицисты и моралисты, вместе взятые», — без оговорок, конечно, нельзя.

Однако Фильдинг подготовил это разоблачение своими романами, не говоря уже о его сатирических и бытовых комедиях. Предметом критики Фильдинга наряду с представителями феодального мира — сельскими помещиками и столичными вельможами, тупоголовыми сквайрами и судейскими крючковорами, схоластами и религиозными мракобесами — были также буржуазные политиканы и стяжатели, богатеи и лавочки. Глубокие мысли В. И. Ленина о просветителях помогают нам верно понять и сильные и слабые стороны творчества лучших писателей XVIII века, а следовательно, и Фильдинга. «Новые общественно-экономические отношения, — писал Ленин, — и их противоречия тогда были еще в зародышевом состоянии. Никакого своеобразия поэтому тогда в идеологах буржуазии не проявлялось; напротив, и на Западе и в России они совершенно искренно верили в общее благоденствие и искренно желали его, искренно не видели (отчасти

не могли еще видеть) прстиворечий в том строе, который вырастал из крепостного»<sup>1</sup>.

Большой заслугой Фильдинга является его стремление показать человека из средних и низших классов общества, изведавшего гнёт обстоятельств — нужды или возмутительного обращения, устарелых предрассудков или корыстолюбия окружающих. При этом Фильдинг добивается истинного реализма, когда отвергает фальшивые аполгии и выступает против преувеличенных добродетелей и пороков. Интересуясь не исключениями, а правилами, восставая против всякого неправдоподобия, Фильдинг требует от художника, изображающего человека, понимания его сущности и осуждает в романе «Том Джонс», как и в статье «О познании человеческих характеров», необоснованные превращения «из злого в доброго».

Своим образом мыслей Фильдинг стоял к народу намного ближе, чем другие просветители Англии, хотя и разделял с ними вкус к «золотой середине». Судя по всему стилю его творчества, он вовсе не стремился к той ступени сложности, которая отдалила бы его от «простых людей» Англии. Скорее наоборот — его отличает от других английских писателей XVIII века демократизм и мысли и языка. Реализм и весь юмор Фильдинга выражают со всей очевидностью дух, характер английского народа.

Фильдинг — выдающийся гуманист своего времени. «Человек, — писал он, — самый высокий предмет». Фильдинг хотел быть в своих произведениях «биографом», летописцем человеческих жизней и судеб. «Всестороннюю беседу» вёл он постоянно с «людьми всех рангов и сословий». Вот почему Фильдинг всегда привлекал к себе внимание величайших писателей мира. «Наши романы, наши трагедии, — говорил Гёте, — разве они не имеют своими первоисточниками Голдсмита, Фильдинга и Шекспира?» Байрон находил в Фильдинге «прозу Гомера о человеческой природе». Полную меру уважения Фильдингу отдал в своих очерках об английских юмористах Теккерея, больше, чем кто-нибудь другой из «викторианцев», обязанный своему предшественни-

ку постановкой ряда проблем и стилем образной характеристики.

Симпатию к Фильдингу, ставшему в России известным уже в пятидесятых годах XVIII века, высказали и наши классики. Пушкин верно определил демократическое место Фильдинга в мире, ещё сохранявшем сословные перегородки и аристократическое чванство, назвав английского писателя «разночинцем». Белинский ставил Фильдинга рядом с Лесажем, Гюго, а Чернышевский — рядом с Диккенсом и Теккереем. «Нет, числом страниц, — писал великий русский демократ, — не определишь законного объёма книги. «Том Джонс» или «Пикквикский клуб» не меньше «Ньюкомов», а эти обширные рассказы прочитываешь так легко, как самую коротенькую повесть». В своём дневнике Чернышевский ещё раз вспоминает Фильдинга, и в очень любопытной форме. Перечислив писателей, которых он считал своими «друзьями», Чернышевский добавляет: «Тоже Фильдинг, хотя в меньшей степени против остальных великих людей, т. е. я говорю про мёртвых, может быть, он и не менее Диккенса». В этой сложной оценке имеется указание и на большую глубину литературы XIX века и на внутреннюю близость двух реалистов — Фильдинга и Диккенса. Не забудем, что в Диккенсе Чернышевский почитал «защитника низших против высших, карателя лжи и лицемерия».

Надо также отметить интерес Маркса к роману XVIII столетия, особенно его симпатию к Фильдингу, о которой сообщил нам П. Лафарг. Наконец М. Горький считал Фильдинга «творцом реалистического романа, удивительным знатоком быта страны и крайне остроумным писателем».

Известно, что Горький назвал художественную литературу «человековедением». Генри Фильдинг, замечательный живописец слова и психолог, внёс немалую долю в эту «науку». Стремление Фильдинга к искренности и чистоте в человеческих отношениях, его глубокая вера в доброту человека, его ненависть к фанатизму и мракобесию, лицемерию и фарисейству, тирании и рабству, его идеал миролюбия и сердечности нам особенно дороги. Это — то, что никогда не умрёт, что делает творчество Фильдинга бессмертным для всего прогрессивного человечества.

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, изд. 4-е, т. 2, стр. 473.



# КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

**А. Чернов.** Очерки о колхозной деревне.— **Е. Герасимов.** Больше творческой смелости! — **С. Тураев.** Героическая трагедия Фридриха Вольфа.— **Н. Дьяконова.** «История английской литературы».

### ПОЛИТИКА И НАУКА

**Вал. Зорин.** Всевластие монополий в США.— Кандидат исторических наук **С. Кузнецова.** Славная жизнь.— **М. Сустанов, А. Пятницкий.** О научно-популярной технической литературе.— Кандидат химических наук **О. Добролюбовский.** Книга о русских химиках.— **Е. Немировский.** Журнал советских политграфистов.

## Литература и искусство

### Очерки о колхозной деревне

**З**а последнее время, идя по горячим следам событий, наши писатели создали ряд интересных произведений о людях советской деревни.

Глубоко и серьёзно изучая жизнь, В. Овечкин, А. Калинин, В. Тендряков и другие рассказали о сокровенных думках тружеников села, поставили острые, актуальные вопросы. Произведения, созданные этими писателями, отличается боевая целеустремлённость, партийность, стремление помочь нашему крестьянству добиться новых успехов в сельском хозяйстве.

В этой связи привлекает к себе внимание и книжка очерков Ивана Рябова «Новый горизонт». В ней опытный, талантливый очеркист касается различных сторон колхозной жизни, глубоко анализирует факты действительности.

Характерен в этом отношении очерк «Новый горизонт», давший название книге. Рассказав о производственных успехах, достигнутых отдельными колхозами Весёгонского района, Калининской области, автор сообщает, что общее положение дел в районе всё-таки остаётся неудовлетворительным. Очеркист ищет причины этого неблагополучия и размышляет о том, как с ним справиться. При этом он тщательно исследует факты. Вот, например, в колхозе имени Горького плохо развивается живот-

новодство. Как реагирует на это колхозная парторганизация, что предпринимает её секретарь Александр Мухин? Никак они на этот серьёзнейший недостаток не реагируют, ничего не предпринимают. Больше того: Мухину предложили заведовать животноводством, и он не согласился: испугался трудностей. Отказался Мухин стать и бригадиром по полеводству. Возвратясь с курсов секретарей партийных организаций, он стал работать по нарядам от бригадира, не считаясь с директивой райкома. Деятельностью местной комсомольской организации коммунисты колхоза тоже не интересуются; Мухин даже не знает, сколько в колхозе комсомольцев.

Автор стремится проникнуть вглубь явлений. Кто должен был направить работу колхозной парторганизации, как не райком партии? Почему же вышло так, что Мухин, весьма посредственный работник, олицетворяет партийное руководство в колхозе имени Горького? Малое знание жизни, плохое знание людей, сила инерции и привычки сказываются в деятельности райкома.

«При таком руководстве,— пишет И. Рябов,— исчезает из поля зрения многое, карта района кажется простой бумагой на стене, знаки на этой карте не наполнены живым содержанием. Что же касается людей, то они предстают перед работником, как дробь в статистике. Цифры, цифры — и только. Отсюда огульный подход к людям,

неумение распорядиться человеческими резервами, найти для человека надлежащее место.

Таким образом, одну из причин отставания отдельных колхозов района писатель справедливо видит в низком уровне руководства сельским хозяйством со стороны райкома партии. В настоящее время руководить колхозами «в общем и целом» уже нельзя. Партия учит конкретным методам руководства, основанным на серьёзном знании людей. Только так можно организовать массы на решение коренных вопросов развития колхозного производства.

Очерк «Новый горизонт» написан до XIX съезда партии. После съезда очеркист ставит вопрос о преодолении недостатков в руководстве сельским хозяйством ещё острее и глубже. Это можно проследить на «Письмах из Кашина», в которых автор говорит о необходимости отличать подлинных руководителей от тех, кто, «kozyряя единицами» для доказательства успешной работы, скромно умалчивает о том, что представляют собой отстающие колхозы. Партийные руководители подчас мало внимания уделяют подбору и расстановке кадров — главной силы социалистического строительства и в городе и в деревне. На пост председателя колхоза имени Калинина, например, райком рекомендовал человека, который не то что вести за собой людей — даже общего языка с ними не нашёл. «Я здесь чужой, не пришёлся ко двору...» — признаётся этот горепредседатель и винит в этом не себя, а здешний «народ».

И. Рябов всегда остаётся в пределах реальных фактов, рассказывает о достоверных жизненных случаях. Но в его очерках отдельные факты приобретают широкое значение, он рисует характерные явления, типы людей, которые могут встретиться во многих колхозах и районах. Указывая на страсительные явления в жизни, автор заставляет читателя искать вместе с ним их причину; произведения И. Рябова вселиют уверенность в том, что от недостатков можно избавиться, надо лишь найти опору в честных, деятельных, знающих людях, которые являются главным богатством нашего общества. В том же Кашинском районе есть немало людей, способных вести крупное социалистическое хозяйство. Они составляют золотой фонд колхозной деревни. Обо всём этом очеркист пишет, подчёркивая, что задачи организационно-хозяй-

ственного укрепления колхозов не «чисто хозяйственные», а задачи политические.

Эту же мысль И. Рябов проводит в ряде других очерков. В «Разговоре с бригадиром» рассказывается об умении материально заинтересовать колхозников, что тоже нельзя считать делом чисто хозяйственным. Очерк «В эти дни...» свидетельствует о большом трудовом подъёме среди работников МТС и в то же время о некоторых недостатках в политическом воспитании механизаторов.

Писатель критикует с партийных позиций, и потому он никогда не выступает как беспристрастный наблюдатель; он требует, указывает, предлагает, советуется. Нет никакого сомнения в том, что такая критика со стороны писателя, хорошо знающего сельское хозяйство и вопросы колхозного строительства, имеет полезное значение.

Многие из очерков И. Рябова написаны в связи с большими политическими событиями наших дней. Очерк «Голоса жизни» связан с выходом в свет директив XIX съезда партии. «Жатва» посвящена славному пятидесятилетию Коммунистической партии Советского Союза. Очерк «Любовь Гунина», написанный И. Рябовым вместе с А. Колосовым незадолго до выборов в Верховный Совет СССР, рассказывает о кандидате в депутаты, председателе колхоза «Красный коллективист», Ярославской области, Любови Николаевне Гуниной.

Пафос созидания — основной мотив, определяющий оптимистическое звучание этих произведений. Автор прославляет свободный труд, неисчерпаемые творческие возможности советского человека. При этом, несмотря на праздничность, содержание очерков остаётся конкретным, деловым; автор умеет немногими словами создать живой образ человека.

Любовь Николаевна Гунина — в прошлом рядовая колхозница — ныне руководитель колхоза, Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской премии. Нет ни одного дела в деревне, в котором не сказывались бы её воля, ум, сердце. Гуниной присущи чувство нового и страстная непримиримость к застою и шаблону. Как человек, сознающий силу партии, силу своего народа, Любовь Николаевна открыто, не боясь, говорит о недостатках в работе.

В очерке есть такой интересный эпизод. Одна из колхозниц замечает Гуниной, что



неплохо бы внести поправку в один закон, касающийся учёта труда животноводов. Видя, как при этом колхозница смущается, опасаясь, не осудит ли её Гунина, Любовь Николаевна говорит ей, что это не её личный вопрос, а общий, государственный. Ведь закон не мог предусмотреть все условия и обстоятельства, учесть местные особенности. Жизнь вносит поправки даже к хорошим и умным законам.

В этих словах — государственный подход к делу, свойственный советским людям — хозяевам своей жизни.

Гунина — не исключение. Такими же творцами нового выступают в очерках И. Рябова партийные вожаки Николай Коняшев («Новый горизонт»), Иван Андронов («В эти дни...»), председатель колхоза «Красный путловец», Калининской области, Александр Белов («Письма из Кашина»), бригадир полеводческой бригады Кондратий Иванов («Разговор с бригадиром»). Сила их в том, что они растут, идут вперёд, никогда не успокаиваясь на достигнутом. Это люди ищущие, чуткие ко всему новому. И именно это чувство нового и порождает в них недовольство уже совершённым.

И. Рябов пишет главным образом о землях Поволжья и Среднерусской равнины с её дугами и реками, с её перелесками и полями. Он любит эти края: «Есть близкая нам всем поэзия в этих землях, в зеркальных водах озёр, в мшистых брёвнах колодезев, в шелесте сосновых лесов, в синих куполах первых русских городов, в самом воздухе севера». Это сказано спокойно, ровно, но как ощутимо вспоминаются нам картины знакомых мест.

Для И. Рябова характерно соединение в пределах одного очерка пафоса публициста с ровным и спокойным повествованием рассказчика. Внешняя сдержанность сохраняется и в тех эпизодах, которые полны страстного чувства, увеличивая их художественное воздействие. Там же, где речь идёт о недостатках или ошибках, автор говорит резко, прямо, ничего не смягчая, но его голос не переходит в крик, не заставляет его «рвать и метать».

Значительную роль в очерках И. Рябова играет сам автор, который прямо высказывает своё отношение к людям, к явлениям колхозной жизни, раскрывает смысл описываемого факта или события. Эти авторские отступления обладают ясностью, живостью

и органически соединяются с повествованием. Но, к сожалению, не всегда; иной раз избыток авторских рассуждений превращает очерк скорее в статью или корреспонденцию, мало что остаётся от художественной изобразительности.

Как и всякое художественное произведение, очерк должен не только рассказать о событии, явлении, человеке, но и изобразить их наглядно в запоминающихся картинах. Однако именно этого недостаёт такому, например, очерку, как «Разговор с бригадиром». Рассказывая о бригадире Кондратии Иванове, автор сообщает важные и интересные сведения, высказывает хорошие мысли об организационно-хозяйственном укреплении колхоза «Большевик», Владимирской области. Но образ героя остаётся при этом неподвижным; мы узнаём о Кондратии Иванове главным образом то, что он сам о себе говорит, в действительности мы его не видим. Способ построения этого очерка, применяемый автором и в ряде других случаев, не относится к каким-либо творческим находкам. В первой половине очерка автор, перелистывая «страницы колхозной летописи», рассказывает о том, что было в Мещорском крае четверть века назад. Фраза — «мы ходим с Ивановым по полям его бригады» — даёт писателю повод встретить на полях отдельных людей из бригады Иванова. Дальше мы читаем: «Человек, преобразующий природу Мещорского края, идёт с нами по своим полям»; тут бригадир встречается по пути с сезонниками. «Бригадир... ведёт нас по своим владениям, к людям своей бригады...» Мы ждём: может быть, здесь характер героя проявится в живом действии. Нет, автор снова начинает излагать историю Мещорского края. Этим и заканчивается очерк.

В другом очерке — «Красное на Волге» — писатель также ограничивается лишь публицистическими комментариями к фактам да краткими указаниями по адресу отдельных лиц. В очерке нет ни одного запоминающегося образа. Добрую его половину занимает история села Красного, записанная Иваном Михайловичем Смирновым, участником и свидетелем многих событий своего края. Факты, взятые из истории села Красного, а также отдельные записи, имена, отрывки из речей не образуют художественного целого.

Когда встречаешь в очерках такие недостатки, то кажется, что материал — в пер-

вую очередь люди — писателем изучен мало. Отсюда литературные штампы, излишние рассуждения, обращение к историческим справкам, что никак не может возместить недостающие реальные образы людей, художественно конкретные картины.

слишком часто автор использует сопоставление «века нынешнего и века минувшего», хотя не всегда такое сравнение необходимо.

В различных очерках И. Рябова повторяются почти одни и те же положения и

фразы. Когда очерки печатаются в газете и отделены друг от друга немалым промежуток времени, это не привлекает к себе внимания. Но когда они читаются подряд, всякие повторения очень заметны и досадны.

И. Рябов мог бы, конечно, избежать этих недостатков. Его очерки — живые документы, свидетельствующие об успехах колхозного строительства, о неуклонном росте и жизненной силе социалистического сельского хозяйства.

**А. ЧЕРНОВ.**

★

### Больше творческой смелости!

**Н**овая книга А. Шарова является как бы первым итогом работы писателя и даёт потому основание поговорить о сильных и слабых сторонах его творчества.

Наиболее значительное произведение в книге — повесть «Путешествие продолжается», посвящённая памяти ленинградского комсомольца Бориса Кудрявцева, который накануне войны, ещё будучи школьником, увлёкся исследовательской работой и открыл пути расшифровки письменности полинезийцев с острова Рапануи.

В повести Борис Кудрявцев назван Борисом Никитиным. Изменив фамилию своего героя, писатель получил право на более широкие художественные обобщения, чем это позволительно в произведениях, где невыдуманные люди называются своими подлинными именами. Герой повести — юноша с глубоким и сложным характером, с большой судьбой, и в этом характере и в этой судьбе мы отчётливо видим черты, роднящие Бориса со многими тысячами других талантливых комсомольцев.

Представьте себе их, советских юношей, в предвоенные месяцы сорок первого года. Они стоят на пороге самостоятельной жизни и глубоко убеждены, что нет в жизни большего счастья, чем счастье служения своей Родине. Родина уверенно идёт по пути к коммунизму, прокладывает к нему путь всему человечеству, а по ту сторону границы, на Западе, бушует война и фашистские полчища захватывают одну страну за другой, грозя повернуть назад колесо

истории, уничтожить всё самое прекрасное в мире.

И представьте себе одного из этих юношей, в те дни часами просиживающего в музее. Он глубоко задумался над таблицами письменности теперь уже не существующего маленького народа, когда-то населявшего затерянный в Тихом океане островок. Борис готовит доклад об истории и культуре острова Рапануи. Его друг Олег, ещё совсем недавно вместе с ним соорудивший на речке «свайную хижину», чтобы, забравшись в неё, перечитывать уже не раз читанные главы сочинений Миклухи-Маклая, теперь отказывается понять увлечение Бориса.

«...Не понимаю, почему ты загорелся. Такой доклад сделать бы лет шестьдесят или семьдесят назад. А сейчас... Везде война идёт и на Тихом океане, где твой Рапануи, и везде, во всём мире... война с Гитлером, а ты берёшь такую... пыльную тему!»

Для Олега в данном случае выбор темы доклада — вопрос комсомольской морали, поведения человека. Он серьёзно упрекает своего друга: «Ты, Борька, к другим требователен: «мы комсомольцы...», «мы члены бюро...». Надо и к себе относиться, как к другим. Ты о настоящей войне позабыл, воюешь с мертвецами!»

Со своей точки зрения Олег, конечно, прав: не время воевать с мертвецами, когда живой и страшный враг грозит Родине. Но в том-то и дело, что Борис воюет вовсе не с мертвецами. Таблицы с письменностью рапануйцев — единственно дошедшее до нас свидетельство культуры этого уничтоженного колонизаторами народа —

**А. Шаров. «Путешествие продолжается». Повести и рассказы. «Советский писатель», М. 1954.**

дают в руки Бориса оружие для борьбы с фашизмом. Что из того, думает Борис, что такие разбойники, как Эйро, Борнье и им подобные, огнём и мечом уничтожавшие рапануццев и их культуру, уже давно в могиле, если сейчас фашистские разбойники объявили «недочеловеками» большую часть населения земного шара, истребляют миллионы людей, намерены уничтожить тысячелетние культуры?

Взявшись за расшифровку таблиц рапануццев, Борис решил доказать самобытность их культуры и тем самым нанести удар по расистской теории фашистов, утверждавшей, что только избранные народы способны к самостоятельному творчеству.

О процессе исследования Бориса в повести рассказывается без излишних подробностей, ясно и просто. Убедённость в правоте своего дела, идейная и духовная высота, на которую поднимается герой, яркая талантливость помогают ему найти правильные пути к решению научной проблемы, оказавшейся непосильной для солидных буржуазных учёных.

В своей исследовательской работе юноша проявил редкую в его возрасте самостоятельность, но он не был в труде одинок. Повесть знакомит нас с семьёй Бориса, с его отцом и матерью, с его учителями и товарищами по школе, с научными работниками музея, где юноша начал своё исследование. Одни помогали Борису советами, другие — моральной поддержкой, а некоторые — просто тем, что создавали «атмосферу комсомольской молодости, в которой этот труд возник и вне которой не мог бы существовать». Эта атмосфера комсомольской молодости, духовной чистоты героев живо чувствуется в повести. Она дана не в общих чертах, а в тонких деталях идейной жизни нашей молодёжи, жадно тянущейся к науке.

Часто наши писатели бывают обидно скупы в изображении интеллектуального мира своих героев. Как ещё мало у нас книг, герои которых могут служить волнующим примером благородного служения народу в области науки, искусства.

Тем интереснее для нас образ Бориса Никитина. Именно своими интеллектуальными качествами, гармонически сочетающимися с качествами моральными, Борис привлечёт к себе внимание читателя, и именно эта сто-

рона — умение показать ход творческой мысли, богатство умственных интересов и влечений своего героя — представляется наиболее сильной стороной повести А. Шарова.

Значительно слабее изображён в повести мир чувств. Как бы сильно ни был увлечён Борис Никитин своим научным исследованием, но он ещё юноша, и, конечно, его волновало не одно исследование. Были у него друзья, и, как видим, не все они понимали его. Вот, например, у Бориса возникла серьёзная размолвка с его товарищем Олегом. Почему же писатель говорит о ней походя, протоколно сухо, как о чём-то, не затронувшем душевную жизнь Бориса? Вряд ли он хотел сказать, что научные интересы так высоко вознесли Бориса, что всё человеческое стало ему чуждо.

Есть у Бориса подруга Зорька. У него возникает к ней сердечное влечение. Но и об этом мы узнаём словно мимоходом, по намёкам товарищей Бориса и Зорьки.

Досадно скупо, обеднённо показана в повести эмоциональная жизнь героя. Иногда кажется, что в повести живёт не сам юноша, а только его интеллект, его мысль. Поэтому интересная в общем повесть не оставляет чувства полного удовлетворения — хочется ещё что-то узнать о Борисе.

То же самое нужно сказать и о людях, окружающих Бориса.

По всему чувствуется, что Зорька очень хорошая девушка, но, чтобы представить себе её, приходится напрягать воображение. Замечательные у Бориса родители и замечательные у него отношения с отцом, но уж слишком скупо рассказано об этом.

Не в том беда, что все люди в повести хорошие, замечательные, а в том, что они мало отличаются друг от друга, что образам людей весьма не хватает живых, зримых черт, таких, например, которые автор находит, живописуя природу. Тут А. Шаров обнаруживает зоркий, наблюдательный глаз. Он мог заметить, например, что «в снегу, там, где ветром набросало прошлогодней хвои и листьев, образовались круглые лужи», что по краям этих луж «снег был голубоватым и блестящим, как покрытый глазурию ободок тарелки», что «личинки комаров стоймя держались на невидимой плёнке» и что, «когда в лужу пада-

ла шишка или ветка, плёнка обрывалась и личинки опускались на дно».

Это точно, зримо. А вот портреты героев, описания обстановки, быта даны излишне лаконично, не столь конкретно. Чувствуется, что писателя сковывает недостаточная уверенность в своих силах, что ему не хватает творческой смелости.

Повесть «Путешествие продолжается» выходит уже во второй редакции, но думается, что писателю не стоит считать работу законченной. Ему ещё следует к ней вернуться — повесть заслуживает того.

В книгу включён цикл «Рассказы о венских встречах». Этот цикл переносит читателя в другой мир, в мир алчного стяжательства и голой нищеты, человеконенавистничества и угодничества, в мир волчьей морали. Ощущение атмосферы этого обречённого, но ещё страшного мира писатель передаёт через судьбы отдельных людей, с которыми ему довелось познакомиться в Вене после её освобождения советскими войсками. Это судьба одного из многих «до ужаса ненадёжных, никчёмных, изуродованных капитализмом людей», которые жили, «повинуясь инстинкту стяжательства в своём узком, холодном мирке» («Господин Штуммель»). Это судьба крестьянина, ставшего жертвой злодейского шантажа, с помощью которого пробирался к власти некий фашистский бандит («Дело Волларда»). Это типичная судьба погубленного капитализмом таланта («Художник»).

Этим людям противопоставлены те, кто после освобождения Вены вышли из революционного подполья, — простые венские труженики, на примере которых мы видим что фашистский гнёт не смог сломить жизненные силы народа («Гудок», «Второй кандидат», «Двадцать восьмой»).

В рассказах много удачного — метких и свежих деталей, находок, но и рассказам иногда не хватает яркости в сценах, живости характеров, не хватает борения человеческого чувств.

В рассказе «Господин Штуммель» о самом Штуммеле сказано так: «И было странное ощущение, что это не человек, а игральная карта, совершенно плоская, не живая». Понятно, что Штуммель вызывает такое ощущение. Но когда плоским, неживым мы видим машиниста Мартина Брауна из рассказа «Гудок», это уже промах писа-

теля, и повинна здесь излишняя скудость рисунка, в результате чего образ получился недостаточно объёмным, тускловатым.

Наиболее удачным мне представляется рассказ «Друзья гуляют по городу». Этот рассказ убеждает, что писатель напрасно сковывает себя, робко пользуясь изобразительными средствами. Вот ведь как лаконично и выразительно сумел он нарисовать портрет солдата Бутенко, вышедшего со своими друзьями на прогулку по Вене:

«Это человек очень высокого роста и такой редкой благородной красоты, что, даже когда он марширует в шеренге, плечо к плечу с товарищами, кажется, что другие идут поодаль, а вокруг него свободное пространство».

Или другой пример — групповой портрет американских молодчиков, с которыми советские солдаты встретились на стадионе:

«По проходу гуськом, слегка согнувшись, идут несколько военных в американской форме. Они странно повторяют движения друг друга, и есть что-то, заставляющее насторожиться, в их однообразном, мягком, немного пружинящем шаге».

В рассказе много таких штрихов, говорящих об умении А. Шарова живописать словом.

В большинстве опубликованных в книге рассказов А. Шарова идея находит естественное выражение, нет никаких натяжек, ничего надуманного. К сожалению, этого нельзя сказать о двух заключающих книгу рассказах — «Легостаев принимает командование» и «Севка, Савка и Ромка».

Герой первого рассказа, начфин танковой бригады Легостаев, вернувшись с войны, вспоминает, что после того, как в бою погиб командир, бригада решила усыновить его малолетнего сына. Тогда же по подписке была собрана порядочная сумма и переведена в банк по местожительству мальчика с поручением выдавать ему ежемесячно четыреста рублей. Проследить за этим взялся начфин Легостаев. С тех пор прошло несколько лет. Легостаев высчитывает, есть ли ещё в банке деньги, переведённые бригадой, или они уже исчерпаны. Оказывается, исчерпаны. Что делать бывшему начфину, ныне рядовому бухгалтеру маленького завода? Бригада расформирована, люди разъехались, где их найдёшь? И Легостаев решает принять на себя обязательства, взятые бригадой в отношении сына коман-

дира. Трудно ему приходится: зарплата — восемьсот рублей, а отсылать надо половину. Трудно ещё и потому, что из каких-то неясных, но, видимо, очень благородных соображений он посылает мальчику деньги не от своего имени, а от имени уже не существующей бригады и в извещениях подписывается «за командира». Естественно, что в ответ вместе с благодарностью бригаде любознательный мальчик начинает засыпать его вопросами, относящимися к сегодняшнему дню жизни воинов. Отвечая на них, Легостаев описывает выдуманные им манёвры, учения, под его пером директора заводов и школ вновь превращаются в командиров рот и батальонов и т. п. «Это был мир выдумки, которая силой веры становится правдой. Это была сама романтика, поднимающая человека на крыльях, но не отрывающая его от земли», — комментирует автор.

Очень сомнительно, что такого рода художественная романтика может поднять человека на крыльях, тем более, не отрывая его от земли. Автор-то уж явно оторвался от действительности.

Мысль у него была хорошая — показать, с каким богатым моральным багажом вышли советские люди из войны, но писатель не сумел претворить эту идею в реально существующие образы. Он поставил своего героя в ложное и до чрезвычайности надуманное положение. При этом он упустил из виду то, что в действительности очень упростило бы Легостаеву выполнение

своего долга, — малолетний сын погибшего на войне командира бригады несомненно получает от государства пенсионное обеспечение.

Интересный по замыслу и отдельным деталям рассказ оказался испорченным в результате погони автора за эффектной ситуацией. Это же вовсе погубило рассказ «Севка, Савка и Ромка».

Вернувшийся с войны политотделец Муромцев, старый холостяк, взял на воспитание из разных детских домов одного за другим трёх ребят. Так уж случилось: взял одного мальчика, Севку, вскоре у Севки обнаружился брат — Савка, надо братьев соединить, у Савки оказался друг — как же друзей разлучать! Но вот Муромцев уезжает в командировку, заболевает там, и усыновлённые им мальчики остаются без надзора. Тут положение спасает демобилизованный из армии старшина. Вступив в должность участкового милиционера, он проявляет чуткое отношение к оставшимся без присмотра детям.

Правдоподобие отдельных деталей в рассказе не меняет существа дела — рассказ оставляет впечатление надуманного.

Эти два рассказа портят хорошее впечатление от книги, свидетельствующей о том, что у А. Шарова есть все возможности для дальнейшего творческого роста. Нужно только пожелать писателю большей смелости в применении своих художественных средств и большей строгости вкуса.

Е. ГЕРАСИМОВ.

★

## Героическая трагедия Фридриха Вольфа

В одной из своих речей, посвящённых памяти А. М. Горького, Фридрих Вольф сказал, ссылаясь на пример великого русского писателя, что важнейшей задачей каждого современного художника слова является отображение борьбы нового с пережившим себя старым.

При этом верно отобразить борьбу можно в наше время, лишь основываясь на знании марксистско-ленинской науки, находясь на позициях партийности, высокой идейности.

*Friedrich Wolf, „Thomas Münzer. Der Mann mit der Regenbogenfahne“. Ein Schauspiel. Berlin, 1953. (Фридрих Вольф. «Томас Мюнцер. Человек с радугой на знамени». Драма. Берлин, 1953).*

Этим духом партийности было пронизано всё творчество самого Ф. Вольфа — замечательного немецкого драматурга, лауреата Национальной премии, скончавшегося год тому назад, в октябре 1953 года.

Участник первой мировой войны, фронтовой врач, Ф. Вольф не только увидел ужасы войны, но и пришёл к пониманию того, кто несёт ответственность за пролитую кровь и страдания миллионов людей.

В период революционных боёв немецкого рабочего класса Ф. Вольф честно и мужественно выполнял свой долг. Рабочие ценили в нём не только опытного врача, но и боевого товарища, который без колебания выбрал своё место среди баррикадных бойцов.

Он был членом саксонского Совета рабочих и солдатских депутатов, с оружием в руках он сражался против контрреволюционного корпуса генерала Люттвица.

В последующие годы Ф. Вольф завоевал признание и любовь демократических читателей и зрителей своими замечательными драмами.

Отличительная черта лучших драм Ф. Вольфа, таких, как «Таи Янг пробуждается» (1931), «Матросы из Каттарро» (1930), «Флоридсдорф» (1934) и другие, — революционный оптимизм, страстное утверждение идеи неизбежности победы рабочего класса. С особой настойчивостью драматург работал над созданием героических характеров. Поиски типического образа были связаны у него со стремлением во всём величии отразить важнейший конфликт современности — борьбу революционного рабочего класса против империализма. Идя по этому пути, Ф. Вольф утверждал себя на позициях социалистического реализма.

Наряду с темой современного пролетарского движения внимание драматурга давно привлекала и другая большая тема — тема крестьянской войны. Крестьянскому восстанию 1514 года была посвящена одна из ранних драм Ф. Вольфа — «Бедный Конрад» (1923). Спустя тридцать лет драматург завершил свой творческий путь героической трагедией, посвящённой выдающемуся деятелю прошлого, вождю крестьянской революции — Томасу Мюнцеру («Томас Мюнцер. Человек с радугой на знамени», 1953).

Основоположники марксизма неоднократно указывали на то, что реакция в Германии стремилась вычеркнуть из сознания народа всякие воспоминания с революционной борьбой. Между тем в истории Германии было немало значительных эпизодов борьбы народных масс против угнетателей. Эпоха реформации и Крестьянской войны 1525 года представляет собой целую революционную полосу в истории страны. Нельзя не отметить при этом, что если деятели реформации и рыцарской оппозиции не раз привлекали внимание немецких писателей XVIII—XIX веков, то Крестьянская война не нашла, за редкими исключениями, художественного воплощения в немецкой литературе.

Заслугой Фридриха Вольфа явилось то, что он поставил в своих драмах о Крестьян-

ской войне вопрос о революционных традициях немецкого народа. При этом вместе с ростом мастерства драматурга этот вопрос решался им на всё более широком материале.

Если в ранней драме «Бедный Конрад» Ф. Вольф передаёт один из эпизодов народной борьбы, предшествовавший Крестьянской войне 1525 года, то последнее его произведение — «Томас Мюнцер» — трагедия, воссоздающая события большого исторического масштаба. Изображая самое революционное крыло крестьянского движения во главе с Томасом Мюнцером, автор рисует исторический конфликт в наиболее ярком и остром его выражении и на самом напряжённом этапе его развития.

Воссоздавая героическую эпопею Крестьянской войны, Ф. Вольф опирался на известное исследование Ф. Энгельса о Крестьянской войне, а также на работы советских историков, которые собрали и обобщили значительный материал, связанный с деятельностью Мюнцера.

Драматург раскрывает основные противоречия эпохи на ряде острых конфликтов, составляющих основу развития драматургического сюжета.

Страстная проповедь Томаса Мюнцера обращена не только против князей и графов, всего класса феодального дворянства, но и против деятелей умеренной бюргерской реформации, против Лютера и его присных, предававших дело свободы. Это умеренное крыло представляет в драме священник Хафериц, который убеждает Мюнцера действовать словом, а не мечом. Для Мюнцера подобная позиция означает предательство интересов народа. Он понимает, что только князьям выгодно иметь народ безоружным.

— Право меча должно принадлежать крестьянской общине, — говорит Мюнцер, — она должна решить суд над неправыми.

С презрением отбрасывая церковную догму о царствии небесном, Мюнцер выдвигает программу «царства божьего» на земле, установления справедливого общественного порядка, при котором всё будет принадлежать всем. Для осуществления этой цели он стремится сплотить и организовать на борьбу плебейские элементы всей Германии.

Ярко воссоздавая колорит эпохи, Фридрих Вольф вводит нас в атмосферу борьбы различных направлений религиозной и полити-

ческой мысли. Особенностью этой борьбы было то, что многие политические лозунги обычно выражались в религиозных формулах. Язык библии и евангелия был тогда близок и понятен всем, и на этом языке формулировались требования народа. Томас Мюнцер облакает себя в одежды ветхозаветных пророков, он провозглашает себя карающим мечом бога. Но когда испуганный Хафериц упрекает его за произвольное толкование отдельных мест из библии, Мюнцер отвечает: «Слово растёт, как и человек, в ногу со временем. Я отбрасываю мёртвые буквы и прислушиваюсь к внутреннему смыслу слова...»

Вольф рисует Мюнцера неутомимым, деятельным, неукротимым в своей страстной проповеди «царства божьего» на земле. Мы видим его в кругу друзей и единомышленников, в ожесточённом столкновении с противниками.

Реализуя известные указания К. Маркса и Ф. Энгельса, сделанные по поводу исторической драмы Ф. Лассалля «Франц фон Зикинген», Вольф смело вводит в действие представителей широких кругов плебейской общности, рисуя живой многокрасочный фон, на котором полнее и ярче раскрывается деятельность Мюнцера. Крестьяне, городские бюргеры и ремесленники — все они представлены типичными характерами. Менее ярко показан феодально-княжеский лагерь, однако зловещая роль его в исторических судьбах страны выразительно раскрывается всем ходом действия.

Мюнцер с его программой широких социальных преобразований далеко опередил своё время. Взгляды его разделяла лишь избранная часть тогдашних революционных элементов. Не случайно, как лейтмотив, через всю драму проходят слова народной песни: «Я родился слишком рано...» В этом — трагедия революционера Мюнцера, взволнованно переданная драматургом.

В ряде сцен показана история сложных взаимоотношений, которые складывались между Мюнцером и восставшими крестьянами. Наиболее интересной фигурой здесь выступает священник Пфейфер. Он мужественно возглавил восстание в Мюльгаузене, но вместе с тем отказался перенести борьбу за границы своего города и не поддержал стратегического плана Мюнцера — объединения всех сил восставших во всей стране. Через конфликт Мюнцера с Пфейфером Вольф обнажает одну из роковых слабостей

крестьянского восстания — нежелание жертвовать местными интересами во имя общего дела.

Политическая незрелость крестьянства хорошо раскрыта и в образе Аппеля, который падает духом после первых поражений и покидает лагерь восставших.

Восстание подавлено. В последней сцене перед нами — пленный Мюнцер. Его везут на телеге к графу Мансфельду. Через десять дней он будет казнён.

Своему другу Штюбнеру, пытающемуся его спасти, он говорит:

— Спасайте не Мюнцера, которого нельзя спасти... Спасайте его слова, его мысли, его планы, его истину... Спасайте великое дело.

Он убеждён, что не напрасны были тяжёлые жертвы, принесённые народом.

— Ничто не бывает напрасным, друг мой, ни предсмертный крик, ни малейшее дыхание жизни, ничто не бывает потеряно. Ни один лист, сорвавшийся с дерева, ни мельчайший камушек в ручье... и ни одно слово, сказанное Мюнцером...

Вся драма исполнена революционного пафоса. Патетический тон создаётся прежде всего речами Мюнцера. Драматург щедро использует тексты его сочинений, вкладывая в уста своего героя не только отдельные фразы, но и целые проповеди. Вместе с тем, показывая Томаса Мюнцера в будничной, бытовой обстановке, окружая его простыми людьми, автор придаёт убедительность всему драматическому повествованию, избегая опасности превращения своего героя в простой рупор эпохи. Одна из больших художественных удач автора — образ верной подруги Мюнцера Отти. Нежная и чуткая, Отти заботливо оберегает Мюнцера. Мягко упрекая его за невнимание к себе, она всем существом своим ощущает величие его дел и готова на любые жертвы во имя благородных целей, которые поставил народный трибун.

Литературная критика в ГДР, отмечая выдающееся значение драмы Вольфа, указала и на ряд недостатков произведения. Основной из них — вялость, невыразительность образов, которые могли бы быть противопоставлены образу Мюнцера и тем самым ярче подчёркивали бы основной конфликт драмы. Серьёзный упрёк вызывает и то обстоятельство, что образ Мюнцера не дан в развитии, хотя в годы, которые

изображаются на сцене (1523—1525), Мюнцер проделал известную эволюцию (например, в отношении к Лютеру). Всё это несколько ослабляет напряжённость действия. К тому же некоторые сцены статичны, особенно те, где преобладают тексты самого Мюнцера.

Эти недостатки, однако, не могут изменить основного: образ мудрого, смелого и вдохновенного народного трибуна достойно включает галерею героических образов, созданных Фридрихом Вольфом.

Драматург сумел увидеть и подчеркнуть в деятельности Мюнцера те стороны, которые делают его близким немецкому народу и на современном этапе его борьбы, борьбы за демократическое единство Германии, единство всех прогрессивных сил страны

в борьбе против антинародной политики господствующих классов.

Своей драмой Ф. Вольф как бы напоминает о великих исторических уроках. Он призывает немецкий народ к единству в борьбе против сил реакции. Голосом великого Мюнцера он зовет весь народ объединить свои усилия:

— Друзья, рождается новый мир. Кто его не хочет признать, тот сам себя обрекает на забвение и мрак. Кто за этот мир — вперёд, и пусть становится под наше знамя!

Проникнутая жизнеутверждающим революционным оптимизмом, драма «Томас Мюнцер. Человек с радугой на знамени» достойно завершает творческий путь замечательного немецкого драматурга.

С. ТУРАЕВ.

☆

## «История английской литературы»

Появление в свет книги, продолжающей после долгого перерыва предпринятое Институтом мировой литературы создание систематической истории английской литературы, заслуживает серьёзного внимания как новое подтверждение глубокого интереса нашей науки к зарубежной литературе, к вкладу других народов в мировую культуру. Подлинно научная оценка истории английской литературы является частью идеологической борьбы прогрессивного человечества за культурное наследие, за славные литературные традиции прошлого.

Особенное значение имеют те три главы книги, которые посвящены творчеству таких замечательных писателей, любимых советским читателем, как Вальтер Скотт, Байрон и Шелли.

Автор главы о В. Скотте, А. Елистратова, поступает правильно, не скрывая его консерватизма, но в то же время указывая, что мировоззрение и творчество В. Скотта объективно богаче и шире его политических симпатий. Интересна трактовка народных образов В. Скотта, как отражающих социально-экономические сдвиги в период

промышленного переворота и ликвидации феодально-патриархального строя. Автор показывает, что содержанием романов В. Скотта являются народные движения, борьба между дворянством и буржуазией, что В. Скотт понимал значение народных масс в истории.

В главе о Байроне А. Елистратова привлекает малоизвестные в нашей стране дневники и письма поэта. В этой главе раскрывается образ поэта-трибуна, друга и защитника свободы личности и народов. Автор выдвигает интересное толкование ряда трудных проблем творчества Байрона: противоречия между его демократизмом и индивидуализмом, между его революционным пылом и его скорбным пессимизмом, между его жадной практической деятельностью на благо человечества и его крайним презрением к существующим формам политической борьбы. Автор главы даёт также заслуживающий внимания анализ «Паломничества Чайльд Гарольда» и цикла так называемых «Восточных поэм».

В анализе «Чайльд Гарольда» особенно интересно рассуждение о противоречивости поэмы, обусловленной наличием в ней как бы двух героев — безучастного, разочарованного Чайльд Гарольда и страдающего, борющегося народа, с судьбой которого Байрон ещё не сливает воедино свою личную судьбу, но которому горячо сочувствует. Совершенно справедливо мнение автора относительно незрелости байронов-

«История английской литературы». Том II, выпуск первый. Институт мировой литературы имени А. М. Горького АН СССР, М. 1953. Под редакцией И. И. Анисимова, А. А. Елистратовой, А. Ф. Иващенко. (Авторский коллектив — Ю. А. Газиев, Е. Б. Демешкин, А. А. Елистратова, А. Ф. Иващенко, Б. А. Кузьмин, Р. И. Самарин.)



ского демократизма в эпоху создания первых песен «Чайльд Гарольда» — демократизма, проявляющегося лишь в виде тенденции, которая впоследствии определилась и усилилась.

О «Восточных поэмах» Байрона столько писали, что, казалось бы, трудно сказать о них что бы то ни было новое. Но это удаётся автору главы. Правильно считая обращение Байрона к этому циклу результатом его временного разочарования в возможностях реальной политической борьбы, автор раскрывает сложный характер героев «Гяура», «Корсара» и других поэм. Хотя в образах этих героев находит дальнейшее углубление байроновский индивидуализм, однако сила их в том, что характеры их раскрываются в борьбе, в буре владеющих ими могучих страстей, и они бросают вызов угнетающей свободу личности «косной, глупой старой системе».

Следует отметить, что в книге уделено достаточное внимание лирике Байрона, столь часто забываемой нашими исследователями. В частности, заслуживают внимания краткие наблюдения по поводу «Еврейских мелодий».

Любопытна точка зрения автора на образ Люцифера в драме «Каин». В Люцифере, пишет автор, как бы воплощается «весь исторический опыт тысячелетий, всё коллективное знание человечества».

Глава о Шелли даёт представление о содержании и до известной степени также о стиле его произведений. Должное внимание уделено политической лирике Шелли, его памфлетам и трактату «Защита поэзии»; подробно разобрана поэма «Королева Мэб» и драмы «Освобождённый Прометей» и «Ченчи». Автор главы, Е. Демешкан, сделал попытку раскрыть в первой из названных драм её символику, трудную для современного читателя, а во второй — отношение самого Шелли к героине драмы.

Особого внимания в книге заслуживает постановка сложных проблем языка Шелли и его поэтического новаторства, а также проблемы языковой и поэтической реформы Вордсворта и Колриджа. Автор главы об «Озёрной школе», Р. Самарин, использует почти не известный русскому читателю материал о творчестве Вордсворта и Колриджа.

Уже сама постановка вопроса о сущности реакционного романтизма является заслугой книги. Интересны также разделы,

посвящённые второстепенным писателям английского романтизма — Де-Квинси, Лэму, Хэзлитту, Муру и другим. Все эти имена, за исключением одного Мура, мало известны советскому читателю. Между тем творчество каждого из перечисленных писателей представляет бесспорный интерес. Их характеристики в большинстве случаев даны автором правильно.

Заслугой книги является также верная в принципе постановка вопроса о Китсе, творчество которого подверглось полному искажению в английском буржуазном литературоведении и посмертная судьба которого оказалась едва ли менее трагичной, чем его краткая жизнь. Затравленный реакционной торийской печатью — «даже больше, чем более явственно революционные Байрон и Шелли, по выражению английского критика-коммуниста Ральфа Фокса, — Китс через двадцать—тридцать лет после своей безвременной кончины был поднят на щит сторонниками пресловутой теории «чистого искусства», противопоставлен Байрону и Шелли, объявлен предтечей новейшего декадентского эстетизма и в качестве такового вошёл в официальную буржуазную историю литературы. В таком же духе его трактовали русские эстеты в начале XX века. Как совершенно правильно пишет автор главы о Китсе, этот замечательный поэт за каких-нибудь пять с лишним лет своего творчества прошёл трудный и сложный путь исканий, явно увлечённых его от поверхностного эстетизма его юношеских стихов к «борьбе и мукам» людей. Автор главы справедливо указывает на то, что поэт, умерший, когда ещё только начало определяться его мировоззрение, занимает особую, своеобразную позицию среди английских романтиков: он чужд консерватизму и религиозному ханжеству поэтов правого лагеря, хотя в то же время не поднимается до «активного» революционного мировоззрения Байрона и Шелли. Письма Китса показывают, что своими политическими взглядами, своим отвращением к господствующей олигархии и к церкви, своим сочувствием угнетённому положению низших классов, своим положительным отношением к французской буржуазной революции Китс был близок воззрениям Байрона и Шелли, хотя и не был или не успел себя проявить бойцом и трибуном.

Р. Самарин правильно определяет характер эстетизма Китса, объясняя, что в

мир искусства Китс стремится перенести всю ценность реального мира.

Как справедливо показывает завершающее книгу «Заключение» (автор Ю. Газиев), во все времена передовая общественность Англии придавала огромное значение творчеству великих романтиков. От чартистов — «первой в мире организованной партии пролетариата» (Ленин) — до английских коммунистов нашего времени, борющихся от имени всех трудящихся Англии за мир и национальную независимость, имена Байрона, Шелли, Китса являются воплощением лучших национальных традиций английского народа, символом его непокорности всем формам общественного и нравственного угнетения.

Однако, отмечая положительные стороны работы в целом, мы должны сказать, что в ряде случаев авторам не удалось выдержать исследование на должной теоретической высоте. Авторы часто излагают спорные точки зрения по сложнейшим вопросам, никак не указывая ни на спорность, ни на неполноту своего решения. Это в особенности относится к введению, к главе второй («Озёрная школа»), к главе пятой («Скотт»).

Авторы характеризуют романтизм как широкое литературное направление, «возникшее в период победы и утверждения буржуазного строя...», как «оппозицию капиталистическому прогрессу в условиях ещё не развернувшихся противоречий между трудом и капиталом». Это определение нуждается в существенном уточнении: противоречия капитализма с момента победы буржуазных отношений уже были объектом внимания романтиков, не понимавших, однако, сущности этих противоречий, не видевших иных способов борьбы с ними, кроме утопических и нередко реакционных.

Раскрывая историческое содержание романтизма, авторы недостаточно раскрывают его художественное содержание. Основы романтической эстетики, поэтическое творчество романтиков в его отношении к писателям эпохи Просвещения и, что особенно важно, к позднейшей реалистической литературе — всё это остаётся совершенно невыясненным.

Авторы справедливо утверждают, что французская буржуазная революция не породила английского романтизма, а только способствовала его формированию и размежеванию сил внутри него, — но имен-

но размежевание реакционного и революционного романтизма представлено в книге чересчур упрощённо. Байрон и Шелли, решительно борясь со своими предшественниками и современниками — Вордсвортом и Колтриджем, — не раз отмечали значение определённых моментов их творчества.

Недостаточно продуманной представляется периодизация романтического движения: вряд ли можно механически разделять его на период реакционного романтизма — 1790-е—1800-е годы и период революционного романтизма — 1810-е—1820-е годы.

Существенным пробелом является почти полное игнорирование литературных традиций. Так, ни слова не сказано во введении о так называемом «предромантизме» второй половины XVIII века. С другой стороны, вряд ли можно, посвящая целый том истории романтизма, не сказать о литературных связях поэтов-романтиков с другими литературными направлениями их времени. В примечании к тексту упоминаются, правда, имена Остен и Эджуорт и в другом месте имя поэта-реалиста Крабба, но нигде не представлена общая картина литературы эпохи. Слишком беглым и формальным является упоминание о замечательном народном писателе и деятеле той эпохи Коббетте, заслужившем высокую оценку Маркса, а в последнее время — английских критиков-коммунистов. Если же авторы пытаются установить литературную преемственность позднейшего реализма с романтизмом, то они делают это односторонне и даже ошибочно; так, на странице 30 говорится, что «романтические элементы» входят в творчество Диккенса и Теккерея только как «иллюзии писателей насчёт характера действительного развития общественных противоречий». Но вряд ли можно утверждать, что наследие революционного реализма «подхватила чартистская поэзия» (там же), а в поле зрения великих мастеров критического реализма вошёл лишь реакционный романтизм. Например, Теккерея, несомненно, испытал на себе влияние Байрона-сатирика и в своих политических характеристиках («четырёх Георгов» и других) отдал дань влиянию радикального публициста Хэзлитта.

Авторы книги отрицают какую бы то ни было связь Диккенса с романтиками-очеркистами, что также более чем сомнительно.

Следует отвергнуть и характеристику экономиста Сисмонди просто как реакционного

романтика. Каково бы ни было объективное значение теории Сисмонди, мы не можем безоговорочно зачислить его в ряды политических и литературных реакционеров. Как известно, Маркс и Энгельс относили Сисмонди к писателям, которые «защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точки зрения», и указывали, что он стоял во главе мелкобуржуазной социалистической литературы, одновременно реакционной и утопической.

Странной кажется нам предложенная автором периодизация творчества В. Скотта, основанная на различии ранних шотландских романов («Уэверли», «Роб-Рой», «Антикварий», «Астролог» и другие), в которых проблема «буржуазного прогресса»... решалась «в положительно-оптимистическом плаче», и поздних романов («Айвенго», «Кеннльворд», «Квентин Дорвард»), к которым «приложимо... традиционное представление об «уходе в прошлое». В связи с такой периодизацией возникает недоумение: ведь в цикл романов периода «упадка» В. Скотта входит ряд лучших его произведений, положительно отмеченных Белинским (например, «Айвенго»).

К сожалению, реализм В. Скотта, столь высоко ценившийся Марксом и Энгельсом, не получил достаточного освещения в книге, и самый анализ произведений В. Скотта отличается чрезмерной сухостью и суммарностью. Не показано, что у В. Скотта историческая необходимость определяет не только личные судьбы героев, но и их характеры, их типические черты. Поэтому неуместно употребляемое автором по отношению к В. Скотту выражение «ростки реализма», тогда как В. Скотт явился провозвестником европейского реалистического романа XIX века, вопреки мнению буржуазных позитивистов XIX века, зачислявших В. Скотта в романтики.

Главе о В. Скотте недостаёт единой стройной концепции. Нельзя принять мнение автора, будто романы В. Скотта «подытоживают уже исчерпанные, решённые историей конфликты», то есть противоречия между дворянством, монархией и буржуазией. Эти противоречия оставались актуальными для всей Европы и во времена Скотта.

Если В. Скотт воплощал лишь исторически исчерпанные конфликты, то невозможно понять его власть над умами

и сердцами лучших людей его времени, глубину его исторической мысли, его стихийное понимание исторического развития, оказавшее столь сильное влияние на французских историков эпохи Реставрации, а также на Бальзака.

Мы отметили выше главу о Байроне как одну из лучших в книге. Однако не во всех случаях одинаково удался автору анализ отдельных поэм, в особенности таких шедевров, как «Видение суда» и «Дон Жуан». Наряду с интересными замечаниями, например, о разобщённости личного и общественного планов в «Дон Жуане», а также о языке поэмы, совершенно недостаточно подчеркнут реализм её последних песен, ничего не говорится о великолепных сатирических образах представителей английских правящих кругов, никак не раскрыты стилистические средства сатиры Байрона, её пародийный характер. Нельзя порицать Байрона за то, что он отодвинул действие «Дон Жуана» в прошлое. Отнесение действия к концу XVIII века не помешало Байрону совершить сознательный анахронизм и описать Англию 1810-х годов. Здесь нет никакого «ухода в прошлое»: единственной целью Байрона было заставить своего героя погибнуть на баррикадах французской революции, о чём он и писал в одном из писем. К сожалению, замысел этот не был осуществлён полностью, и поэма осталась незаконченной.

Увлекаясь полемикой против буржуазных литературоведов, ложно изображавших Байрона только как мизантропа, пессимиста, «скорбника», автор главы несколько преувеличивает революционный оптимизм Байрона, затуманивает трагические элементы в его творчестве, недооценивает субъективно-лирическую струю в его поэзии (например, в «Чайльд Гарольде» и др.). Между тем Белинский не раз писал о «мрачной глубине» поэзии Байрона, о его «кровавых слезах», о его «бессмертной скорби», о его «безотрадном, гордом... отчаянии» — именно потому, что видел в этом отчаянии и в этой скорби обобщённый душевный опыт целого поколения, разбуженного французской буржуазной революцией, но вынужденного жить в условиях жёсткой политической реакции и тяжелейших экономических бедствий и потрясений.

В главе о Байроне имеются также отдельные бездоказательные утверждения. Откуда, например, видно, что именно независи-

мый характер первого литературного выступления Байрона обусловил особенную враждебность приёма, оказанного его «Часам досуга» со стороны журнала «Эдинбургское обозрение»? Никакой особенной «независимости» в этих юношеских стихах Байрона не было, и говорить, что его стихи не нравились, так как в них не было «ханжеского смиренномудрия» реакционных романтиков-лейкистов, нельзя; это создаёт ложное впечатление, будто критиковавшее Байрона «Эдинбургское обозрение» хвалило лейкистов, между тем как оно их осмеивало гораздо сильнее, чем Байрона, чуть ли не до конца 1810-х годов.

Трудно поверить, что язвительное обращение Байрона к Скотту в его знаменитой сатире действительно повлияло на дальнейшее творческое развитие Скотта и, тем более, на его расхождение с лейкистами. Скотт никогда с ними не сближался, существенно отличаясь от них своими принципами.

Значительный элемент упрощения имеется и в главе о Шелли. Читатель, незнакомый с творчеством поэта, не получит представления о сложности его философских и эстетических взглядов и, главное, не почувствует всю противоречивость идейного и художественного роста Шелли.

Идеалистические элементы мировоззрения Шелли, в частности его длительное увлечение философией Платона, остались в книге недостаточно освещёнными. С другой стороны, является преувеличенным утверждение, что Шелли в 1817 году «тесно сближился с трудовым народом».

Вызывает возражение способ цитирования переданных Элеонорой Маркс слов Маркса, которые обрываются на оценке Шелли, причём замалчивается данная тут же отрицательная оценка Байрона. Либо надо считаться со всем высказыванием Маркса в целом (если полагать, что оно действительно точно записано было его дочерью), либо надо его опустить вовсе, как недостоверное. Наконец, досадной оплошностью является обозначение времени работы Энгельса над переводом Шелли, как относившееся к концу 90-х годов: известно, что Энгельс умер в 1895 году.

Лишь при большой натяжке можно усмотреть в цитате из «Восстания Ислама» Шелли выпад «против реакционного романтизма». «Угрюмость», «отчаяние», «ядовитая печаль», о которых пишет Шелли, не были

свойственны лейкистам, каковы бы ни были реакционные черты их политических взглядов. В связи с этим следует выразить сомнение по поводу того, что автор главы «Озёрная школа» лишает Вордсворта и Колриджа таких присущих им свойств, как любовь к природе. Автор введения уверяет, что лейкисты «оторвали природу от человека», «обесчеловечили (?) природу», а автор главы об «Озёрной школе», вынужденный несколько смягчить оценку, говорит, однако, что у Вордсворта только «пробивается» подлинное чувство природы.

В характеристике Лэма совершенно не показано, что основные особенности его творчества обусловлены характерным для него острым ощущением переломного, кризисного характера его времени, острым восприятием новых, враждебных человеку форм общественного развития.

Не удовлетворяет характеристика талантливого публициста и литературного критика Хэзлитта. Его вполне можно отнести к революционным романтикам, несмотря на то, что в его мировоззрении отсутствует гениальное провидение Шелли и что его социальный пессимизм превосходит байроновский. Хэзлитт ненавидел врагов народа, боролся против них, навлекая на себя ненависть торийской печати. Его портреты литературных и политических деятелей в ряде случаев могли бы служить комментариями к политическим стихам и поэмам Байрона и Шелли. Хэзлитт превосходно знал цену парламентской говорильне, был горячим поклонником французской буржуазной революции и (с некоторыми оговорками) просветительной философии; он выступал поборником боевого и реалистического искусства против отступничества Вордсворта, Колриджа и Саути. Уже смертельно больной, Хэзлитт восторженно встретил июльскую революцию 1830 года, три дня которой были для него, по его признанию, днями воскресения из мёртвых. Высоко ценили Хэзлитта знавший его лично Стендаль и изучавший его книги Гейне. Нет основания подчёркивать «жёлчную гримасу скепсиса», «буржуазный индивидуализм» Хэзлитта и числить его «среди других либеральных писателей Англии тех лет». Либералов Хэзлитт глубоко презирал.

Глава о Китсе является одной из удач книги, но и в этой главе имеются некоторые спорные суждения. Прежде всего, чересчур прямолинейно истолкование «Гипериона»

как отражения (пусть даже «в романтической форме») «окончательной гибели вековых феодальных устоев, на смену которым шло побеждавшее буржуазное общество». Такие мнимо конкретные исторические комментарии только затемняют смысл этой поэмы, имеющей отвлечённый характер. Поэма не случайно осталась незаконченной: незрелое и неоформившееся мировоззрение Китса помешало ему осуществить собственный замысел.

Нельзя согласиться также с тем, какое преувеличенное значение придаётся во введении, а также и в главе о Китсе сдержанной и снисходительной похвале поэту со стороны Байрона. Если уж затрагивать эту тему, то следует сказать, что Байрон в течение нескольких лет не находил достаточно резких слов для выражения своего негодования против Китса как, по его мнению, неважного поэта и хулителя Поупа. Такое мнение Байрона было вызвано тем, что он знал ещё только немногие и незрелые стихи Китса и, кроме того, ошибаясь, предполагая близость Китса к Вордсворту и лейкистам. Только смерть Китса и искренняя печаль Шелли, высоко ценившего Китса, заставили Байрона несколько изменить тон, но цитировать (и к тому же не полностью) насмешливую похвалу Байрона в качестве определения сущно-

сти перелома в творчестве Китса по меньшей мере странно.

Наконец, в главе о Китсе во что бы то ни стало следовало отметить огромное идейно-эстетическое воздействие на его творчество Хэзлитта, горячо почитавшего талант молодого поэта.

Необходимо отметить также, что краткие замечания о Китсе во введении противоречат и духу и букве основной главы об этом же поэте. Абсолютно неверно утверждение, будто своей проповедью «чистого искусства» Китс близок был к поэтам «Озёрной школы».

Авторы допускают неточности в датировках и периодизации творчества некоторых поэтов. Так, в анализ ранних произведений Вордсворта начала 1790-х годов неожиданно врываются соображения о его стихах 1800-х годов. Байрону приписывается осуждение придворной карьеры Саути уже в 1809 году, то есть до начала этой карьеры в 1813 году.

Отмеченные достоинства и недостатки рецензируемой книги показывают, что хотя во многом она ещё не вполне отвечает предъявляемым советской наукой требованиям, но, тем не менее, стоит выше всего написанного в этой области за последние годы и может быть полезна при изучении английской литературы.

**Н. ДЬЯКОНОВА.**

★

### Политика и наука

## Всевластие монополий в США

„Корпорации-миллиардеры» — так озаглавлена брошюра, изданная в Нью-Йорке «Рабочей исследовательской ассоциацией», известной советскому читателю по русскому переводу книги «Монополии сегодня».

В своей новой брошюре, коллективным автором которой является группа американских прогрессивных экономистов, ассоциация продолжает работу по разоблачению методов, с помощью которых монополисты захватывают в свои руки государственный аппарат США.

Большой фактический материал, представленный в брошюре, показывает всю фальшь американских «свобод», столь

рьяно рекламируемых пропагандистской машиной США. Всевластие монополий, когда кучка миллиардеров бесконтрольно распоряжается судьбой американского народа, вершит дела в правительственных органах, определяет и направляет не только внутреннюю, но и внешнюю политику США, имея в виду лишь интересы крупного капитала, — вот истинное лицо пресловутой «американской демократии».

Кто же они, эти люди, незаконно присвоившие себе право говорить от имени стапятидесятиллионного народа Америки?

Всего шестьдесят шесть гигантских компаний в Соединённых Штатах контролируют свыше трёх четвертей всех активов американской промышленности. Каждая из

„Billionaire corporation“, New York, 1954. («Корпорации-миллиардеры», Нью-Йорк, 1954).

них, в свою очередь, находится под контролем одной из восьми главных групп американского финансового капитала — моргановской, рокфеллеровской, Куна и Леба, Меллона, Дюпона, чикагской, кливлендской и бостонской. Кроме того, значительным и всё возрастающим влиянием пользуются калифорнийская и техасская финансовые группы.

Эти шестьдесят шесть корпораций-миллиардеров, указывают авторы брошюры, представляют живой пример финансовой олигархии, возникшей в результате сращивания банковского капитала с промышленным. «Финансовая олигархия... может быть ярко показана на примере системы совместных директоров. Внутри этого замкнутого круга находится сто двадцать семь человек, каждый из которых является директором двух или больше этих крупнейших компаний». Банкиры являются директорами промышленных корпораций, которые, в свою очередь, имеют своих директоров в правлениях крупнейших банков. В совокупности эти 127 крупнейших дельцов занимают 289 руководящих постов. Влияние их распространяется на многие сферы — на правительство, деловую активность, науку и просвещение не только в США, но и в странах, зависимых от американского империализма. «Эти люди, обладающие такой властью,— отмечают авторы брошюры, подчёркивая антидемократический характер американской системы,—не избираются каким-либо демократическим голосованием народа. Они обычно являются членами самозванно созданных советов директоров».

Особое место отводится в брошюре подчинению правительственного аппарата США крупнейшим монополиям. Со времени создания первых трестов в начале нынешнего столетия, пишут авторы, большой бизнес всегда был широко представлен в Вашингтоне. Так, например, в правительство Трумэна входили Аверел Гарриман — один из владельцев «Браун бразерс, Гарриман энд компани», Джеймс Форрестол — президент «Диллон, Рид энд компани», вице-президент этого же банка Уильям Дрейкер и некоторые другие представители крупного капитала. В последние годы монополии ещё больше прибрали к рукам государственный аппарат. «В ходе дальнейшего усиления контроля финансовых групп над правительством,— подчёркивается в брошюре,— руководители главных

монополистических групп сами заняли непосредственные позиции в правительстве Соединённых Штатов. Кабинет Эйзенхауэра представляет наиболее неприкрытое правление монополистического капитала в истории США».

Достаточно одной цифры, чтобы убедиться в справедливости этого утверждения: члены правительства Эйзенхауэра занимают многие директорские посты и имеют официальные связи с восемьюдесятью шестью американскими корпорациями, общий капитал которых превышает двадцать миллиардов долларов!

Важнейший пост — министра обороны, — имеющий особое значение для руководства гонкой вооружений, всдушейся в США, занимает миллионер Чарльз Вильсон — бывший президент и директор крупнейшего военно-промышленного концерна «Дженерал моторс». Пост заместителя министра обороны принадлежит Роджеру Кайсу — бывшему вице-президенту этого концерна. Ту же «Дженерал моторс» представляет министр почт Артур Саммерфильд и министр внутренних дел Дуглас Маккей.

Министр финансов — Джордж Хэмфри — директор более чем тридцати компаний. Его заместитель — Давид Кеннеди — был вице-президентом банковской корпорации-миллиардера «Континентал Иллинойс нейшил бэнк энд траст компани». Государственный секретарь Джон Фостер Даллес — один из довереннейших людей Рокфеллеров. Нельсон Рокфеллер — член этой династии миллиардеров — вошёл в правительство Эйзенхауэра, заняв в нём пост заместителя министра по вопросам здравоохранения, просвещения и социального обеспечения. Другой член семьи Рокфеллеров — Уинтроп Олдрич, зять Джона Рокфеллера, — стал послом США в Лондоне.

Крупными дельцами и финансово-промышленными воротилами являются и другие члены эйзенхауэровской администрации: министр торговли Синклер Уикс, военный министр Роберт Стивенс, Томас Гейтс, заместитель морского министра, и другие. «Через них, — говорится в брошюре, — стоящие за ними финансовые группы могут контролировать всю политику США. Почти все ближайшие советники Эйзенхауэра являются крупными бизнесменами, сейчас им принадлежит власть. Такой контроль усиливает реакционные и фашистские тен-

денции в США, ведущие к экономическому кризису и войне.

Однако крупнейшие монополии не ограничивают свой контроль над правительством тем, что вводят в него своих непосредственных представителей. На страницах брошюры приводятся весьма интересные факты, показывающие, что важнейшие мероприятия, которые проводят правящие круги США, разрабатываются непосредственно американским крупным капиталом.

Связи между большим бизнесом и правительством США, пишут авторы брошюры, становятся особенно очевидными, когда Эйзенхауэр созывает президентов корпораций-миллиардеров, чтобы обсудить с ними экономические и политические дела. Такое совещание состоялось, например, в сентябре 1953 года, когда Эйзенхауэр пригласил свыше двадцати представителей деловых кругов для обсуждения вопросов внутренней и внешней политики. На этом совещании присутствовали представители Морганов, Рокфеллеров, Дюпонов, Фордов. «Недавно бизнесмены,—сообщила американская печать в ноябре того же года,—провели тайные совещания, чтобы сказать, что, по их мнению, необходимо делать. Совещания не рекламировались, ибо бизнесмены хотели говорить свободно, без ограничений». Такие же секретные совещания состоялись и в нынешнем году.

Программа, осуществляемая ныне правительством республиканской партии, была разработана ещё в 1942 году Ламмотом Дюпоном — тогдашним председателем «Дюпон компани» и вице-президентом Национальной ассоциации промышленников. На закрытом заседании комиссии этой ассоциации он потребовал от правительства «сокращения налогов на корпорации и группы с высокими доходами и увеличения налогов на лиц с меньшим доходом». Дюпон заявил о необходимости лишения профсоюзов их прав и «ликвидации всяких правительственных учреждений, стоящих на пути свободного предпринимательства».

Нетрудно заметить, что в основу деятельности правительства Эйзенхауэра с первых же дней его пребывания у власти была положена именно эта программа. С 1954 года в США отменён налог на сверхприбыль, что даст крупным монополиям дополнительно около двух миллиардов долларов в год. В то же время налогообложение населения фактически возросло.

Власти повели ожесточённое наступление на права трудящихся, завоеванные ими в долгой и упорной борьбе. Так, например, был отменён контроль над ценами и квартплатай, что позволило предпринимателям взвинтить их ещё более.

Другая крупнейшая организация воротил Уолл-стрита — Торговая палата США — уже давно разработала программу, за осуществление которой сейчас рьяно принялось руководство республиканской партии во главе с одним из реакционнейших её деятелей — бесноватым сенатором Маккарти. Американская торговая палата изложила конгрессу свои требования относительно мер, «направленных против профсоюзов и красных». В их число входили предложения о лишении гражданства лиц, негодных реакции, о создании специальных органов для расследования «подрывной деятельности», об издании «закона о подстрекательстве к мятежу» и так далее.

«Большой бизнес,—говорится в брошюре,—через Торговую палату и Национальную ассоциацию промышленников добился принятия закона Тафта—Хартли с его положениями, направленными против профсоюзов. Большая часть программы Торговой палаты нашла воплощение в законе 1950 года «о внутренней безопасности» и законе 1952 года «об иммиграции и гражданстве». Оба эти закона носят имя сенатора Маккартни. В 1953 году палата боролась против всей федеральной системы социального законодательства». В нынешнем году конгрессом подготовлен ряд новых антидемократических законопроектов, направленных против прогрессивных сил, в частности закон о лишении американского гражданства всех осуждённых на основании реакционного закона Смита.

Выполняя предписания монополий, американский конгресс в августе нынешнего года одобрил антидемократический закон о запрещении американской компартии, что вызвало справедливое негодование всей международной общественности.

Авторы брошюры «Корпорации-миллиардеры» убедительно показывают, что вся деятельность правящих кругов США как на международной арене, так и внутри страны определяется крупнейшими капиталистическими монополиями и служит их интересам. Ярким примером этого является деятельность американских властей, направленная на передачу природных

ресурсов, а также предприятий, принадлежащих государству, в руки частных предпринимателей и фирм. Монополиям переданы огромные лесные угодья, заповедники, земли, богатые полезными ископаемыми.

В частности, нефтяные компании получают сейчас громадную выгоду от принятого конгрессом закона о передаче богатейших нефтеносных участков, принадлежавших государству и оцениваемых от шестидесяти до трёхсот миллионов долларов, в руки частных владельцев. Этот закон, принятый летом 1953 года под давлением монополий, получил в США известность, как закон «о расхищении прибрежных земель». Даже буржуазная газета «Нью-Йорк таймс» писала в редакционной статье, что сенаторы, голосовавшие за этот закон, «отвергли предложение использовать огромные богатства в интересах детей всей страны». Вместо этого прибыли от эксплуатации этих обширных ресурсов будут ещё больше обогащать рокфеллеровский синдикат и других членов нефтяной секции «Клуба миллиардеров», как называют в США крупные корпорации.

Американские монополии прибирают к рукам и атомную промышленность, созданную в военные и послевоенные годы государственными органами. Капиталовложения правительства в строительство атомных заводов, указывается в брошюре, уже равны активам «Дженерал моторс», «Форд», «Крейслер» и «Юнайтед Стейтс стил корпорейшн», взятых вместе. В настоящее время монополисты США стремятся присвоить себе десять миллиардов долларов американских налогоплательщиков, вложенных в предприятия этой отрасли. Авторы брошюры подчёркивают особую опасность этого захвата. «Промышленность атомной энергии представляет собой высшую форму слияния государственно-монополистического капитала с частными монополиями. Создание ядерного оружия — наиболее смертельного из всех когда-либо изобретённых орудий войны —

ускорило постоянную милитаризацию государства и монополистический капитализм. Это высокое развитие государственно-монополистического капитализма является объективным условием для создания фашистского государства в США. А маккартизм является его политическим выражением».

Нефть и атомная энергия отнюдь не являются единственными ресурсами, на которые распространяется правительственная программа раздачи и разбазаривания богатств. В руки монополий передаётся и гидроэнергия. Подобная политика «рассчитана на то, чтобы передать частным компаниям принадлежащие государству электростанции, созданные и управляемые на средства налогоплательщиков».

Показав подчинение американского государственного аппарата монополиям, авторы брошюры справедливо говорят о реакционной политике правящих кругов США, в частности антипрофсоюзной и антинегритянской.

Однако наступление реакции в США наталкивается на растущее сопротивление широких масс американского народа. Прогрессивные люди Америки полны решимости преградить путь этому наступлению. Оптимизмом и верой в будущее проникнуты заключительные строки книги: «Если народ объединится в защиту своей программы мира и народного благополучия, против программы гонки вооружений и голода, выдвинутой крупным капиталом, то можно будет ослабить катастрофические результаты кризиса и депрессии... Рабочий класс и его союзники — негры и фермеры — совместными действиями смогут узурпировать власть монополий и её фашистские проявления; ибо, несмотря на мощную пропаганду и вопреки ей, с каждым днём становится очевиднее основная истина: что хорошо для концернов-миллиардеров и их богатейших владельцев, то не годится для народа США и всего мира».

Вал. ЗОРИН.





### Славная жизнь

Небольшая книжка прогрессивного английского журналиста С. Гаррисона «Хорошо быть живым» рассказывает о Джеке Бренте, бойце Интернациональной бригады в Испании, а позднее — секретаре Ассоциации этой бригады. Основанная на письмах Д. Брента, воспоминаниях его друзей и протоколах Ассоциации, книжка рисует светлый образ рядового английского коммуниста — одного из тысяч лучших сынов рабочего класса Англии.

Прост и типичен жизненный путь Джека Брента: нищее голодное детство в шотландской деревушке, тяжёлый труд вместо учения, армия, затем два года напрасных поисков работы на улицах Лондона и, наконец, как большая «удача», — место мойщика посуды в отеле. Уже в эти годы он регулярно читает газеты, жадно прислушивается к рассказам о Советском Союзе. А когда в Испании вспыхнул фашистский мятеж и началась германо-итальянская интервенция, активно поддержанная правящими кругами США, Англии и Франции, декларировавшими принцип «невмешательства», Брент, естественно, оказался среди тех простых людей всего мира, которые поняли, что на испанской земле начинается первая битва всего прогрессивного человечества против фашизма.

В феврале 1937 года Брент приехал в Испанию и вступил в батальон имени Линкольна. В боях на подступах к Мадриду он был тяжело ранен в спину, что повлекло за собой паралич ног. Пробыв на фронте всего несколько часов, он уже не мог больше сражаться с оружием в руках. Но этот мужественный человек не сдался, не прекратил борьбы против фашизма, против империалистической реакции.

На прощальном параде в Барселоне уезжающие бойцы Интернациональной бригады дали клятву: «Мы возвращаемся... не отдыхать, но продолжать борьбу. Мы просто меняем фронт и наше оружие». Брент выполнил эту клятву, хотя в возрасте двадцати четырёх лет он был искалечен без надежды на выздоровление, обречён на невероятные физические страдания.

В 1938 году Джек Брент стал членом компартии Великобритании. Партия помог-

ла ему приобрести тот «особый склад», ту несгибаемую волю и стремление к цели, которые отличают коммунистов всех национальностей. «Дело коммунистической партии стало главным для него», — вспоминают товарищи.

Генеральный секретарь Коммунистической партии Великобритании Гарри Поллит в те годы неоднократно отмечал в числе важнейших задач партии, ещё не ставшей массовой, борьбу за увеличение её рядов и необходимость более широкого распространения газеты «Дейли уоркер». Молодой коммунист Брент все свои силы и незаурядный талант агитатора отдавал выполнению этих задач.

Передвигаясь с мучительным трудом, восполняя недостаток образования усиленным чтением, Брент никогда не делал себе скидок при выполнении партийной работы, не прекращая её даже в госпитале. Не случайно среди рабочих и интеллигентов, вступавших в партию, были и медицинские работники тех лечебных учреждений, в которых ему приходилось лежать.

Бренту была поручена продажа «Дейли уоркер», и он регулярно, в любую погоду, приходил на свой пост. Даже находясь на больничной койке, в дни, предшествовавшие многократным операциям или следовавшие за ними, он не переставал вербовать новых подписчиков на газету.

Особенно большую работу развернул Брент в «Ассоциации Интернациональной бригады», объединившей вокруг себя более двух тысяч коммунистических, лейбористских, религиозных, профсоюзных и других организаций. Испанские республиканцы, эмигрировавшие в Англию, знали его как своего ближайшего друга и неутомимого помощника, как организатора митингов в защиту преданной «мюнхенцами» республики. Незадолго до смерти он собрал деньги на издание памфлета, разоблачавшего поддержку гитлеровской Германии диктаторским режимом Франко.

Важную роль сыграл Брент и в борьбе за спасение жизни людей, брошенных вдохновителями политики «невмешательства» в концентрационные лагеря. Его имя было хорошо знакомо многим томившимся в застенках Испании и Франции. Долгие годы потребовались для того, чтобы добиться освобождения бойцов Интернациональной бригады из лагерей Северной Африки.

Stanley Harrison. „Good to be alive. The story of Jack Brant“. London, 1954. (Стэнли Гаррисон. «Хорошо быть живым. История Джека Брента». Лондон, 1954).

Даже после высадки там союзников в ноябре 1942 года американцы рассматривали антифашистов как преступников и в течение многих месяцев отказывались выпустить их на свободу. С огромным трудом удалось спасти жизнь секретаря ЦК Коммунистической партии Италии Луиджи Лонго, переданного фашистской Италии после оккупации гитлеровцами вишистской Франции.

Лауреат международной Сталинской премии Изабелла Блум с особенной сердечной теплотой вспоминает о работе Брента в Ассоциации, называя его «живым дневником испанской войны».

Брент был искренним другом Советского Союза. Он считал страну социализма бастионом мира. В одном из своих писем Брент прекрасно выразил отношение английского народа к победам Советской Армии. Эти победы «означают,— писал он,— что миллионы советских людей, европейцев, в том числе англичан, будут жить, тогда как иначе они были бы убиты. Они живут потому, что Красная армия сильна, сильна вследствие неслыханных жертв всего советского народа. И они живут потому, что партия коммунистов руководит Красной армией, советским народом».

С 1943 года Брент особенно часто и подолгу находился в госпиталях, но не потерял своей жизнерадостности и общительности и отнюдь не походил на инвалида, думающего только о своих страданиях. С. Гаррисон приводит воспоминания многочисленных друзей Брента, выдержки из его писем (эти документальные материалы составляют значительную часть книги), которые показывают, как внимательно Брент следил за всем, что происходило в мире. «Я жажду,— писал он,— быть частью, сознательной, активной, сражающейся частью великой битвы против фашизма. И если бы я мог, я находился бы сразу в десятках различных мест. Я был бы со славной Красной армией, с югославскими партизанами,

в 8-й армии, с Маки во Франции... Я был бы везде, где идёт самая опасная борьба».

В краткие промежутки, когда болезнь не терзала его, он стремился не потерять ни часа. Так, в одну из «передышек» Брент организовал группу африканских рабочих и студентов, которые изучали марксистскую литературу и обсуждали проблемы национально-освободительного движения. Нескольким человек из этой группы затем вступили в коммунистическую партию. Один из них вспоминает: «Неизгладимое впечатление: он жестоко страдал, но всегда говорил о триумфе коммунизма и рабочего класса... Замечательно быть коммунистом, если коммунизм может дать человеку в его положении такое мужество... Он сделал больше, чем кто бы то ни было, для того, чтобы мы, юноши, не только симпатизировали коммунизму, но желали присоединиться к партии, которая может создать такого человека».

В 1949—1950 годах Брент по приглашению Коммунистической партии Чехословакии провёл семь месяцев в Праге. Он писал оттуда, что счастлив от увиденного им «в стране, где правят рабочие, где мечта стала явью», и выражал надежду, что такая жизнь восторжествует в недалёком будущем и на его родине.

Последние месяцы жизни Брент посвятил борьбе против войны в Корее. Не считаясь с ухудшением здоровья, он настойчиво собирал подписи под обращением за Пакт Мира между пятью великими державами. «Мир должен победить» — эта идея вдохновляла его до последнего дня.

Со страниц книги, написанной С. Гаррисоном, встаёт образ мужественного борца, всей своей жизнью призывающего прогрессивное человечество дать отпор поджигателям новой мировой войны.

*Кандидат исторических наук*  
С. Кузнецова.

★

## О научно-популярной технической литературе

Техника в нашей стране никогда не стоит на месте: она постоянно совершенствуется, заменяется новой, а новая — новейшей. Число машин, с которыми приходится иметь дело советскому человеку, всё растёт, сами они становятся всё сложнее. Недалеко время, когда широкое применение в промышленности найдёт атомная

энергия. Чтобы удовлетворять современным требованиям, работники социалистической индустрии должны обладать большим запасом знаний — не только практических, но и теоретических.

Советское государство создаёт для этой цели широкую сеть заочного обучения. На наших предприятиях сейчас трудно найти

людей, которые не повышали бы своих знаний. На Уралмашзаводе, например, учится каждый второй рабочий; многие из них окончили в прошлом году общеобразовательные вечерние школы, курсы, семинары технического обучения, школы передового опыта. Растёт число обучающихся в техникумах и высших учебных заведениях без отрыва от производства.

В настоящее время по решению сентябрьского Пленума Центрального Комитета КПСС созданы все условия для повышения квалификации огромной армии механизаторов сельского хозяйства. Небывалая тяга советских людей к расширению своего технического кругозора — вполне закономерное явление нашей действительности. Однако ни широкая сеть школ и курсов, ни разнообразие форм обучения не могут полностью удовлетворить это стремление к знаниям, к культуре. В связи с этим неуклонно повышается роль общеобразовательной и специальной научно-технической подготовки на дому.

Для многих рабочих популярная техническая книга является не только основным помощником в пополнении производственных знаний, но и постоянным руководителем, спутником, ближайшим советчиком. Двадцать пять лет назад П. Узюмов был рядовым рабочим на одном из небольших рязанских заводов. Теперь он высококвалифицированный газорезчик-новатор Уралмашзавода, неутомимый рационализатор, автор двух брошюр о передовых приёмах газорезки. П. Узюмов сумел приобрести несколько смежных профессий: он может быть одновременно хорошим электросварщиком, электриком, механиком. «Всего этого мне удалось достичь, — рассказывает он, — самостоятельной работой над собой и благодаря главным образом чтению технической литературы. Книги привели меня в ряды рационализаторов. И теперь, когда надо принять какое-то смелое техническое решение, я разыскиваю нужную книгу и знаю: она подскажет мне, что я должен делать».

Чтение научно-популярной технической литературы стало для многих потребностью. Однако планирование и выпуск этой литературы нуждаются в серьёзном улучшении. До сего времени не соблюдается целесообразная пропорциональность в выпуске её по отраслям промышленности и видам производства. Достаточно сказать,

что по литейному и кузнечному делу, по производству проката и цветных металлов за последние пять лет не издано ни одного популярного учебного пособия, не появилось книг по штамповочному и ваграночному производствам, ничего нет по таким важным видам обработки металлов, как расточное дело, протягивание и другие. Просмотр книжных фондов технической библиотеки одного из машиностроительных заводов Свердловска показал, что из двухсот пятидесяти книг по литейному производству только двадцать пять названий могут быть в какой-то мере рекомендованы рабочим для самостоятельного чтения. Но и из них более половины издано или до или в годы Великой Отечественной войны и давно уже успело устареть.

Для рабочих-машиностроителей ведущих массовых профессий, например, для токарей и фрезеровщиков, слесарей и сварщиков, издаётся немало учебной литературы, которую можно было бы отнести к категории научно-популярной. Нельзя не отметить, например, такие удачные в целом книги, как Д. Л. Глизманенко «Сварка и резка металлов» (Трудрезервиздат, 1952), Б. Ляпунова «Газовая турбина» (Госэнергоиздат, 1951), В. М. Горелова «Резание металлов» (Машгиз, 1953). Однако большинство из них представляет обычное описание материалов, инструментов, оборудования и приёмов обработки. Учебные пособия не объясняют популярно и интересно теорию производственного процесса, а потому не могут способствовать глубокому, научному пониманию явлений, наблюдаемых рабочими на производстве.

Широкой известностью среди читателей пользуются много раз переиздававшиеся Машгизом книги для рабочих: «Справочник токаря», «Технология токарного дела», «Токарь-универсал» А. Н. Оглоблина. Создана своего рода монополия автора на основные пособия по токарному делу. Тем не менее, хотя они и улучшаются в процессе переиздания, но всё же не могут удовлетворить возросших требований читателей. В книгах А. Н. Оглоблина нет главного: увлекательного показа явлений, наблюдаемых при резании металлов. Даваемые автором сведения слишком академичны, физическая сущность отдельных явлений процесса или совсем не вскрывается, или излагается примитивно, поверхностно. Так, в книге «Токарь-универсал» объяснение

природы образования теплоты при резании металла ограничивается такой фразой: «При отделении стружки от обрабатываемой детали внутри самой стружки вследствие взаимного трения перемещающихся частиц её образуется теплота».

Можно ли из такого объяснения получить ясное и глубокое представление о сущности явления, о самой природе образования теплоты, вызываемой работой резца? В лучшем случае читатель механически запомнит приведённую фразу о «перемещении частиц», но он так и не представит себе происходящего. А ведь книга «Токарный универсал», как видно из аннотации, предназначалась именно для неподготовленных читателей-практиков.

К числу крупных издательств, выпускающих массовыми тиражами литературу для сельскохозяйственных рабочих, относится Сельхозгиз. В связи с постоянным ростом сельскохозяйственных кадров и громадной тягой этих кадров к знаниям издания Сельхозгиза приобретают исключительно большое значение. Задачи, поставленные Коммунистической партией и Советским правительством в области сельского хозяйства, требуют решительного улучшения всей подготовки многочисленных кадров механизаторов сельскохозяйственного производства — трактористов, комбайнеров, рабочих МТС. Технический уровень этих кадров, в частности механизаторских, заметно отстаёт ещё от уровня промышленных рабочих. Очень важно поэтому всемерно содействовать расширению их технического кругозора.

К сожалению, большинство популярных технических книг и брошюр Сельхозгиза ограничивается переложением известных практических сведений, описанием машин и механизмов, перечислением тех или иных приёмов работы. Неоднократно переиздавался Сельхозгизом учебник Д. А. Кувакина «Слесарное дело с основами материаловедения», предназначенный для механизаторов сельского хозяйства. И, однако, многие вопросы теории обработки металлов оставались нераскрытыми для рабочих. Каждого слесаря интересует, например, знание процессов, связанных с коррозией металлов. Разумеется, постоянно наблюдая явления коррозии, слесарь знает причины её образования, умеет в той или иной мере бороться с этими явлениями и предохранять металлические детали от поверхностного разрушения.

Но задача учебного пособия состоит главным образом в том, чтобы объяснить в доступной форме физическую сущность процесса, доходчиво изложить основы теории этих явлений. И вот мы читаем: «На металлы действуют кислород, углекислый и сернистый газы, которые вызывают образование химических соединений на поверхности. Повышение температуры окружающей среды увеличивает скорость таких соединений, т. е. скорость коррозии». О том же, как образуются химические соединения на поверхности незащищённого металла, как они постепенно разрушают металл, и почему, вследствие каких причин «температура окружающей среды» повышает скорость коррозии, в книге не сказано ни слова. То, что было достаточно сказать десять лет назад (в первом издании учебника Д. А. Кувакина), совершенно недостаточно в наши дни. Об этом справедливо пишет слесарь Н. Козлов, отмечая недостатки учебника: «Д. А. Кувакин и Сельхозгиз проявили неуважение к читателям, переиздав книгу в том же виде, как она выпускалась много лет назад, не внося необходимых изменений и дополнений».

Выпуском научно-популярной общеобразовательной литературы занимаются многие наши издательства. Заслуженной известностью пользуются, например, брошюры «Научно-популярной библиотеки», издаваемой Гостехиздатом. Но тематика их относится главным образом к области естественнонаучных знаний. Таковы, например, книжки Б. Н. Сулова «Вода», Н. В. Колбкова «Грозы и бури», Е. В. Болдакова «Жизнь рек», Н. В. Гнедкова «Воздух и его применение», Б. Б. Кудрявцева «Движение молекул» и многие другие.

Бесспорно, что издание подобных брошюр — большое и нужное дело, но очевидно также и другое: планирование тематики этой «Библиотеки» нужно сделать более целеустремлённым, в ней должна занять своё место серия брошюр, посвящённых вопросам теории конкретных видов производства.

Особую категорию популярной литературы составляют некоторые издания «Госкультпросветиздата», издательства «Молодая гвардия», «Трудрезервиздата» и т. д. Это в большинстве своём увлекательные книги о достижениях нашей науки и техники, об истории изобретений и открытий, о замечательной работе наших учёных и но-

ваторов. Таковы, например, работы А. Злобина «Большой шагающий», З. Перля «О станках и калибрах», Б. Ляпунова «Борьба за скорость». Но они далеко не всегда дают доступные объяснения сложных технических вопросов.

Книга А. А. Канаева «От водяной мельницы до атомного двигателя» (Машгиз, 1953), посвящённая проблемам энергетики, одинаково интересна для инженерно-технических работников и рядовых рабочих. Но при всём её положительном значении она не во всех своих частях доступна широкому кругу читателей. Например, вопросы о комплексном энергохимическом использовании топлива или об устройстве радиально-осевой турбины, о которых говорит автор, воспринимаются с трудом.

Очень досадно, что отдельные издательства равнодушно относятся к требованиям жизни. Ничем иным нельзя объяснить бездействие одного из крупнейших технических издательств страны — Металлургиздата. Доменщики, сталевары, прокатчики и другие многочисленные категории рабочих-металлургов не имеют пока хороших популярных книг, помогающих им освоить основы науки о производстве металла. Между тем Металлургиздат мог бы воспользоваться рядом положительных примеров подготовки и выпуска популярных изданий, содержание которых близко подходит к его профилю. Достаточно сослаться на удачную книгу И. Василькова и М. Цейтлина «Солнечный камень» (Углетехиздат), которая в популярной форме даёт необходимые и вместе с тем научные сведения о происхождении каменного угля, о его добыче, переработке, использовании в народном хозяйстве. Книга воспринимается легко, она увлекает думающего читателя. Главное её достоинство, на наш взгляд, — правильный выбор приёмов и средств для объяснения сложных специальных вопросов.

Будучи для читателя основой самообразования, научно-популярные книги призваны исподволь готовить его к чтению «большой» научно-технической литературы. Для этого нужно найти и определить тип подобного издания. Научно-популярная техническая книга для рабочих должна быть предельно сжатой, краткой. Каждая из них обязана дать, по возможности, законченное освещение одного из конкретных вопросов данного производства. Такие брошюры целесообразно объединять в серии, которые

в свою очередь могут быть сведены в научно-популярные отраслевые производственные библиотеки типа «Библиотечки рабочего-литейщика», «Библиотечки рабочего-прокатчика» и т. д.

Целесообразность подобного издания подсказывается положительным примером выпущенной Машгизом «Научно-популярной библиотеки рабочего-станочника», состоящей из двух серий: «Научные основы резания металла» и «Научные основы отдельных видов обработки резанием». Вышедшие за последнее время первые двадцать выпусков этой библиотеки хорошо встречены читателями.

Способ изложения материала, форма его подачи играют немаловажную роль. «Популярный писатель, — указывал В. И. Ленин, — подводит читателя к глубокой мысли, к глубокому учению, исходя из самых простых и общеизвестных данных, указывая при помощи несложных рассуждений или удачно выбранных примеров главные выводы из этих данных, наталкивая думающего читателя на дальнейшие и дальнейшие вопросы. Популярный писатель не предполагает не думающего, не желающего или не умеющего думать читателя, — напротив, он предполагает в неразвитом читателе серьезное намерение работать головой и помогает ему делать эту серьезную и трудную работу, ведет его, помогая ему делать первые шаги и уча идти дальше самостоятельно»<sup>1</sup>.

Конкретность и наглядность, убедительные примеры и сравнения должен находить читатель и в популярной технической книжке. Д. И. Писарев, искусство популяризации которого высоко ценил В. И. Ленин, советовал тщательно избегать всякой отвлечённости, подтверждать каждое общее положение осязательными фактами и пояснять его частными примерами. Автору следует искать такие приёмы освещения, которые бы не приводили читателя к необходимости принимать основные положения «на веру».

При подготовке научно-популярной книги особое внимание должно быть уделено языку и стилю. Необходима предельная точность формулировок, максимальная сжатость и краткость изложения, чёткое разъяснение теоретического вопроса и обязательные выводы. При этом нельзя допу-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Сочинения, т. 5, стр. 285.

скать упрощений или изменений принятой терминологии, обозначений и выкладок. Этому учил В. И. Ленин в известных «Тезисах о производственной пропаганде».

Для наглядности и убедительности научно-популярной книги особенно большое значение имеет иллюстративный, графический материал. Хорошо и оригинально выполненный технический рисунок помогает читателю лучше усваивать прочитанное, наглядно убеждаться в правильности той или иной мысли. Лучшей формой исполнения технического рисунка следует признать изображение деталей, машины, схемы в аксонометрии. Объёмные пространственные изображения легче усваиваются читателем.

К работе над техническими научно-популярными изданиями надо привлекать опытных и квалифицированных инженеров, видных деятелей науки и техники. Одним из критериев правильного подбора авторов является не только их общий научно-производственный уровень, но и умение ясно и предельно просто излагать сложный для понимания материал.

Издание массовой научно-популярной технической литературы всё ещё носит случайный, так сказать, «любительский» характер, тогда как назрела потребность в серьёзной организации этого дела.

Подобный вопрос уже отчасти поднят в

печати. Газета «Советская культура» опубликовала письмо члена редакционного совета Трудрезервиздата И. Сергеева. Отмечая, что хорошая научно-популярная книга у нас пока ещё редкость, автор считает необходимой организацию специального издательства и предлагает передать выпуск такой литературы Трудрезервиздату. Однако при той специализации, которая характерна сейчас для нашей науки и техники, одному издательству здесь не справиться. Не лучше ли к этому важнейшему делу привлечь все научно-технические издательства страны, причём каждое из них должно издавать массовую литературу для тех отраслей промышленности, которые оно обслуживает? Разумеется, возникает необходимость координации работы. Её мог бы взять на себя Главиздат Министерства культуры СССР. В этом случае узковедомственный подход, свойственный ещё некоторым издательствам, будет исключён. С другой стороны, это позволит не только устранить разобщённость издательств, но и шире, на рациональных началах организовать обмен опытом выпуска популярной научно-технической литературы.

**М. СУСТАВОВ,  
А. ПЯТНИЦКИЙ.**

г. Свердловск.

★

## Книга о русских химиках

Выход в свет книги с многообещающим названием «Выдающиеся русские учёные-химики», надо думать, обрадовал многих педагогов, учащихся, всех, кому в той или иной мере приходится сталкиваться с вопросами химической науки. Немало, очевидно, было обращено добрых слов в адрес Государственного учебно-педагогического издательства Министерства просвещения РСФСР, которому принадлежит инициатива выпуска работы, всесторонне, как вправо ожидать читатель, освещающей замечательную деятельность корифеев отечественной науки.

Действительно, пробелом в нашей учебной литературе является отсутствие систематического изложения работ русских и советских химиков. Между тем, как справед-

ливо говорится в предисловии к книге, «ознакомление с жизнью и творчеством великих русских учёных имеет большое воспитательное и научное значение — воспитание чувства патриотизма, гордости и любви к своему народу — созидателю величайших научных творений, развитие интересов к изучаемому предмету».

Благодаря трудам советских исследователей мы знаем теперь подлинные взгляды, мировоззрение и убеждения лучших представителей русской науки. Передовые русские учёные стремились помочь экономическому и культурному развитию своей страны. Дух новаторства, творческая оригинальность, самостоятельность были всегда характерной чертой русского естествознания.

У нас есть ряд прекрасных описаний жизни и деятельности великих людей, оставивших после себя неизгладимый след в

С. А. Балезин, С. Д. Бесков. «Выдающиеся русские учёные-химики». Учпедгиз, М., 1953.

развитии культуры, науки. Естественно, что в каждой новой книге, посвящённой их творчеству, хотелось бы увидеть дополнительные характеристики, проливающие более яркий свет, по-новому освещающие те или иные явления, события. Читая такие книги, наша молодёжь сможет не только расширить свой кругозор, но и найдёт достойные примеры для подражания, будет вдохновляться научными подвигами всех соотечественников.

Поставив перед собой почётную задачу — рассказать о двадцати пяти выдающихся химиках, — авторы рассматриваемой книги имели в своём распоряжении исключительно благодарный материал. Однако С. Балезин и С. Бесков воспользовались этим материалом необычайно скупо, ограничившись лишь беглым сообщением основных биографических сведений и разбором отдельных работ учёных, без определённой направленности и целеустремлённости. Такое содержание книги вряд ли удовлетворит запросы читателей, для которых она, по замыслу авторов, предназначена, — «учителей-химиков, студентов естественных факультетов, а также студентов-заочников, самостоятельно изучающих химию».

Значительной части русских химиков был присущ реалистический, трезвый взгляд на мир, на природу вещей. Эти люди науки являлись стихийными материалистами, мировоззрение которых оставалось философски не оформленным и неосознанным. Для них характерны патриотические и демократические устремления: в благо народа видели русские учёные конечную цель своих трудов. Знаменитый химик Владимир Васильевич Марковников, перефразируя известное выражение Н. А. Некрасова, говорил: «Учёным можешь ты не быть, но гражданином быть обязан».

Тщетно искать подобные высказывания на страницах книги. В очерке С. Бескова, посвящённом В. В. Марковникову, отведено всего-навсего несколько строк, характеризующих учёного как патриота своей родины. Полезнее было бы сократить описания на семи страницах (из девяти в очерке) его работ, к тому же чрезмерно оснащённые формулами, что имеется во всех учебниках, и дать читателю более полное представление об этом замечательном общественном и научном деятеле.

О Марковникове можно рассказать много интересного. Во время войны с Турцией

он был не только одним из руководителей дезинфекционного дела в армии, как об этом вскользь упомянуто в очерке. Учёный издал ряд брошюр и статей относительно борьбы с чумой. Когда вспыхнула эпидемия холеры, по его инициативе было организовано исследование русского дёгтя с целью замсны им привозной карболовой кислоты. А разве не важно сообщить читателю, что мы обязаны Марковникову появлением первых исторических очерков, посвящённых развитию русской химической науки? Автор должен был сказать и о том, что Марковников является одним из основоположников химии нефти, что именно он впервые обратил внимание на неисчерпаемые химические богатства, заключённые в кавказской нефти.

В очерке С. Бескова встречаются досадные недомолвки, чреватые возможностью неправильных толкований. Так, автор говорит, что после защиты магистерской диссертации Марковников был командирован за границу, где работал в лабораториях Эрленмейера, Байера и Кольбе. На этом в книге ставится точка. У некоторых читателей может сложиться впечатление, что учёный проникся на «просвещённом Западе» новыми научными идеями, послужившими толчком для его последующих исследований. Но это далеко не так. Марковников приехал в Германию уже сложившимся учёным. Впоследствии Марковников вспоминал: «Уже в первый год по приезде в Германию я убедился, что Казанская лаборатория в теоретическом отношении далеко опередила все лаборатории Германии, курсы же лекций были слишком элементарны. Не особенно много пришлось пользоваться и практическими указаниями профессоров, и если я остался в германских лабораториях, то лишь потому, что за границей жизнь сложена так, чтобы время тратилось более производительно».

Таковы объективные последствия неправильного, на мой взгляд, направления, избранного составителями книги и заключающегося в преднамеренном ограничении преимущественно узкосправочным изложением фактов.

Обратимся к очерку С. Балезина о замечательном учёном Дмитрие Ивановиче Менделееве. Автор поступил правильно, положив в основу очерка открытие Менделеевым периодического закона элементов. Даже взятое отдельно, это открытие увеко-

вечило славу учёного и всей русской науки — открылась новая эра в развитии химии, и на базе периодического закона сделаны многие выдающиеся открытия нашего времени.

Можно лишь поражаться необычайному разнообразию вопросов, которыми занимался Менделеев в течение своей жизни. Кроме химии, он изучал аэродинамику, метеорологию, энергетику, технологию, экономику и другие области науки. К сожалению, это не отражено в рассматриваемой статье. Поэтому у читателя не возникает чёткого и ясного представления о многогранном облике великого учёного. Автору надо было осветить и роль Менделеева как одного из наиболее страстных борцов за народное просвещение. Сочетая в своих трудах теорию и практику, он во всей своей научно-педагогической и общественной деятельности подчёркивал их неразрывную связь. Многократно ездил Менделеев по России, изучая промышленность и разрабатывая практические мероприятия для её улучшения. «Ограниченный рост промышленности совершенно не пригоден нашему краю, — писал Менделеев, — и неприличен нашему народу. Это потому, что народ смутно, но решительно, по здравому инстинкту познаёт, что, идя помаленьку, мы никогда не догоним соседей, а надо не только догнать, но и перегнать!» Пламенным патриотизмом дышат эти слова учёного.

В очерке не раскрыта знаменитая идея Менделеева о подземной газификации угля, не показано значение его работ по решению проблем нефти. Читателям было бы интересно узнать, например, и о том, что в 1892 году в России впервые в мире были произведены опытные стрельбы бездымным порохом, изобретение которого принадлежит Менделееву. Как известно, порох Менделеева не был принят тогда на вооружение русских войск. Но через несколько лет в Америке «самостоятельно» разработали тот же самый тип пороха, и с тех пор в американской литературе неправильно утверждается, что бездымный порох был открыт не русским учёным, а американцами.

Лучше составлен С. Балезиным наибольший по размеру очерк о другом сыне русского народа — Михаиле Васильевиче Ломоносове. Трудно нарисовать полнокровный образ великого человека, по силе мысли, смелости замыслов, глубине знаний и разносторонности творчества не знавшего се-

бе равных. И, конечно, многое осталось за пределами книги. Если у автора возникло естественное желание обрисовать в первую очередь Ломоносова-химика, то мы не можем забывать о нём как физике и астрономе, поэте и филологе, металлурге и художнике, геологе и географе, историке и экономисте. Какого ещё можно назвать подобного учёного-энциклопедиста? Ломоносов неутомимо защищал достоинство и честь русской науки и отдал весь свой гений учёного и талант поэта службе народу.

Нельзя было не показать в очерке решительную борьбу Ломоносова с засильем немецких реакционеров в Академии наук, его смелые выступления против бездарных профессоров и фальсификаторов истории. Ломоносов раньше был известен широко лишь как поэт и автор ряда работ в области гуманитарных наук. Только советские учёные открыли, справедливо оценили и популяризировали всю выдающуюся и многогранную деятельность М. В. Ломоносова. Обо всём этом необходимо было сказать в очерке.

Очерк о создателе теории строения органических соединений, лежащей в основе современной химии, — об Александре Михайловиче Бутлерове, — написанный С. Бесковым, грешит теми же, типичными для всей книги недостатками. Автор опять-таки не полностью выполнил объявленную в предисловии задачу — дать «краткое освещение жизни и творчества выдающихся учёных». Вместо этого перечислены, буквально на ходу, в двух абзацах, даты биографии Бутлерова. Не разобрана по периодам (казанский и петербургский) научная деятельность учёного. Нечётко изложена сущность его теории строения органических веществ и борьба вокруг неё. Согласно взглядам Бутлерова, чёрточки структурных формул не означают абсолютной неподвижности отдельных атомов в молекуле, не отрицают возможности подвижного равновесия. «Движение атомам присуще, и то, что мы называем процессом химического соединения, есть изменение в состоянии этого движения», — писал знаменитый химик. Теперешние успехи исследований в области строения атома опираются именно на бутлеровскую теорию.

Из очерка С. Бескова читатель так и не узнаёт о мировоззрении учёного, о его общественной деятельности. На посту ректора Казанского университета он высказывался за допущение женщин в число студентов;



много энергии проявил и при организации Петербургских высших женских курсов, где он читал курс химии до последних дней своей жизни. Следовало бы отметить, что Бутлеров принял живейшее участие в работе Русского химического общества и в 1878 году был единогласно избран его президентом, рассказать и о том, как добивался он избрания в академию Менделеева и как эта многолетняя борьба получила самый широкий отклик среди интеллигенции всей России.

В предисловии к книге перечислено, кем составлен тот или иной очерк, за одним непонятным исключением: не указано, кто написал очерк о Н. Н. Зинине. Между прочим, эта статья одна из слабейших в книге. Авторам биографических очерков следует быть точными при перечислении дат деятельности учёных. Н. Н. Зинин в Петербургскую академию был приглашён не в 1847 году и не руководил там кафедрой до 1868 года, а был профессором этой академии в 1848—1864 годах и в 1864—1874 годах там же являлся директором химических работ.

Нельзя согласиться с автором в том, что гранаты, начинённые во время Крымской кампании по предложению Н. Н. Зинина нитроглицерином, не получили применения «по техническим условиям того времени». Внедрению этого предложения помешали не технические условия, а косность тогдашнего царского военного ведомства. Поэтому-то и введение нитроглицерина в технику оказалось неза заслуженно связанным с именем А. Нобеля, познакомившегося с работами Н. Н. Зинина лишь спустя девять лет.

Одним из лучших в книге является очерк о Николае Николаевиче Бекетове, которого, как правильно указывает С. Балезин, по праву можно считать преемником Ломоносова в области развития физической химии. Необходимо было только обстоятельнее показать, как Бекетов предвосхитил важнейший закон действия масс, сформулированный в более общей форме Гульбергом и Вааге только два года спустя.

Имя Владимира Ивановича Вернадского хорошо известно советским людям. С тем большим интересом обратится читатель рецензируемой книги к очерку С. Бескова, посвящённому этому учёному. Однако образ выдающегося научного и общественно-го деятеля, глубокого мыслителя, внесшего большой вклад во многие области естество-

знания, остался здесь нераскрытым полностью. Автор очерка не рассказал даже о том, что В. И. Вернадский является основоположником науки о микроэлементах, что именно ему и его ученикам принадлежит одно из замечательных открытий: без микроэлементов невозможна жизнь растительных и животных организмов. Применение этих химических элементов, как доказали советские учёные, открывает широкие возможности увеличения количества и качества урожая различных сельскохозяйственных культур, повышения продуктивности общественного животноводства.

Очень обеднённым получился в очерке С. Балезина образ «дедушки русских химиков» А. А. Воскресенского — учителя Менделеева, Бекетова, Меншуткина.

Конечно, сравнительно небольшой объём книги препятствовал более полной характеристике наших выдающихся учёных. Но лучше было даже сократить число очерков, чем упускать ряд важнейших фактов деятельности людей, создавших славу русской науке.

Не обошлось дело и без досадных описок и неточностей. Укажем на некоторые из них. Менделеев писал о Бутлерове не в 1864, а в 1868 году. Одной из формул вещества дано несуществующее название «эфир углекусусной кислоты». Есть и ряд других замечаний к авторам очерков. Если Ломоносов отнесён к разделу «физическая химия», то странным кажется построение статьи о нём: вначале дан обширный текст без заголовков, а затем они появляются, причём лишь в конце дан раздел «Ломоносов — основоположник науки физической химии».

Книга предназначена для людей, знакомых с химией. Однако почему-то в некоторых очерках совершенно не приводятся химические формулы, зато в других, например, о Шилове, Чугаеве, Бутлерове, Марковникове, текст перенасыщен уравнениями и формулами, порой довольно сложными.

Серьёзный упрёк можно сделать авторам из-за разделения книги на три раздела: физическая, неорганическая (общая) и органическая химия, соответственно которым и размещены очерки. Между тем лишь ограниченное число учёных-химиков можно втиснуть в такое «прокрустово ложе». Разве Ломоносов является только физико-химиком? С таким же успехом его можно было отнести и к специалистам других отря-

слей химии. Нельзя сказать, что и труды Менделеева относятся только к неорганической химии. Академика Ферсмана вместе с его учителем Вернадским авторы определили в раздел «органической химии», тогда как на первой же строчке очерка о нём указано, что оба учёных являются основателями геохимии. Да и Каблуков работал не только по физической химии. Для большинства наших выдающихся учёных характерно, что они не замыкались в узком круге вопросов своей специальности, а разрабатывали многие проблемы. Поэтому, как нам представляется, целесообразнее вообще не проводить подобного деления в книге.

Не оспаривая заслуг отдельных выдающихся химиков, следует отметить, что значение их для науки далеко не равноценно. В связи с этим вызывает удивление помещенное в книгу очерков об одних учёных и отсутствие очерков о других, роль которых в развитии отечественной науки была отнюдь

не меньшей. Правда, в предисловии оговорено, что некоторые разделы химии выходят за рамки поставленных перед авторами задач, но можно назвать много выдающихся русских химиков, которые вполне могут быть включены в избранные авторами разделы. Мы имеем в виду, например, Бородин, Зайцева, Тищенко, Ильинского, Кистяковского, Баха, Писаржевского, Орехова и других.

Хочется надеяться, что Учпедгиз продолжит своё полезное начинание и выпустит новые книги, содержащие комплексные очерки об отечественных химиках. Но эти издания желательно видеть более расширенными, более целеустремлёнными. Показ деятельности наших замечательных учёных должен быть таким, чтобы их жизнь и творчество служили примером миллионам советских людей.

*Кандидат химических наук*  
**О. ДОБРЮБСКИЙ.**

г. Одесса.

★

## Журнал советских полиграфистов

**М**аксим Горький как-то сказал: «Когда у меня в руках новая книга, предмет, изготовленный в типографии руками наборщика, этого своего рода героя, с помощью машины, изобретённой каким-то другим героем, я чувствую, что в мою жизнь вошло что-то живое, говорящее, чудесное...»

Сделать красивую, добротную книгу, которую потом миллионам читателей будет приятно взять в руки, — большое искусство. Здесь объединяется кропотливый труд людей самых разнообразных профессий. Качество издания, его внешний вид зависят от квалификации, таланта, инициативы редактора и инженера, химика и художника, гравёра и наборщика.

Обо всём этом невольно вспоминаешь, когда знакомишься с содержанием журнала «Полиграфическое производство». Он призван решать сложные и ответственные задачи, удовлетворяя многосторонние запросы советских полиграфистов, помогая им лучше работать. Будет справедливым сказать, что в этом отношении журнал занимал в основном правильные позиции.

Но в Советской стране каждый новый

день выдвигает новые вопросы, которые не ставились ещё вчера. Наша полиграфия не может стоять на месте. Наряду со всеми отраслями народного хозяйства она уверенно идёт вперёд по пути неуклонного прогресса. Однако темпы роста культуры советского народа таковы, что сегодняшней уровень развития полиграфии уже недостаточен. Это хорошо сознают и сами работники полиграфической промышленности. Поэтому они хотят видеть в своём журнале верного и умелого помощника в борьбе за увеличение количества и повышение качества печатной продукции, за снижение её себестоимости, за наиболее полное использование всех возможностей дальнейшего совершенствования производственных процессов.

Новые проблемы, поставленные перед полиграфистами решениями партии и правительства о крутом подъёме народного благосостояния, обязывают редакцию журнала перестроить свою работу. Как нам представляется, эта перестройка идёт пока очень медленно. А ведь сама жизнь подсказывает актуальные темы, обсуждать которые надо безотлагательно.

Советский человек законно требует, чтобы ему дали хорошо изданную и в то же время недорогую по цене книгу или журнал. Между тем на полки книжных магазинов

частенько поступает грубая, безвкусно оформленная продукция. Попадают книги с рваными или загрязнёнными листами, серой, нечёткой печатью; переплёт «ходит» из стороны в сторону, а корешок отваливается через месяц-другой после выхода книги из типографии. Чтобы не быть голословным, приведём, например, такой факт. Ещё в конце прошлого года была выпущена в свет работа Б. П. Орлова по истории полиграфической промышленности Москвы. Многие, естественно, пожелали ознакомиться с ней. Однако это оказалось не так просто. Почему же трудно получить её? Да только потому, что весь тираж книги был возвращён книготоргующими организациями в типографию — томики, на первый взгляд переплетённые аккуратно и красиво, рассыпались чуть ли не при первом к ним прикосновении.

Журнал «Полиграфическое производство» не проходит мимо вопросов качества печатной продукции, однако, на наш взгляд, он может и должен в этом отношении проявить больше энергии и добиться более действенных результатов.

Одной из особенностей дальнейшего развития советской полиграфии является создание условий для высококачественного оформления массовых изданий. В этой связи весьма важное значение приобретают проблемы цветной печати. Заслуга журнала в том, что своими материалами он во многом способствовал внедрению в практику так называемого «метода маскирования», разработанного нашими учёными. Применение этого метода даёт возможность значительно улучшить полиграфическое исполнение многокрасочных иллюстраций, открыток, плакатов.

Изготовление добротных многотиражных изданий требует решительного отказа от дедовских методов контроля над качеством исполнения «на глазок», по правилам и нормам, которые печатники передавали из поколения в поколение. Появилась необходимость создать приборы для точного контроля качества производства производственных процессов полиграфии. К сожалению, наши научно-исследовательские учреждения всё ещё очень мало занимаются контрольно-измерительной аппаратурой. Правильно поступил журнал «Полиграфическое производство», поднимая в своих статьях вопрос о том, что уже давно следует разработать методы и сконструировать оборудование, которые позволят рабочему или контролёру с

предельной точностью оценивать как результаты отдельных технологических операций, так и качество готовых книг и журналов. Редакция опубликовала и одну из первых в этой области работ — статью кандидата технических наук О. Б. Купцовой и инженера В. А. Луговца о приспособлениях для контроля качества полуфабрикатов в брошировочно-переплётных цехах.

Но, как говорится, первая ласточка весны не делает. Поэтому хочется настоятельно рекомендовать журналу и впредь всемерно популяризировать рациональные методы контроля.

В оформлении печатной продукции у нас есть большие достижения, которые памяты каждому, кто бывал на ежегодных выставках, устраиваемых издательствами. Трудными советских учёных и прежде всего члена-корреспондента Академии наук СССР А. А. Сидорова создана по сути дела новая отрасль искусствоведения — наука об искусстве книги. Тем более обидно, что всё ещё нередки случаи никуда не годного, примитивного оформления книг и журналов.

Казалось бы, это тоже повод для большого разговора на страницах журнала полиграфистов. Правда, в одном из его номеров была помещена статья И. Б. Чижовой об оформлении книг Гослитиздата, но содержание и направление этой статьи вряд ли кого-либо удовлетворили. В основном она была выдержана в парадных тонах, да и говорилось в ней преимущественно о качестве иллюстраций. Остальным же элементам убранства книг — переплёту, заставкам, шрифтам, форзацам — автор почти не уделил внимания.

А ведь как раз в Гослитиздате с этим делом обстоит далеко не благополучно. Не так давно Гослитиздат выпустил в составе пятнадцатитомного собрания сочинений О. Бальзака роман «Утраченные иллюзии», в котором шмуцтитулы с названием отдельных частей были набраны разными шрифтами. С точки зрения оформления книги это грубая оплошность. В собрании сочинений Л. Леонова разнобой шрифтов даже на переплётках. Много слышится жалоб подписчиков и на то, что цвета переплётной ткани в одних томах подписных изданий не совпадают с другими.

Всё это хорошо известно и редколлегии журнала «Полиграфическое производство» и его авторскому активу, но вот выступлений с критикой бракоделов что-то не слыш-

но. Передовица одного из прошлогодних номеров гласила: «За отличное оформление книг!» Редакция поставила в ней многие важные проблемы. Жаль только, что сам журнал лишь от случая к случаю обращается к этой теме, а ведь ему-то в первую голову следовало бы заботиться о реализации собственных предложений.

Вопросы оформления тесно связаны с вопросами полиграфического исполнения. Нередко художник создаёт рисунок переплёта или иллюстрации безотносительно к тому, какими техническими средствами эти элементы художественного убранства книги будут воспроизведены. Конкретный анализ полиграфического исполнения мог бы принести большую пользу работникам полиграфии и издательствам. Заметки о качестве книг, журналов и газет, регулярно публикуемые в журнале, несомненно помогли бы оформителям и полиграфистам установить более тесный контакт. Лет пять назад такие материалы печатались в «Полиграфическом производстве». Почему же ныне, когда борьба за качество продукции ставится во главу угла, эта хорошая традиция забыта?

Наш народ требует от полиграфистов не только доброкачественной работы. Он хочет иметь значительно больше, чем сейчас, печатной продукции, в объёме, способном удовлетворить его растущие культурные запросы. Ни одна страна мира не знает таких тиражей, такого количества выпускаемых ежегодно названий, как Советский Союз. И всё же литературы советским читателям не хватает. Полумиллионный тираж Энциклопедического словаря, трёхсоттысячные тиражи сочинений Горького, Гоголя и других классиков мировой литературы оказываются недостаточными, и в книжных магазинах за ними выстраиваются длинные очереди.

По решению правительства скоро будут построены крупнейшие полиграфические предприятия в Москве, Калинин, Ярославле, Саратове, Миассе, Челябинске, Ростове, Новгороде, Тамбове и некоторых других городах. Эти мощные, прекрасно оборудованные комбинаты позволят в ближайшем будущем значительно увеличить выпуск книг, журналов, газет. Новые индустриальные гиганты поднимут книгоиздательское дело на невиданную высоту. Решающую роль в этом подъёме полиграфии должна сыграть автоматизация производственных процессов.

Журнал «Полиграфическое производство» провёл интересную и полезную дискуссию о возможности создания полностью автоматизированной типографии. В статьях профессора Б. М. Мордовина, инженеров М. Г. Брейдо, Г. А. Алексеева, В. П. Филиппова впервые в истории полиграфии были намечены пути к осуществлению этой цели. Предложения советских полиграфистов вызвали отклики и за рубежом. Материалы были перепечатаны в немецкой, австрийской, швейцарской прессе.

Опыт дискуссии показал, насколько плодотворен метод творческого обсуждения тех или иных серьёзных проблем. К сожалению, журнал прибегает к нему весьма редко. Иногда же, поставив на своих страницах какой-либо спорный или во всяком случае требующий дополнительного развития вопрос, редакция забывает потом о своей инициативе, и зачастую она остаётся нереализованной. Так получилось, например, со статьёй Е. И. Прохорова и Р. Ф. Тумановского, в которой говорилось о давно уже назревшей необходимости упорядочить полиграфическую и издательскую терминологию.

За последние полтора года журнал опубликовал ряд материалов, посвящённых проблемам конструирования более совершенного полиграфического оборудования. Внимание полиграфистов привлекла статья ленинградского инженера М. К. Дорохина, в которой была обоснована возможность ускорения рабочего цикла строкоотливной наборной машины. Хочется отметить также интересную статью А. Н. Чернышёва относительно способов фотомеханического воспроизведения оригиналов в заранее заданном масштабе. Кандидат технических наук Г. П. Смирнов рассказал в журнале о новых принципах создания позолотных пресов.

Редакция регулярно знакомит читателей с новинками отечественного полиграфического оборудования. В журнале выступают обычные инженеры, непосредственно участвующие в создании новых машин. Это, естественно, повышает качество статей.

Вместе с тем журналу следовало бы значительно чаще давать сведения об иностранной полиграфической технике. За последние годы в заграничной печати появилось немало интересных сообщений о достижениях полиграфистов. Мы имеем в виду, в частности, новые полиграфические машины Гер-

манской Демократической Республики, венгерскую наборнопечатную машину «Типопресс», фотонаборную машину французских изобретателей Р. Хигонне и Л. Мойру, опыты в области электростатического переноса краски.

Совершенствование нашей полиграфии во многом обязано новаторам производства. Журнал полиграфистов не стоит в стороне от вопросов изобретательства и рационализации; один из его прошлогодних номеров был почти целиком посвящён этой теме. Всё же надо признать, что информация о новых предложениях в полиграфической промышленности как следует не налажена. Об этом свидетельствуют, например, такие факты.

Года два назад студент Московского полиграфического института Константин Финакин, работая над дипломным проектом, выдвинул ряд предложений, позволяющих значительно увеличить производительность строкоотливной наборной машины. Труды молодого изобретателя отмечены премией Всесоюзного научного инженерно-технического общества полиграфии и издательств. Однако до сих пор ни в «Полиграфическом производстве», ни на страницах издаваемых Главполиграфпромом Министерства культуры СССР «Материалов по обмену опытом» не было помещено даже краткого описания изобретений К. Финакина.

Не позабылся журнал полиграфистов и о том, чтобы своевременно познакомить читателей с такими, например, весьма интересными изобретательскими предложениями, как механизм переменного цикла движения ракля, автором которого является группа инженеров и рабочих типографии газеты «Правда». А ведь известно, что механизм этот позволил улучшить качество печати журналов «Советский Союз» и «Огонёк». Тщетно было бы искать в «Полиграфическом производстве» материалы о счётчике для фальцевальных машин, сконструированном ленинградцем А. Г. Троицким, о предложениях М. Г. Брейдо и Л. В. Фельдмана в области тетрадных самонакладов, о бесшвейном креплении книжного блока по способам Украинского научно-исследовательского института и москвича Г. П. Журенкова, а также о многих других, всё ещё не известных широкому читателю изобретениях советских полиграфистов.

«Изучать и распространять передовой опыт!» — так озаглавлена передовая статья

во втором номере «Полиграфического производства» за текущий год. Будем надеяться, что и сама редакция последует своему призыву, активизируя деятельность в этом направлении. В прошлом журнал почти не занимался обобщением изобретательской и рационализаторской работы и за последние полтора года поместил всего лишь одну статью, пропагандирующую прогрессивные методы труда. На наш взгляд, лучше всего было бы ввести в журнале постоянный отдел изобретательства и рационализации. В нём можно помещать и регулярную информацию о выдаваемых в нашей стране авторских свидетельствах, имеющих отношение к полиграфии.

В свете решений партии и правительства о мерах дальнейшего развития торговли и расширении производства промышленных товаров народного потребления встал вопрос о необходимости резко улучшить продукцию так называемой «деловой полиграфии», то есть упаковочные материалы, обои и так далее. Надо прямо сказать, качество этой продукции находится на недопустимо низком уровне. Журналу полиграфистов давно следовало бы сигнализировать о ненормальном положении в этом деле. Занявшись обсуждением подобных вопросов, привлекая к ним внимание полиграфической общественности, редакция поможет устранить существенные недостатки и в этой отрасли производства.

Думается, будет справедливо упрекнуть журнал и в том, что по существу вне поля его зрения остались такие серьёзные вопросы, как общее, литературное и техническое редактирование. В этом отношении деятельность некоторых издательств оставляет желать много лучшего. Нельзя признать удовлетворительным также положение с подготовкой кадров издательских работников, в особенности редакторов научной, технической и сельскохозяйственной книги, с систематическим и планомерным повышением их квалификации.

Конечно, наличие специального органа печати, посвящённого издательскому делу, принесло бы большую помощь в устранении всех этих пробелов, но в настоящее время, как нам представляется, журнал «Полиграфическое производство» должен считать своей обязанностью больше уделять внимания и этой важной теме.

Известно, насколько велико значение историко-технических исследований, помогающих

специалисту установить правильные перспективы развития той или иной отрасли техники. В своё время журнал «Полиграфическое производство» опубликовал ряд статей, в которых сообщались новые, ранее неизвестные сведения из истории отечественной полиграфии. Инженеры Г. А. Виноградов и Л. П. Теплов познакомили читателей с результатами своих изысканий в архивах, в старых журналах и книгах. Мы узнали о замечательных работах пионера автоматизации наборного процесса Петра Княгининского, о создателе первой в мире фотонаборной машины Викторе Гассиеве, о талантливом изобретателе печатных машин Иване Орлове. Очень жаль, что теперь редакция заметно охладела к историко-технической тематике. Хочется рекомендовать её работникам взять пример с наших лучших технических журналов, таких, например, как «Электричество», почти в каждом номере которого можно найти материалы по истории энергетической техники.

Читатели хотели бы прочитать в «Полиграфическое производство» статьи, рассказывающие о том, как развивались отдельные отрасли полиграфии в нашей стране и за её рубежами. В мае 1954 года полиграфисты всего мира торжественно отметили столетие со дня рождения О. Мергенталера, изобретателя одной из наиболее совершенных наборных машин современности — лино-типа. Журнал имел хороший повод поговорить о путях развития механического набора. Однако возможность эта не была использована.

Будет очень хорошо, если журнал «Полиграфическое производство» наряду с освещением вопросов истории начнёт систематически осведомлять своих читателей о перспективах советской полиграфии, заглядывая в её завтрашний день. Вспомним слова Владимира Ильича Ленина о том, что нам нужны люди с загадом, люди, которые представляют себе дальнейшее развитие техники. Постановка на страницах журнала проблемных вопросов, связанных с путями

развития, с будущим полиграфической науки и техники, несомненно, принесёт большую пользу.

Журнал «Полиграфическое производство» известен далеко за пределами нашей страны. Отдельные статьи из него часто перепечатываются или аннотируются немецким «Папир унд друк», болгарской «Полиграфией», чешской «Типографией», венгерской «Бумажной и полиграфической техникой». Это обстоятельство говорит в пользу журнала. Действительно, «Полиграфическое производство» обладает несомненными достоинствами; каждый его номер привлекает внимание читателя как разносторонностью материалов, так и значительностью их содержания.

Но при всём том весьма уязвимым местом журнала является качество оформления. Кстати сказать, по своему уровню оно ниже, чем, например, оформление аналогичных изданий в странах народной демократии. Художественное убранство советских книг славится во всём мире. Почему же журнал советских полиграфистов не блещет техникой исполнения? Однообразные, статически оформленные обложки обедняют его внешний облик. А ведь именно обложки могли бы служить для показа мастерства во всех методах печати. Достижения отечественной полиграфической техники можно наглядно демонстрировать также и посредством иллюстраций на вклейках. Однако и эта возможность упускается — за весь прошлый год были даны всего-навсего три вклейки.

Таковы сильные и слабые стороны журнала «Полиграфическое производство». В работе редакции есть недостатки, заслуживающие серьёзной критики. Вместе с тем и Министерству культуры СССР следует уделить больше внимания журналу, помочь ему поднять свою работу на уровень новых задач, стоящих перед советской полиграфией.

**Е. НЕМИРОВСКИЙ.**



## КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

### ГОСПОЛИТИЗДАТ

**В. И. Ленин.** О союзе рабочего класса и крестьянства. 712 стр. Цена 10 р.

**В. И. Ленин.** О временном революционном правительстве. 24 стр. Цена 30 к.

**В. И. Ленин.** Почему социал-демократия должна объявить решительную и беспощадную войну социал-революционерам? — Революционный авантюризм. 32 стр. Цена 35 к.

**Л. М. Каганович.** Об улучшении работы и дальнейшем подъёме водного транспорта. 104 стр. Цена 1 р.

**Т. Л. Басюк.** МТС — решающая сила в развитии колхозного производства. 232 стр. Цена 2 р. 75 к.

**П. Винокуров.** Германский вопрос и безопасность Европы. 100 стр. Цена 95 к.

**Г. Н. Голиков.** Великая Октябрьская социалистическая революция. 196 стр. Цена 4 р.

**И. Дудинский.** Экономическое сотрудничество СССР и стран народной демократии. 88 стр. Цена 85 к.

**Н. Каротамм.** Повышение урожайности — важнейшая задача социалистического земледелия. 144 стр. Цена 1 р. 75 к.

**А. В. Лихолат.** Разгром националистической контрреволюции на Украине (1917—1922 гг.). 656 стр. Цена 10 р.

**Политическая экономия.** Учебник. 640 стр. Цена 10 р.

**М. Н. Рындина.** Буржуазные экономисты Англии и США на службе империалистической реакции. 144 стр. Цена 1 р. 70 к.

**В. Ткаченко.** Румыния на пути к социализму. 80 стр. Цена 70 к.

**Трудовые подвиги строителей Волго-Дона.** 432 стр. Цена 11 р.

### ИЗДАНИЕ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

**Юбилейная сессия Верховного Совета РСФСР, посвящённая 300-летию воссоединения Украины с Россией (29 мая 1954 г.).** Материалы и стенограмма. 140 стр. Цена 4 р. 50 к.

**Заседания Верховного Совета РСФСР третьего созыва.** Пятая сессия (31 мая — 2 июня 1954 г.). Стенографический отчёт. 234 стр. Цена 5 р. 30 к.

### «СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

**Иван Арамилев.** В лесах Урала. 332 стр. Цена 5 р. 80 к.

**А. Барышников.** Кто честен и смел. 540 стр. Цена 9 р. 50 к.

**Ф. Гладков.** Повесть о детстве. 460 стр. Цена 9 р. 65 к.

**Иван Горелов.** Семейная тайна. Юмористические рассказы. 160 стр. Цена 2 р. 90 к.

**Иван Овчаренко.** Путь к свободе. Роман в двух книгах. Книга вторая. 360 стр. Цена 6 р. 5 к.

**К. Паустовский.** Бег времени. Новые рассказы. 216 стр. Цена 3 р. 80 к.

**Алексей Симуков.** Пьесы. 376 стр. Цена 9 р. 20 к.

**Мих. Соколов.** Искры. Роман. 936 стр. Цена 18 р. 55 к.

**Надежда Чергова.** Большая Земля. Роман. 512 стр. Цена 8 р. 45 к.

**В. Шкваркин.** Комедии. 312 стр. Цена 7 р. 80 к.

### ГОСЛИТИЗДАТ

**Абай Кунанбаев.** Собрание сочинений в одном томе. Стихотворения. Поэмы. Проза. Перевод с казахского. 416 стр. Цена 5 р. 60 к.

**Албанская поэзия.** Сборник. 336 стр. Цена 5 р. 30 к.

**Демьян Бедный.** Собрание сочинений в 5 томах. Том 5. Стихотворения, басни, повести. 1941—1945. Статьи, письма. 1912—1945. 384 стр. Цена 10 р.

**С. П. Бычков.** Л. Н. Толстой. Очерк творчества. 480 стр. Цена 12 р.

**Иван Вазов.** Под игом. Роман. Перевод с болгарского. 456 стр. Цена 8 р. 50 к.

**Ванда Василевская.** Собрание сочинений в шести томах. Перевод с польского. Том 4. Песнь над водами. Трилогия. Часть 3. Реки горят. 540 стр. Цена 9 р. 50 к.

**В. Г. Короленко.** Собрание сочинений в десяти томах. Том 4. Повести, рассказы и очерки. 504 стр. Цена 10 р. 50 к.

**Б. Костелянец.** А. С. Макаренко. Критико-биографический очерк. 236 стр. Цена 6 р. 60 к.

**Вилис Лацис.** Собрание сочинений в шести томах. Перевод с латышского. Том 3. Буря. Роман в трёх частях. Часть первая. 520 стр. Цена 11 р. 50 к.

**Вл. Лидин.** Рассказы. Повести. Воспоминания. 592 стр. Цена 10 р. 15 к.

**Ло Гуань-чжун.** Троецарствие. Исторический роман. Перевод с китайского. Том 1. 792 стр. Цена 14 р. 20 к. Том 2. 792 стр. Цена 14 р. 30 к.

**Джек Лондон.** Сочинения в семи томах. Перевод с английского. Том 1. Рассказы. 1899—1903. 640 стр. Цена 11 р.

**Д. Н. Мамин-Сибиряк.** Собрание сочинений в восьми томах. Том 4. Повести, рассказы, очерки. 1885—1889. 702 стр. Цена 12 р.

**Мао Дунь.** Рассказы. Перевод с китайского. 144 стр. Цена 1 р. 85 к.

**Кальман Миксат.** Кавалеры и другие рассказы. Перевод с венгерского. 160 стр. Цена 1 р. 55 к.

**В. Н. Николаев.** Анри Барбюс. Критико-биографический очерк. 148 стр. Цена 4 р.  
**Элиза Ожешко.** Сочинения в пяти томах. Перевод с польского. Том 3. Над Неманом. 536 стр. Цена 10 р.

**Иван Ольбрахт.** Анна-пролетарка. Роман о 1920 годе. Перевод с чешского. 223 стр. Цена 2 р. 35 к.

Рассказы американских писателей. Перевод с английского. 344 стр. Цена 6 р.

**Русская советская поэзия.** Сборник стихов. 1917—1952. 828 стр. Цена 22 р. 20 к.

**Иозеф Каэтан Тыл.** Избранное. Перевод с чешского. 512 стр. Цена 8 р. 50 к.

**А. А. Фадеев.** Молодая гвардия. (Библиотека советского романа). 664 стр. Цена 12 р. 85 к.

**В. Д. Фоменко.** Рассказы. 272 стр. Цена 5 р. 35 к.

**Илья Чавчавадзе.** Человек ли он? Повесть. Перевод с грузинского. 96 стр. Цена 1 р.

**А. П. Чехов.** Собрание сочинений в двенадцати томах. Том 1. Рассказы. 1880—1882. 512 стр. Цена 12 р.

**М. П. Чехова.** Письма к брату А. П. Чехову. 236 стр. Цена 5 р. 10 к.

**В. Я. Шишков.** Алые сугробы и другие рассказы. 240 стр. Цена 4 р. 50 к.

#### «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

**В. И. Ленин.** Задачи союзов молодежи. 47 стр. Цена 25 к.

**И. Сталин.** Речь на VIII съезде ВЛКСМ. 24 стр. Цена 15 к.

**Борис Бедный.** Рассказы. 285 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Ольга Берггольц.** Избранное. 207 стр. Цена 4 р. 60 к.

**Н. Болдырев.** О моральном облике советской молодежи. 88 стр. Цена 75 к.

**В. Московский.** Когда Родина призовет. 128 стр. Цена 2 р. 40 к.

**Ефим Пермитин.** Две повести. 511 стр. Цена 10 р. 25 к.

**С. Розова.** Полвека в школе. 64 стр. Цена 90 к.

**И. Селищев.** В дружбе сила. 80 стр. Цена 90 к.

#### ДЕТГИЗ

**А. Авдсенко.** Над Тиссой. (Из пограничной хроники). 224 стр. Цена 3 р. 95 к.

**Л. Бать, Ал. Дейч.** Тарас Шевченко. Биографическая повесть. Переработанное и дополненное издание. 288 стр. Цена 5 р. 60 к.

**С. Георгиевская.** Повести и рассказы. 240 стр. Цена 4 р. 20 к.

**Г. Гулия.** Огненный копь. Повесть-сказка. 64 стр. Цена 1 р.

**А. Ирасек.** Яношик. Старинные чешские сказания. Сокращённый перевод с чешского. 32 стр. Цена 50 к.

**С. Капутикян.** Маша не плачет. Перевод с армянского. 13 стр. Цена 70 к.

**А. Олэнич-Гнененко.** Стихи о природе. 104 стр. Цена 2 р. 35 к.

**Л. Пантелеев.** Повести и рассказы. 608 стр. Цена 12 р. 30 к.

**Д. Родари.** Чем пахнут ремёсла? Какого цвета ремёсла? Перевод с итальянского. 17 стр. Цена 1 р. 30 к.

**М. Танк.** Ехал сказочник Гай. Сказки. Перевод с белорусского. 80 стр. Цена 2 р. 15 к.

**А. Твардовский.** Василий Тёркин. Книга про бойца. 272 стр. Цена 5 р. 85 к.

**С. Фомин.** Перед рассветом. Повесть. 208 стр. Цена 4 р. 45 к.

#### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК СССР

**Г. Б. Герцович.** Развитие экономики в Германской Демократической Республике. 218 стр. Цена 8 р. 50 к.

**Н. Н. Гусев.** Лев Николаевич Толстой. 719 стр. Цена 32 р. 90 к.

**В. С. Гулевич.** Избранные труды. 336 стр. Цена 21 р. 75 к.

**В. Л. Комаров.** Избранные сочинения. Том X. 475 стр. Цена 22 р. 30 к.

**Ю. И. Миленушкин.** Николай Фёдорович Гамалея. 157 стр. Цена 2 р. 50 к.

**И. И. Пьявченко.** Использование заболоченных земель в сельском хозяйстве. 54 стр. Цена 85 к.

#### ВОЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

**Г. Артозеев.** Партизанская быль. 271 стр. Цена 5 р. 80 к.

**К. Лапин.** Военный корреспондент. Рассказы. 120 стр. Цена 3 р.

**М. Лыньков.** Незабываемые дни. Роман. Авторизованный перевод с белорусского. Издание 2-е, исправленное. 655 стр. Цена 15 р.

**К. Симонов.** Товарищи по оружию. Роман. 581 стр. Цена 10 р. 35 к.

**А. Фёдоров.** Подпольный обком действует. Книга III. Вперёд на Запад. 215 стр. Цена 5 р. 50 к.



### ИЗДАТЕЛЬСТВО ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Э. Бивен, Б. Касл, Р. Кроссмэн, Т. Драйберг, Я. Микардо, Г. Вильсон. Это не должно случиться. Перевод с английского. 63 стр. Цена 1 р. 5 к.

Германская Демократическая Республика. Перевод с немецкого. 215 стр. Цена 5 р. 65 к.

Ю. Кучинский. Условия труда в капиталистических странах. Перевод с немецкого. 294 стр. Цена 11 р.

Г. Лоунсон. Кинофильмы в борьбе идей. Перевод с английского. 146 стр. Цена 3 р. Димитр Методиев. Младое поколение. Роман в стихах. Перевод с болгарского. 182 стр. Цена 6 р. 85 к.

А. Хетг. Английское профсоюзное движение. Перевод с английского. 220 стр. Цена 8 р. 75 к.

### «ИСКУССТВО»

А. Борисов. Из творческого опыта. 323 стр. Цена 18 р. 20 к.

Г. Бояджиев, В. П. Марецкая. 239 стр. Цена 13 р. 90 к.

Герцен об искусстве. 446 стр. Цена 22 р.

А. Рылов. Воспоминания. 262 стр. Цена 20 р. 40 к.

М. Тихонов. Кино на службе науки. 175 стр. Цена 4 р. 80 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО МГУ

Е. М. Галкина-Федорук. Современный русский язык. Лексика. 202 стр. Цена 6 р. 20 к.

Современная прогрессивная литература зарубежных стран. 223 стр. Цена 8 р. 70 к.

### «МОСКОВСКИЙ РАБОЧИЙ»

А. Воронков, С. Балашов. Дворец науки. 238 стр. Цена 7 р. 65 к.

С. Герасимов. Культурно-просветительная работа в колхозе. 45 стр. Цена 55 к.

### МУЗГИЗ

Вопросы музыкознания. Выпуск 1. 358 стр. Цена 16 р. 85 к.

### СЕЛЬХОЗГИЗ

И. М. Беляев. Вредители зерновых культур нечернозёмной полосы. 128 стр. Цена 1 р. 70 к.

В борьбе за освоение целинных и залежных земель. Опыт МТС и колхозов Алтайского края. 256 стр. Цена 5 р. 35 к.

В помощь специалистам сельского хозяйства по освоению целинных и залежных земель. Сборник материалов и статей. Выпуск 1. 256 стр. Цена 5 р. 30 к.

Н. А. Максимов. Как живёт растение. 104 стр. Цена 1 р. 75 к.

Н. А. Милх. Машины для внесения удобрений в почву. 232 стр. Цена 4 р. 10 к.

А. М. Никифоров. Борьба с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур. 120 стр. Цена 1 р. 60 к.

Н. В. Цицин. Отдалённая гибридизация растений. 432 стр. Цена 8 р. 85 к.

### ВОРОНЕЖСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

И. В. Сидельников. Беспокойные люди. Рассказы и очерки. 124 стр. Цена 1 р. 25 к.

### ИЗДАТЕЛЬСТВО АКАДЕМИИ НАУК БССР

История Белорусской ССР. Том 1. 504 стр. Цена 18 р.

### КРАСНОДАРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Г. Ф. Квитка-Основьяненко, Пан Халявский. Роман. 232 стр. Цена 5 р. 45 к.

### КУЙБЫШЕВСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. В. Борисов. Рассказы. 116 стр. Цена 2 р. 85 к.

### НОВОСИБИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

Н. Перевалов. Стихи. 104 стр. Цена 2 р. 60 к.

Главный редактор **К. М. Симонов**

Редакционная коллегия:

**С. П. Антонов, А. Г. Дементьев** (зам. главного редактора),

**В. П. Катаев, С. С. Смирнов** (зам. главного редактора),

**С. Б. Сутоцкий, К. А. Федин.**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).  
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Сдано в набор 26/VIII-54 г.

А 05988. Формат бумаги 70×108/16. 9 бум л—24,66 печ. л.

Подписано к печати 17/IX-54 г.

Тираж 140.000. Заказ № 2137.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»  
имени И. И. Сиворцова-Стеланова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.